

P
E 45

184094

72
(red)

~~1257~~

~~125~~

189094

Р 84(0)
Е 45

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДѢЛЪ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДЕЛИ"

1893 г.

Павловъ

ЕКАТЕРИНБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ "ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДЕЛИ".

1893.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

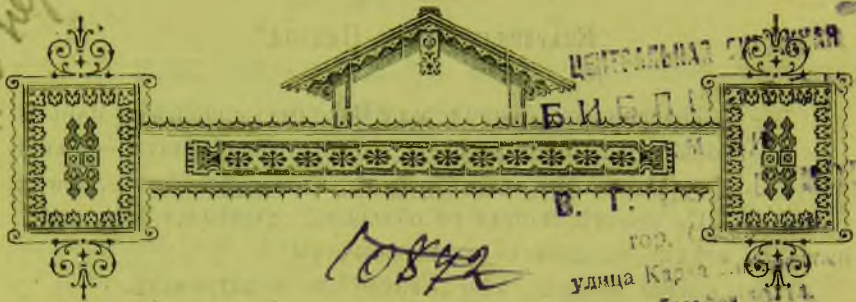
1. Елка въ Кулюткиной. Новогодній разсказъ <i>Н. В. Казаниева.</i> -	1.
2. Друзья. Повѣсть. Соч. <i>К*</i> . - - - - -	9.
3. Стансы. Стих. <i>А. Туркина.</i> - - - - -	49.
4. Отрывокъ. Еще одна потухшая заря. Стих. <i>Ф. Филлимонова.</i> ✓	50.
5. За чаемъ. <i>Юліи Тертилазской.</i> Перев. съ польскаго Ю. Л.	51.
6. Изъ старой тетради. Стих. <i>Ф. Филлимонова,</i> ✓ - -	65.
7. (Посвящъ М. Е. Т.) Я шель къ тебѣ... Стих. <i>А. Туркина.</i>	66.
8. Фальшивая тревога. Разсказъ <i>Н. П. Стахевичъ.</i> - -	67.
9. Весной. Стих. <i>Ф. Филлимонова.</i> ✓ - - - -	84.
10. Когда кругомъ немолчно жизнь кипить... Стих. <i>А. Туркина.</i> -	"
11. Дѣвица съ „божественнымъ вѣнцомъ“. Разсказъ М. Юкая. Перев. <i>В. Е—ва.</i> - - - - -	85.
12. Тебѣ не спится... Ночь темна. Стих. <i>Ф. Филлимонова.</i> ✓ -	88.
13. Одна изъ жизненныхъ загадокъ. Разсказъ Вернстгерна Біерсона. (Съ норвежскаго). <i>Л. А. Мурахиной</i> - - - -	89.
14. Набѣжали тѣни... Стих. <i>А. Н. Севастьянова.</i> - -	100.
15. Мы съ тобою, мой другъ, не любимцы судьбы... Стих. <i>О. Изр—онъ</i>	"
16. Чикаго и его жизнь <i>Е. К.</i> - - - - -	101.
17. Труженикъ. Стих. * * *. - - - - -	112.
18. Сынъ Дюрамэ. Разсказъ Лэблана. (Съ франц.). Перев. <i>Л. А. Мурахиной</i> - - - - -	113.
19. Въ эту ночьку непогодную... Стих. <i>А. Туркина.</i> - -	121.
20. Изъ прошлаго. <i>Е. К.</i> - - - - -	123.
21. Ты шѣла про море. . Стих. <i>А. Туркина.</i> - - - -	129.
22. Отрывокъ. Стих. <i>Его-же.</i> - - - - -	130.
23. Лорель-Рѣнская почтмейстерша. Разсказъ Бретъ-Гарта. Съ англійск. перев. <i>В. И. и Е. В.</i> - - - - -	131.
24. Благородное памѣреніе. Разсказъ <i>Н. И. Вашина</i> - -	155.
25. „Забытый садъ“. Стих. <i>Василія Милыеа</i> - - - -	178.
26. Провинціальный дядя. Разсказъ Кремера. Съ голландскаго. Перев. <i>Л. А. Мурахиной</i> - - - - -	179.
27. Я помню, милый другъ... Стих. <i>А. Туркина.</i> - - - -	212.
28. Одинъ. Разсказъ. <i>О. И—на.</i> - - - - -	213.
29. Репортеры и печать въ Америкѣ. (Изъ „Jankeés fin de siècle“ <i>С. Жусселена).</i> <i>Е. К.</i> - - - - -	231.
30. Житейское. Разсказъ <i>И. М. Зобнина.</i> - - - -	239.
31. Неудавшаяся женитьба. Разсказъ Франсуа Коппе. Переводъ <i>П. Инф—ва.</i> - - - - -	255.

32.	По этапу. (Эскизъ). <i>Д. В. Левина.</i>	-	-	-	279.
33.	Пѣсня народная. <i>Максима Леонова</i>	-	-	-	286.
34.	Старуха. Разказъ. <i>А. Г. Туркина.</i>	-	-	-	287.
35.	Садъ давно заснулъ; смолкли шумъ и гамъ.. Стих. <i>Ф. Ф—монова</i>	-	-	-	292.
36.	Изъ былей о войнѣ. Съ англ. Перев. <i>Валерія Идельсона.</i>	-	-	-	293.
37.	Храмъ засыпалъ... Ночь развила... Стих. <i>Ник. Соколова.</i>	-	-	-	297.
38.	Герихонская труба. Разказъ <i>Н. В. Казанцева.</i>	-	-	-	299.
39.	Осенній путь. Стихотв. <i>И. Дялечкина.</i>	-	-	-	326.
40.	Спокойная совѣсть. Разказъ Киланда. Перев. съ норвежскаго <i>Л. А. Мурахиной</i>	-	-	-	327.
41.	Бѣдный баринъ. Очеркъ <i>В. П. Ушакова.</i>	-	-	-	346.
42.	Элегія. Стих. <i>Василія Миллева.</i>	-	-	-	339.
43.	Сто лѣтъ назадъ. (По поводу одного журнала) <i>В. И. Маноцкова.</i>	-	-	-	347.
44.	Изъ Гверильяскихъ войнъ. Переводъ съ испанскаго <i>Е. К.</i>	-	-	-	359.
45.	Nocturno. (Посвящ. Л. Э Ф). Стих. <i>Ветсемзи.</i>	-	-	-	373.
46.	Вѣрочка Рындица. Разказъ <i>Н. М. Соколова.</i>	-	-	-	374.
47.	Листки изъ дневника. I. Стих. <i>Ник. Соколова.</i>	-	-	-	386.
48.	Золото въ древности. Э. <i>Альберта.</i>	-	-	-	387.
49.	Силуэтъ. Стих. <i>Ф. Ф—въ.</i>	-	-	-	292.
50.	Нежданный избавитель. Святочный разказъ <i>П. В.</i>	-	-	-	393.

1878

Дня 1936 г. № 184094 П Служба с. Иркутск

Р
ЕЧ



10842

год.
улица Карла
Телефон

1928 г.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
№ 404

ЕЛКА ВЪ КУЛЮТКИНОЙ.

Новогодній рассказъ

Н. В. Казанцева.

Было часовъ восемь вечера, когда Лука Ивановичъ вернулся домой. На вопросъ квартирной хозяйки: будетъ-ли онъ пить чай, — Лука Ивановичъ отвѣчалъ, что не будетъ, и, пройдясь раза два по комнатамъ, снялъ сюртукъ и улегся на диванъ.

— Поваляюсь съ часикъ, — думалъ онъ, закрывался пледомъ, — а потомъ къ Вагинымъ встрѣчать новый годъ...

— Однако и усталъ-же я сегодня, — произнесъ онъ, потягиваясь на мягкомъ диванѣ, — да и есть отъ чего: спорили до хрипоты.

Лука Ивановичъ былъ статистивъ N — скаго земства. Въ этотъ день онъ прямо со службы отправился обѣдать къ своему приятелю, члену N-ской земской управы Егору Павловичу Ершову, и спорилъ съ нимъ нѣсколько часовъ подъ рядъ.

— И чудакъ-же этотъ Егоръ Павловичъ, — думалъ онъ о приятелѣ, — по его выходитъ, что все спасеніе въ корнеплодахъ и преимущественно въ картофелѣ. — И онъ улыбнулся, вспомнивъ, что Ершова зовутъ „картофельнымъ земцемъ“.

— А вечеромъ опять придется у Вагиныхъ спорить съ Марьей Николаевной о женскомъ вопросѣ, — продолжалъ онъ думать. — Милая дѣвушка эта Марья Николаевна и дѣлается еще милѣе, когда горячится. По неволѣ иногда ее обозлишь, доказывая, что женщина во всѣхъ отношеніяхъ ниже мужчины.

Онъ сладко зѣвнулъ, улегся поудобнѣе и задремалъ.

— Часика полтора всхрапнуть не вредно... — была послѣдняя сознательная его мысль; онъ уже чувствовалъ, что засыпаетъ, какъ его разбудилъ громкій голосъ: Да встанете-ли вы, наконецъ, сонюля!

Лука Ивановичъ открылъ глаза и увидалъ передъ собою знакомое лицо Ершова.

— Я за вами, — говорилъ онъ, — одѣвайтесь скорѣе и ѣдемъ.

— Куда? — спросилъ Лука Ивановичъ, вставая къ дивана.

— Въ Кулюткино, да ну, скорѣе-же!

— Какъ въ Кулюткино? — удивился Лука Ивановичъ, сообразивъ, что до Кулюткина отъ города 70 верстъ. — Позвольте, да, вѣдь, насъ ждуть у Вагиныхъ?

— Ну мы и ѣдемъ къ Марьѣ Николаевнѣ встрѣчать новый годъ.

— Какъ къ Марьѣ Николаевнѣ! Да развѣ она въ деревнѣ?

— Ну, да. Одѣвайтесь-же, — видите уже 10 часовъ.

Лука Ивановичъ машинально надѣлъ сюртукъ и шубу и вышелъ въ переднюю.

— На чемъ же мы поѣдемъ? — спросилъ онъ, сходя съ лѣстницы.

— Разумѣется, на велосипедѣ, — отвѣчалъ Ершовъ.

— Какъ на велосипедѣ? Это за 70 верстъ — зимой? — говорилъ онъ, теряясь въ недоумѣніи.

— Ахъ, да садитесь скорѣе, — сердито торопилъ его Ершовъ, указывая на стоящее у крыльца какое-то кресло на колесахъ. Лука Ивановичъ повиновался. Ершовъ, сѣвъ съ нимъ рядомъ, закуталъ ноги мѣховымъ одѣяломъ, завелъ, какъ заводятъ органчикъ, какимъ-то ключемъ что-то у кресла и они понеслись по гладкой зимней дорогѣ. Лука Ивановичъ до того былъ пораженъ необычностью всего происшедшаго, что только молча смотрѣлъ, какъ мелькали передъ его глазами красивые дома, лѣса и поля, покрытыя бѣлой пеленой снѣга.

— Очень удобная штука эти электрическіе велосипеды,—замѣтилъ Ершовъ.—Я настоялъ, чтобъ выписали десять велосипедовъ для нашего земства... Да что-же мы фонарь не зажжемъ,—прибавилъ онъ, повертывая какой-то винтикъ. Лука Ивановичъ даже привскочилъ на мѣстѣ. Дорога впереди освѣтилась волнами мягкаго голубого цвѣта.

— Не правда-ли—какъ это пріятно для глазъ?—спросилъ Ершовъ, и, не дожидаясь отвѣта, прибавилъ:—а теперь музыки послушаемъ.

Онъ опять повернулъ какое-то колеско, и до слуха Луки Ивановича донеслась тихая мелодія.

— Прелесть какая!—вырвалось у него невольно.

— Да, батюшка,—засмѣялся Ершовъ,—теперь, въ XX вѣкѣ, и поѣздки въ уѣздѣ дѣлаются съ комфортомъ. Не приходится тащиться по грязи. Однако вотъ и Кулюткино.

— Въ XX вѣкѣ? напрасно старался понять что-нибудь Лука Ивановичъ и, взглянувъ кругомъ, вскричалъ:

— Да неужели это Кулюткино?

— Конечно. Видите, какъ обстроились. Лука Ивановичъ не вѣрилъ глазамъ: вмѣсто почнувшихъ, гнѣющихъ избъ, стояли красивые домики, въ родѣ швейцарскихъ шале; улица, по которой теперь тихо катился велосипедъ, была ярко освѣщена и толпы народа шли къ большому ярко освѣщенному дому, на которомъ виднѣлась вывѣска: „Кулюткинская сельско-хозяйственная земская школа“.

— Какъ разъ пріѣхали во-время,—сказалъ Ершовъ, останавливая велосипедъ у крыльца школы. Снявъ шубы въ просторной передней, они вошли въ свѣтлый большой залъ, по срединѣ котораго стояла большая елка. Паркетный полъ зала блестѣлъ, отражая свѣтъ эдиссоновскихъ лампочекъ, освѣщавшихъ залъ.

— Ну, вотъ и отлично, что пріѣхали,—весело улыбаясь, сказала, здороваясь съ Лукой Ивановичемъ, Марья Николаевна;—мы только васъ и ждали, чтобъ начать праздникъ.

И съ этими словами она провела рукой по стѣнѣ: елка загорѣлась тысячами огней, раздавалась музыка, и изъ сосѣдней комнаты въ залъ вбѣжала толпа веселыхъ и нарядныхъ дѣтей. На-

чался праздникъ. Дѣти, подъ акомпаниментъ музыки, пѣли хоромъ изъ оперъ, составлялись танцы, игры. Старшій ученикъ школы, 16-лѣтній мальчикъ, произнесъ короткую рѣчь, въ которой благодарилъ жителей и земство за все, что сдѣлано для поднятія благосостоянія ихъ села, и съ ужасомъ на лицѣ вспомнилъ тяжелое про шлое, голодные годы, о которыхъ онъ слыхалъ отъ стариковъ. Около стѣнъ залы за столиками сидѣли отцы и матери дѣтей, ведя между собой оживленные разговоры. Отъ ихъ лицъ вѣяло довольствомъ и здоровьемъ. Здороваясь съ Ершовымъ и Лукой Ивановичемъ, они называли его по имени; но Лука Ивановичъ не узнавалъ въ этихъ нарядныхъ, довольныхъ и веселыхъ людяхъ прежнихъ кулюткинскихъ бѣдняковъ.

— Ну, не правъ-ли я былъ, доказывая прежде, что вся сила въ разведеніи корнеплодовъ?—обратился Ершовъ къ Лукѣ Ивановичу.—Видите, какихъ блестящихъ результатовъ мы достигли.

— Да какъ-же все это могло случиться?—спросилъ тотъ.

— Очень просто. Стали разводить корнеплоды, пошли урожаи, поднялось матеріальное благосостояніе. Съ увеличеніемъ количества азота въ почвахъ, неурожаи отошли въ область предавій.

— А засухи? Кобылка?

— Э, какую старину вспомнили! Возможны-ли засухи, когда мы имѣемъ такое количество атмосферныхъ осадковъ, какое намъ нужно? Количество азота въ почвѣ тоже урегулировано. Съ поднятіемъ экономическаго благосостоянія поднялся умственный и нравственный уровень. Наши два элеватора—лучшіе въ губерніи; наша сельско-хозяйственная газета расходуется въ 50000 экземплярахъ. Въ прошломъ году на сельско-хозяйственной выставкѣ въ Сиднеѣ Панкратій Сидорычъ получилъ премію за горохъ и картофель. Самая крупная картофелина вѣсила 39 фунтовъ, а отдѣльныя горошины достигали ста золотниковъ.

— Это, чортъ знаетъ,—что за чудеса! Ну а статистика у васъ какъ?

— Иванъ Созонычъ,—обратился Ершовъ къ одному изъ сидѣвшихъ у столиковъ,—покажите ему, какъ теперь поставлено у насъ это дѣло.

Иванъ Созонычъ подошелъ къ небольшому ящичку, вѣлан-

ному въ стѣну, подавилъ пружинку и ящикъ выбросилъ карточку, на которой Лука Ивановичъ прочелъ: „Волость Кулюткинская: жителей обоего пола 118.746., лошадей 24.710, скота крупнаго 287,415, мелкаго 386.702, свиней 500.001...“

— Свиней, одиѣхъ свиней полмилліона!—закричалъ Лука Ивановичъ.

— Въ Берлинѣ въ послѣднее время стали требовать Кулюткинскіе окорока,—скромно отвѣтилъ Иванъ Созоничъ.—Въ этомъ году мы отправили ихъ больше 150.000.

Дальше Лука Ивановичъ потерялъ всякую способность удивляться. Его не удивило, что Марья Николаевна налила ему чашку чая, собраннаго, какъ она объяснила, съ плантаціи Кулюткинской фермы. Онъ ѣлъ только что сорванные въ оранжереѣ персики и пилъ ананасное вино необыкновеннаго запаха и вкуса.

— Наши оранжереи славятся во всей губерніи, объяснилъ ему Ершовъ. Раздался звонокъ,—разговоры стихли.

— Теперь, сказала ему Марья Николаевна,—вы будете слушать оперу нашего молодого композитора Маратчи-Кабилова. Музыкальные критики Парижской музыкальной академіи говорятъ, что его башкирскія мелодіи вносятъ новую эру въ музыку.

Стѣна зала раздвинулась, раздалась увертюра и на сценѣ, представляющей необозримую стѣнь съ башкирскими кибитками, шла музыкальная драма. Сюжетъ оперы былъ взятъ изъ древнихъ башкирскихъ пѣсенъ. Изображались подвиги героя, его любовь къ прекрасной Амнѣ, его побѣды, пораженіе и смерть. Лука Ивановичъ не зналъ чему удивляться: до-дѣзамъ ли башкирскихъ теноровъ, чуднымъ-ли декораціямъ, или самой музыкѣ; онъ даже не подозрѣвалъ, что можетъ быть такая музыка.

Когда опера кончилась, громъ аплодисментовъ вызвалъ композитора, и Лука Ивановичъ узналъ въ немъ того малайку, который когда-то привозилъ ему кумысъ.

— А, вѣдь, въ концѣ прошлаго вѣка,—замѣтилъ Ершовъ,—существовало мнѣніе, что башкиры вымирающій народъ. А посмотрите-ка, теперь у нихъ въ Забировой университетъ, а мы еще едва-ли его откроемъ въ будущемъ году.

Послѣ представленія дѣтямъ, роздали подарки съ елки. Пер-

вый ученикъ школы, Кульковъ, получилъ въ подарокъ „Руководство къ искусственному производству дождя“, „Полный атласъ растений земнаго шара“ и „Исторію борьбы человѣческаго разума съ природой“. Первая ученица, Дуня Вьюшкина, получила „Систему міра Лапласа“, „Усиѣхи варіаціоннаго вычисленія въ XX вѣкѣ“ и „Фотографическій атласъ 5000 неподвижныхъ звѣздъ.“

— У ней удивительныя способности къ математикѣ и астрономіи,—объясняла Лукѣ Ивановичу Марья Николаевна.—Въ будущемъ году мы отправляемъ ее въ Царевкококшайскую астрономическую академію.

— Но кто-же ихъ всему этому учить?—спросилъ онъ Марью Николаевну.

— Какъ кто?—съ веселымъ смѣхомъ отвѣчала Марья Николаевна,—я, и два моихъ помощника.

— Но у васъ-то откуда такая масса знаній?

— Ахъ, Боже мой! Да, вѣдь, не даромъ же я получила званіе доктора педагогіи и магистра общеобразовательныхъ наукъ. Развѣ вы не знаете, что, не имѣя докторскаго диплома, нельзя быть начальницей перворазрядной женской школы?

— А языки у васъ преподаются?—почему-то вдругъ вспомнилъ Лука Ивановичъ.

— Обязательно только одинъ международный; остальные по желанію. Наша бібліотека въ послѣдній годъ значительно пополнилась, благодаря Карпу Карповичу,—прибавила Марья Николаевна, указывая на одного изъ присутствующихъ.—Безъ его просвѣщеннаго содѣйствія наша школа не могла-бы такъ процвѣтать. Въ прошломъ году онъ пожертвовалъ намъ всѣ произведенія выдающихся англійскихъ писателей XIX вѣка.

На этотъ разъ Лука Ивановичъ даже крикнулъ отъ удивленія. Въ Карпѣ Карповичѣ онъ узналъ Карпушку-кабатчика, державшаго въ ежовыхъ рукавицахъ цѣлую волость. Карпушка-кабитчикъ и англійскіе писатели?—Что же это такое?!

— Не удивляйтесь, Лука Ивановичъ,—сказалъ ему, точно угадавъ его мысль, Карпъ Карпычъ;—не удивляйтесь и не забывайте, что мы въ XX вѣкѣ. Безъ знакомства съ художественными произведеніями образованіе нашихъ дѣтей было бы односторонне.

— А въ своихъ двадцати кабакахъ водку вы продаете по-прежнему?—набросился на него Лука Ивановичъ.

— Кабаки? водка?—съ недоумѣніемъ переспросилъ Карпъ Карповичъ.

— Водку вы, батюшка, теперь найдете развѣ въ, музеяхъ,—вмѣшался Ершовъ.—Теперь мы пьемъ только гигиеническія виноградныя и фруктовыя вина. Последняго пьяваго видѣли у насъ 31-го декабря 1892 года. Да что вы постоянно возвращаетесь все къ воспоминаніямъ мучительно тяжелаго прошлаго!?—прибавилъ онъ съ досадой.

— XX вѣкъ, XX вѣкъ?—повторялъ про себя Лука Ивановичъ.—Не скоро я еще отдѣлаюсь отъ воспоминаній XIX вѣка!

Послѣ раздачи подарковъ дѣти ушли, а взрослыхъ гостей пригласили ужинать. Лука Ивановичъ любилъ хорошо покушать и ужинъ привелъ его въ восторгъ.

„Иткульскія устрицы,—читалъ онъ меню:—кунарская форель, исетская лососина, ростбивъ съ каравдинскими трюфелями, шарташскіе артишоки, маханъ въ мадерѣ, кулюткинская вядчина съ свѣжимъ горошкомъ, каплуны, выкормленные на сибирской кобылкѣ, фазанъ изъ Кабирова, свѣжіе огурцы, маседуанъ изъ ананасовъ, виноградъ, персики, абрикосы и вина изъ фруктъ мѣстнаго производства. Все это было такъ хорошо и изысканно, что самъ Лукуллъ не ѣлъ такого ужина, и приготовлено все было такъ вкусно, что даже Брилья Саварень остался бы въ восторгѣ. Сервировка стола, съ стоящими на нихъ какими-то тропическими цвѣтами, разливающими тонкій ароматъ, не заставляла желать ничего лучшаго. Музыкальныя машины играли увертюры и марши, звуки которыхъ, сливаясь съ оживленнымъ разговоромъ гостей, еще болѣе усиливали радостное настроеніе Луки Ивановича. Наложивъ себѣ полную тарелку всевозможныхъ фруктъ, онъ только что хотѣлъ положить въ ротъ большой кусокъ ананаса, какъ вдругъ почувствовалъ, что его трясуть за плечи.

— Да встанете-ли вы наконецъ!—слышитъ онъ сердитый голосъ.

Онъ открываетъ глаза и видитъ себя лежащимъ на диванѣ въ своей квартирѣ, а передъ нимъ стоятъ докторъ Луканинъ и становой Васильевъ.

— Экъ спитъ-то, человѣкъ, — говорилъ докторъ. — А я къ вамъ съ просьбой: дайте мнѣ вашу дорожную шубу, я свою отдалъ правлять.

— Шубу... Зачѣмъ шубу? — спрашиваетъ Лука Ивановичъ, силясь что-нибудь сообразить.

— Представьте — какая гадость! Сейчасъ ѣдемъ съ нимъ въ уѣздъ, — и докторъ указаль на станового, — добрые люди будутъ новый годъ встрѣчать, а ты тащись куда-то, къ чорту, въ такую метель.

— Да, признаюсь — удовольствіе! — замѣтилъ сердито становой. — Дорогу передудо, къ утру только доѣдешь, — а тамъ возись со слѣдствіемъ цѣлый день.

— Да вы куда ѣдете? — спросилъ, понемногу приходя въ себя, Лука Ивановичъ.

— Какъ она, чортъ ея возьми!? Кулюткина, что-ли?

— Ахъ, какъ тамъ хорошо! — вскричалъ Лука Ивановичъ, вскакивая съ дивана.

— Восхитительно! Самая скверная деревнюшка въ уѣздѣ. Однѣ блохи на земской квартирѣ чего стоятъ Дорога преподла! — ухабы...

— Да, вѣдь, вы на велосипедѣ?

— Да вы проснитесь!... Такъ я возьму шубу?

— Да, да, возьмите. Вы собственно зачѣмъ ѣдете?

— Извѣстная исторія, — отвѣчалъ становой, — праздники. Перепились и передрались всѣ поголовно и разнесли у Карпушки кабакъ. Самому Карпушкѣ голову проломили, кому-то кишки вынули. Два мертвыхъ тѣла. Ну ѣдемъ, докторъ!

— ѣдемъ, — чортъ ихъ возьми! — отвѣчалъ тотъ, надѣвая дорожную шубу Луки Ивановича и уходя вмѣстѣ со становымъ.

А Лука Ивановичъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ и только молча плюнулъ,





Д Р У З Ь Я,

Повѣсть.

Сочиненіе К*.

Глава I-я,

въ которой описываются лица, играющія разнообразныя роли какъ на одномъ домашнемъ спектаклѣ, такъ и на сценѣ жизни.

Утро Крещенскаго сочельника. Морозъ пробираетъ до костей. Въ воздухѣ стремительно носятся во всехъ направленіяхъ мірады снѣжныхъ сверкающихъ искорокъ. Старый шутникъ-морозъ чудитъ: здѣсь онъ превратилъ садикъ въ блистающее кружево, украсивъ его такимъ нѣжнымъ серебристымъ пухомъ, отъ котораго не гнутся самыя тоненькія вѣточки, рѣзко выдѣляющіяся на фонѣ голубаго неба; тутъ щипнулъ за носъ извощика, у котораго борода сдѣлалась совершенно серебряной; тамъ весьма чувствительно укололъ ухо прохожаго, который промолвилъ только: „а-а-а-а!“ и шагалъ быстрѣе. Ничего не подѣлать съ этимъ чудакомъ солнышку: вотъ оно и выглядываетъ украдкой изъ-за трубъ, прятаясь порой за густыми свѣтло-алыми столбами дыма, лѣниво ползущими къ небу.

Незнакомецъ, подгоняемый морозомъ, весьма бойко шагаль

по пустыннымъ, тихимъ улицамъ, а въ это время въ нижнемъ этажѣ дома купца Кадкина въ пріятныхъ разговорахъ проводила время маленькая компанія молодыхъ людей, затѣвавшихъ домашній спектакль.

Довольно просторная комната погружена въ таинственный сумракъ, такъ какъ окна загорожены декораціями; только въ одно окно пробивается слабый свѣтъ зимняго утра. Въ этой иолутъмѣ смутно чернѣютъ кучи кресель, стульевъ, табуретокъ, скамеекъ; тутъ валяются обрѣзки и свертки обой, пучки проволоки, гвозди, тамъ—чашки съ клейстеромъ и красками; тутъ—куча разнообразныхъ костюмовъ, веревки, зеркало, шпага, окно изъ голубой бумаги.

Среди этихъ разнообразныхъ кучъ стоитъ столъ; на немъ большой самоваръ, привѣтливо шипящій и пускающій во всѣ стороны струи пара. Около самовара цѣлая гора мягкаго бѣлаго хлѣба; по столу разсыпаны комки сахару и среди нихъ виднѣется бутылка съ коньякомъ.

За столомъ сидятъ три кавалера, съ большимъ наслажденіемъ попиваютъ чай съ коньякомъ и занимаются веселыми разговорами. Противъ самовара верхомъ на стулѣ засѣдаетъ сынъ хозяина дома Константинъ Ивановичъ, малый лѣтъ 25, человекъ весьма веселаго нрава, знающій бездну разнообразныхъ занимательныхъ анекдотовъ. Онъ только что окатилъ свою голову холодною со льдомъ водой,—поэтому бодръ и свѣжъ, какъ птица. Вся фигура его ежеминутно колыхается отъ раскатистаго смѣха. Онъ еще не успѣлъ какъ слѣдуетъ одѣться: на немъ нѣтъ ни сюртука, ни жилетки, а воротъ рубашки разстегнутъ. Возлѣ него на мягкомъ креслѣ съ большимъ комфортомъ расположился широколицый полный господинъ съ порядочной лысиной на головѣ, съ глубокомысленной физиономіей и неподвижными вытаращенными глазами свѣтло-сѣраго цвѣта.

Онъ одѣтъ въ широчайшій сюртукъ изъ толстаго сукна, порядочно уже поносившійся и лоснящійся во многихъ мѣстахъ, какъ кожа; въ довольно широкіе брюки, черные съ мелкими искрами, и громадныя сапоги. Изъ-подъ сюртука виднѣется бархатная жилетка съ необыкновенно-хитрымъ рисункомъ и двумя рядами стеклянныхъ голубыхъ пуговицъ съ золотыми цвѣточками. Жилетка

эта досталась Леониду Васильевичу (такъ зовутъ этого господина) отъ умершаго дѣдушки.

Жилетка застегнута наглухо и на ней весьма живописно лежить широкій воротничекъ рубашки палеваго цвѣта. Изъ-подъ воротника види́ются концы голубаго шелковаго галстука, завязаннаго громаднымъ бантомъ, и вьется по жилеткѣ серебряная цѣпочка. Третій собесѣдникъ, Сергѣй Александровичъ, во всѣхъ отношеніяхъ пріятный молодой человекъ. Даже когда онъ беретъ въ руки стаканъ чаю, или вынимаетъ изъ кармана шелковый платочекъ,—и этимъ обыкновеннымъ дѣйствіямъ онъ умѣетъ придать особенную прелесть: онъ это дѣлаетъ съ такой неторопливой плавностью, какъ будто совершаетъ торжественный обрядъ. Костюмъ Сергѣя Александровича сшитъ по самой послѣдней модѣ и отличается необыкновенною чистотою: нигдѣ ни одного маленькаго пятнышка, ни одной пылинки, ничего посторонняго—ни на коричневой жакеткѣ, изъ кармана которой выглядываетъ уголокъ шелковаго платка, ни на свѣтло-сѣрыхъ брюкахъ, ни на сапогахъ, которые блестятъ, какъ зеркало. Сахарный лобъ, вишни-глаза, малиновыя губы—все въ немъ верхъ совершенства.

И такъ, описанные кавалеры сидѣли за чаемъ и вели между собою дружелюбные разговоры. Константинъ Ивановичъ успѣлъ рассказать пять замысловатыхъ анекдотовъ, при чемъ Сергѣй Александровичъ сочувственно смѣялся и поддакивалъ, а Леонидъ Васильевичъ, прерывая лишь изрѣдка свое глубокомысленное молчаніе разнообразными критическими замѣчаніями, пилъ чай съ коньякомъ и безпрестанно курилъ, такъ что наконецъ, наподобіе безстрастнаго индійскаго божества, сидѣлъ на своемъ тронѣ, окруженный облаками.

— А право, какъ подумаешь, что завтра придется играть, такъ какъ-то отчасти даже жутко станеть,—сказалъ Сергѣй Александровичъ, закуривая папиросу.

— Жутко? Ха-ха-ха!.. То-ли еще завтра будетъ! Тутъ, братъ, тебя такая лихорадка пробереть, что.. Ха-ха-ха-ха-ха!

И Константинъ Ивановичъ, сказавъ эти утѣшительныя слова, подмигнулъ весело Леониду Васильевичу, который снисходительно улыбнулся и сталъ играть своей цѣпочкой. Затѣмъ Леонидъ Василье-

вичъ вытащилъ изъ глубочайшаго кармана своего сюртука черный портсигаръ съ картинкой, изображающей пастушка въ голубой курткѣ и коричневыхъ панталонахъ, стерегущаго стадо овецъ; изъ портсигара вынулъ громадную папиросу,—и портсигаръ вмѣстѣ съ пастушкомъ въ синей курткѣ и со всѣми овцами утонулъ въ таинственныхъ глубинахъ кармана. Потомъ Леонидъ Васильевичъ закурилъ папиросу, такъ что круглое лицо его сдѣлалось похожимъ на луну, закрытую облаками, и опять предался своимъ глубоко-мысленнымъ думамъ.

— А взгляните-ка, Леонидъ Васильевичъ, сколько времени? —спросилъ Константинъ Ивановичъ, разливая чай.

— Съ удовольствіемъ-бы, но моему хронометру совершенно нельзя довѣрять, какъ и моей своенравной фортуны, которая иногда благосклонна, а иногда...

И Леонидъ Васильевичъ тяжело вздохнулъ.

— Такъ, значитъ, ваши часы отстаютъ часа на два въ сутки?

— Нельзя сказать, чтобъ только отставали: отстаютъ и забѣгаютъ,—это будетъ вѣрная характеристика. Но, тѣмъ не менѣе, это великолѣпные часы!

При этомъ Леонидъ Васильевичъ весьма сильно щелкнулъ пальцемъ по крышкѣ своихъ часовъ, для того, вѣроятно, чтобы показать, насколько они хороши, и съ гордостью положилъ ихъ въ карманъ.

Сергѣй Александровичъ вынулъ неторопливо золотые часы и, медленно открывъ крышку, взглянулъ на циферблатъ.

—Одиннадцать безъ тринадцати...

— О-го-го го! Скоро уже репетиція!

И Константинъ Ивановичъ сталъ торопливо отыскивать свой сюртукъ.

— А, Данила!—вскричала Леонидъ Васильевичъ:—ну, иди, иди! Осторожнѣе только, осторожнѣе!

Слова эти относились къ знакомой читателю личности, путешествовавшей въ первыхъ строкахъ этой исторіи по пустыннымъ улицамъ. Освободившись отъ своей шубы, господинъ этотъ очутился въ черномъ поношенномъ сюртукѣ съ разнообразными пуговицами, изъ которыхъ инны были въ мѣдный пятакъ, а инны ни-

какъ не болѣе тѣхъ облаговъ, что приклеиваютъ въ аптекахъ къ микстурамъ. Синіе брюки ничуть не уступали инвалиду-скуртуку въ практическомъ изученіи разныхъ метеорологическихъ явленій. Шея его, какъ и ноги, была очень длинна, такъ что ея не могъ прикрыть стоячій воротникъ ситцевой рубашки съ фигурами въ родѣ фонарей.

Онъ вынулъ изъ кармана красный платокъ и, раскланиваясь съ компаніей, началъ отирать имъ свое посинѣвшее лицо и усы, превратившіеся въ льдинки. Затѣмъ, сдѣлавъ тщетную попытку пригладить свои взъерошенные волосы, онъ большими шагами направился къ Леониду Васильевичу.

— Вотъ и суфлеръ,—сказалъ Леонидъ Васильевичъ.—Вотъ, Константинъ Ивановичъ, рекомендую вамъ моего единственнаго друга, „опору въ превратной судьбѣ“ (при этомъ Леонидъ Васильевичъ вспомнилъ, вѣроятно, чудесныя прогулки изъ трактира „Адріанополь“) — Данила Никифоровичъ Уткинъ.

Уткинъ робко пожалъ своей посинѣвшей рукой мягкую руку Константина Ивановича.

— А, весьма радъ, весьма радъ! Такъ ужъ вы посуфлируйте маленько! Я сейчасъ... Сережа! помоги мнѣ отыскать скуртучище!

И Константинъ Ивановичъ помчался на поиски за скуртукомъ, а Уткинъ сѣлъ около Леонида Васильевича.

— Скоро, должно быть, барышни придутъ, Леонидъ Васильевичъ?

— Скоро, не скоро, а придутъ. А что?

— Смѣяться, пожалуй, будутъ: видите, какой у меня костюмъ...

— Да! пожалуй, что будутъ смѣяться,—замѣтилъ равнодушно Леонидъ Васильевичъ;—а вотъ если-бы у тебя былъ фракъ рублей въ пятьдесятъ....

— А развѣ такіе фраки бываютъ?

— Бываютъ. На свѣтѣ, братъ, все бываетъ! Такъ вотъ, если бы такой фракъ, да жилетка, какъ у меня, да часы мои,—такъ тогда бы ужъ никто не смѣялся!... Но, тѣмъ не менѣе, я тебя представляю одной восхитительной особѣ.

— Едва-ли представите: я, должно быть, убѣгу, когда барышни придутъ.

— Полно! будь твердь, какъ скала! Давай-ка курить.

Пріятели закурили и чрезъ минуту Уткинъ съ довольнымъ видомъ выслушивалъ планъ Леонида Васильевича устроить лѣтомъ увеселительную поѣздку, которая, конечно, не могла состояться.

— Такъ вотъ и прокатимся, Данила! освѣжимся! Что за восхищеніе ѣхать на пароходѣ! Утро. Солнце уже печетъ: день будетъ знойный. Но на водѣ прохладно. Мы съ тобой сидимъ на трапѣ и смотримъ на берега, которые утопаютъ „въ туманѣ моря голубомъ“. Вотъ пароходъ отходить отъ пристани. Мчимся мы, какъ птицы, по спокойной стихіи. По берегамъ зеленѣющія пажити. Лѣсъ синѣетъ на горизонтѣ, холмы сливаются съ далью. Колеса однообразно шумятъ... Но вотъ ночь набрасываетъ свой таинственный звѣздный покровъ, выплываетъ грустный, меланхолическій спутникъ и утѣшитель всѣхъ гонимыхъ своенравной фортуной,— выплываетъ мѣсяць. На мачтѣ горитъ фонарь. На темномъ берегу разведенъ рыбаками костеръ, и огонь такъ красиво отражается въ водѣ.

Леонидъ Васильевичъ замолчалъ и сталъ смотрѣть въ уголь, какъ бы созерцая уже картину великолѣпной лунной ночи.

— А поѣздка на лошадахъ въ нивѣшній вѣкъ пара и электричества, вытѣсняющіе этихъ четвероногихъ могиканъ! Теперь все рѣже приходится испытывать удовольствіе промчатся во весь духъ на ретивой тройкѣ!... Представь себѣ такую картину. Заходящее солнце. Лѣсъ озаренъ краснымъ свѣтомъ. Тѣни отъ насъ такія длинныя—до самаго лѣса. Ноги у лошадей сажени по три.. то есть, не у лошадей, а у лошадиныхъ тѣней,—и точно деревянные какія-то. Въ лѣсу постепенно стихаетъ веселое пѣніе птичекъ. Вотъ на опушкѣ стоитъ какой-нибудь мужичекъ съ топоромъ и съ любопытствомъ на насъ смотреть. Богомолки съ длинными палками и съ лаптями на спинѣ идутъ навстрѣчу. А мы сидимъ, окруженные подушками, точно въ гнѣздѣ какомъ-нибудь!... Дорога пылитъ. Колокольчики мелодично звенятъ. Ямщикъ запѣваетъ пѣню, въ которой,—по словамъ великаго поэта,—„то разгулье удалое, то сердечная тоска“...

— Какъ это вы хорошо говорите, Леонидъ Васильевичъ!—

сказаль восхищенный Уткинъ. — Только, вѣдь, вотъ что: денегъ очень много нужно будетъ!

— Ты ужъ объ этомъ, пожалуйста, не безпокойся! Будутъ, душа моя, будутъ.

Тутъ Леонидъ Васильевичъ понизилъ голосъ и таинственно произнесъ:

— Вотъ что я тебѣ скажу, Данила.. Ты только пока никому не говори,—слышишь?

— Ну?..

— Деньги будутъ, будутъ деньги!.. Слушай-ка!.. Я пишу романъ.

— Что вы?!

— Да. Такой романъ, милый мой, что... Конечно, все это еще пока начерно; этакіе, понимаешь, наброски, лоскуточки, хаотическая смѣсь. Но скоро все это я приведу въ порядокъ и перепишу начисто. Въ великій постъ перепишу. А теперь только отрывки, мысли.. Матеріаль, мой другъ, матеріаль!

При этихъ словахъ Леонидъ Васильевичъ вытащилъ необыкновенно истертый кожаный бумажникъ со множествомъ отдѣленій и застѣжекъ, и изъ него вынулъ, съ большой осторожностью, пакки бумажекъ разныхъ размѣровъ и цвѣтовъ, исписанныхъ мелкимъ почеркомъ.

— Вотъ сокровище моего сердца!

И Леонидъ Васильевичъ сталъ перебирать бумажки. Инья были чисты, какъ снѣгъ, инья истрепанные, съ загнутыми уголками, пожелтѣли и покрылись разнообразными пятнами.

— И вотъ, другъ ты мой, Данила! Ты, вѣдь, знаешь, что у меня ничего нѣтъ, ничего... кромѣ вотъ необходимаго платья, конечно. Отчего-же я счастливъ?... А отчего счастлива вольная пташка небесная? Оттого, что міръ, прекрасный Божій міръ, ей принадлежитъ, потому что и она ему принадлежитъ! Таковъ и я. Ни воры, ни пожары меня не пугаютъ, потому что omnia mea mecum porto,—все мое богатство всегда и вездѣ со мною!

При этомъ Леонидъ Васильевичъ засмѣялся счастливымъ дѣтскимъ смѣхомъ.

— Хорошо, Леонидъ Васильевичъ! Вотъ это хорошо.—И Уткинъ также засмѣялся.

Въ это время понабралось уже порядочно народу. Во всѣхъ углахъ слышались разнообразныя голоса. Табачный дымъ волнами ходилъ по комнатѣ.

— А что, если-бы они знали, Леонидъ Васильевичъ, что вы сочинитель! Что-бы у нихъ было? а?

Леонидъ Васильевичъ ничего не сказалъ, а махнулъ только рукой. Вдругъ онъ принялъ опять джентльменскую осанку.

— А вотъ и идутъ барышни! Готовься, Данила!

— Послушайте, Леонидъ Васильевичъ! Нельзя-ли какъ-нибудь того?...

— Не корячься, Данила, не корячься!—ободрительно произнесъ Леонидъ Васильевичъ, поправляя свой воротничекъ.

— А, Вѣра Николаевна! Мое почтение!

— Здравствуйте, Константинъ Ивановичъ!

— Здравствуйте, Вѣра Николаевна!

— Здравствуйте, здравствуйте! . Я роль совершенно не знаю, Константинъ Ивановичъ! Учила чуть не всю ночь—и все-таки не знаю. Такая досада!.. Какъ сегодня холодно!

— Да, очень холодно... Такъ какъ-же? подгучить, вѣдь, надо...

— Вотъ это Вѣра Николаевна Юрьевская,—сказалъ Леонидъ Васильевичъ.—У ней есть еще другое очень поэтическое и подходящее къ ея сангвиническому темпераменту имя: ее зовутъ „птичкой.“ Однако, ты, Данила, не вздумай назвать ее этимъ именемъ, хотя оно и восхитительно. Ну, теперь пойдемъ знакомиться. Хорошенькая?

— Да, хорошенькая.

— Очень?

— Очень.

— Взгляни на ея глаза. Небо! Ясное лѣтнее небо,—глубокое, таинственное и безпредѣльное! А волосы!? Это не волосы, а... невинный молоденькій ягненокъ. „Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва“,—къ ней относится это божественное изреченіе поэта! Идемъ!

— Нѣтъ, Леонидъ Васильевичъ! ужъ вы одни идите, а я какъ-нибудь въ другой разъ.

— Какъ въ другой разъ?

— Да также.

— Нѣтъ, въ другой разъ не годится. Ну, шагай! Стой! Голову держи прямѣе,—вотъ такъ. Руки пусть будутъ такимъ обра-зомъ,—нѣтъ, не такъ... Развизнѣе, развизнѣе! Чудесно! Теперь ты какъ слѣдуетъ, великосвѣтскій левъ!

Въ это время „великосвѣтскій левъ“ началъ необыкновенно растерянно и дико вращать глазами, выказывая намѣреніе куда-нибудь скрыться. Но Леонидъ Васильевичъ взялъ его за руку и повелъ къ Вѣрѣ Николаевнѣ.

— Здравствуйте, Вѣра Николаевна! Надѣюсь,—вы здоровы?

— Здравствуйте, Леонидъ Васильевичъ! Здорова, благодарю васъ. Какъ васъ давно я не видала!... А вы здоровы?

— Покорнѣйше благодарю! я совершенно здоровъ! Очень вамъ благодаренъ!

— Ну, вотъ и отлично! „Пока мы здоровы и живы,—будемъ пѣть, танцевать, веселиться“... Это у кого то въ стихотвореніи есть,—добавила Вѣра Николаевна съ лукавымъ видомъ.—Знаете-ли, сочинимте-ка мотивъ да и будемъ распѣвать! Хорошо?

— Я былъ бы необыкновенно счастливъ, Вѣра Николаевна! А позвольте вамъ представить моего задуманнаго друга, Данилу Никифоровича Уткина. Вотъ онъ, онъ можетъ пѣть, какъ... какъ соловей, сказалъ-бы я, если бы соловей способенъ былъ пѣть басомъ.... Онъ будетъ суфлировать.

— Вы будете суфлировать? Пожалуйста, мнѣ погромче! Я уже предчувствую, что стану путаться.

— О, онъ загремитъ, какъ труба подъ стѣнами Иерихона, если вамъ будетъ угодно! Присядь сюда, Данила!

Данила Никифоровичъ избрѣлъ въ это время предметъ для разговора.

— Иду я, знаете, сюда мимо харчевни...

— Кха, кха, кха, кха! Что это кашель... (Грозный взглядъ на Данилу Никифоровича. Тотъ окончателно погружается въ пугину отчаянія)—Кашель одолѣлъ!

— Кажется, хотятъ начинать репетицію. Послушайте, Данила Никифоровичъ! Тамъ на окнѣ моя роль лежитъ. Будьте добры—принесите ее мнѣ.

Когда Уткинъ ушелъ, Вѣра Николаевна обратилась къ Леониду Васильевичу:

— Вашъ пріятель, должно быть, страдаетъ отъ несчастной любви? да?

Неизвѣстно, почему у Вѣры Николаевны явилось такое предположеніе: жалкая-ли фигура Уткина навела ее на эту мысль, или она воображала, что всѣ отвергнутые влюбленные находятъ утѣшеніе въ разсужденіяхъ о харчевняхъ, въ которыхъ излѣчиваются ихъ разбитыя сердца.

Леонидъ Васильевичъ взглянулъ на Вѣру Николаевну такъ удивленно, какъ будто она сдѣлала необычайное открытіе, и вскричалъ съ живостью:

— Какъ это вы угадали? Да! такъ любилъ, такъ любилъ, какъ сорокъ тысячъ... А вотъ онъ и идетъ.

— Леонидъ Васильевичъ!.. Господинъ суфлеръ! пожалуйста репетицію начинать!—закричалъ Константинъ Ивановичъ.

Леонидъ Васильевичъ, весьма галантно раскланявшись съ Вѣрой Николаевной, взялъ подъ руку Данилу Никифоровича и они отправились къ столу.

Глава III.

Эта глава содержитъ въ себѣ отчетъ объ одномъ интересномъ спектаклѣ и о томъ, что послѣ него было.

Проснувшись на другое утро очень поздно, Данила Никифоровичъ потянулся лѣниво и вдругъ пріятная нѣга разлилась по всему его существу: онъ вспомнилъ, что въ этотъ день будетъ спектакль, что и онъ окупнется въ соблазнительный омутъ жизни и молодого безпечнаго веселья. „Ахъ, да, вѣдь, и ту дѣвушку я опять увижу! Вотъ такъ славная дѣвушка!“ Въ такихъ пріятныхъ размышленіяхъ Данила Никифоровичъ весьма быстро вскочилъ съ постели, закурилъ панироску и опять улегся, потому что зналъ, что ему совершенно нечего дѣлать до вечера.

„А, вѣдь, дѣйствительно, какая она хорошенькая! точно вотъ

малиновка, или синичка. Какъ, вѣдь, удачно ее „птичкой“ прозвали! Вотъ, кажется, возьми ты такую малюсенькую птичку въ руку, — она и затрепещется, и всѣмъ тѣльцемъ задрожитъ, вотъ-вотъ и умереть отъ страха; а выходитъ, что она сильнѣе тебя, ни за что ее не убить. И какъ у нея все хорошо выходитъ! Ну, хотя вотъ ѣсть она, напримѣръ. Всякій звѣрь ѣсть: и кошка, и собака, — вѣтъ, ужъ не то! Подлетитъ, это, она къ крошкѣ хлѣбной, посмотреть во всѣ стороны, посмотреть... Хватъ! И скоро, вѣдь, такъ, — ухъ, какъ быстро начнетъ ее клювикомъ своимъ растирать... А глазенки такъ и сверкаютъ, и на мѣстѣ ей ни минуты не пробыть, — все юркнуть надо. Такъ вотъ хотя и силенъ человѣкъ, а гляди на нее, только засмѣется и больше ничего... Однако, не выпить-ли стаканчикъ чаю?..“

Съ этими словами Данила Никифоровичъ бойко одѣлся и, проходя чрезъ сосѣднюю комнату умываться, увидѣлъ, что было уже 10 часовъ и что на столѣ лежалъ теплый сдобный хлѣбъ, изъ котораго мѣстами заманчиво выглядывали изюминки. Почувствовавъ себя еще лучше, герой нашъ живо умылся и принялся съ завиднымъ аппетитомъ уничтожать хлѣбъ и чай.

Накушавшись, онъ вздумалъ приготовить къ вечеру. Очень долго чистилъ свой сюртукъ и сапоги, приготовилъ папиросъ. Ну ужъ больше совершенно нечего было дѣлать!... „А что если до обѣда погулять?“

Озаренный этой счастливой мыслью, Данила Никифоровичъ одѣлся и отправился гулять. Побродилъ по улицамъ, читая афиши и объявленія, наклеенныя безъ всякаго норадка, такъ что вышло — будто разбойникъ Чуркинъ занимается продажей ветчины; зашелъ даже въ пивную выпить бутылку пива; затѣмъ опять бродилъ-бродилъ, — и очутился на рѣкѣ. Какъ тутъ тихо и пустынно сравнительно съ городомъ! Вонъ только мужикъ ѣдетъ за рѣку, покрикивая на свою лошадь. И Данила Никифоровичъ отправился также за рѣку. Присѣлъ на снѣжную кучу, полжбовался на деревья, осыпанныя снѣгомъ и такъ красиво освѣщенные солнышкомъ, взглянулъ на далекій городъ, который былъ какъ на ладони („Вонъ по этимъ улицамъ я сегодня гулялъ! У, какими маленькими кажутся отсюда люди!“), — и съ удивленіемъ замѣтилъ, что

на горизонтѣ появился уже мѣсяцъ, который казался очень страннымъ при дневномъ свѣтѣ. Почувствовавъ голодъ и сообразивъ, что времени уже порядочно, Данила Никифоровичъ такой бодрый и веселый отправился домой.

Было уже 4 часа. Значить два, только два какихъ-нибудь часа остается до начала спектакля!.. Покушавъ щей и жирнаго гуся, и запивъ обѣдъ свой кружкой молока съ порядочнымъ ломтемъ сдобнаго хлѣба, Данила Никифоровичъ почувствовалъ нѣкоторую тяжесть и, закуривъ папироску, улегся на кровать.

„Однако, у меня не особенно приглядное жилище!“ Жилище, дѣйствительно, было неприглядно: потолокъ оклеенъ старыми газетами, обои во многихъ мѣстахъ поизорвались и висѣли клочьями. По угламъ кой-гдѣ красовалась паутина. Въ окнахъ было очень немного цѣлыхъ стеколъ; подоконники сгнили, со стеколъ сбѣгала на нихъ вода и въ ней плавало порядочно окурковъ. Въ углу стоитъ некрашенный, залитый чернилами столъ, на немъ нѣсколько дешевенькихъ книжекъ, сапожныя щетки, двѣ-три тетрадки бумаги, жестяная довольно-таки грязная лампа и глиняная тарелка, замѣняющая пепельницу. Возлѣ стола два ветхихъ стула, въ сторонѣ ящикъ съ имуществомъ Данилы Никифоровича, вотъ и все. „А вѣдь, долго-ли бы украсить эту камору? Картинокъ какихъ-нибудь этакихъ навѣсить на стѣны,—и лохмотья бы закрылись, на столъ клееночку, половичковъ, цвѣточковъ на окна, занавѣсочки. И недорого все это стоитъ, а вотъ все какъ-то руки не доходятъ. Но не почитать-ли что-нибудь, отъ нечего дѣлать?“

И взявши со стола одну изъ тѣхъ книжекъ, которыя усердно распространяють по всѣмъ закоулкамъ нашего отечества лихіе книгопродавцы, таскающіе весь магазинъ свой за плечами,—что-то въ родѣ „атамана Чертоуса“ или „Живого мертвеца“,—Данила Никифоровичъ улегся на кровать и углубился въ чтеніе.

Шестой часъ. Швырнувъ книжку, Данила Никифоровичъ побѣжалъ умываться. Умывался онъ такъ тщательно, какъ будто хотѣлъ снять съ своего лица кожу. Одѣвшись въ сюртукъ, онъ съ удовольствіемъ замѣтилъ, что вечеромъ выглядитъ попригляднѣе, чѣмъ днемъ, особенно при умѣренномъ освѣщеніи. Ну, а тамъ, за кулисами, вѣдь, не будетъ большого освѣщенія.

— А чаю развѣ не будете кушать?—спросила хозяйка, увидѣвъ, что Давила Никифоровичъ облачался уже въ шубу,—сейчасъ самоваръ понесу на столъ.

— Помилуйте, какой тутъ чай! Меня, вѣдь, тамъ ужъ заждались, должно бытъ!

И съ гордостью взглянувъ на провожавшую его хозяйку, Давила Никифоровичъ вышелъ на улицу. „Вотъ, должно бытъ, скучно-то ей оставаться дома,“—подумалъ онъ про хозяйку.

Ахъ, какой тихій, какой нѣжный, задумчивый вечеръ! Небо потемнѣло. На немъ мѣстами зажглись трепетныя звѣзды. Мѣсяцъ былъ уже наравнѣ съ крестомъ дальней колокольни. Все сливалось въ неопредѣленность... Какая величественная тишина!.. Какой миръ!.. Сладкій покой послѣ заботливаго дня!..

Фу ты, какое поражающее обиліе свѣта въ залѣ Кадкиныхъ! По всѣмъ стѣнамъ повѣшены жестыя лампы, весьма красиво замаскированныя зеленью. Кажется, вотъ брось на чисто вымытый полъ иголку, такъ и ту сразу увидишь. И какой порядокъ! Кресла, стулья и скамейки стоятъ такъ ровно, чинно предъ чернымъ со звѣздами изъ золоченой бумаги занавѣсомъ, который такъ плавно и важно колышется. Пришли кой-кто и зрители и сидятъ уже группами, или-же разгуливаюгъ предъ занавѣсомъ, скрывающимъ таинственную сцену. Всѣ такіе тоже чистекіе, нарядные. На занавѣсѣ блуждаетъ отблескъ свѣчи, съ которою кто-то стремительно носится по сценѣ. Слышится сдержанный говоръ декораторовъ и удары молотковъ.

На темной сценѣ невообразимый беспорядокъ. Константинъ Ивановичъ и Сергѣй Александровичъ разстилаютъ коверъ, а Леонидъ Васильевичъ, желая имъ посвѣтить, перебѣгаетъ весьма бойко съ одного мѣста на другое и ностоянно суется именно туда, гдѣ нужно быть коври. Четвертый артистъ приколачиваетъ декорациі.

Леонидъ Васильевичъ вздумалъ было прилаживать окно, но упрямое окно никакъ не ставилось на свое мѣсто.

— Константинъ Ивановичъ! Будьте столь любезны,—приладьте эту штучку, а я пойду гримироваться.

Сказавши съ плѣнительной улыбкой эти слова, Леонидъ Ва-

ильевичъ ушелъ въ сосѣдную комнату, въ которой пребывали остальные артисты, находившіеся въ самомъ веселомъ расположеніи духа: номинутно слышались шутки и смѣхъ.

Въ сторонѣ четыре музыканта раскладывали свои ноты и настраивали инструменты. Среди корзины и картонокъ видѣлась голова соквартиранта Леонида Васильевича—Гриши, улетающаго съ большимъ аппетитомъ бутербродъ и съ довольнымъ видомъ наблюдающаго за парикмахеромъ, который украсилъ его громадной бородой и парикомъ съ локонами, въ какихъ обыкновенно выходятъ на сцену древніе греки и художники, хотя почтенный артистъ долженъ былъ играть роль Старикова (при этомъ удобномъ случаѣ увѣдомляемъ читателя, что къ постановкѣ готовится „Женитьба“). А вонъ въ противоположномъ концѣ сидитъ Вѣра Николаевна и заливается звонкимъ хохотомъ, смотри на невозмутимаго Гришу.

— Ахъ, посмотрите, ради Бога! Что-же это такое? Какъ я буду съ нимъ играть? Боже мой, какъ я буду съ нимъ играть?

— Я еще выкину фортель,—сказалъ Гриша, прожевывая бутербродъ,—ужь лучше вы на меня не смотрите!

Въ комнату вошелъ Леонидъ Васильевичъ и, не зная еще, надъ чѣмъ это такъ безумно хохочутъ, тоже счелъ нужнымъ умѣренно засмѣяться. Увидѣвъ парикмахера, летающаго во всѣхъ направленіяхъ съ непостижимою быстротою, таеъ что развѣвались по воздуху полы сюртука, Леонидъ Васильевичъ съ большимъ трудомъ поймалъ его и подвелъ къ столу, на которомъ находилось зеркало и безчисленное множество париковъ, банокъ, усовъ, пузырьковыхъ, коробокъ и прочихъ парикмахерскихъ вещей.

— Какую роль изволите играть?—освѣдомился бравый парикмахерь.

— Подколесина!—отвѣчалъ съ гордостью Леонидъ Васильевичъ и самодовольно посмотрѣлъ на себя въ зеркало.

Парикмахерь, напѣвая какую-то арію, надѣлъ на голову Леонида Васильевича парикъ и дернулъ два раза сзади не особенно деликатно, такъ что Леонидъ Васильевичъ сказалъ: „потіше, пожалуйста!“ Парикмахерь отвѣчалъ: „Ничего-съ!“ и дернулъ въ третій разъ иуще прежняго, чтобы показать, вѣроятно, что это дѣйствительно ничего. Наклеивши затѣмъ бакенбарды, парикмахерь

началь расписывать лицо Леонида Васильевича съ такимъ-же равнодушiемъ, съ какимъ маляръ красить заборы, поглядывая иногда гордо по сторонамъ и напѣвая свою арию.

— Готово-съ!

Леонидъ Васильевичъ отправился въ отдаленную комнату одѣваться въ халатъ.

— Поиграйте, госнода!—обратился къ музыкантамъ Константинъ Ивановичъ.

Музыканты взяли за свои инструменты и начали играть. Второй скрипачъ постоленно вралъ, такъ что, то и дѣло, получалъ отъ своего товарища выговоры. Контрабасистъ, разложивши предъ собою ноты и ни разу на нихъ не взглянувъ, извлекалъ изъ своего чудовищнаго инструмента дикiй ревъ. Флейтистъ дулъ съ такимъ усердiемъ, что у него бросилась изъ носу кровь и онъ принужденъ былъ удалиться въ кухню, гдѣ соединенными усилиями Уриши и кухарки былъ приведенъ въ самое прiятное расположе-
нiе духа.

Музыка кончена. Константинъ Ивановичъ звонитъ. Изъ зрительнаго зала доносятся аплодисменты и густой басъ: „Нельзя-ли поскорѣе?“ Дамы волнуются. Константинъ Ивановичъ отыскиваетъ Леонида Васильевича и ведетъ его на сцену, гдѣ съ отеческой заботливостью укладываетъ на диванъ. Затѣмъ, убѣдившись, что все въ порядкѣ, звонитъ вторично. Артисты начинаютъ трепетать. Нетерпѣливыя рукоплесканiя. „Занавѣсъ!“ неистово оретъ басъ.

— Можно начинать?

— Вали!... Гм...

Короткiй звонокъ. Разговоры и рукоплесканiя смолкаютъ. Константинъ Ивановичъ скрывается со сцены. Занавѣсъ торжественно двигается въ сторону, но достигаетъ только половины своего пути, не смотря на всѣ усилiя Уткина. Леонидъ Васильевичъ встаетъ съ своего мѣста, отдергиваетъ занавѣсъ, опять ложится и начинаетъ роль.

Ну, слава Богу, все идетъ какъ слѣдуетъ. Константинъ Ивановичъ, красный и въ поту, началъ даже улыбаться, прогуливался по комнатѣ. Вѣра Николаевна тоже ходитъ по комнатѣ изъ угла въ уголъ и внимательно читаетъ тетрадку. Дама въ коричневомъ

платъѣ волнуется и выглядываетъ время отъ времени въ щелку дверей на зрителей... Что это? Они замолчали!... Молчатъ!... Слышится только замогильный голосъ Данилы Никифоровича.... Поправились! Фу, какъ медленно тянется время!...

Но вотъ и конецъ! Сіяющій Леонидъ Васильевичъ удаляется въ столовую закусить.

Кончается благополучно и второе дѣйствіе. Зрители довольны спектаклемъ, потому что, по правдѣ сказать, мало и смотрѣли на сцену, а собрались только отъ нечего дѣлать,—благо бесплатно. Закрывается занавѣсъ къ неизрѣченной радости Леонида Васильевича, задвигались стулья, послышались апилодисменты, громкіе, веселые голоса,—и всѣ звуки слились въ неопредѣленный гулъ.

— Ну, вотъ теперь можно будетъ и выпить!—вскричалъ Леонидъ Васильевичъ, небрежно бросая на столъ парикъ и бакенбарды и ухвативъ за рукавъ старшаго скрипача.—Какой угодно? Разумѣется, этой? Водка прекрасная, смѣю васъ въ этомъ увѣрить!.. Ахъ, вы уходите?.. (обращается онъ къ дамѣ въ коричневомъ платъѣ). О ревуаръ! Спокойной ночи! Вотъ ваша пубка! Вѣра Николаевна! и вы оставляете насъ! о!.. Позвольте, вотъ ваши калошечки!

Гаснутъ огни, стихаетъ шумъ... Декораціи изорваны, гирлянды лежатъ на полу, мебель сбита въ кучу, половина занавѣса оборвалась и виситъ безпомощно... На окнѣ горитъ одинокая жестяная лампа съ закоптѣвшимъ стекломъ. По стѣнамъ и потолку двигаются громадныя тѣни... Мракъ! Разрушеніе! А, вѣдь, такъ недавно эта комната была залита свѣтомъ, такъ недавно тутъ находилось разнообразное веселое общество, шумѣвшее подобно пчелиному улью!.. Константину Ивановичу грустно, что такъ скоро кончился его праздникъ, но Данила Никифоровичъ торжествуетъ и даже не вѣритъ своему счастью: она, парица, мечта его души, попросила его быть провожатымъ!.. Не сонъ-ли это? Нѣтъ! Вотъ она стоитъ въ бѣленькомъ платочкѣ и разговариваетъ съ Леонидомъ Васильевичемъ.

— Ну, готовы, Данила Никифоровичъ? До свиданья, Леонидъ Васильевичъ! Ходите къ намъ чаще, какъ можно чаще!

Данила Никифоровичъ бросаетъ на своего друга свирѣпый

взглядъ. Леонидъ Васильевичъ раскланивается очень почтительно и держитъ лампу довольно криво.

— Ну, идемте!

И вотъ они одни на улицѣ. Ночь свѣтла и тиха. Мѣсяцъ почти надъ головами. Снѣгъ сверкаетъ; голубоватыя искорки перебѣгаютъ по нему весьма быстро. Слабый таинственный свѣтъ и полумракъ такъ чудно перемѣшались, тѣни отъ предметовъ такъ рѣзко выдѣляются на дѣвственно бѣломъ, блистающемъ снѣгѣ. Вдали, не ослѣпительно, но такъ отчетливо освѣщенный, возносится изъ окружающаго мрака къ чистому небу жестяной шпиль колокольни. Тутъ голубоватый свѣтъ отражается въ окнѣ, тамъ озарилъ часть крыши, здѣсь выхватилъ изъ тьмы уголь забора и нѣсколько деревьевъ. Тревожный городъ отдыхаетъ.... Тамъ, въ сіяющей вышинѣ теперь вѣчное движеніе и жизнь безъ страстей и горя. Серебряное облачко медленно и нлавно проносится предъ мѣсяцемъ. Какъ тамъ покойно! Ахъ, мѣсяцъ, мѣсяцъ! Свѣтитъ онъ кротко, точно лампадка передъ образомъ. Какъ хорошо! какъ хорошо! Морозный воздухъ освѣжаетъ щеки, снѣгъ скрипитъ подъ ногами... Эхъ, тройку бы лихихъ коней съ бубенчиками, да широкое поле!...

— О чемъ вы задумались?—слышится тихій, нѣжный голосокъ.

У Давида Никифоровича захватываетъ духъ, и онъ, вмѣсто отвѣта, испускаетъ только неопредѣленный звукъ.

— Вы слишкомъ торопитесь: я не могу такъ скоро идти.

Ахъ, какая очаровательная музыка!

— Вы, вѣроятно, мало гуляете съ барышнями? Дайте вашу руку... Ха ха-ха! Нѣтъ, не такъ! Я, вѣдь, не прощаюсь съ вами, а хочу удерживать васъ, что-бы вы не бѣжали такъ скоро.

Какъ близко тоненькій, хрупкій станъ „птички!“ Вдругъ сердце его наполнилось невѣдомымъ, хорошимъ тепломъ и хотѣлъ онъ крикнуть: „Птичка моя, птичка моя нѣжная! Дай, донесу я тебя на рукахъ своихъ!“ Но вмѣсто этихъ словъ промолвилъ только прерывающимся голосомъ:

— А вы далеко живете?

И опять онъ слышитъ серебристый смѣхъ и думаетъ про себя: „какая ты веселая, моя птичка!.. Да какъ и не быть ей ве-

селей? Вонъ она какая красавица да нарядная, она не знаетъ, какое-такое на свѣтѣ горе есть.

— А вамъ уже наскучило со мной идти?

— Нѣтъ, не наскучило.

Вотъ она спрашиваетъ, какъ онъ святки провелъ, рассказываетъ, какъ она веселилась, танцевала, приказываетъ ему учиться танцевать. Въ головѣ его въ это время возникаетъ планъ или избить кого-нибудь, или напиться съ Леонидомъ Васильевичемъ и какъ можно больше напумѣть.

— Вотъ и нашъ домъ. Благодарю, что проводили. Прощайте, спокойной ночи!

Стукнула дверь и все затихло. Постоявъ немного у запертыхъ дверей и вздохнувши, онъ зашагалъ обратно весьма быстро, усмѣхался и приговаривая порой про себя: „Ахъ, чортъ возьми! Ловко! Вотъ такъ штука!“

Глава 3-я.

Данила Никифоровичъ отваживается сразиться со своенравной фортуной.

Скоро сказка сказывается... Послѣ святокъ жизнь Данилы Никифоровича была такой чепухой, что описать ее никакъ невозможно. Съ утра до 3-хъ часовъ торчитъ на службѣ, вечеромъ валется на кровати,— вотъ и вся жизнь! И это жизнь!..

Отчаянно пронеслась съ дикимъ гиканьемъ и звономъ бубенчиковъ и безшабашная, разгульная масленица, ни капельки не расшевеливъ нашего героя. Однажды, вздумавъ было сходить въ театръ, онъ надѣлъ уже шубу и шапку, да, постоявши немного, опять раздѣлся и улегся на кровать.

Такъ бы и не появиться этой исторіи, если бы не весна, прилетѣвшая въ срединѣ великаго поста и начавшая по своему распоряжаться съ мертвымъ царствомъ. Бѣдная природа наша ждетъ уже къ великому празднику изъ роскошныхъ, дальнихъ странъ прекрасныхъ пернатыхъ гостей,— и поэтому, какъ заботливая хозяйка, начинаетъ все подчищать и украшать и, по обыкновенію всѣхъ хозяекъ, предъявляетъ прежде всего грязь, навозъ, ручьи мутной воды, журчающіе вездѣ, куда ни ступишь. Солнышко поднимается пораньше, и попозже уходитъ на покой за дальній лѣсъ;

оно внимательно наблюдаетъ, все-ли на землѣ готовится, какъ слѣдуетъ, къ встрѣчѣ праздника. Сердитые, расторопные ручьи неустанно уничтожаютъ почернѣвшій снѣгъ; даже льду на рѣкѣ приходится плохо. Вотъ уже возвратились изъ заграничнаго путешествія грачи и, горделиво погуливая по навознымъ кучамъ, надменно, искоса посмагиваютъ на неугомонныхъ воробьевъ, которые, ночуя тепло, стремительно перелетаютъ съ одного мѣста на другое, жестоко дерутся между собой и такъ пронзительно, поперебой трещатъ, что зажимай только уши, и больше ничего!... Не смотря на навозъ, грязь и прочую дрянь,—всѣмъ такъ легко и весело.

А Данила Никифоровичъ все-таки лежитъ на кровати, уставившись въ потолокъ. Ему и горя мало, что пришла весна.

Наступалъ вечеръ. Усталое солнце готовилось уже юркнуть за лѣсъ. „Ну слава тебѣ, Господи! Скоро чай будемъ пить, а потомъ...“ А потомъ... онъ и самъ не зналъ, что будетъ. Да будетъ, конечно, ждать ужина, затѣмъ поужинаетъ, затѣмъ уснетъ—вотъ и прошелъ день безъ грѣха. „Однако-же, скучновато немного. А дѣлать положительно нечего! Скоро-ли они тамъ съ чаемъ-то?“ Въ такомъ родѣ продолжались думы Данилы Никифоровича и онъ не замѣтилъ (потому что внимательно созерцалъ потолокъ), какъ въ дверяхъ появился Леонидъ Васильевичъ съ улыбающейся физиономіей и сіяющей лысиной. Постоявъ въ дверяхъ довольно долго и видя, что Уткинъ все еще не замѣчаетъ его, онъ ступилъ шагъ впередъ и остановился противъ кровати, скрестивши руки.

— Леонидъ Васильевичъ!—вскричалъ обрадованный Уткинъ, приподнимаясь.

Леонидъ Васильевичъ все стоитъ, скрестивши руки и улыбаясь, чѣмъ приводитъ Уткина въ недоумѣніе. Наконецъ, чрезъ очень продолжительное время говоритъ медленно:

— Жребій брошенъ и корабли сожжены!

Величественно протягиваетъ недоумѣвающему Уткину руку.

— Жениться вздумали, Леонидъ Васильевичъ?

— Лучше, несравненно лучше! Что такое—жениться? Жениться можетъ всякій. Положимъ—благодарное потомство, но самъ все-таки умрешь, и похоронятъ, и личность исчезнетъ... исчез-

нетъ, какъ дымъ!... А что, если никогда... Понимаешь-ли, Данила,—никогда, ни-ког-да не умирать!

И съ великимъ волненіемъ добавилъ:

— Романъ мой оконченъ!

Съ этими словами Леонидъ Васильевичъ вынулъ изъ кармана толстую, необыкновенно чистую тетрадь и, подержавъ ее нѣсколько времени надъ головой, бережно, какъ самую хрупкую вещь, положилъ на столъ, предварительно дунувъ на него.

— Такъ вотъ какъ, Давилушка,—продолжалъ новоиспеченный литераторъ, садясь на кровать и принимая свой портсигаръ.— Кури! А угадай-ка, какой у меня псевдонимъ! Нѣтъ, не угадать... „Щелкоперъ!...“ Что-же это значить? А это значить вотъ что: бить, карать, уничтожать, щелкать людскіе пороки, людскую подлость, лицемеріе, эгоизмъ! Берегитесь, всесильные жрецы златого тельца!... Но приходите, приходите сюда, къ этому наболѣвшему сердцу, вы, забытые, униженные, потерявшіе образъ Божій! Изстрадавшееся сердце открыто для васъ...

Вотъ это значить мой псевдонимъ, который съ перваго раза можетъ показаться обидной, насмѣшливой кличкой... Вичъ Божій!.. Вознесусь я, Данила, окруженный ореоломъ славы и слова мои полетятъ, какъ молнія изъ тучи, превращая въ пепель злобу людскую!... О, слава, слава, слава!

Слова Леонида Васильевича, дѣйствительно, вскорѣ начали гремѣть какъ бы изъ тучи, потому что, въ волненіи, онъ безпрестанно курилъ и окружилъ себя густыми облаками.

То садясь на кровать, то вскакивая и размахивая руками, Леонидъ Васильевичъ гремѣлъ до тѣхъ поръ, пока совершенно смерклося.

Въ комнату вошелъ мальчикъ лѣтъ 7-ми.

— Огня вамъ нужно, Данила Никифоровичъ?

— Огня? да, пожалуй, нужно огня.

Ребенокъ принесъ лампу.

— Хорошо, Леонидъ Васильевичъ, очень хорошо будетъ, когда напечатаютъ вашъ романъ.

Леонидъ Васильевичъ съ любовью посмотрѣлъ на свою тетрадь и вдругъ замѣтилъ на столѣ исписанную бумажку.

— А это что такое? Стихи какіе-то! Ну-ка!

„Никогда не забыть“...

— А это такъ, Леонидъ Васильевичъ,—поспѣшно вскричалъ Уткинъ,—это пустыки и читать не стоитъ, право, не стоитъ... Нѣтъ, отдайте тетрадку-то!.. Ну-те-ка, вотъ вашъ романъ читаемъ.

— Нѣтъ, погоди! что это ты ужъ очень смутился? Вѣрно, это твое произведеніе? Такъ! Почеркъ твой. А ну-ка!..

— Такъ какъ-же это, право!..

— Ничего, ничего! Сиди спокойно.

„Никогда не забыть мнѣ тѣхъ чудныхъ очей,

„Что такъ ласково, нѣжно глядѣли...

„Никогда не забыть мнѣ тѣхъ тихихъ ночей,

„Когда звѣзды, мерцаая, горѣли;

„Когда въ....“

— Что тутъ такое? Никакъ не могу разобрать.

— Позвольте, Леонидъ Васильевичъ, я прочитаю.

И дрожащимъ отъ волненія голосомъ, но принявъ горделивую позу, Уткинъ началъ читать:

„Когда въ грезахъ ночныхъ ты являлася мнѣ,

„Грустный взглядъ твой былъ полонъ мольбою,

„Я тогда былъ доволенъ судьбою: во снѣ

„Я безъ словъ любовался тобою..

„Все прошло! Ужъ я больше не вижу тебя,

„Ужъ теперь никогда не увижу!..

„Но все еще пламенно, страстно любя,

„Я постылую жизнь ненавижу!...“

— Д-д-д-да!—сказалъ Леонидъ Васильевичъ послѣ нѣкотораго молчанія.—Много чувства! Не зналъ я, Данила, что ты поэтъ, не ожидалъ!.. Чувствѣ есть,—это хорошо!.. Ну, а кто?

— Что—кто?

— Кто заставилъ трепетать и биться твое бѣдное сердце? При этихъ словахъ, произнесенныхъ вкрадчивымъ шопотомъ, Леонидъ Васильевичъ притянулъ къ себѣ Уткина и посадилъ рядомъ съ собою.

— Да вотъ ей-Богу-же...

- Ну, ну, ну, ну! Прежде всего: я ее знаю?
- Да вотъ...
- Позволь. Ну, знаю я ее?
- Ну, знаете...
- Хорошо. Имя?
- Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, Леонидъ Васильевичъ...
- Постой, постой!.. Я ее знаю—это разъ. Давно ты съ ней знакомъ?
- Давно. То-есть, какъ—давно?
- Ну, годъ, два, три. Или всего вѣскольکو мѣсяцевъ?
- Третій мѣсяць.
- Третій мѣсяць... Гм! Гдѣ познакомился?
- Да, вѣдь, мало-ли гдѣ можно познакомиться? Для чего это вамъ, право?
- А не будешь отвѣчать, такъ, вѣдь, я и спрашивать не стану. Третій мѣсяць—два. А познакомился въ гостяхъ?
- Въ гостяхъ.
- Я ее знаю.. Третій мѣсяць... мартъ, февраль, январь... январь... январь...
- Не можете угадать?
- Январь... Ба! У Кадкиныхъ?
- М-м-м!
- Чудесно! Съ кѣмъ-же ты тамъ говорилъ больше? Эге! Давай бумагу и карандашъ. а самъ лежи и молчи.
- Леонидъ Васильевичъ, взявши бумагу и карандашъ, сталъ тереть свой лобъ и кусать карандашъ. Наконецъ написалъ и подалъ Уткиву слѣдующее стихотвореніе:
- „Вотъ прекрасный мотылекъ!
 „Эхъ, какъ онъ меня увлекъ!
 „Раневъ въ сердце прямо я,
 „А вина въ томъ не моя!“
- Читай начальныя буквы!
- Такъ вѣдь тутъ Ъ нужно, а не Э.
- А, та-та-та! Испекся! Такъ какъ? Ъ нужно? Ну молодецъ! Хвалю за выборъ! Красавица, именно, красавица!... Да и богата. Положимъ, мы съ тобой не гонимся за земнымъ

богатствомъ: въ насъ течеть благородная кровь—за это я теби и люблю,—но что-жь? Вѣдь, не мы идемъ за богатствомъ, а оно идетъ къ намъ. Бѣдность не порокъ... да, не порокъ; этого для нея мало, мой милый,—она мать всѣхъ пороковъ. Найди страницу восемьдесятъ шестую и увидишь, что это такъ... Х-хе! Теперь я начинаю кое-что понимать!

И Леонидъ Васильевичъ, быстро вскочивъ съ мѣста, запагаль по комнатѣ. Потомъ, остановившись предъ взволнованнымъ своимъ другомъ, онъ, положивъ руки ему на плечи и смотря на него добрыми сіяющими глазами, сказалъ:

— Я у нихъ былъ недавно... Слушай, Данила мой, слушай, другъ! И она о тебѣ спрашивала подробно такъ, понимаешь, подробно,—какъ ты живешь. Я ей, ангелу миленькому, все, все безъ утайки разказалъ про жизнь нашу горемычную. А она, Данила, выслушавъ разказъ мой, вздохнула глубоко... Ну, ну... что-же отсюда слѣдуетъ? Что интересуется она тобой, что искорка, искорка Божія упала...

И не окончивъ рѣчи, онъ началъ трясти своего пріятеля, обнялъ и засмѣялся весело.

— Что вы, Леонидъ Васильевичъ? Да нѣтъ...

— Что—нѣтъ?

— Нѣтъ... Мнѣ вотъ все кажется, что меня всякій зашибить можетъ...

— То-есть, какъ зашибить? Зачѣмъ?

— Да такъ. Просто вотъ возьметъ, да и зашибетъ.

— Ты боленъ, Данила! Тебѣ надо двигаться больше, развлекаться. Нѣтъ, братецъ, есть люди и хуже насъ съ тобой, а счастье себѣ находятъ. Не робѣй! Главное, не робѣй! Ты самъ себя не знаешь!

— Такъ неужели-же?..

— Что-же тутъ невѣроятнаго? Ты бѣденъ, она имѣетъ средства. Великолѣпно А удержишь ты слабой рукой своей колесо фортуны?... Не богатство, а человѣкъ, человѣкъ нужен!

— Ахъ, голубчикъ вы мой, отецъ ты мой, Леонидъ Васильевичъ!

— Братъ, братъ я твой старшій, Данила, одинокій ты эта-

кій человѣкъ!.. Но заря жизни и радости засіяла на небѣ нашемъ! День счастья, день счастья близокъ, другъ!.. Ну, сбрось свою хандру, будь человѣкомъ и приготовься вступить въ счастливую страну. Какъ это хорошо, Данила, какъ это хорошо! Представь себѣ. Зимній вечеръ. На улицѣ гудитъ вьюга. Мелкій снѣгъ стучитъ въ окна и вѣтеръ воетъ въ трубѣ... Тьма за окномъ... А вы... вы сидите вдвоемъ предъ яркимъ каминомъ, въ которомъ такъ весело трещать дрова. Вотъ самоваръ на столѣ, вотъ жена, малютка-жена бѣленькой ручкой своей (кружевцо какое нибудь на рукавчикѣ) чаю тебѣ наливаетъ. А потомъ... дѣточки, ангельчики Божіи, въ домикъ твой прилетятъ и щебетать около тебя будутъ... „Волосы твои носѣдѣютъ, но сердце будетъ радостно биться“... Давай-ка, Данила, чѣмъ откладывать въ долгій ящикъ, объяснись ей въ любви.. да вотъ завтра-же.

— Завтра?

— Да. Да что ты точно испугался! Развѣ это преступленіе какое нибудь—сказать дѣвушкѣ, что ты ее любишь? Слушай. Завтра она въ Воскресенскую церковь къ вечернѣ пойдетъ. И ты иди туда. Будетъ она изъ церкви выходить, ты, какъ будто нечаянно, и встань на дорогѣ. Поздоровайся и предложи ей проводить. Она согласится съ удовольствіемъ. Ты начни рѣчь о чемъ-нибудь постороннемъ сначала и все за ней наблюдай, все наблюдай! Она вздохнетъ. Ты и спроси: „О чемъ это вы вздыхаете, Вѣра Николаевна?“— „Такъ, скажетъ, ни о чемъ.“— „А, вѣдь, я, скажи, догадываюсь.“— „О чемъ?“— „Объ одномъ человѣкѣ.“ Она будетъ молчать. „А близко онъ или далеко?“— „Близко, очень близко!“— „А отчего-же я его не вижу?“— Она улыбнется, а ты и открой ей свое сердце. Очень, вѣдь, просто.

— Просто то оно просто... Ну, а вдругъ она не будетъ вздыхать.

— Будетъ. Ну, вздыхать не будетъ, такъ молчать будетъ, задумчивая такая сдѣлается.

— Вотъ развѣ молчать будетъ... Это пожалуй..

— Ну, вотъ съ молчать и начни. „Отчего вы молчите? Отчего вы задумались такъ?“ И пойдетъ дѣло. Будь мужчиной! И такъ...

И Леонидъ Васильевичъ протянулъ Данилѣ Никифоровичу руку, которую тотъ крѣпко пожалъ.

— Ну-съ, я пойду, — сказалъ Леонидъ Васильевичъ, взглянувъ на свой хронометръ. — Времени, должно быть, ужь порядочно: мое мѣрило уже двѣнадцатый часъ показываетъ. Спокойной ночи и пріятныхъ сновъ! Завтра увидимся послѣ того... А я тогда (ударяетъ себя по карману, гдѣ лежитъ рукопись) золотые часы куплю. Ну, прощай!

Съ этими словами Леонидъ Васильевичъ вышелъ, а Уткинъ улегся на кровать и завернулся въ свое старенькое одѣяло. Ему было такъ хорошо и сердце его такъ сильно билось!...

На другой день вечеромъ Данила Никифоровичъ шелъ въ Воскресенскую церковь, слушая съ трепещущимъ сердцемъ рѣдкій звонъ. Солнце закатывалось. Крестъ блестѣлъ надъ колокольней. Около него шумно кружились галки. Небо такое чистое, вечеръ такой теплый, ручьи такъ мелодично журчатъ по улицамъ. Данила Никифоровичъ почувствовалъ себя такъ легко, какъ будто добрая, нѣжная подруга рѣшилась уже проходить съ нимъ дальнѣйшій жизненный путь. Вошедши въ церковь, онъ всталъ въ уголъ и усердно началъ молиться предъ темнымъ ликомъ Спасителя. Какъ хорошо горять камешки на окладѣ иконы! Какой миръ здѣсь! Солнечные лучи косыми блестящими столбами лились въ полутемную церковь; облака дыма клубились въ ихъ огнѣ. Кой-гдѣ во мракѣ мерцають ласково огоньки лампадъ и свѣчь. Тихо... Слышно только, какъ староста разставляетъ свѣчи, постукиваетъ своими сапогами.

„Господи, Владыко живота моего! Духъ праздности, унынія, любоначалія и празднословія — не даждь ми“...

Священникъ бѣлъ, какъ снѣгъ, ряса на немъ старенькая, истертая, и эпитрахиль старенькая. Данила Никифоровичъ почувствовалъ вдругъ великое почтеніе и любовь къ этому колѣнопреклоненному старичку.

Вотъ и пришла... Стала въ сторонѣ и смиренно такъ стоять. Какъ близка она ему показалась! Точно вотъ уже теперь, въ эту минуту, она жена его передъ Богомъ. Какъ это въ самомъ дѣлѣ просто! И онъ сталъ еще усерднѣе молиться, и чувствовалъ, какъ

невѣдомый ему дотолѣ миръ вливался въ его душу, и все на свѣтѣ стало ему такъ близко и дорого...

Какъ скоро окончилась служба! Вотъ уже и уходятъ, Только какая-то старушка все еще усердно молится, стоя на колѣняхъ. Онъ подошелъ къ дверямъ и остановился... Наступаетъ рѣшительная минута, но сердце его не дрожить. Довольно скоро она идетъ къ дверямъ, но не видитъ его.

— Здравствуйте, Вѣра Николаевна!—тихо сказалъ онъ.

Подняла голову, взглянула, улыбнулась.

— Ахъ, здравствуйте!

И ушла. А онъ такъ и остался, раздумывая, какъ-же ему быть теперь... Недовольный собою отправился онъ домой и опять началъ предаваться унынію, какъ изъ задумчивости его вывелъ голосъ Леонида Васильевича:

— Провожалъ? Объяснился?...

— Нѣтъ...

— Что-же это ты такъ? Отчего не пошелъ провожать?

— Да ушла скоро. Какъ-то оно того!.. Эти шляпочки у нихъ „гамлетками“ называются?

— Эхъ! Самъ-то ты „гамлетка“!... Какъ-же теперь?

— Не знаю, право...

— Гм!... А постой-ка, дай-ка я примусь за дѣло. Понимаешь, —я сама буду орудовать! Идетъ! По рукамъ!... Ну, ужъ теперь попадется наша птичка въ сѣти! Не тоскуй, Данила, не тоскуй! Лѣтомъ ты будешь женатъ... Идемъ ко мнѣ чай пить...

Глава 4-я.

Увеселительная поѣздка за рѣку и ея послѣдствія.

Чудесный майскій вечеръ. Данила Никифоровичъ сидитъ предъ открытымъ окномъ. Легкій, едва ощущаемый вѣтерокъ пріятно обвѣваетъ его щеки. Онъ съ наслажденіемъ вдыхаетъ наполненный ароматомъ черемухи воздухъ, попиваетъ чай и любитъ на далекіе сады, освѣщенные лучами заходящаго солнца, и на недвижную рѣку. Стекла домовъ блестятъ, какъ золото... Все въ природѣ понемногу замолкаетъ. Гдѣ-то невдалекѣ прожужжалъ май-

скій жукъ и сѣлъ на окно. Посидѣвши немного, онъ полетѣлъ въ огородъ, въ густую крапиву.

„Какой этотъ жукъ громадное для него путешествіе сдѣлалъ! Чего, чего только онъ ни насмотрѣлся! А вотъ теперь на покой улетѣлъ... Ни квартиры ему не нужно, ни постелей, ни одежды —ничего! Вездѣ ему есть и пища, и пріютъ!...“

Шумъ торопливыхъ шаговъ въ сосѣдней комнатѣ вывелъ Данилу Никифоровича изъ задумчивости. Онъ оглянулся и увидѣлъ Леонида Васильевича, отирающаго платкомъ лобъ.

— Ну, Данила, одѣвайся! Ѣдемъ сейчасъ кататься по рѣкѣ... Ѣдетъ!

Данила Никифоровичъ вскочилъ весьма быстро съ мѣста, какъ будто его ужалила змѣя.

— Что вы?... Да гдѣ она?

— Дома еще... Фу-у-у! Скоро придуть... Одѣвайся. Умойся сначала. Подожди, я тебѣ помогу. Компанія большая: во-первыхъ... во-первыхъ... она, твоя птичка, радость души твоей... Серьезно!... Во-вторыхъ—бабушка, почтенная патріаршица семьи... Гдѣ-же полотенце?.. Отважная женщина! Женщина характера стойкаго и темперамента... какъ бы тебѣ сказать?... Да однимъ словомъ—вѣдьма. Но аристократка до мозга костей. Зовутъ ее Надеждой Петровной.. И такъ, значить, въ нашемъ утломъ челнѣ будутъ Вѣра, Надежда и... Любовь!

— А вы, Леонидъ Васильевичъ, давно-ли съ ними познакомились?—послышалось изъ струй водопада.

— Давно-ли?.. Да, вѣдь, я Вѣрочку твою на рукахъ носилъ —я у отца ея конторщикомъ былъ.

— Вонъ какъ!

— Да. Ну, утрись!.. Эге, братецъ! Да комнатка у тебя хоть куда! Картинки, цвѣточки!.. Э-э! да и часы пріобрѣлъ!

— И часы теперь есть. Рубль заплатилъ. Одежду новую я, вѣдь, купилъ, Леонидъ Васильевичъ!

— Въ самомъ дѣлѣ?

— А вотъ взгляните-ка!

И Данила Никифоровичъ бережно вынулъ изъ ящика новый костюмъ.

— Что, какова жакетка? а? Одиннадцать съ полтиной стоить. Позвольте-ка, я примѣрю. Какъ будто широка немного?

— Нѣтъ, какъ слѣдуетъ. Хвалю, хвалю! Молодецъ! Однако, одѣвайся... Рубашку ты бы вотъ эту надѣлъ: она попригляднѣе кажется. Обнову хочешь надѣтъ? Испачкаешь, вѣдь! Брюки старые пусть будутъ,—ты ихъ въ сапоги, за голенище. Вотъ такъ. А пиджакъ, пожалуй, и новенькій—ему ничего не сдѣлается.

— Такъ вотъ оно какъ! Вы у нихъ, значить, и были конторщикомъ!

— У кого?

— Ну, да у отца-то?

— У отца? У твоего отца?

— Нѣтъ... Ахъ, какой! точно не понимаетъ!..

— Ну, да, да, да! У отца твоей бѣленькой голубки!.. Позволь-ка, я тебя причешу. Фу, ты чортъ возьми! прекрасно! У тебя и цвѣтъ лица лучше сталь, да и пополнѣлъ ты! Движенія только, движенія граціознѣе. Знаешь-ли, ты теперь точно какой-нибудь германскій студентъ: игра жизни, кружка пива, трубка—и больше ничего не нужно!.. Идемъ. Главное—смѣлость, смѣлость и смѣлость! Помни, что я тебя никогда, никогда, Данила, не оставлю... А представь себѣ: романъ все еще не напечатанъ. Передъ Пасхой послалъ въ редакцію. Не знаю, что они медлятъ. И не пишутъ ничего... Ну, да теперь пока не до него: надо вотъ твое дѣло устроить. Такъ, вѣдь? а? Ха-ха-ха-ха!.. Ну, идемъ, идемъ!

Торжествующіе пріятели съ шутками и хохотомъ пошли на рѣку. У перевоза, гдѣ условлено было встрѣтиться, компаніи еще не было.

— А вдругъ они раздумали ѣхать?—спросилъ Данила Никифоровичъ.

— Вотъ, на! Съ какой это стати? А давай-ка, Данилушка, купаться!

— Что-же, пожалуй!

— Пойдемъ вонъ туда. У, какая вода теплая! Что, ребятки, глубоко тутъ?

— Вотъ!—закричалъ одинъ мальчуганъ и, погрузившись въ воду, высунулъ оттуда свои пальцы.

— Вотъ и отлично! Живѣе, Данила, живѣе! Я почти и готовъ... Ну, вотъ! Ну-ка, Господи благослови!.. А-а-а... Хо-хо-хо-хо! А-а-а... Не бойся, Данила, прыгай!.. Ну-ка, поплаваемъ. Эй, ребяташки, кто со мной?

И Леонидъ Васильевичъ къ великому удовольствію ребяташекъ началъ выдѣлывать въ водѣ разные фокусы. Данила Никифоровичъ, не умѣя плавать, стоялъ около берега и только время отъ времени погружалъ въ воду свою голову.

Освѣжившись, пріятели почувствовали себя еще лучше.

— Ахъ, хорошо! Теперь готовы въ путь. Тебѣ, Данила, грести придется.

— Грести? Да, вѣдь, я не умѣю.

— Пустяки. Ты думаешь, что это ужъ, Богъ знаетъ, какое искусство? Пустое! Помахивай только веслами—и баста! Я, вѣдь, тоже, признаться, не очень умѣю править, но не боюсь. Чего тутъ бояться? Всякій когда-нибудь не умѣлъ держать весло.

— Все-же бы надо попробовать.

— Попробуемъ. Э! да вотъ и ѣдутъ!

— ѣдутъ?—произнесъ съ нѣкоторымъ трепетомъ Данила Никифоровичъ.—А и въ самомъ дѣлѣ!.. Какъ это они... скоро!

По берегу ѣхали двѣ дамы и мужчина.

— А это кто съ ними?

— А это новый знакомый... Земскій дѣятель... Важный человекъ—умный и образованный. Вообще компанія подобрана хорошо.

Подѣхали, идутъ. Извозчикъ несетъ большую корзину.

— А гдѣ-же лодка?—вскричала Вѣра Николаевна.—Здравствуйте, здравствуйте!.. Которая-же лодка?

— Та, которую изберете вы,—отвѣчалъ съ поклономъ Леонидъ Васильевичъ.

— А вотъ эту можно? Очень красивая лодка и большая.

— Можно, конечно, можно! Великолѣпнѣйшая лодка! Я сейчасъ распоряжусь. Мое почтеніе, Надежда Петровна! Павелъ Петровичъ! Очень радъ васъ видѣть! Данилушка, иди за мной!

Черезъ нѣсколько времени изъ-за полѣнницы появились пріятель. Леонидъ Васильевичъ горделиво несъ на плечѣ весло, Данила Никифоровичъ тащилъ по землѣ два весла; за ними шелъ лодочникъ,

съ любопытствомъ посматривавшій на карманъ Леонида Васильевича.

Леонидъ Васильевичъ весьма граціозно прыгнулъ въ лодку и усѣлся съ важностью на кормѣ, за нимъ, ахая и вскрикивая, вошла Вѣрочка; Павелъ Петровичъ торжественно ввелъ почтенную даму; наконецъ, усѣлся Данила Никифоровичъ и поставили корзину

— Готово?—вскричалъ Леонидъ Васильевичъ,—отталкивай! Лодочникъ оттолкнулъ лодку. Ахи и охи.

— Ну-съ, въ путь!—И Леонидъ Васильевичъ началъ поворачивать лодку.—Греби!

Данила Никифоровичъ пристроилъ весла. Что это, никакъ не выходитъ, какъ слѣдуетъ: то одно весло довольно легкомысленно забѣжитъ впередъ по поверхности воды, а другое засядетъ сзади въ глубинѣ рѣки; то оба весьма быстро, точно испугавшись подводныхъ чудовищъ, вынырнутъ вверхъ.

— Ты, Леонидъ Васильевичъ, умѣешь-ли править?—освѣдомилась бабушка, замѣтивъ, чтъ Леонидъ Васильевичъ устраиваетъ съ весломъ своимъ замысловатые эксперименты.

— О! я свое дѣло тонко знаю!

И въ доказательство своихъ словъ Леонидъ Васильевичъ устроилъ такой хитрый маневръ, что лодка закружилась на одномъ мѣстѣ и, наконецъ, бокомъ поплыла внизъ.

— Онъ свое дѣло тонко знаетъ,—сказалъ Павелъ Петровичъ,—сейчасъ мы на баржу налетимъ.

Лодка, дѣйствительно, неслась на баржу.

— Греби, Данила, греби!

— Весла что-то того...

И Данила Никифоровичъ, снявъ весло, перенесъ его на другую сторону, при чемъ окропилъ испуганную почтенную старушку; то же сдѣлалъ и съ другимъ весломъ.

— Ну, вотъ,—сказалъ Леонидъ Васильевичъ,—теперь у насъ запляшутъ лѣсъ и горы!...

Но лѣсъ и горы не заплясали, а весьма быстро вскочила съ мѣста бабушка, награждая гребца замысловатыми эпитетами, потому что Данила Никифоровичъ скользнувшимъ по водѣ весломъ

преподнестъ ей въ колѣни порядочное количество воды къ великой потѣхѣ мальчишекъ.

— Ай, они насъ утопятъ!

— Помилуйте! Взлелѣянные, такъ сказать, плескомъ волнъ...

— Весла, вотъ, что-то все...

Почтенная особа вторично окропляется и въ свою очередь извергаетъ потокъ трогательныхъ выраженій.

— Держись, Данила, держись! Весломъ упирайся!

Едва успѣлъ Данила Никифоровичъ оглянуться, какъ лодка стукнулась о баржу и прижалась къ ней.

— Держись за канатъ! Экая гадкая лодчонка! Я, признаться, этого и ожидалъ! Честь имѣю поздравить!

Сказавъ эти утѣшительныя слова, Леонидъ Васильевичъ положилъ весло.

— Ну, вотъ и пріѣхали!—сказалъ Павелъ Петровичъ.

На баржѣ неистовый хохотъ.

— Что-же мы будемъ теперь дѣлать?—спросила Вѣра Николаевна.

— А вотъ будемъ наслаждаться природой подъ сѣнью этой баржи,—отвѣтилъ Павелъ Петровичъ,

— Веселый у васъ нравъ, Павелъ Петровичъ!—произнесъ Леонидъ Васильевичъ, привѣтливо улыбаясь,—люблю такихъ людей!

И усѣвшись поудобнѣе на кормѣ, онъ весьма спокойно началъ закуривать папиросу, менѣе всѣхъ озабоченный этимъ приключеніемъ.

Неизвѣстно, какъ бы ухитрился выпутаться изъ этой бѣды нашъ Одиссей, еслибы на выручку не подоспѣли лодочники. Одинъ изъ нихъ, сверкая бѣлыми, какъ сахаръ, зубами, обратился къ Данилѣ Никифоровичу:

— Подвиньтесь-ка, баринъ, я вамъ помогу! И, взявъ одно весло, продолжалъ:—оттолкнитесь отъ баржи весельцемъ-то!... Изъ-подъ лодки, сударь, гребите, изъ-подъ лодки! А вы со мной вмѣстѣ гребите, вразъ... Не торопитесь, господинъ, глубже весло дѣlayте. Лодка большая, сударыня,—трудно было имъ однимъ грести. Вотъ такъ, хорошо, баринъ!

О, какъ благодаренъ былъ въ эту минуту Данила Никифоровичъ своему благодѣтелю! Поѣхали благополучно. Леонидъ Ва-

сильевичъ началъ мурлыкать какую-то пѣсенку; Вѣрочка забавлялась, погружая руку въ воду; бабушка сидѣла неподвижно и съ такимъ строгимъ выраженіемъ, точно перевозила души усопшихъ; Данила Никифоровичъ съ наслажденіемъ слушалъ плескъ волнъ около лодки и украдкой поглядывалъ на Вѣру Николаевну, которой что-то говорилъ Павелъ Петровичъ.

— Вонъ къ тѣмъ кустикамъ правьте,—сказалъ перевозчикъ.

Леонидъ Васильевичъ, овладѣвшій не много искусствомъ управленія лодкой, заставилъ ее удариться въ то самое мѣсто, куда указывалъ перевозчикъ. Положили на берегъ доски и вывели дамъ.

Леонидъ Васильевичъ сіялъ пуще прежняго, несся съ корзиной на лужайку. Данила Никифоровичъ наливалъ воду въ самоваръ. Лодочникъ раскладывалъ костеръ.

Разостлали коверъ, скатерть, и старушка принялась готовить закуски ко неопишуемому наслажденію Леонида Васильевича. Данила Никифоровичъ принесъ самоваръ. Всѣ усѣлись въ кружокъ, всѣмъ было очень весело—точно одна семья собралась, даже бабушка начала улыбаться. Чай пили съ большимъ оживленіемъ, шутки и смѣхъ сыпались безпрестанно, будто перестрѣлка оживленная. Леонидъ Васильевичъ превзошелъ самого себя: истребляя съ удивительной быстротой чай, онъ въ то-же время щедро разбрасывалъ разнообразныя цитаты. Наконецъ, допивши шестой стаканъ и отирая платкомъ лицо, онъ обратился къ старухѣ:

— Покорнѣйше благодарю, Надежда Петровна! Пойдемъ-ка, Данила, насладиться природой! Нарвика вотъ букетикъ,—прибавилъ онъ, когда отошли отъ компаніи,—да и поднеси ей. Незабудочекъ, незабудочекъ побольше! а вотъ и шиповникъ. Рубикомъ преидентъ! (величественный жестъ на рѣку). Я уже намеками тонкими ее подготовилъ; сейчасъ за бабушку примусь. А потомъ... потомъ всѣ мы среди природы вѣчной и прекрасной воспоемъ торжественный гимнъ!.. Смотри, какъ прекрасно небо, какъ прекрасна вода, какъ хороши эти кусты!.. Слышишь, скрипитъ коростель!.. Смотри, какъ красиво дымокъ вѣется надъ костромъ!.. А тамъ (величественный жестъ на городъ)... тамъ—кипѣніе жизни, тамъ—борьба, трескъ, стукъ, шумъ... Старое ломается, создается новое,—и такъ все идетъ на свѣтъ!.. Да!.. Весело тебѣ?

— Весело, Леонидъ Васильевичъ, очень весело! Какіе они простые, разговорчивые люди.

— Да!.. Ну, я иду къ сѣдовласой Паркѣ. Ахъ, ты мой милый! Бабушка сидитъ одна на своемъ коврѣ, величественно моетъ чашки и... улыбается. Леонидъ Васильевичъ недоумѣваетъ.

— Гдѣ ты тамъ, Леонидъ Васильевичъ? Иди, присядь со мной. Пусть молодежь гуляетъ, а мы, старики, посидимъ. Водки-то хочешь, вѣдь?

— Если...

— Ну, то-то! Я ужъ вижу, что ты давно на бутылку по-сматриваешь. Пей! Экъ, вѣдь, вы меня сегодня напугали!

— Будьте здоровы! Это зависѣло отъ лодки, Надежда Петровна, единственно отъ лодки...

— Ну да ладно! Что старое вспоминать? Пей еще.

„Что это, какая она сегодня ласковая? А, вѣдь, прежде, бывало, идешь къ нимъ и ужъ знаешь, что выругаетъ, да еще какъ отшлифуетъ-то, старая хрычевка!.. Ва! да ужъ не открыла-ли ей, старой каргѣ, Вѣрочка свое сердце? Ну-ка, попробуемъ!“.

Предаваясь такимъ размышленіямъ, Леонидъ Васильевичъ началъ весьма усердно уничтожать закуску. Рѣшилъ даже безъ приглашенія выпить рюмку водки. Ничего! Выпилъ еще. Опять-таки ничего!

— Надежда Петровна! этотъ вечеръ будетъ начертанъ неизгладимыми іероглифами на скрижалахъ моего сердца! (Ну-ка, пусть раскуситъ!)

— Что ты, батюшка, за вздоръ говоришь? Какія скрижали? „Не поняла старица, ничего не поняла! Крѣпкоголовая-же, однако!.. А ну, что будетъ!“

— Я говорю о священномъ союзѣ двухъ любящихъ сердецъ.

— Ты это про Вѣрочку, что-ли?

— Конечно, конечно, про Вѣроч... про Вѣру Николаевну.

— Вотъ что! Много-же ты знаешь!.. Ну да, вѣдь, ты человекъ-то скромный, только вотъ разумомъ тебя Богъ обидѣлъ. Да, батюшка, вотъ и Вѣрочкина участь рѣшается! Нашла бы она счастье свое, такъ тогда бы и я ждала спокойно смерти!

— Счастье? Счастье она найдетъ, найдетъ счастье! Счастье

ее ожидаетъ великое, потому что онъ такъ ее любитъ, такъ любить, что готовъ для нея на всякую жертву! Положимъ, его нельзя пока назвать Крезомъ, но, вѣдь, не въ деньгахъ счастье!..

— Конечно, на что ихъ очень-то большія деньги? У кого денегъ очень много, такъ тотъ ихъ и любитъ, а не жену; жена у него такъ вотъ себѣ, точно игрушка какая-нибудь. Не съ деньгами жить, а съ хорошимъ человѣкомъ.

— Вотъ, вотъ, вотъ, вотъ! Я совершенно то-же самое горю! „Какъ, вѣдь, заговорила, старая! Должно быть, Вѣрочка очень ужъ полюбила его, мерзавца!“

Въ это время изъ-за кустовъ показался Данила Никифоровичъ. Леонидъ Васильевичъ махнулъ ему торопливо рукой, чтобы онъ не подходилъ.

— Да и полюбила его очень моя Вѣра. Ну, а если сердце ей выбрало друга, такъ зачѣмъ-же противиться?

— Вѣр-р-р-но!... Совершенно вѣрно! (Леонидъ Васильевичъ радостно рукоплещетъ). Какъ вы хорошо это сказали! А я ему передъ вѣнчаніемъ вотъ эти часы подарю. Они хотя и врутъ немного, но за то настоящіе старинные серебряные часы.

— Часы подарить? Да на что ему твои часы? У него и свои, я думаю, найдутся.

— Какіе у него часы! Видѣлъ, вѣдь, я сегодня. Такъ что-то такое!... Подарю, непременно подарю, потому что теперь я буду знать, что найдется и для меня уголокъ, гдѣ успокоятъ меня и утѣшатъ... Уютный уголокъ, гдѣ закроютъ мои глаза. Мною, вѣдь, какъ листкомъ, оторваннымъ отъ родной вѣтки, играютъ житейскія бури!... Прочтите стихотвореніе, въ которомъ говорится объ этомъ. Но теперь я очень счастливъ! Я счастливъ счастьемъ вѣрнаго друга!

— Ты что-то опять неладно заговорилъ? Давно-ли онъ тебѣ другомъ-то сталъ?

— Давно-ли? Да, вѣдь, онъ взлелѣянъ мною! Съ дѣтскихъ лѣтъ, съ невинныхъ дѣтскихъ лѣтъ я его знаю!

— Да ты ужъ, сударь, хмельтъ, видно, началъ! Какъ-же ты его знаешь, когда онъ гдѣ-то за тридевять земель жилъ?

— Кто?

— Вотъ на! Да про кого мы говоримъ? Павелъ Петровичъ...

— Павелъ .. Петровичъ?! Такъ развѣ Вѣрочка... Винавать... Вѣра Николаевна за него выходить?

— А ты о комъ-же сейчасъ толковалъ? Ужъ не о долговизомъ-ли своемъ журавлѣ?

Букетъ выпалъ изъ рукъ Данилы Никифоровича. Онъ стоялъ неподвижно и смотрѣлъ на Леонида Васильевича. Затѣмъ, пригладивъ свои волосы, онъ повернулся и медленно ушелъ въ лѣсъ.

— Замужъ!... За Павла Петровича!... Вонъ, вѣдь, оно какъ! Вотъ это такъ!.. Великодушно извините! Я освѣжусь немного.

— Ступай-ка, въ самомъ дѣлѣ, умойся!.. Ахъ, юродивый ты, юродивый!

Умывшись, Леонидъ Васильевичъ побѣжалъ также въ лѣсъ. Данила Никифоровичъ лежалъ подъ деревомъ лицомъ къ землѣ.

— Данилушка! Голубчикъ! другъ! братъ мой! Ну, что-же? Ну, зачѣмъ-же ты легъ? Трава сырая... пиджачекъ-то... испортишь пиджачекъ-то! Встань-бы ты! а? Молчать!

Леонидъ Васильевичъ присѣлъ на землю. Слышится веселый хохотъ. Это она хохочетъ. Вотъ запѣла. И тотъ поетъ. „Леонидъ Васильевичъ! Идите сюда!“

Леонидъ Васильевичъ идетъ къ нимъ.

— Гдѣ вы тамъ запропали? Идите иѣтъ. Гдѣ-же вашъ пріятель?

— Онъ тамъ, въ лѣсу.

— А взгляните-ка, вотъ мы съ Павломъ Петровичемъ рисовали...

— Восхитительный пейзажикъ... Прелестно... да...

Шутить, поютъ, хохочутъ... Вдали все еще скрипитъ коростель...

— Надо-же и домой собираться,—говоритъ бабушка.

— А не желаете-ли, Вѣра Николаевна, взглянуть на ландшаптикъ, который я сейчасъ отыскалъ... Здѣсь близко, очень близко—три шага!..

— Пойдемте.

— Правда-ли, что вы изволите въ законный бракъ въ скоромъ времени вступить?

— А вамъ... А вы какъ узнали?

— Бабушка ваша сказала...

— Д-да...

— Ну, вотъ и прекрасно! Поздравляю васъ!

— Да что съ вами такое?

— А то, что человѣкъ-то, Данилка-то... О, не хмурьтесь, не хмурьтесь! Выслушайте мени, старика, выслушайте того, кто всегда былъ игралицемъ судьбы... Такъ Данилка-то погибъ... Погибъ мой Данилка!.. Утѣшите его, возвратите ему миръ! Ангелъ добрый! Пролейте каплю балъзама въ его наболѣвшее сердце... Жаль? О, жаль, жаль!

— Я право не понимаю... Что-же я могу сдѣлать? Да, вѣдь, наконецъ... я, кажется, не подавала никакого повода...

— Повода? Да развѣ мы васъ упрекаемъ? Слушайте, Вѣра Николаевна! если бы въ нашей власти было устроить ваше счастье, развѣ бы мы оба не пожертвовали всеѣмъ дорогимъ для насъ и завѣтнымъ, чтобы счастье ваше полно было и совершенно? Но теперь... теперь мы изгнанники съ жизненнаго пира и крупицу счастья... нѣтъ, не то я хотѣлъ сказать... что-то вотъ путается все въ головѣ...

— Леонидъ Васильевичъ! скажите вашему другу, что я его не считаю изгнанникомъ съ жизненнаго пира, а считаю добрымъ и честнымъ человѣкомъ... Скажите ему, что, можетъ быть, и увижусь я съ нимъ, и счастья ему желаю отъ сердца... Не правда-ли, какой миленькій цвѣточекъ?

И подала ему незабудку.

— Идемте, насъ зовутъ

Собрались. Корзина уже въ лодкѣ и лодочникъ сидитъ за веслами. Бабушка, поддерживаемая Павломъ Петровичемъ, торжественно садится на свое мѣсто.

— Да, вотъ что, Вѣра Николаевна! Вѣрите вы нашей нелицемѣрной и безграницной преданности? Вотъ я что и раньше хотѣлъ сказать.

— Вѣрю... милый... А сколько вамъ лѣтъ?

— Сорокъ лѣтъ.

— А не шестнадцать?

И съ улыбкой пожавъ очень крѣпко руку Леонида Васильевича, пошла къ лодкѣ. Леонидъ Васильевичъ помогъ ей войти и оттолкнулъ лодку отъ берега.

— А вы что-же, кормчій, не занимаете свой важный постъ?

— Я останусь здѣсь.

Лодка все дальше отъ берега. Бабушка сидитъ, какъ статуя фараона; Вѣра Николаевна, наклонясь къ своему жениху очень близко и заглядывая ему въ лицо, разговариваетъ съ нимъ и смѣется... А на берегу чернѣетъ неподвижная фигура Леонида Васильевича, скрестившаго на груди руки.

З а к л ю ч е н і е .

Прошло 3 года. Въ селѣ *** открылась школа. Лѣтнее утро. Ребятишки съ необычайнымъ шумомъ бѣгутъ учиться. За спинами ихъ болтаются холщевыя и кожаныя—съ такими блестящими мѣдными пуговицами—сумки. А вотъ и учитель сидитъ съ своимъ садикѣ, задумчиво смотреть на далекій лѣсъ, освѣщенный солнцемъ. Э! да это Данила Никифоровичъ! Вотъ въ садикъ входитъ молоденькая, миловидная женщина, такая же свѣжая, чистенькая какъ это весеннее утро. Вся задумчивость мигомъ слетѣла съ лица Данилы Никифоровича и онъ привѣтливо улыбнулся, когда увидѣлъ свою молоденькую жену.

— Какъ сегодня хорошо, Данила Никифоровичъ!

— Очень хорошо, Маша! Не ушелъ бы отсюда!

Садикъ Данилы Никифоровича дѣйствительно прелестенъ въ это утро. Солнечный свѣтъ, пробиваясь сквозь листья, пестрѣетъ пятнами на травѣ, которая такъ разраслась, что лопушникъ и крапива образовали совершенно непроходимую чащу. Два одуванчика стоятъ, какъ часовые, у входа въ это таинственное царство, куда солнечные лучи никакъ не могутъ проникнуть; одинъ тихохонько покачиваетъ своей еще пушистой головкой, а у другого пухъ совершенно облетѣлъ: точно два старичка бесѣдуютъ между собою. Тамъ подсолнечникъ такъ и горитъ; тутъ вьется хмель; тутъ алѣетъ макъ... Высоко, высоко медленно плыветъ одинокое

нѣжное, бѣлое облачко. Какъ пріятно на него смотрѣть!... Какой вездѣ покой! Всякій дѣлаетъ свое дѣло: неумолчно трещить кузнецикъ; муравей востойчиво тащить свою ношу; разноцвѣтныя бабочки порхаютъ надъ цвѣтами, гоняясь другъ за другомъ; армія мухъ кружится въ воздухѣ безъ всякой, повидимому, цѣли, а просто для того, чтобы насладиться великолѣпнымъ утромъ. Тяжело хлопая крыльями, прилетѣла ворона, усѣлась на изгороди и стала флегматично чистить свой клювъ, поглядывая порой равнодушно по сторонамъ. Видно, что и ей хорошо, спокойно. За садомъ, около изгороди, корова лѣниво пощипываетъ траву.

Вдали прозвенѣлъ колокольчикъ. Показался и экипажъ, запряженный тройкой. Останавливаются. Встрѣчный мужикъ объясняетъ что-то, снявъ шляпу. Поворачиваютъ и ѣдутъ напряменько къ школѣ. Должно быть—ревизоръ.

Данила Никифоровичъ вышелъ на крылечко и сталъ вглядываться. Двое мужчинъ и женщина. Да, вѣдь, это они, ей Богу, они!

Данила Никифоровичъ бросился на встрѣчу гостямъ, которые улыбались и махали шляпами и платками.

— Вѣра Николаевна!

И Данила Никифоровичъ взялъ ее изъ экипажа на руки, какъ ребенка.

— Здравствуйте, голубчикъ! Ну, вотъ и увидѣлись! Рады?

-- Радъ, радъ!... Ахъ, Вѣра Николаевна!.. Леонидъ Васильевичъ! Павелъ Петровичъ, здравствуйте.

— Каково, Данила? Экспромтомъ, безъ предудрежденій! Ха-ха-ха! „Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ рассказать, что солнце встало...“

-- Вотъ! А вы, вѣдь, этого, навѣрное, раньше не знали?

— Вѣчно шутить! Ого! возмужалъ! Ну, веди насъ въ свою хижину.

— Пожалуйста, пожалуйста! Машенька! Самоваръ подогрѣй!.. Это жена моя.

— Женился?

— Годъ уже. Вотъ сюда пожалуйста.

Гости вошли въ очень чистенькую комнатку. Все тутъ такъ уютно и мило. Вся комнатка наполнена ароматомъ цвѣтовъ и травъ.

Около иконъ масса разнообразныхъ цвѣтовъ, и свѣжихъ, и засохшихъ; на окнахъ, украшенныхъ бѣленькими занавѣсочками, также множество цвѣтовъ, и клѣтки съ птицами. На полу чистые половики, диванчикъ дешевенькій, передъ нимъ столъ, на столѣ лампочка съ чистымъ стекломъ. Надъ диваномъ картинки висятъ, а на диванѣ, свернувшись клубкомъ, спокойно спитъ бѣлая кошка.

— Гнѣздо, Данила?

— Да, гнѣздо, гнѣздо! Маша! закусить-бы съ дорожки!

Мигомъ, точно вотъ въ сказкѣ по мановенію волшебнаго жезла, появились на столѣ закуски и графинъ наливки.

— Я сейчасъ возьму да отпущу ученичковъ домой. Пусть ужъ сегодня праздникъ будетъ.

Данила Никифоровичъ вышелъ и вскорѣ по необыкновенному шуму и топанью ногъ слушатели могли догадаться, что аудитория помчалась по домамъ.

— Не тяжело вамъ заниматься?—спросила Вѣра Николаевна въ возвратившагося Уткина.

— Какое! Помилуйте! Сколько у насъ, вѣдь, веселья, жизни сколько! Смѣшать порой ребята. „Что такое лошадь?“ — „Четвероугольное животное.“ — „Что такое курица?“ — „Мелкопитающее животное.“ — „Это почему?“ — „А, вѣдь, она зернышки ѣсть.“ — Вотъ и извольте! А пожалуйста, господа, закусить! Вѣра Николаевна, не желаете-ли наливки попробовать? Ее моя Маша сама готовила.

— Какая вкусная наливка!

— Вкусная? Да.. Меня, вѣдь, Машенька избаловала совсѣмъ: варенья-ли наварить, или тамъ какихъ-нибудь грибовъ замариновать, огурцовъ-ли—это ужъ ея дѣло. У насъ, вѣдь, теперь чуть не полное хозяйство. А вотъ подождите, сейчасъ она пирожковъ изжарить.

— А можно мнѣ сходить къ вашей женѣ?—спросила Вѣра Николаевна.

— Пожалуйста, пожалуйста. А что, господа, repetitio..

— Можно! За ваше здоровье и счастье!—сказалъ Павелъ Петровичъ и, выпивши рюмку, положилъ обѣ руки на плечи Данилы Никифоровича и, улыбаясь, тихо прибавилъ:

— Ваша жена, вѣдь, лучше моей Вѣрочки? а?

— Какъ вамъ сказать?—отвѣчалъ, немного смутясь Данила Никифоровичъ.—Вотъ, изволите видѣть, въ садикѣ березка растеть. И холодъ она испытала, и засуху, а все растеть... Вотъ вамъ и жена моя. А Вѣра Николаевна—пальма прекрасная... Она бы захирѣла въ моемъ садикѣ.

— Нашелся, Данила, нашелся! Такъ какъ? Мелкопитающее?

— Да. А то одному студіозусу нужно было книжку „Фултонъ и Стефенсонъ.“ Вотъ онъ и говоритъ: „дайте, говорить, мнѣ „Стукольсона да Ступальсона“.

Леонидъ Васильевичъ раздражается громовымъ хохотомъ.

— А вы куда ѣдете, Павелъ Петровичъ?

— Къ брату, Данила Никифоровичъ. Вотъ Вѣрочкѣ захотѣлось прокатиться. На обратномъ пути опять къ вамъ.

— Милости просимъ. А вы, Леонидъ Васильевичъ?

— Туда-же. Я, вѣдь, у Павла Петровича домашнимъ секретаремъ состою.

— Повѣреннымъ тайныхъ и явныхъ думъ. Вонъ оно какъ! Поздравляю.

— Да! Далъ таки щелчокъ Фортункѣ. Бабушку помнишь?

— Какъ-же не помню? Помню.

— Умерла.

— Умерла?

— Умерла. Представь себѣ: меня предъ самой смертью узнала! И блаженневкѣй, говоритъ, пришелъ. Умерла стоически, съумѣла побѣдить судьбу.

И опять пошли шутки и смѣхъ. И старое вспомнили. Стрѣлой летитъ время! Вонъ уже и лошадей подали.

— Ну, прощайте, Данила Никифоровичъ! Увидимся еще!...

— Прощайте, Данила Никифоровичъ! Рада я за васъ, очень рада! Заходите къ намъ, когда будете въ городѣ.

— Прощай, Данила! Заря жизни сіяетъ.

Павелъ Петровичъ и Вѣра Николаевна вышли.

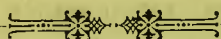
— Я, вѣдь, теперь Вѣрочку не оставляю. Всѣ бури на себя приму. Ты ужъ не заботься: она счастлива будетъ. „Тѣнь высокаго, стараго дуба голосистая птичка любила“. Запомни эти слова... Ну, прощай... Поцѣлуюсь!.. А романъ я, братъ, передѣлываю.

Въ облакѣ пыли мелькаетъ съ одной стороны, какъ голубокъ, бѣленькій платочекъ, а съ другой—Леонидъ Васильевичъ, рискуя вылетѣть изъ экипажа, высунулся до половины и размахиваетъ рукой.

Прощайте, прощайте, прощайте!

Теперь Данила Никифоровичъ такъ тихо и мирно доживаетъ дни свои, что ни капельки не боится той минуты, когда судьба скажетъ ему словечко, которое не забываетъ говорить и богатымъ, и бѣднымъ, и счастливымъ, и несчастнымъ, котораго дождемся когда-нибудь и мы, благосклонный читатель, котораго дождалась и эта незамысловатая исторія... А словечко это—

к о н е ц ъ .



СТАНСЫ.

Жизвь! ты идешь предо мной равнодушная,
 Вѣчно манящая, вѣчно холодная!
 Сердце горячее, боль малодушная.
 Сила, въ порывахъ своихъ благородная,
 Пламень молитвенный, страсти позорная—
 Гибнуть безъ отклика, жизни покорная!

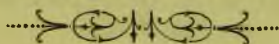
Только на небѣ, гдѣ тишь непробудная,
 Только на небѣ, гдѣ вѣчный покой,
 Нѣтъ тебѣ мѣста, борьба многотрудная
 Жизни загадочной, жизни людской..
 О, если-бы согнуть въ пучинѣ лазурнаго
 Этого моря, но моря безбурнаго!

А. Туркинъ.

ОТРЫВОКЪ.

Еще одна потухшая заря,
Еще одна смѣнилася картина,
Еще одинъ листокъ календаря
Я оторвалъ и бросилъ въ пасть камина
Свернулся онъ и, вспыхнувши на мигъ,
Потухъ, какъ та, умчавшаяся зорька...
Какъ отъ минувшихъ дней, какъ и отъ грезъ моихъ,
И отъ него остался пепелъ только.
Надежды, сны, рядъ радостей, тревогъ, —
Потоветъ все въ существованьи пошломъ.
Такъ много дней пройдетъ и, подведя итогъ.
Ты съ ужасомъ подумаешь о прошломъ.
Тогда поймешь, что даже и слѣда
Отъ *жизни* нѣтъ, что вопль твой былъ въ пустынѣ.
И самъ сгоришь отъ горя и стыда,
Какъ тотъ листокъ сгорѣлъ въ пылающемъ каминѣ.

Ф. Филимоновъ.





ЗА ЧАЕМЪ.

Юліи Тершилавской.

(Съ Польскаго). *)

Переводъ Ю. Л.

Въ студенческой квартирѣ шумно, какъ въ ульѣ. Товарищи собрались на жиденъкій чай съ сухими булками и, курия грошевыя папиросы, преобразовываютъ свѣтъ. При слабомъ освѣщеніи одной лампы, посреди сѣрыхъ клубовъ дыма видны энергическія жестикуляціи фигуръ красивыхъ и некрасивыхъ, и стройныхъ, и неуклюжихъ, но отъ каждой вѣтъ волна молодой жизни, изъ каждой просвѣчиваетъ выраженіе мысли и энергіи. Смотря на нихъ, передъ глазами встаетъ поле весенняго урожая, гдѣ волнующіеся зеленые колосья шепчутся о предстоящей жатвѣ, о хлѣбѣ для голодныхъ, о богатствѣ родины, а въ головѣ звучатъ слова поэта:

*) „Край“, №№ 18 и 19, 1892 г.

„Modosci! orla tnych lotów potsga“.... **)

— Да, господа!—воскликнулъ стройный математикъ, вскакивая съ скрипучаго диванчика,—трутъ, хотя свѣтитъ, есть все-таки гниль, въ которую нужно бить молотомъ прогресса до тѣхъ поръ, пока не превратится въ пыль. Не будемъ набивать себѣ головы сентиментальными химерами, ибо не онѣ, а дѣло спасетъ насъ! Будемъ разъ навсегда трезвыми: измѣримъ, взвѣсимъ, изслѣдуемъ прошлое и выбросимъ оттуда все, что не въ состоянїи доказать своей общественной пользы. Въ будущее должно перейти только то, что безусловно полезно для общественной жизни.

— А гдѣ-же люди, которые съумѣютъ забраковать плохіе старье и придумать новые цѣлесообразные законы?—возразилъ курчавый юристъ.—Гдѣ, когда были кодексы безъ ошибокъ и кто поручится, что новые законодатели не ошибутся въ своемъ планѣ общественнаго благоустройства? Гдѣ тѣ умныя головы, способныя къ непогрѣшимости?

— Будутъ!—воскликнулъ толстый естественникъ, сидящій верхомъ на трехножномъ стулѣ и выбивающій ногой по полу какой-то фантастическій тактъ.—Будутъ, какъ были творцы совершеннаго въ свое время древне-эллинскаго устройства, которые, узнавши, что здоровый духъ только можетъ быть въ здоровомъ тѣлѣ, предпочитали гимнастику философіи. Мыслители и граждане воспитывались прежде всего гигиенически, укрѣпляли раньше мускулы и нервы, чтобы въ здоровомъ тѣлѣ могъ развиваться здоровый умъ и правильная энергія. И эти люди не знали даже фізіологіи, а мы сегодня, при нашемъ знанїи біологіи, добровольно и сознательно превращаемъ себя въ маринованныя голландскія сельди, живемъ въ убійственныхъ гигиеническихъ условїяхъ, не имѣя даже настолько силы воли, чтобы побѣдить собственное уклоненіе инстинктовъ и умственной аномалїи, мечтаемъ, подобно бабѣ, хватающейся за мечъ, хотя еле удерживаетъ кудель, разбить китайскую стѣну и построить новый общечеловѣческій домъ.

Всталъ, толкнулъ ногой стулъ и продолжалъ съ возрастающимъ оживленїемъ:

— Построимъ себя прежде! разовьемъ, укрѣпимъ, усовер-

***) О, юность! твое могущество въ орлиномъ полетѣ.

шенствуемъ нашу физическую природу, такъ какъ не нервнымъ калѣкамъ быть людьми инициативы и дѣла! Не будемъ уродовать натуру, станемъ пользоваться мудрыми указаніями, будемъ слушаться ея непреложныхъ законовъ, и люди здоровые и нормальные, которыхъ нѣтъ, будутъ!

Сѣлъ снова верхомъ на стуль и закончилъ:

— Устройте канализацію и вентиляцію, усовершенствуйте себя въ гимнастикѣ и спортѣ, и тогда только крѣпкими руками и здоровымъ мозгомъ беритесь за переустройство общества.

— Переустраивайте, переустраивайте!... буркнулъ блѣдный слушатель философіи, апатично растянувшійся на кровати.— Много вамъ останется отъ этой работы, когда разложите себя химически, и то, что называется вашей энергіей и вашимъ умомъ, разойдется по клѣточкамъ какой-нибудь глупой вербы или тополя, для которыхъ безразлично— горилла или человѣкъ будетъ править свѣтомъ!... Вамъ хочется славы и почестей отъ потомства? Велико отъ нихъ утѣшеніе гниющему трупу! Эфемериды!... Муравейникъ ничтожный!

— Чтобъ тебя проглотила Нирвана!—крикнулъ ему на ухо веселый медикъ.— Отравляй себя своими теоріями, когда это тебѣ нравится, но намъ ихъ не преподноси за каждымъ ужиномъ и все подъ тѣмъ-же корнишоннымъ соусомъ. Знаете что?— обратился онъ къ товарищамъ:— дадимъ мы немного хлоралу этому меланхолику! Пусть онъ хоть разъ весело попляшетъ, какъ его четверорукая прабабка

Философъ усѣлся на кровати и брезгливо грызнулся:

— Самъ обезьяна, которая, съѣвши горсть орѣховъ, думаетъ, что съѣтъ прекрасно устроенъ.

— Очевидно не думаемъ этого,— смѣясь отвѣтилъ медикъ,— когда хотимъ найти болѣе счастливыя условія для нашихъ обезьянъ.

— Хотите? напрасное безпокойство! Будутъ такіе-же ничтожные и ограниченные, какъ вы, такъ какъ до окончательнаго уничтоженія матеріи будутъ угнетаемы ея грубой силой, потому что имъ будетъ всегда точить сердце червякъ мелочныхъ желаній, неизвѣстности и сознанія собственнаго ничтожества. Вашъ гениальный головы не найдутъ средства переустроить всѣ эти условія изнѣженнаго быта, а чтобы сносить ихъ добровольно, нужно быть идіо-

тами и трусами, какъ вы—и я...—Плюнулъ, отвернулся къ стѣнѣ и закрылъ глаза.

— Философъ имѣетъ сегодня особенно разстроенные нервы, — шепнулъ одинъ коллега другому. — потому что вчера получилъ щелчокъ по носу.

— Что же такое произошло?

— Извѣстно тебѣ, что онъ давалъ лекціи литературы той стройной брюнеточкѣ, Вандѣ Б. Панна немного кокетничала съ нимъ и онъ влюбился по уши, въ противность своей теоріи, что любовь есть извращенный инстинктъ, стремящійся къ продолженію породы, которая въ собственныхъ интересахъ должна-бы прекратиться какъ можно скорѣе. И вотъ вчера былъ вечеръ у господъ Б. и Ванда приказала ему пригласить товарищей. Привелъ меня и Сигизмунда, который много разговаривалъ съ панной, а послѣ мазурки панна сказала философу, что ей болѣе нравятся взгляды Сигизмунда, полные огня и вѣры въ будущее, нежели его теоріи, отравленные чернымъ пессимизмомъ. Въ результатѣ—поблагодарила его за лекціи, продолжать читать которыхъ просила Сигизмунда. Сигизмундъ, правда, предложенія не принялъ, но это не успокоило философа. Бѣснуется на обоихъ и утверждаетъ, что коллега умышленно подставилъ ему ногу, а Ванда—ограниченная самка, которой не идеи Сигизмунда нравятся, а только усы, пришедшіеся ей по вкусу.

— Не понимаю,—сказалъ математикъ, пожимая плечами,— почему онъ принялъ горячо къ сердцу такой вздоръ!

— Потому,—вмѣшался естественникъ,—что при его темпераментѣ булавочный уколъ кажется ему кинжалной раной. И говорю вамъ, что при такихъ разстроенныхъ нервахъ и плохо уравновѣшенной интеллигенціи рано или поздно какой-нибудь ничтожный случай схватить его за воротникъ и вытолкаетъ за порогъ философскаго блужданія, которое...

— Обожди!—смѣясь прервалъ медикъ.—Двухъ лекцій одновременно не можемъ слушать! Дай прежде возможность высказаться историку, который теперь именно впадаетъ въ ораторскій экстазъ.

Историкъ, тотъ самый Сигизмундъ, рѣчи и усы котораго понравились паннѣ Вандѣ, сидѣлъ на столѣ, поджавши ноги, и,

играя ложечкой, вынутой изъ недопитаго стакана, говоритъ возвышеннымъ голосомъ стоящимъ около товарищамъ:

— Нѣтъ! не убѣдите меня, чтобы можно было однимъ ударомъ все измѣнить! Испробовано уже столько даже въ самой глубокой древности и только для того, чтобы къ ряду заблужденій основать мифологию о циклопахъ, которые, желая сразу добраться до неба, двигали черезчуръ большія глыбы и потому ничего не устроили и остались уничтоженными. Только вѣка могутъ разумно измѣнить образъ общественнаго устройства; каждое отдѣльное поколѣнiе пусть старательно обработаетъ неотложную часть работы—и этого довольно!

— Интересно-бы знать, какую желаетъ удѣлить работу намъ, твоимъ современникамъ, господинъ умѣренный реформаторъ?—спросилъ, немного подтрунивая, одинъ изъ молодежи.

— Говорилъ, что неотложную. Какая-же вамъ работа кажется для выполненiя неотложною?

— Законъ, правленiе, экономическiй бытъ, обычаи, предраз.....

— Легче! легче! Оставь-же что-нибудь сыновьямъ и внукамъ, потому что самъ всего не сдѣлаешь.

— Ну, тогда говори самъ.

— Нѣтъ, вы скажите, что считается бесспорно величайшимъ благомъ, наиболѣе субъективною собственностью человѣка?

— Жизнь, развѣ?

— Хорошо! А, развѣ, непоколебимость этой основы всего, чѣмъ човѣкъ можетъ и долженъ обладать, достаточно ограждена настоящими условiями цивилизованныхъ обществъ?

— Какъ ты это понимаешь? Никто, конечно, не имѣетъ права посягнуть на мою, твою, или его жизнь.

— Въ самомъ дѣлѣ? А уголовный судья? а солдатъ? а ты самъ, наконецъ, когда изъ уваженiя къ обычаю вызовешь кого на дуэль?

— Ахъ да! но это, однако, совсѣмъ иное?

— Почему? Развѣ, убитому не все равно, кто его убилъ: разбойникъ, законъ, политика или обычай? Результатъ для него во всѣхъ этихъ случаяхъ одинъ, именно тотъ, что люди у него взяли то, чего не дали и чего возратить не въ состоянiи. Война, смертная казнь, это страшные остатки средневѣковаго варварства, которые предъ

судомъ потомства прикроютъ какъ бы чернымъ крепомъ все лучшее нашего вѣка великихъ открытій и гениальныхъ изобрѣтеній. Пушки Крушиа и аппаратъ для смертной казни потомство будетъ осматривать въ своихъ музеяхъ съ такимъ чувствомъ, съ какимъ мы сегодня осматриваемъ винты и цѣпи пытокъ, и какъ мы при видѣ ихъ краснѣемъ за пращѣдовъ, такъ и правнуки будутъ краснѣть за насъ, за насъ мудрыхъ, просвѣщенныхъ, прогрессивныхъ! Съ этого, слѣдовательно, и начнемъ: отъ реформы того, что насъ ставитъ наравнѣ съ дикими людоедами, отъ защиты того, что есть главное, основное право человѣка—права жизни.

— Но, вѣдь, интересы общества, т. е. всѣхъ и каждого, должны противопоставляться интересамъ единицъ. Война, гильотина и дуэль угрожаютъ относительно небольшому числу лицъ, когда, между тѣмъ...

— Извините,—война, гильотина и дуэль угрожаютъ каждому, т. к. каждый имѣетъ равные шансы сдѣлаться такимъ исключеніемъ. Ты можешь поступить въ войска и умереть отъ пули человѣка, передъ которымъ ни въ чемъ не провинился; я, можетъ быть, служу кому-нибудь помѣхой, тотъ кто-нибудь можетъ меня интриговать передъ ошибающимся человѣческимъ правосудіемъ, и я погибну отъ ножа гильотины; онъ, наконецъ, наступитъ на ногу какому-нибудь шуту, который назоветъ его глупцомъ, и они принуждены будутъ изобразить изъ себя Каина и Авеля. Каждой жизни грозятъ ежеминутно не только эпидеміи и случайности, но и, такъ называемый, общественный порядокъ.

— Конечно,—сказалъ естественникъ,—но какое же средство противъ этого? Вы постоянно указываете только на недостатки устройства, не научая, какъ начертать лучшей новый планъ.

— Ты правъ!—воскликнулъ медикъ.—Для чего больному діагнозъ, если я ему не напишу рецепта?

Сигизмундъ посмотрѣлъ на часы.

— О рецептѣ противъ войны и кары смерти,—сказалъ онъ,—добольше нужно поговорить, а сегодня на это не имѣемъ много времени. Займемся поэтому теперь вопросомъ о дуэли, такъ какъ съ съ нимъ скорѣе всего можно покончить.

-- Какъ-же это, напримѣръ?

— Вотъ такъ, попросту, сейчасъ обождавши. Вѣдь, перемѣна обычая зависитъ только отъ доброй воли единицъ, проводится безъ кровавыхъ жертвъ и бурныхъ переворотовъ. Итакъ, сдѣлаемъ начало мы всѣ, коллеги, устроивши товарищество противъ предрасудка ложно понятыхъ правъ чести.

— Къ чему въ такомъ случаѣ были-бы мы обязаны?

— Прежде всего къ тому, что ни одинъ изъ насъ никогда и никого не вызоветъ и вызова не приметъ, потому, наконецъ, въ горячей пропагандѣ.

— Не вызывать, пожалуй,—буркнулъ кто-то,—но не принять вызова....

— Конечно, принять вызовъ легче. Сумѣеть это любой глупецъ, а часто даже завѣдомый трусъ. Поэтому-то я васъ и не приглашаю на такую легкую вещь, какъ минутное молодечество для отличія, но на трудную побѣду надъ ложной амбиціей, боязнию пересудовъ и укоренившимся предрасудкомъ. Вѣдь, вы признаете, что никто не имѣетъ права надъ чужою жизнью: не имѣетъ этого права судья, палачъ, солдатъ; почему-же вы сами не захотѣли-бы отречься отъ этого химерическаго права?

Витольдъ (блѣдный слушатель философіи) сѣлъ внезапно на кровать и воскликнулъ, поднимая кулакъ вверхъ:

— Потому, что это есть право природы! право борьбы за существованіе!

— Прошу доказать справедливость этого права,—сказалъ холодно Сигизмундъ,—т. е. не въ его основаніи къ животной жизни, а въ перенесеніи къ человѣческимъ отношеніямъ.

— Все едино! Человѣческія отношенія должны быть равны животнымъ. Зубръ имѣетъ право устранить противника рогами, дикая кошка—зубами и когтями, а я—хотя пулей или шпагой!...

Стиснувъ крѣпче кулакъ онъ посмотрѣлъ сверкающими глазами на Сигизмунда, который спокойно отвѣтилъ:

— Не буду разбирать высказаннаго тобою взгляда, такъ какъ не признаю за нимъ разумнаго основанія. Скажи мнѣ только—по какому компромиссу съ здравой логикой признаешь справедливымъ пользованіе всевозможными средствами, служащими для полученія роскошнаго существованія, коль скоро само существованіе,

по твоему мнѣнію, не достойно продолженія и всевозможныя уси-
лія, клонящіяся къ усовершенствованію его, признаешь за утонію?
Почему такое противорѣчіе въ томъ, что говоришь сейчасъ, и въ
томъ, что утверждалъ раньше?

Витольдъ соскочилъ съ кровати.

— Потому что мнѣ такъ нравится! понимаешь?.... крикнулъ
онъ нервно, передергивая лицо. — И нравится мнѣ также утверждать,
что каждый, когорый объявляетъ себя противникомъ дуэли, ни-
чтожный трусъ. Слышишь?... Будь-же ты теперь логичнымъ, про-
глоти, что я тебѣ сказалъ и не сдѣлай вызова!...

Сигизмунду кровь ударила въ голову, но онъ стиснулъ зубы
и молчалъ.

Витольдъ подбѣжалъ къ нему съ искаженнымъ отъ гнѣва
лицомъ и крикнулъ, переводя духъ:

— Молчишь? Причешься отъ меня за ширмы филантропиче-
ской теоріи? Тогда хорошо! Можешь себѣ позволять называть теби
трусомъ, но я не позволю, чтобы меня обзывали глупцомъ! То, что
ты говорилъ объ отсутствіи здравой логики, признаю за оскорбле-
ніе—и вызываю тебя!... А васъ, товарищи, беру въ свидѣтели,
какъ людей чести, что если онъ не приметъ моего вызова, пре-
доставляю себѣ право инымъ способомъ получить удовлетвореніе!...

Въ шумной до этого комнаткѣ водворилась мертвая тишина.
Глаза всѣхъ были устремлены въ сторону Сигизмунда, на вискахъ
котораго появились капли пота; а поблѣднѣвшее лицо указывало
на внутреннюю борьбу и напряженное мышленіе. Въ этотъ моментъ
слышно было только отрывистое хрипѣніе въ груди Витольда. Дру-
гіе, кажется, притаили дыханіе, и каждый, какъ стоялъ, такъ и за-
меръ на мѣстѣ, съ выраженіемъ на лицѣ неприятнаго ожиданія.

Наконецъ, Сигизмундъ машинально отбросилъ волосы, кото-
рые прилипли ко лбу, посмотрѣлъ прямо въ глаза противнику и
сказалъ спокойно возвышеннымъ голосомъ:

— Принимаю вызовъ.

Шопотъ удовольствія пронесся среди присутствующихъ; толь-
ко Витольдъ огрызнулся съ злорадною усмѣшкою:

— Весьма радъ, что такъ скоро мнѣнешь убѣжденія....

Сигизмундъ обратился къ товарищамъ:

— Признаю сказалъ онъ, что въ случаяхъ, въ которыхъ посягательство на чью-либо честь, спокойствіе или счастье не подходитъ ни подъ одинъ изъ параграфовъ уголовного кодекса, или трактуется имъ черезчуръ слабо, инцидентъ можетъ быть поконченъ приватно между сторонами, тѣмъ болѣе, что тогда дѣло идетъ не только о личномъ удовлетвореніи, но также объ обузданіи людей неспокойныхъ. Не озвачаетъ это, однако, чтобы я мѣнялъ убѣжденія и призналъ, что въ подобныхъ случаяхъ люди могутъ брать примѣръ со звѣрей и отнимать себѣ жизнь.

— Такъ какъ же? развѣ до первой крови?—прервалъ одинъ изъ товарищей.

— Да, да! до первой только крови!—воскликнули другіе.—Оскорбленіе не было настолько велико, чтобы васъ это не могло удовлетворить.

Но Сигизмундъ пожалъ плечами.

— Такого волчьего удовольствія пускать себѣ кровь не признаю достойнымъ людей, которые хотятъ считаться цивилизованными.

— Такъ какъ-же будетъ?

— А вотъ какъ: я, какъ вызванный, имѣю право выбора—и выбираю американскую дуэль. Въмѣсто того, чтобы душить одинъ другого, какъ волкодавы, бросимъ жребій, кто кому долженъ уступить.

Витольдъ искривилъ ротъ въ насмѣшливую улыбку.

— Прекрасный способъ,—сказалъ онъ,—спасать стойкость убѣждений. Значитъ, только причиненіе смерти шпагой собственноручно обагрить руки кровью, вынудить-же на самоубійство оставляетъ чистымъ строго-нравственного филантропа? Но что мнѣ до чужихъ парадоксовъ! Принимаю американскую дуэль и соглашаюсь охотно на рѣшеніе слѣпого случая, который, какъ-бы то нибыло, сдѣлаетъ мнѣ знаменитую услугу: устранить съ дороги противника, или меня самого заставить уступить, что, впрочемъ, давно долженъ былъ сдѣлать, если-бы не былъ глупцомъ.... Итакъ, согласенъ! но только окончимъ сегодня...сей часъ... сію минуту!...

Говорилъ онъ быстро, взволнованно, дрожа отъ нервнаго возбужденія.

Сигизмундъ отвѣтилъ непокидавшимъ его холоднымъ спокойствіемъ:

— Я не предъявилъ еще условій, назначеніе которыхъ также мнѣ принадлежитъ.

— Я впередъ на все согласенъ!

— беру твое слово и ставлю слѣдующія условія: тотъ, на кого падеть жребій смерти, умретъ,—но только для своего противника, уступая ему во всемъ, въ чемъ только могли-бы быть соперниками, и для себя лично, отрекаясь отъ всѣхъ жизненныхъ благъ, удовольствій и выгодъ. Жить будетъ только для человѣчества, отдавшись безраздѣльно одной какой-нибудь идеѣ, одной цѣли гражданскаго или общественнаго значенія. Выборъ этой цѣли будетъ завѣсить отъ условія. Если ты ничего не имѣешь противъ этого, выбираю посвященіе обученію темнаго люда, помощи падшимъ, нищимъ, по мѣрѣ возможности, по примѣру лондонскихъ *Salwacionistów*. *) Думаю, это не будетъ не по силамъ ни тебѣ, ни мнѣ; ибо если это доступно холодному и расчетливому англичанину, то насколько-же было-бы легче для насъ, людей, склонныхъ къ альтруистическимъ порывамъ. Будемъ, значить, тянуть жребій. Если ты останешься побѣдителемъ, я, какъ умершій, никогда ни въ чемъ не буду тебѣ помѣхой и, какъ умершій, не буду для себя ничего требовать отъ жизни; жить буду исключительно для бѣдныхъ, темныхъ и страждущихъ.

— Холодное спокойствіе Сигизмунда пропало, лицо оживилось, глаза заблестѣли; очевидно, онъ не боялся такой смерти.

— Буду секундантомъ, дорогой товарищъ!—воскликнулъ медикъ, трепля его по плечу.

— На какое-же время предполагаешь ты остаться такимъ похвальнымъ покойникомъ?

— Навсегда,—отвѣтилъ онъ.

Но товарищи всѣ единогласно запротестовали. Вѣдь, соглашались на поединокъ только до первой крови; поэтому взаимнѣе его будетъ достаточно двухъ или, самое большее нѣсколькихъ лѣтъ пока-

*) Послѣдователи Сальваторы Роли.

нїя. Сигизмундъ настаивалъ на десятилѣтнемъ, по крайней мѣрѣ, срокѣ; Витольдъ обратился къ математику, чтобы тотъ велъ переговоры, а самъ молчалъ, слушая споръ съ насмѣшкою. Не нравилось ему все это, но не смѣлъ взять назадъ даннаго публично согласїя на условїя противника. Переговоры, наконецъ, окончились обоюднымъ согласїемъ на 6-лѣтній срокъ и математикъ обратился къ естественнику, которому принадлежала квартира:

— Господинъ хозяинъ: ты имѣешь крокетные шары; дай одинъ черный и одинъ красный!

Естественникъ выбралъ изъ корзины два требуемыхъ шара, бросилъ въ студенческую шанку и накрылъ еѣ бѣлымъ платкомъ.

— Если-бы не надежда, что мое Unbewusste найдетъ на этотъ разъ à propos и вручить черный шаръ Донъ-Кихоту, удралъ-бы отъ этого глухаго фарса до опущенїя занавѣса!—шепнулъ Витольдъ математику и, пожавши плечами, подошелъ къ естественнику, стоявшему посреди комнаты съ накрытою шапкою въ рукахъ.

По командѣ: разъ! два! три!... оба противника одновременно просунули руки подъ платокъ. Витольдъ съ нервнымъ нетерпѣнїемъ первый вытащилъ шаръ.

— Черный!—воскликнули всѣ хоромъ.

Витольдъ подпаялъ брови съ выраженїемъ удивленїя, а потомъ бросилъ шаръ на землю, швырнулъ его ногою подъ кровать и воскликнулъ, раздражаясь некрасивымъ, беззвучнымъ смѣхомъ:

— Bravo! сдѣлался значить сидѣлкой... монахомъ!... долженъ дать обѣдъ безбрачїя, и всецѣло исполнять катехизисныя добродѣтели! Это какъ разъ моя задача... Ха! ха! ха! ...

Товарищи молчали, соблюдая такую торжественность, какъ если-бы кто изъ противниковъ былъ раненъ. Витольдъ обратился къ Сигизмунду и говорилъ съ возрастающимъ сарказмомъ:

— Прежде всего, долженъ, вѣроятно, уступить счастливому побѣдителю контрдансъ, который рассчитывалъ танцовать завтра въ клубѣ съ одной дамой и въ то время, когда онъ будетъ ее въ шестой фигурѣ прижимать къ своей рыцарской груди, я буду на какомъ-нибудь чердакѣ подавать воду бабѣ, страдающей удущемъ.. ха! ха! ха!...

Веселый медикъ, который былъ теперь чрезвычайно серьезнымъ, сказалъ ему сурово:

— Мой милый! ты стараешься представить вещи съ юмористической стороны, считая насъ какъ-бы глупцами, забавляющимися шутовскими фокусами, тогда когда это идетъ о дѣлѣ чести. Совѣтовалъ бы тебѣ не забывать, что мы, какъ свидѣтели, стоимъ на стражѣ и что каждый изъ насъ будетъ имѣть право, въ случаѣ уклоненія отъ честнаго исполненія принятыхъ на себя условій, считать тебя неоплатимымъ должникомъ чести, равнаго тому, который, принявши вызовъ, не сталъ на плацу.

— Избавлю васъ отъ труда контролировать мои ноступки!... —воскликнулъ Витольдъ и говорилъ дальше, какъ-бы самъ съ собою:

— Шесть лѣтъ! но это почти вся моя молодость! вся эссенція, имѣющая какую-либо стоимость, которую можно выжать изъ ничтожнаго мыльнаго пузыря, (прозваннаго жизнью)! И я на эти именно годы долженъ остаться, чортъ знаетъ изъ-за чего, какимъ-то лазаристомъ? больничнымъ служителемъ? Ошалѣлъ-бы развѣ!....

— Нужно было подумать объ этомъ раньше, чѣмъ принять условія.

— Не допускалъ, чтобы условія были такія idiotическія! Согласился на обыкновенный американскій поединокъ, а не на какія-нибудь чудаческія видоизмѣненія и принимаю только послѣдствія его, какія бываютъ въ обыкновенной жизни. Жребій палъ на меня—значитъ, подчинюсь его приговору, но такъ, какъ я его понимаю, а не какъ вы истолковываете!—И опять говорилъ какъ-бы самъ съ собою:

— Судьба нашла меня, какъ-бы прозила и имѣла больше ума, чѣмъ я... Слѣпой случай прозрѣлъ—и ведетъ меня за руку, какъ трусливаго ребенка, который давно зналъ, что такое добро, но взять самъ не смѣлъ..

Блѣдное лицо его пылало теперь румянцемъ, зрачки расширились и издавали фосфорическій блескъ. Отвернувшись отъ присутствующихъ, съ неожиданной рѣшительностью быстро пошелъ въ уголъ комнаты, Комната была естественника. Стоящій въ углу шкафъ былъ наполненъ разными химическими препаратами. Не успѣли

присутствующіе сообразить, что здѣсь дѣлается, какъ! Витольдъ ударилъ кулакомъ по стеклу, которое разбилось со звономъ, схватилъ темный флакончикъ, отшибъ горлышко о край стола и поднесъ къ губамъ.

— Въ руки твои, нирванна! — воскликнулъ, онъ выпивая содержимое флакончика. Теперь только бросились къ нему товарищи. Медикъ поднялъ съ пола разбитый флакончикъ, посмотрѣлъ на этикетъ и, какъ стоялъ разстегнутый, безъ шапки, такъ и бросился къ дверямъ, крича оттуда:

— Лейте ему теплую воду, пока не возвращусь изъ аптеки! Скорѣе, или послѣдствія будутъ моментальныя! Самоваръ оказался добросовѣстно опорожненнымъ, но на счастье нашлось немного воды въ кувшинѣ. Товарищи, суетясь вокругъ самовара, горячася и толкаясь, стали раздувать погасшіе уголья, Витольдъ смотрѣлъ на нихъ съ усмѣшкой. Лицо сдѣлалось привѣтливѣе, высматривалъ онъ спокойнымъ и довольнымъ.

— Бросьте суетиться. — обратился онъ къ товарищамъ, — вашей ромашки пить не буду. Не думаю даже передѣлывать того, что уже сдѣлалъ, и жалѣю, не звалъ раньше, что умирать такъ легко и скоро...

Сѣлъ на кресло у стола, оперъ голову на руки и произносилъ монологи вполголоса, не обращаясь ни къ кому:

— А, вѣдь, смерть вовсе не страшна.... ни боли, ни тревоги.... сонъ только овладѣваетъ и члены отказываются служить.... Слышу, какъ постепенно распадаются всѣ кольца, шестерни, винты, останавливается машинка.... Черезъ минуту частица матеріи и силы, которая была будто моею, расплывется въ пространствѣ, а сознаніе моего я погаснетъ, какъ задутая свѣча, и исчезнетъ навсегда въ какой-нибудь бездонной пропасти, въ безграничномъ пространствѣ, въ мертвой и безконечной пустотѣ, исполненной только отраженіемъ свѣта, теплоты, звука и движенія, которую здѣсь называютъ тьмою, холодомъ, тишью и спокойствіемъ.... Такъ мнѣ хорошо!.... Какой-то еще винтъ не отвернуть, что-то звонить въ мозгу.... что это?... ага!

„Лежу въ облакахъ,

Погруженный въ тишину,

Имѣя въ глазахъ,
Сонную слезу....“

Оперся на ручку кресла, свѣсилъ голову, опустилъ руки и закрылъ глаза. Товарищи переглянулись и поразились, полагая, что наступилъ конецъ. Но онъ внезапно вскочилъ, растопырилъ руки и, замахавши ими по воздуху, зашатался какъ пьяный. Положили его на кровать и окоченѣвшіе члены начало вдругъ передергивать конвульсивно. Черты лица исказились, руками онъ рвалъ на груди платье, а изъ горла вылеталъ хриплый, подавленный голосъ:

— Спасите!... охъ, спасите!...

Влили ему теплой воды, силился проглотить, но жидкость забублькала въ горлѣ и вылилась чрезъ углы заплѣненныхъ губъ.

— Охъ жжетъ!... охъ, рветъ, раздираетъ!... стоналъ онъ.— Здѣсь, тамъ, вездѣ, въ каждомъ фибрѣ... въ каждомъ нервѣ... Спасенія!... Блуждающій взглядъ вдругъ направилъ вытянутую руку въ пустой уголокъ комнаты.

— Тамъ пустота. .. тутъ передо мной... такая страшная!... охъ, идетъ, поглотить!... Я боюсь!... я не хочу погибнуть!... я хочу жить, чувствовать, мыслить, всегда!...

Оттолкнувъ поддерживавшихъ его, онъ вскочилъ съ кровати, осмысленно посмотрѣлъ вокругъ, вытянулъ руки къ товарищамъ и произнесъ сильнымъ, спокойнымъ голосомъ, словно бы вдругъ выздоровѣлъ:

— Будьте здоровы, честные товарищи! И помните, пусть ни одинъ изъ васъ, никогда не отнимаетъ жизни ни себѣ и никому, такъ какъ жизнь наибольшій даръ.

— Божій... подсказалъ Сигизмундъ.

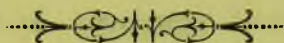
— Можетъ быть... шепнулъ и упалъ грузно на полъ.

Подняли его осторожно и вдругъ на лѣстницѣ послышались быстрые шаги и медикъ ввалился въ комнату съ коробочкой и флакончикомъ въ рукахъ. Подскочивъ къ лежавшему, онъ прикоснулся къ его лбу, приложилъ ухо къ груди, а потомъ бросилъ въ уголокъ флакончикъ и коробочку.

— Не нужно... произнесъ глухо.

Этой ночью, дежуря при трупѣ, товарищи Витольты дали себѣ слово исполнить его послѣднее завѣщаніе,—щадить свою и чужую

жизнь. Предложеніе Сигизмунда теперь было принято безъ преній и единогласно постановили смывать пятна чести не кровью, но отрицаніемъ и самопожертвованіемъ. А послѣ, черезъ 2 дня, когда черный гробъ безъ креста подвигался тихо серединою улицы, въ которой жили Б., Ванда отскочила отъ окна съ ужасомъ и, закрывая лицо руками, торжественно поклялась въ душѣ не играть уже больше никогда въ невинный flirt.



Изъ старой тетради.

Спи, закрывъ спокойно очи,
Сказки ты не жди моей:
И безъ сказокъ эти ночи
Всякой сказки пострашнѣй.

Пѣснь любви моей подругѣ
Не спюю, любовь тая:
Диссонансомъ съ пѣсней вьюги
Будеть пѣсенка моя.

Не нарву тебѣ букета
Не сплету вѣнокъ—прости;
Въ эти-ль ночи безъ просвѣта
Яркимъ розамъ разцвѣсти!

Спи, умѣй, какъ мы умѣли
Не ронять своей слезы,
Спать подъ грозный вой метели,
Просыпаться отъ грозы.

Ф. Филимоновъ.

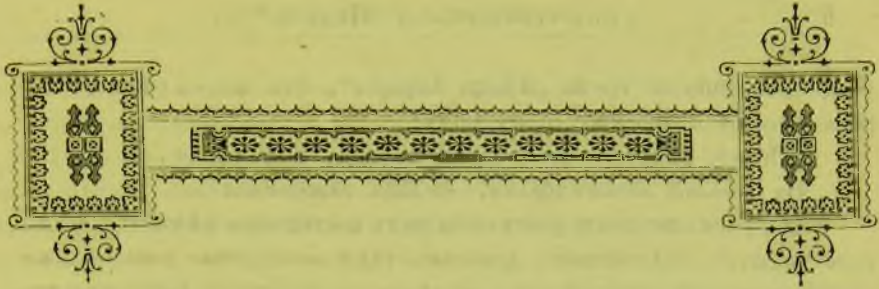
(ПОСВЯЩ. М. Е. Т.)

Я шелъ къ тебѣ съ надеждой сладкой
 Повѣдать бредъ души больной...
 И то, что выстрадалъ, украдкой
 Хотѣлъ я вылить предъ тобой!
 Ты знала все... ты вся горѣла,
 Смѣясь, волнуясь и грустя...
 Но безъ борьбы, безъ слезъ не смѣла
 Отдаться, чистое дитя!
 Я шелъ къ тебѣ... и, торжествуя,
 Я представлялъ себѣ, какъ ты
 Томишься жаждой поцѣлуя...
 Но... ты молилась...

Ты далеко была отъ міра,
 Отъ ига пламенныхъ страстей...
 И мнилось миѣ: изъ воли эфира,
 Въ сіяньи трепетныхъ лучей,
 Къ тебѣ сошелъ, благоухая,
 Безгрѣшный духъ, посланникъ рая...
 И отъ борьбы твоей со зломъ,
 Отъ думы тлѣнной и нечистой
 Покрылъ, какъ ризой серебристой,
 Тебя сверкающимъ крыломъ...

Въ порывѣ чистаго смиренья,
 Я въ этотъ мигъ святой тиши
 Похоронилъ, безъ сожалѣнья,
 Все чувства жалкія души...
 Я палъ съ тобой къ подножью Бога,
 Какъ братъ, усталый и больной...
 И духъ надзвѣзднаго чертога
 Сіялъ улыбкою нѣмой...

А. Туркинъ.



ФАЛЬШИВАЯ ТРЕВОГА.

Разказъ

Н. П. Стахевичъ.

Убздный городъ Хрѣновскъ стоитъ далеко въ сторонѣ отъ рельсоваго пути и, по справедливости, считается самымъ захолустнымъ изъ городовъ Ч—ской губ. На разстояніи трехъ верстъ, по почтовой дорогѣ, городъ видѣнъ какъ на ладони и представляетъ незатѣйливый, но пріятный видъ.

Чистенькіе домики ютятся, какъ въ гнѣздышкахъ, въ зелени садовъ; съ лѣвой стороны извивается серебристой лентой узкая рѣчка Быстрица; направо красуется пышная, величавая роща...

Словомъ, издали этотъ уголокъ кажется именно такимъ, гдѣ можно хоть на время устраниваться отъ всякой житейской суетолики, хоть на время обрѣсти душевный покой.

И, помнится, когда я подъѣхалъ въ послѣдній разъ къ Хрѣновску, мнѣ даже казалось, что, вотъ-вотъ, непременно, либо изъ

рощи послышатся трели „пѣвца Авроры“, или же съ рѣчного берега донесется что-нибудь въ родѣ:

„Стоявъ явирь надъ водою, въ воду похилился,
На козака невзгодонька,—козакъ зажурився“..

Съ уменьшеніемъ разстоянія видъ постепенно мѣняется. Сады разступаются, выдвигаютъ довольно таки неказистые дома и даже убогія лачужки; пышная роща рѣдѣетъ, а на берегу Быстрицы копошатся и визжать ребятишки. Но, вотъ, и ребята, и лачуги—позади, а мы въ центрѣ города. Сейчасъ будетъ Милліонная, потомъ —Дворянская улица, а тамъ ужъ, рукой подать, и почтовая станція. Обстановка станціонной комнаты мнѣ давно знакома. Вотъ неизбѣжные диванъ и иреддиванный столъ, вотъ шкафъ съ чайной посудой, вонъ фотографіи, давнымъ-давно вылинявшія, а вонъ и старинная картина съ кулидонами въ облакахъ, похожихъ на связку бубликовъ.....

За чаемъ старичекъ смотритель, по знакомству, сообщаетъ мѣстные новости:

— Протопопъ выстроилъ преотличнѣйшій домъ, а председа-телю управы—это вострый ножъ, такъ какъ его собственный домъ и хуже, и меньше... Мировиха съ членшей поссорились за мѣсто въ церкви... А въ прошломъ году долго хворала Анна Антоновна и стала ужъ было поправляться, да какъ услышала, что ея рябенъкая курочка зацѣла пѣтухомъ,—перестала принимать лѣкарство и черезъ двѣ недѣли отдала Богу душу.....

Всѣ эти новости, и въ особенности эта „курочка“, вызываютъ цѣлый рядъ давно забытыхъ воспоминаній. Я какъ сквозь сонъ слышу рассказы смотрителя и только слова: „у Меланьи Прокофьевны—несчастье“—заставляютъ меня опомниться.

— У Меланьи Прокофьевны? Какое несчастье?

— Внукъ, говорятъ, попался... въ чемъ-то замѣшанъ..

— Неужели Костя?... Можетъ-ли быть?...

Спустя какой-нибудь часъ я уже былъ у Меланьи Прокофьевны. Старушка, путаясь и захлебываясь слезами, подтвердила, что Костя „попался“, что у него нашли какія-то бумаги и что онъ теперь „подъ надзоромъ“.

— Господи, Господи!—воскликнула она сквозь слезы,— не-

ужели же онъ, мой голубчикъ, такъ и пропадетъ! Такой-то умница, такой красавчикъ!..

Тутъ кстати замѣчу, что развѣ только въ глазахъ добрѣйшей Меланьи Прокофьевны ея бѣлобрысый, непомѣрно длинный Костя могъ казаться красавцемъ. Бѣдная старушка забыла также, въ минуту горести, что ея „умница“ сидѣлъ почти въ каждомъ классѣ по два года и едва-едва кончилъ курсъ гимназiи на двадцать третьемъ году жизни. Меланья Прокофьевна долго повторяла, что ея „Костенька все ходитъ такой задумчивый да хмурый, просто—самъ не свой.“

— Вѣрите-ли,—горячо увѣряла она,—вѣрите-ли,—сна, аппетита лишился! Чѣмъ только живъ!..

Тутъ, откуда ни возмись старая Ульяна,

— А пехай же, Богъ боронитъ! А на що жъ бо вы, пани, бѣду накликаете!—сердито накинута она на барыню.—Якъ же то може быть, щобъ дитя не пило, не ѣло! Вотъ и заразъ панычъ трохи поспідавъ? и варѣничковъ въ сметанѣ, и поросятинки съ кашей, и шуликівъ зъ макомъ!....

— Ну вотъ, ну вотъ!.. Ты всегда такъ!—смущенно укоряла Ульяну Меланья Прокофьевна, и, тихо промолвивъ: „сколько онъ тамъ ѣлъ!“— снова заплакала.

Я посидѣлъ, посидѣлъ да и отправился взглянуть на виновника этихъ слезъ, въ его комнату. Увидавъ меня, Костя улыбнулся было всеѣмъ своимъ—отъ уха до уха—ртомъ, но тотчасъ же, какъ бы что-то вспомнивъ, нахмурился и засопѣлъ, какъ добрый кузнечный мѣхъ.

На все мои разспросы онъ упорно молчалъ и только обводилъ кругомъ мрачнымъ взоромъ. Такъ я и не добился отъ него никакого объясненія. А между тѣмъ, вотъ что произошло тогда въ нашемъ скромномъ и мирномъ городѣ Хрѣновскѣ.

Сдавъ послѣдній экзамень, Костя вздохнулъ съ облегченьемъ и мысленно произнесъ: „баста! Къ чорту все книги и вся книжная премудрость!.. Довольно этой дребедени, надо жить и жить!..“ Правда, бабушка все мечтаетъ, что онъ ноступитъ въ университетъ, будетъ докторомъ. Но онъ,—нѣтъ, слуга нокорный!—Онъ не намѣренъ еще корпѣть пять лѣтъ! Онъ хочетъ жить, любить... Да, первое дѣло—надо непременно влюбиться или, даже еще луч-

ше, влюбить въ себя!... Увлечь, эдакъ, кого-нибудь до безумія... пусть страдаеть!...

Такъ разсуждалъ Костя, укладывая свой дорожный чемоданъ и, въ то же время, уписывая за обѣ щеки присланные бабушкой подорожники. Но вотъ все готово: Костя въ вагонѣ. На душѣ у него такъ радостно и весело. Желудокъ его крѣпко набитъ вкусной бабушкиной стряпней, а около него все еще достаточно разныхъ мѣшечковъ и кулечковъ съ провизіей. Костя забылъ о своихъ недавнихъ мечтаніяхъ о любви и сталъ было располагаться на своей лавкѣ ко сну. Онъ снялъ пальто, хотѣлъ даже разстегнуть свой гимназическій сюртукъ, какъ вдругъ въ вагонъ вошла молоденькая дѣвушка и помѣстилась напротивъ. Сердце юноши такъ и забилося, такъ и затренивало. Какъ ни тускло освѣщали вагонъ оплывшіе огарки, но молодые глаза Кости живо разглядѣли хорошенькое личико съ черными бровками и кругленькими щечками, напоминающими розы и лиліи. „Это она,—рѣшилъ онъ мысленно,—это именно та, которая будетъ имѣть роковое вліяніе на всю мою жизнь!...“ И молодое воображеніе его стало быстро навизывать одну мысль за другой.

...Она полюбитъ его глубоко, безумно... Онъ тоже... Сначала онъ тоже сильно увлечется, но вскорѣ охладѣетъ—не виновать же онъ, въ самомъ дѣлѣ, что природа дала ему такую кипучую, страстную натуру!—Другая любовь вытѣснить эту... Тутъ пойдутъ сцены, сцены безумной ревности... сцены съ заламываньемъ рукъ, съ мольбами, проклятыями и прочими необходимыми принадлежностями подобныхъ сценъ... Вотъ она на колѣнахъ умоляетъ не покидать ее... Ея волнистая коса разсыпалась, воротъ одежды какъ-то самъ собой разстегнулся, обнажилась бѣлоснѣжная шея, атласное плечо...

— Послушайте, это ваши мѣшечки да узелочки?—вдругъ обратилась къ нему, указывая на его вещи, не воображаемая, а настоящая „она“.— Уберите ихъ, они мнѣ мѣшаютъ!

Костя бросился убирать.

— Что это у васъ тамъ?... Такъ много!...

-- Это?... это бабушка прислала... булочки, коржики.

— Ха-ха-ха!.. Да вы, право, препотѣшный! Совсѣмъ взрос-

лый и вдругъ: „бабушка, коржики!“... Вотъ умора!...—Костя покраснѣлъ до слезъ.

— Но, вѣдь, какъ же... надо же...—смущенно бормоталъ онъ. Въ это время поѣздъ остановился.

— Пойдемте лучше чай пить,—позвала она, вставая.

— Куда ты, Зиночка?—отозвалась сидѣвшая нѣсколько поодаль старуха.

— Я, маменька, пойду чай пить,—отвѣтила она, направляясь къ выходу.

Костя ринулся вслѣдъ за ней. „Зина, Зинаида, Зиночка! Какое чудное имя!“—твердилъ онъ про себя, любясь ея стройной, граціозной фигуркой. Возвращаясь въ вагонъ, Костя находился, какъ говорится, на седьмомъ небѣ. Въ головѣ его былъ полнѣйшій хаосъ. Онъ видѣлъ только лукавыя глазки Зиночки, слышалъ ея веселое щебетанье. По временамъ, однако-же, сильная боль языка и нижней губы возвращали его къ дѣйствительности, напоминая, какъ нѣсколько минутъ назадъ онъ, заглядѣвшись на Зиночку, обжегся горячимъ чаемъ.

А Зиночка, между тѣмъ болтала, неумолкая.

— Вы умѣете танцевать мазурку?—спрашивала она, между прочимъ, Костю, и тотчасъ же прибавила:—едва-ли, впрочемъ!

— Почему едва-ли?

— Да такъ... Вы какой-то... Ужъ очень мѣшковатый! И при томъ же гимназистъ! Терпѣть этого не могу!

Это такъ подзадорило Костю, что онъ вспылить и наговорилъ Зиночкѣ дерзостей:

— Но позвольте, вы разсуждаете глупо!—задыхаясь отъ волненія, почти кричалъ онъ,—вы разсуждаете, какъ, какъ ... ну, какъ глупый ребенокъ! Какъ женщина безъ всякаго образованія и совсѣмъ неразвита! Развѣ гимназистъ не человѣкъ?.. развѣ...

— Нѣтъ, все-таки.. еще въ играхъ—ничего, а въ танцахъ—все же не настоящій кавалеръ!

Костя даже привскочилъ было съ мѣста, но вдругъ одумался, замолчалъ и надулся. Послѣ небольшой паузы Зиночка заговорила первая:

— Вы, кажется, обидѣлись?

— Нисколько. Я разгорячился только изъ принципа, а лично это до меня не касается: я не танцую.

— Почему?

— А потому, что считаю это пустой и бессмысленной забавой.—Сказавъ это, онъ замолчалъ и уставился на нее не то презрительнымъ, не то укоризненнымъ взоромъ.

Едва удерживаясь отъ смѣха, Зиночка долго крѣпилась, стараясь не встрѣчаться съ его — въ родѣ оловянныхъ пуговокъ—глазами, но, наконецъ, не выдержала и, близко наклонясь къ нему, какъ бы съ участіемъ, тихонько спросила:

— Скажите: вы влюблены? Признайтесь.... Кости былъ тронуть. Кивнувъ утвердительно головой, онъ хотѣлъ что-то сказать, но Зиночка перебила:

— То-то, я вижу, у васъ такой дурацкій видъ!—При этомъ она захохотала такъ громко, что дремавшая маменька очнулась и сказала:

— Пора, Зина, спать—поздно.

— И то правда, пора! Ну, до свиданія, влюбленный кисляй! Не сердитесь, не обижайтесь,—всѣ влюбленные обыкновенно глупѣютъ, такова ужъ ихъ участь.

— А вы, развѣ, никогда не были влюблены?

— Боже упаси! Не была и не буду! Развѣ, если мнѣ встрѣтится человѣкъ.... съ какими-нибудь возвышенными взглядами, человѣкъ убѣжденный... Ну, словомъ, необыкновенный. Ну, идеалистъ какой-нибудь или герой, мученикъ, пострадавшій за идею.... Но едва-ли теперь есть такіе!

— А почему вы знаете? можетъ быть, и я такой?

— Вы?... Она скрестила руки и нѣсколько минутъ внимательно глядѣла на него. Костя ждалъ, затаивъ дыханье. Но вотъ глаза ея заискрились, изъ-за алыхъ губокъ сверкнули маленькіе частые зубы, на щекахъ образовались восхитительныя ямочки и вся она затряслась отъ тихаго, сдержаннаго смѣха.

— Ну, что же, какой я по вашему? Что я?...

— Вы?... Нѣтъ, потомъ скажу! До свиданья!

Она быстро поправила подушку, закрылась съ головой большимъ платкомъ и улеглась на своей лавкѣ, свернувшись комочкомъ. Нѣсколько минутъ Костя такъ и оставался съ открытымъ

ртомъ. Онъ совсѣмъ растерялся, не могъ разобраться въ нахлынувшихъ мысляхъ.

„Дурацкій видъ!.. Кисляй!..“—проходило въ его головѣ; и тутъ же, сей часъ, мелькали: бѣлые зубки, ямочки на щекахъ, капризно поднятая алая губка и шаловливый, задорный смѣхъ. Голова его горѣла, сердце учащенно билось. Онъ подошелъ къ открытому окну. И хорошо сдѣлалъ: свѣжій воздухъ живо охладилъ его, нервы улеглись, мысли стали яснѣе. Успокоившись, онъ даже почувствовалъ голодь и сталъ украдкой поглядывать на узелки съ провизіей. И чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣй ему хотѣлось ѣсть. Но какъ? вотъ вопросъ! Вдругъ Зиночка проснется и увидитъ, что онъ ѣсть? Она, навѣрное, презрительно улыбнется и, если не скажетъ, то, ужъ конечно, подумаетъ, что онъ человѣкъ низменный!.. Ну, и пусть ее! пусть думаетъ!...

— Чортъ бы побралъ всѣхъ этихъ барышень, съѣдающихъ въ сутки только одно яйцо въ смятку или крылышко цыпленка!—сердито проворчалъ онъ и потянулъ съ полки мѣшокъ съ ветчиной и жареной птицей. Онъ однако же зорко взглянулъ въ спящую Зиночку и даже чутко прислушался къ ея дыханью, прежде чѣмъ развязалъ мѣшокъ. Знакомый, вкусный запахъ жареной индѣйки, ветчины, колбасы, сдобныхъ булокъ, пироговъ и проч. судилъ Костѣ великое наслажденіе. Онъ вытащилъ поспѣшно изъ мѣшка первое, что попало подъ руку. Это былъ огромный жареный гусь. Развернувъ бумагу, Костя живо оторвалъ гусиную ногу и жадно запустилъ въ жирное мясо свои молодые зубы... „Кха-кха-кха!“—закашляла вдругъ Зиночка. Костя такъ и замеръ, точно застылъ съ гусиной ногой въ рукѣ. Убѣдившись, что Зиночка лежитъ неподвижно, онъ снова принялся было за гуся, и опять-таки неудачно: не успѣлъ онъ обглодать и половины его, какъ Зиночкинъ платокъ зашевелился и сползъ съ ея головки. Глаза дѣвушки были закрыты, но, вѣдь, они тотчасъ могутъ открыться и тогда... При этой мысли ужасъ охватилъ Костю; онъ, крадучись какъ воръ, вышвырнулъ за окно гуся, потомъ еще и еще что-то, пока не повыбрасывалъ всѣхъ своихъ припасовъ. Покончивъ съ этимъ дѣломъ, онъ, видимо, успокоился, сѣлъ и уставился глядѣть на спавшую собесѣдницу. Не рискуя прослыть въ ея глазахъ человѣкомъ, „низмен-

наго ума“, какъ выразалась одна знакомая ему гимназистка, онъ уже не боялся ея пробужденія, а, напротивъ, даже желалъ и нетерпѣливо ждалъ его. Пусть бы поскорѣй проснулась и сказала бы, что хотѣла сказать. Это интересно! Разныя предположенія дѣлалъ Костя, но остановился на послѣднемъ: она, по всему видно—равнодушна къ нему и можетъ сказать только что-нибудь хорошее. Ея обидные—„кисляй“ и „дурацкій видъ“, совсѣмъ какъ-то забылись, точно бы ихъ-не было; а помнились только: улыбка, веселое щебетанье и вси она, такая живая, такая хорошенькая. И опять въ его воображеніи проносились желанныя картины и сцены. Прошелъ часъ, два, еще сколько-то времени. Глаза Кости стали слипаться, но онъ не хотѣлъ уснуть, хотѣлъ непременно дожидаться пробужденія Зиночки. Силясь побѣдить назойливую дремоту, онъ сталъ смотрѣть на огонь; но скоро пламя свѣчи запрыгало, задвоилось въ его глазахъ, а самъ онъ какъ бы потонулъ, какъ бы расплылся въ какой-то томительной и сладостной нѣгѣ.....

Было раннее утро, когда Костя проснулся и оглядѣлся кругомъ. Блѣдный утренній разсвѣтъ освѣщаль вагонъ, но—увы, увы!—въ немъ не было ни Зиночки, ни маменьки, ни ихъ вещей! Сердце юноши больно сжалось, къ горлу подступили слезы. И надо же ему было уснуть! Ждалъ, ждалъ и вдругъ уснулъ какъ дуракъ! Онъ бранилъ себя, мысленно, идіотомъ, кретиномъ, осломъ, и въ отчаяніи схватился за голову. Что-то зашуршало у него подъ рукой. Сорвавъ съ головы какую-то бумажку, онъ съ минуту вертѣлъ ее передъ глазами въ недоумѣніи и вдругъ густая краска залила его щеки: онъ понялъ продѣлку Зиночки. Проказница сдѣлала—изъ той самой бумаги, въ которую былъ завернуть злополучный гусь!—сдѣлала ослиныя уши да еще и написала карандашемъ: „вотъ вамъ отвѣтъ!“

Костя до крови закусилъ губу, стараясь подавить слезы. Но злая, жгучія слезы уже щекотали его переносицу и застилали глаза. А тутъ еще, какъ нарочно, проходившій мимо кондукторъ какъ-то насмѣшливо покосился на него. Костя крѣпко зажалъ въ кулакъ ненавистную бумажку и невольно вскрикнулъ,—булавка впи-

лась ему въ ладонь. Тутъ ужъ онъ не выдержалъ: скорчился, уткнулся въ подушку и горько, горько заплакалъ.

Въ молодые годы, какъ извѣстно, всякое горе забывается скоро. Такъ было и съ Костей. Пріѣхавъ къ бабушкѣ, онъ вскорѣ отоспался, отъѣлся и забылъ свои непріятныя приключенія. Онъ былъ такъ веселъ, что старушка не могла нарадоваться на него, и обладалъ такимъ здоровымъ аппетитомъ, что даже Ульяна, вѣчно, бывало, ворчавшая и охавшая, — „що дитина, мабуть, голодна“ — приходила въ умиленье. Спустя недолго, по пріѣздѣ, Костя выпросилъ у бабушки денегъ и заказалъ себѣ цѣлый костюмъ, настоятельно приказавъ портному, чтобы все было сдѣлано, согласно тогдашней модѣ, въ обтяжку. Портной дѣйствительно постарался, да такъ постарался, что, когда Костя облекся въ свою новую пару, старая Ульяна только руками всплеснула и жалобно воскликнула:

— Ахъ мині лишенько: ноги явъ ковбасы, а сюртучекъ такій куцынкій, що ажъ глядѣть на ёго, якось соромно!

Тѣмъ не менше Костя былъ очень доволенъ и, купивъ, въ pendant къ костюму, какой-то крошечный, съ остренькимъ козырькомъ картузикъ, въ первое же воскресенье все это обновилъ. Выфрантившись такимъ образомъ, онъ пошелъ въ церковь и во всю обѣдню такъ былъ занятъ своей собственной персоной, что и не замѣтилъ, кто былъ въ храмѣ. Только на паперти онъ вдругъ столкнулся съ Зиночкой. Отъ неожиданности послѣдовало, конечно, обоюдное замѣшательство.

— Ахъ!... Ахъ!—удивились оба и, какъ старые знакомые, пошли рядышкомъ, болтая о томъ, о семъ.

Изъ разговора выяснилось, что Зиночка съ матерью пріѣхала гостить къ дядѣ, Хрѣновскому казначею. Костя боялся, что Зина напомнитъ ему что-нибудь изъ того, что произошло въ вагонѣ, но она ни словомъ не обмолвилась о ихъ совмѣстномъ вояжѣ; вообще, она говорила съ нимъ такимъ ласковымъ тономъ, что, подходя къ ея дому, Костя надѣялся получить приглашеніе зайти къ нимъ и просто не чуялъ подъ собой ногъ отъ радости.

Но у самыхъ воротъ Зиночка остановилась, протянула было

на прощанье руку, потомъ отступила шага на два, прищурилась и, окинувъ взглядомъ Костю съ головы до ногъ, сказала:

— Вы хоть бы пиратомъ какимъ-нибудь одѣлись; сдѣлали бы себѣ *chapeau-brigand*, или же задрапировались бы въ какую-нибудь альмавиву въ родѣ испанскаго гидальго, а то вырядился себѣ какимъ-то ощипаннымъ пижономъ и—предоволенъ!...

И покуда ошалѣвшій отъ неожиданной обиды Костя собирался что-то сказать, ея уже не было, только издали, со двора, доносился ея звонкій смѣхъ и легкій стукъ высокихъ каблучковъ. Возвратясь домой, Костя нетерпѣливо сорвалъ съ себя новую одежду и подошелъ къ зеркалу. Онъ долго глядѣлъ на свое отраженіе въ зеркалѣ и, наконецъ, горько улыбнулся.

„Чортъ знаетъ что у меня за рожа!—подумалъ онъ.—Лицо, не лицо, а такъ что-то мутно-сѣрое и длинное, какъ корыто, въ которомъ Ульяна рубить котлеты!....“

Уныло опустивъ голову, пошелъ онъ въ столовую и ѣлъ меньше обыкновеннаго. Только увидавъ на столѣ блюдо любимыхъ голубцовъ—Ульянино *chef-d'oeuvre*—онъ нѣсколько оживился, но все-таки цѣлый день былъ скученъ.

На другой день казначейша привела къ Меланѣ Прокофьевнѣ своихъ гостей, т. е. Зиночку съ матерью. Заставъ Костю въ простой парусиновой блузѣ, Зиночка сказала, что это ему больше всего идетъ и на этотъ разъ все время вела съ нимъ серьезный разговоръ, а при прощаньи пригласила къ себѣ. Костя не заставилъ себя ждагъ и съ тѣхъ поръ зачастилъ. Однажды, въ разговоръ съ нимъ, Зиночка пожаловалась на скуку и на то, что въ Хрѣновскѣ все какіе-то обыкновенные, скучные люди.

— Хоть бы одинъ какой-нибудь выдающійся изъ толпы, какой-нибудь социалистъ, пропагандистъ или, какъ ихъ тамъ называютъ!—добавила она, закидывая головку и мечтательно закрывая глаза.

— Хорошо вамъ говорить,—сказалъ на это Костя,—а вотъ побывали бы вы на ихъ мѣстѣ!

И вдругъ, совсѣмъ неожиданно для себя самого, брякнулъ:

— Ни днемъ, ни ночью не знаешь покоя, поминутно ждешь, что вотъ-вотъ тебя схватятъ и увезутъ!...

Зиночка наострила уши и широко открыла глаза. Поощренный вниманіемъ собесѣдницы Костя продолжалъ:

— Я человекъ убѣжденный и на все готовъ... я знаю, на что иду, и за себя, конечно, не боюсь, но домашнія, бабушка.....

Глазки Зиночки загорѣлись любопытствомъ. Она даже почему-то поблѣднѣла.

— Такъ вы?... Развѣ вы?...

— Тише!—перевиль онъ,—придетъ время—узнаете!..

И зашагалъ взадъ-впередъ, понутивъ голову и запустивъ пальцы въ свои примше и жидкіе волосенки. Послѣ довольно большой паузы онъ еще повторилъ:

— Да, узнаете... можетъ быть, даже очень скоро!

И взялся за шапку. Зиночка крѣпко пожала ему руку, а сама подумала: „Господи, какъ страшно! Лучше-бъ онъ къ намъ не ходилъ!“

Собравивъ на свободѣ, какую нелѣпую штуку онъ выкинулъ, Костя немножко даже струсилъ.

— И угораздило же меня!—удивлялся онъ самому себѣ.

Какъ бы однако ни было, а надо было что-либо придумать, чтобы фактически подтвердить сказанное. Долго не спалъ въ ту ночь Костя. Онъ то садился, то порывисто вставалъ и начиналъ ходить, нещадно теребя волосы, сильно потирая лобъ, и, наконецъ, придумалъ. Утромъ онъ пошелъ на базаръ, потолкался между возами, поговорилъ съ пріѣзжимъ мужикомъ, потомъ, глубокомысленно насупивъ брови и крѣпко сжавъ губы, почертилъ что-то карандашемъ въ записной книжкѣ, и, придя домой, накаталъ корреспонденцію о томъ, что въ уѣздѣ засуха, а въ городѣ рѣчка сильно обмелѣла, и послалъ, заказнымъ, въ редакцію столичной газеты. На другой день онъ все это продѣлалъ снова, черезъ два дня—опять, а тамъ еще и еще. Только корреспонденціи, все о той же засухѣ и рѣчкѣ, посланы были въ разныя редакціи. Все это вмѣстѣ дало, наконецъ, желанные результаты: частный приставъ сталъ зорко вглядываться въ Костю, а околodочный по ночамъ подозрительно косился на окна его комнаты, гдѣ ипой разъ чуть не до свѣта виднѣлся сквозь ставни огонь. Между тѣмъ, къ этому же времени подоспѣлъ и день рожденья Меланьи Прокофьевны.

Гости стали собираться тотчас же послѣ обѣдни.

Пирогъ удался на славу, всѣ были веселы и довольны. Только Костя что-то долго не показывался и пришелъ уже въ концѣ обѣда, когда Ульяна, гордая своимъ произведеніемъ, внесла бережно, и даже нѣсколько торжественно, трепещущее розовое желе. Онъ явился въ своей будничной, сильно поношенной блузѣ, весь какой-то измятый, взлохмоченный и держалъ себя какъ-то странно. Почти не поздоровался съ гостями, на вопросы отвѣчалъ слишкомъ небрежно и, къ довершенію всего, грубо оборвалъ въ разговорѣ частнаго пристава. Все это сильно смущало бѣдную Меланью Прокофьевну, а тутъ еще и гости стали значительно переглядываться. Разговоры постепенно стихали и вскорѣ почти прекратились. Посидѣли нѣсколько минутъ въ томительномъ молчаніи и стали прощаться.

Возвращаясь по домамъ, кто-то завелъ, было, рѣчь о непроизвольномъ поведеніи Кости, но всѣ остальные упорно молчали и разговоръ перешелъ на другое. Только частный приставъ, умышленно отставъ отъ другихъ и придерживавъ исправника, быстро оглянулся во всѣ стороны и сказалъ:

— Жаль почтенную Меланью Прокофьевну, а тотъ юноша—личность подозрительная!

Старикъ исправникъ насмѣшливо улынулся и промолчалъ.

— И надо бы, знаете, какъ слѣдуетъ....

— Надо имѣть факты,—перебилъ исправникъ.

— А по моему,—медленность тутъ не уместна и надо въ корнѣ пресѣчь...—не унимался приставъ, а исправникъ опять, но съ досадой, перебилъ:

— Да пресѣжай же, пресѣжай, если ужъ тебѣ такъ не терпится! Только смотри, Иванъ Ивановичъ, какъ бы самому не завязнуть!... Тогда ужъ не выручатъ, пожалуй, ни варенухи, ни селяночки!...

Приставъ быстро сдѣлалъ подъ козырекъ и свернулъ въ первый попавшійся переулокъ.

Намекъ исправника пришелся ему не по вкусу. Дѣло въ томъ, что приставъ былъ когда-то уволенъ отъ службы „безъ объясненія причинъ“ и, послѣ долгой, но безуспѣшной погони за мѣстомъ, добился настоящаго назначенія тѣмъ, что собственноручно и очень

искусно приготавливалъ для одной вліятельной особы какіе-то удивительныя варенухи до селянки.

Теперь понятно, что напоминавіе объ этомъ обстоятельстве не могло быть ему пріятно вообще, а въ данномъ случаѣ оно даже, какъ говорится, подлило масла на огонь.

Приставъ крѣпко ругнулъ, про себя, исправника и рѣшилъ, „на зло ему, старой обезьянѣ“, усердно приняться за Костю. Онъ даже направился было къ квартирѣ жандарма, но на пути, въ силу какихъ-то соображеній, раздумалъ и не пошелъ. Спустя дня два, Меланья Прокофьевна не мало удивилась, когда пришедшій приставъ, спросилъ дома-ли Кости и, отказавшись наотрѣзъ отъ закуски, прямо прошелъ въ Костину комнату. Когда приставъ ушелъ, Меланья Прокофьевна пошла туда же. Внукъ ея былъ, что называется, темнѣ ночи и признался бабушкѣ, что онъ подъ надзоромъ полиціи, такъ какъ приставъ приходилъ съ обыскомъ. Меланья Прокофьевна едва устояла на ногахъ, а Костя такъ испугался, взглянувъ на помертвѣвшее лицо бабки, что сталъ громко звать Ульяну. Успокоивъ барыню и узнавъ въ чемъ дѣло, старуха пришла къ заключенію что надо непременно обратиться за совѣтомъ къ отцу протопопу. Такъ и сдѣлали. Собравъ послѣднія силы, Меланья Прокофьевна отправилась къ отцу Никанору, тому самому протопопу, что выстроилъ домъ на зависть управскому предѣдателю. Въ чемъ состояла ихъ бесѣда, неизвѣстно, но только, возвратясь домой, Меланья Прокофьевна велѣла Ульянѣ какъ можно скорѣй заколоть и очистить пару поросятъ, нѣсколько штукъ утокъ, куръ, индѣекъ, а сама достала изъ погреба и уложила въ корзину двѣ бутылки самой лучшей запеканки. Потѣмъ она долго копалась въ своей старой шкатулкѣ и со вздохомъ отложила три серебряныя старинныя рубли.

Надо, однако, замѣтить, что приставъ совсѣмъ не дѣлалъ у Кости формальнаго обыска, а только какъ бы машинально, разговаривая о томъ, о семъ, будто невзначай, перелисталъ лежавшую на столѣ книжку, заглянулъ мимоходомъ въ шкафчикъ, выдвинулъ ящикъ стола и, не найдя ничего подозрительнаго, ушелъ. Проходя мимо казначейскаго дома, онъ вдругъ вспомнилъ, что Костя

бывалъ часто у Зиночки и сталъ обдумывать, вельзя-ли вывѣдать что-нибудь отъ дѣвушки.

Между тѣмъ вѣсть объ обыскѣ быстро разнеслась по городу и вскорѣ дошла до Зиночки. Она испугалась не на шутку и съ громкимъ плачемъ во всемъ призналась матери. Она давно знала, что Костя „политическій“, что „его, не сегодня—завтра схватятъ и увезутъ“. Мать тоже растерялась и въ домѣ произошелъ настоящій переполохъ. Казначей напустился на племянницу и, задыхаясь отъ гнѣва и страха, при мысли, что и ему, можетъ быть, грозитъ обыскъ, началъ перечислять свои заслуги. Онъ не укрыватель, не потатчикъ; онъ тридцать лѣтъ прослужилъ вѣрой и правдой; онъ, милостію Божіей, кавалеръ такихъ-то и такихъ орденовъ; онъ не потерпитъ, чтобы-какойнибудь нигилистъ запятналъ его репутацію, онъ не допуститъ такого позора!..

— Говори, говори, — что онъ тебѣ плель? — приставалъ онъ къ племянницѣ; — говори: чему научалъ? Какія онъ тебѣ книги приносилъ?..

Смертельно блѣдная Зиночка тряслась, какъ въ пароксизмѣ лихорадки. Мать и тетка неутѣшно рыдали.... Тутъ впопыхахъ вбѣжала комнатная дѣвченка Аксютка и завонила:

— Ой, Господи, частный прійшовъ! Ей же Богу прійшовъ!

Казначей вздрогнулъ. На мгновеніе его лицо вытянулось и поблѣднѣло, но онъ тотчасъ же выпрямился и, съ какой-то напускной развязностью, стараясь даже улыбаться, заговорилъ:

— Что жъ, милости просимъ!... Что жъ, обыскивайте, не по-таю!... Я не укрыватель, не потатчикъ....

— Успокойтесь, Яковъ Петровичъ, ради Бога усюкойтесь! Я не за тѣмъ, я совсѣмъ по другому дѣлу, — перебилъ его приставъ и отозвалъ въ сторону. Перешепнувшись, оба пошли въ комнату, гдѣ помѣщалась Зиночка. Тамъ они тщательно осмотрѣли всѣ книги и только въ одной нашли сложенную въ видѣ закладки четвертушку простой писчей бумаги. Одна сторона ея испещрена была какими-то странными черточками, каракульками и разными закорючками, похожими на славянскія титла, а на другой рукою Кости были списаны слова извѣстнаго стариннаго романа — „Чер-

ныя очи“, а внизу еще и полная его подпись. Казначей, стараясь скрыть свою радость, воскликнулъ:—ерунда! Юношеская забава!

— Мистификація-сь!—тихо, но глубокомысленно замѣтилъ приставъ,—романсъ—отводъ, а вотъ тутъ-то,—онъ повернулъ бумажку и щелкнулъ по ней пальцами,—и кроется самая суть! Да-сь! Нѣмецкій шрифтъ мнѣ, сударь, знакомъ-сь, также и французскій!... Латинскія же литеры вполнѣ сходственны съ французскими, какъ равно и итальянскія... А это что?... Смѣю васъ спросить, что это такое?...

И съ каждымъ словомъ этого монолога приставъ все выше и выше поднималъ тонъ, а казначей, пораженный его обширными знаніями, все ниже и ниже опускалъ голову.

Кончилось тѣмъ, что казначей, отдавая злополучную четвертушку, началъ, было, снова повторять, что онъ не укрыватель, что онъ вѣкъ свой служилъ вѣрой и правдой, но приставъ не дослушалъ и, наскоро простившись, улизнулъ. Въ тотъ же день Зиночка съ матерью, дождавшись сумерекъ, поспѣшно собрались и выѣхали изъ Хрѣновска.

На улицѣ, случайно встрѣтивъ мѣстнаго діакона, приставъ досталъ изъ кармана бумажку и обратился къ нему въ такихъ выраженіяхъ:

— А ну-ка, отче, взгляни на сіи письма и скажи—что это? Что означаютъ сіи титулы да слово-титлы?

Діаконъ тотчасъ же отвѣтилъ, что это письма греческія, но объяснить смыслъ написаннаго отказался, сознаваясь откровенно, что онъ и читать-то по-гречески разучился. По настоятельной просьбѣ пристава, онъ однако-же понатужился, разобралъ и перевелъ нѣсколько словъ. Изъ нихъ особенное вниманіе приставъ обратилъ на слѣдующія: „граждане, императоръ, народъ“.

И едва только діаконъ успѣлъ выговорить послѣднее, какъ приставъ, треснувъ себя ладонью по лбу, пустился куда-то почти бѣгомъ, и уже на ходу засовывая въ карманъ таинственныя „письмена“. Діаконъ постоялъ съ минуту, разинувъ ротъ, пожалъ въ недоумѣнныя плечами и пошелъ своей дорогой.

Исправникъ только что кончилъ вечерній чай и расположил-

ся, было, съ газетой въ рукахъ у себя въ кабинетѣ, но какъ разъ въ это время явился заныхавшійся отъ скорой ходьбы приставъ. Онъ прихлопнулъ покрѣпче дверь, подошелъ къ исправнику необычайно торопливою походкой и показалъ Костино писанье. Тутъ онъ опять, и почти дословно, повторилъ все сказанное казначею, прибавивъ, что греческій языкъ онъ хоть и плоховато, но все же знаетъ, что тутъ есть слова: „граждане, императоръ, народъ,“ и въ заключеніе воскликнулъ:

— Ясное дѣло,—это какая-то подпольная штука, какая-нибудь эдакая прекламація, что-ли, нарочно изложенная на мало употребительномъ языкѣ!

Въ началѣ его рѣчи, исправникъ, какъ и прежде, подсмѣивался, но потомъ подумалъ: „а чортъ его знаетъ, что тутъ въ самомъ дѣлѣ!“ и велѣлъ оставить бумажку. По уходѣ пристава, онъ медленно развернулъ ее, еще разъ внимательно осмотрѣлъ, затѣмъ уставился своими умными сѣрыми глазами на огонь и глубоко задумался. Когда же стѣнные часы пробили десять, онъ свазалъ вслухъ: „утро вечера мудренѣе“ и преспокойно легъ спать.

Тѣмъ временемъ Меланья Прокофьевна, отпавивъ Ульяну съ подарками къ приставу снова привилась допрашивать внука. Измученный происшедшей передрыгой и крѣпко огорченный внезапнымъ отъѣздомъ Зиночки, Кости совсѣмъ расчувствовался и, со слезами на глазахъ, торжественно поклялся, что никакихъ проступковъ за собой не знаетъ и тутъ же даль слова исполнить давнишнее желанье бабки—поступить въ университетъ. Меланья Прокофьевна нѣсколько успокоилась. Когда же Ульяна, возвратясь отъ пристава, рассказала, какъ тотъ милостиво принялъ и одобрилъ гостинцы, старушка совсѣмъ приободрилась. На другой день утромъ исправникъ самъ зашелъ къ Меланьѣ Прокофьевнѣ и послѣ непродолжительной бесѣды съ Костей убѣдился, что подозрительная бумажка была просто-на-просто вырванная страница изъ тетрадки переводовъ по извѣстному гимназическому учебнику.

Узнавъ объ этомъ, Ульяна горестно воскликнула:

— Охъ, не треба-жь було давати гостинцевъ! Ой, шкѣда, шкѣда, поросятокъ да корбованцивъ!...

Но сейчас же и разсудила вслухъ:

— И то сказать: колыбь не гостыньцы да не карбованцы, то, можебъ частный ще и вычитавъ на папири, що небудь зазорное!

— Да какъ же бы онъ вычиталъ, если ничего такого не было? —возразила Меланья Прокофьевна.

На что Ульяна съ убѣжденьемъ сказала:

— А що-жь! Письменный-та разумный чоловікъ, що скоче, то й вычитает! На тожь винъ и письменный!

Меланья Прокофьевна не спорила; она была вполнѣ счастлива, что все разъяснилось къ общему благополучію и желала только одного, какъ можно скорѣе забыть „эту неприятную исторію“.

Исправникъ, напротивъ, совѣмъ, какъ видно, не желалъ этого, и частенько таки донекаль пристава такими словами:

— А расскажи-ка ты намъ, Иванъ Иванычъ, какъ это ты собрался было пресѣчь въ корнѣ?... Помнишь?..

Иной же разъ еще и добавлялъ съ видимымъ лукавствомъ:

— Пресѣкай, братъ, пресѣкай! Да хорошенько, да въ самомъ, знаешь, корнѣ!—и при этомъ всегда смѣялся до слезъ.

— Ужь и ехидна же!—думалъ про исправника приставъ,—хорошо, впрочемъ, и то, что хотъ на время позабылъ старый хрѣнь о невадивной селянкѣ да варенухѣ!

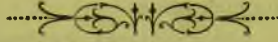
Прошло не мало времени. Костя давнымъ давно сталъ Константиномъ Петровичемъ и уже много лѣтъ занимаетъ должность городского Хрѣновскаго врача. Онъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ и любовью, а самъ очень любитъ вивтить. Играетъ онъ чуть-ли не отъ зари до зари и такъ увлекается картами, что недавно, бывши проѣздомъ въ Хрѣновскѣ, я слышалъ по этому поводу слѣдующее:

Разъ какъ то, кажется, послѣ двѣнадцатаго или шестнадцатаго робера, пригласили Константина Петровича къ больному ребенку. Онъ осмотрѣлъ малютку, выстукалъ, выслушалъ его какъ слѣдуетъ, прописалъ рецептъ и, промолвивъ: „эту микстурку“.... крѣпко задумался. Мать больного ждетъ да ждетъ съ замираемъ сердца, а Константинъ Петровичъ все глубокомысленно молчитъ. Наконецъ, она не выдержала и робко спросила:

— Такъ какъ-же, докторъ, микстурку-то?

Докторъ очнулся и, таково строго взглянувъ на вопрошавшую, громко и отчетливо произнесъ:

— Козырять и козыряты! А потомъ-съ бубень!



Весной.

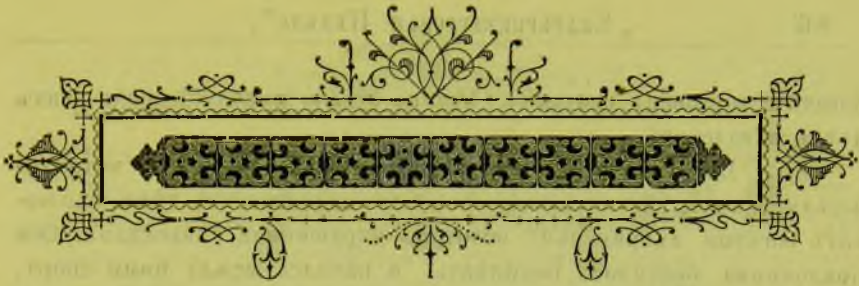
И вотъ опять зеленый шумъ,
 Опять летятъ къ намъ съ юга птицы...
 Прошедшихъ сновъ, далекихъ думъ
 Опять всливаюгъ вереницы.
 Воскресъ уныло спавшій садъ,
 Наполненъ вновь онъ жизнью шумной,
 Воскресло все — лишь мирно спятъ
 Надежды юности безумной.
 Для нихъ все дымъ, все ложь, все прахъ:
 Онъ глумятся надъ весною,
 Какъ мертвецы въ своихъ гробахъ,
 Смѣясь улыбкой костяною.

Ф. Филимоновъ.

* * *

Когда кругомъ немолчно жизнь кипитъ
 И страсти такъ заманчиво играютъ—
 Въ моей душѣ иная пѣснь звучитъ,
 Иныя краски въ ней, волнуясь, сверкаютъ.
 Какъ блески снѣжныхъ, искрятся предо мной
 Былые призраки, безгрѣшны и чисты,
 И грезы мнѣ несутъ стыдливою рукою
 Благоуханія, какъ вѣсныя цвѣты...
 И жаль минувшаго до слезъ, до боли жаль,
 Какъ милый взглядъ, мнѣ счастье обѣщавшій,
 И я брожу одинъ, и тусклая печаль
 Лежитъ въ душѣ, безропотно страдавшей.

А. Туркинъ.



ДѢВИЦА СЪ „БОЖЕСТВЕННЫМЪ ВѢНЦОМЪ“.

(Разсказъ М. Юкая).

Переводъ В. Е—ва.

Въѣхалъ я на пароходѣ изъ Буфаса въ Чикаго съ однимъ старымъ пріятелемъ, торговцемъ изъ Н.-Йорка.

Меня очень занимала пестрота собравшагося общества, такъ что я никакого вниманія не обращалъ на великолѣпныя виллы на берегу и величественныя парки.

Изъ числа пассажировъ особенно выдавалась одна необыкновенной красоты дѣвица, богато, изящно одѣтая, съ королевски гордымъ видомъ; чудные глаза, красивый ротъ и роскошная золотистая коса, замѣчательно длинная; вокругъ талии золотой поясъ. Говорили, что это одна изъ первѣйшихъ милліонерокъ. Понятно, ухаживателей нашлось на пароходѣ много: она со всеѣми милостиво болтала, при чемъ, во время благосклонной усмѣшки, позволяла любоваться своими ослѣпительной бѣлизны зубами. Среди поклонниковъ отличались двое: одинъ маленькій, худой; другой высокій, съ широкимъ мясистомъ лицомъ (разсказывали, что онъ

богатый торговецъ скотомъ). Дѣвица гуляла по палубѣ среди этихъ двухъ кавалеровъ.

.... Вдругъ что-то звякнуло, точно упала тяжелая металлическая вещь; дѣйствительно,—это была подвязка, изъ тѣхъ, что носить богатые американки: золотая, украшенная смарагдами. Оба поклонника бросились поднимать, и начался между ними споръ, чуть не до драки, кому изъ нихъ достанется счастье надѣть подвязку опять на свое мѣсто.. Богъ знаетъ, до чего бы дошло,—но дѣвица выхватила подвязку быстрымъ движеніемъ и моментально бросила драгоценность въ воду, не желая продолженія спора; такой поступокъ произвелъ цѣлую сенсацію на пароходѣ: какая-нибудь кокетливая барышня сейчасъ бы выставила ногу для надѣванія подвязки, а эта... бросила въ воду золото!..

На другомъ краю парохода происходило кое-что иное.

Облокотившись на подоконникъ стоялъ старикъ въ поношенномъ, бѣдномъ платьѣ; легкій вѣтерокъ шелестилъ его длинными, сѣдыми волосами; мутнымъ, неподвижнымъ взоромъ смотрѣлъ онъ впередъ, и только по движенію рѣсницъ можно было убѣдиться, что это не восковая кукла, а живой человекъ. Рядомъ со старцемъ стояла дѣвушка, брюнетка, съ меланхолическимъ взглядомъ ангельски-чистыхъ глазъ, на ея лбу выдѣлялась какая-то странная красная полоса, точно мученическій вѣнецъ. Она играла на гитарѣ и пѣла печальную мелодію... Публика бросала старику деньги въ шляпу, лежавшую у его ногъ.—Златокудрая дѣвица подошла къ пѣвшей и попросила ее рассказать свою исторію. Оговсюду сбѣжались слушатели. и я былъ въ ихъ числѣ, конечно; только мой пріятель изъ Нью-Йорка остался почему-то на своемъ мѣстѣ, продолжая читать послѣдній № „N. J. Herald“.

Удивительная брюнетка рассказывала звучнымъ, мягкимъ, симпатичнымъ голосомъ слѣдующее, истиннѣ ужасное происшествіе: „Старый отецъ былъ когда-то богатый, известный торговецъ въ Арканзасѣ; имѣлъ 3 взрослыхъ сыновей. Однажды, ночью, забрались индѣйцы, раскрали все, убили сыновей, зажгли домъ и приготавились оскальпировать дочь; уже надрѣзали полосу на лбу,—какъ вдругъ появился отрядъ американскаго войска, перебилъ индѣйцевъ и спасъ жизнь старику и дѣвочкѣ; но бѣднякъ потерялъ

разсудокъ, а у дочери остался навѣки красный рубецъ на лбу.

Все общество было растрогано до слезъ. Златокудрая красавица обняла и поцѣловала бѣдную страдалицу, взяла ее подъ руку и, затѣмъ снявъ свою великолѣпную шляпу, бросила въ нее большую золотую монету и отправилась вмѣстѣ съ несчастной дѣвушкою обходить присутствующихъ. Прежде всего подошла къ одному изъ своихъ двухъ постоянныхъ кавалеровъ, — тому, что былъ низенькаго роста; онъ положилъ банковый билетъ въ 10 долларовъ. „Этого мало отъ такого богача, какъ вы!..“ замѣтила ему красавица; онъ сконфузился и положилъ еще 10 долларовъ. Дошла очередь и до торговца скотомъ; этотъ господинъ отвѣтилъ, что дастъ вдвое больше, чѣмъ вся публика вмѣстѣ, если только получить прядь золотой косы. Сборъ достигъ 530 долларовъ (здѣсь были и мои 10 долларовъ; мой пріятель изъ Н.-Йорка, неизвѣстно почему, не далъ ничего) — торговецъ скотомъ получилъ прядь волосъ красавицы и далъ 1060. Всю сумму положили въ шляпу старика. — „Смотри, сколько денегъ, папа!“ — сказала ему дочь; но тотъ продолжалъ стоять въ своей неподвижной позѣ.... Торговецъ скотомъ предложилъ завтракать несчастному семейству и златокудрой красавицѣ; умилительно было видѣть, какъ дѣвушка съ мученическимъ вѣнцомъ кормила старца, вѣжно глядя его сѣдые волосы и нашептывая ласковыя рѣчи. Я былъ очарованъ. — „Какое золотое сердце!“ — воскликнулъ я, подсаживаясь къ пріятелю. — „Ухъ, — промычалъ онъ, раскусывая американскій орѣхъ и продолжая заниматься газетой. У меня просто сердце заболѣло отъ такой равнодушности. — „Увижу-ль я ее еще когда-нибудь?...“ — невольно подумалъ я вслухъ. — „Конечно“, — замѣтилъ пріятель.

Пріѣхавъ въ Чикаго, мы отправились въ лучшую гостиницу. Вошли въ великолѣпную столовую, всю залитую электрическимъ свѣтомъ. Вдругъ вижу у одного изъ столовъ златокудрую красавицу безъ косы, брюнетку, но уже безъ вѣнца, худенькаго господина и старика, но уже не нѣмого меланхолика, а весело разсказывавшаго что-то своимъ товарищамъ. На столѣ стояли бутылки съ бордосскимъ виномъ и страсбургскіе пироги. Я остолбенѣлъ отъ удивленія.

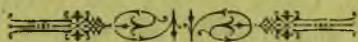
— „Да, вѣдь, это странствующая компанія мошенниковъ“, —

подсмѣиваясь объяснял мнѣ пріятель. „Ну а вѣнецъ?“...—„Нарисованъ аналиномъ“.—„Подвязка, брошенная въ воду?“...—„Цинковая, въ 1/2 франка цѣной“.—„Золотая коса?“...—„Подвязная, конечно...“—Ну, думаю, ловко-жъ они надули торговца скотомъ.

Минуть черезъ 5 къ нашимъ знакомцамъ подѣлъ еще какой-то господинъ, поздоровался съ ними и заказалъ бутылку шампанскаго. Въ новопришедшемъ я узналъ скотопромышленника.....

— Ну что новаго въ N. J. Herald?... спросилъ я пріятеля, оправившись отъ изумленія.

— А что вы не поинтересовались раньше, чѣмъ дали ваши 10 долларовъ?—упрекнулъ меня товарищъ.



* * *

Тебѣ не спится... Ночь темна...

Метель осенняя рыдаетъ...

Печали бурная волна

Къ больному сердцу подступаетъ.

На сердцѣ снова мракъ и гнетъ.

Волна идетъ, метель рыдаетъ,

Чѣмъ жизнь ясна—она убьетъ,

Чѣмъ жизнь красна—она сломаетъ.

Что жизнь пуста,—не говори,

Мы будемъ жить надежды полны...

Тамъ, за ненастьемъ—блескъ зари,

За той волной... свѣтлѣ волны.

Ф. Филимоновъ.



ОДНА ИЗЪ ЖИЗНЕННЫХЪ ЗАГАДОКЪ.

Разсказъ Вьёрнстьерна Бьерясова.

(Съ Норвежскаго).

Л. А. Мурахиной.

— Зачѣмъ ты хочешь сѣсть тутъ?

— Здѣсь высоко и свѣтло.

— Но тутъ такой крутой обрывъ; у меня кружится голова, когда я смотрю внизъ, да и вода свѣтится слишкомъ ярко—больно глазамъ. Пойдемъ дальше!

— Нѣтъ, не нужно идти дальше.

— Тогда вернемся въ зеленую бесѣдку; въ ней такъ хорошо.

— Нѣтъ, нѣтъ, и туда и болѣе не хочу!

Онъ небрежно опустился на землю, показывая, что онъ *не можетъ* или *не хочетъ* удалиться съ этого мѣста. Она осталась стоя, не сводя съ него взгляда.

— Оста,—заговорилъ онъ первый,—объясни мнѣ теперь, почему ты такъ испугалась, когда третьяго дня вечеромъ вошелъ къ намъ чужой морякъ.

— Такъ и думала!—прошептала она и сдѣлала движеніе, точно хотѣла убѣжать.

— Ты должна сказать мнѣ это. Если убѣжишь, я, вѣдь, брошусь за тобой.

— Вотольфъ!—крикнула она.

— Да, я обѣщаль, что не буду разспрашивать тебя и сдержу свое обѣщанье, если ты непременно этого хочешь, но тогда и **конецъ** всему.

Она заплакала и подвинулась къ нему. Ея маленькая, нѣжная фигурка, ея крошечныя ручки, ея свѣтлые, шелковистые волосы, съ которыхъ свѣхаль платокъ, маленькій ротикъ и свѣтлоголубые глаза—все это и въ отдѣльности было хорошо, и вмѣстѣ составляло прелестное цѣлое.

Онъ вскочилъ.

— Да, ты хорошо знаешь, что я всегда готовъ уступить тебѣ, когда ты такъ смотришь на меня,—сказаль онъ.—Но и я хорошо знаю, что послѣ будетъ еще хуже. Неужели ты не можешь понять, что хотя бы я и тысячу разъ далъ слово не разспрашивать о твоёмъ прошломъ, я все-таки не въ силахъ сдержать его, потому что не буду покоенъ, пока не узнаю всего!

Лицо и голосъ его выражали страшную душевную муку, уже не разъ замѣченную ею и раньше.

— Вотольфъ, ты обѣщаль это, когда настаиваль, чтобы я была твоею; ты увѣрилъ меня, что навсегда отказываешься знать то, чего я тебѣ сказать не могу. Ты говорилъ, что тебѣ нужна только я, одна я!... Вотольфъ!

Она опустила въ возлѣ него на колѣни; она плакала, точно дѣло шло объ ея жизни и смерти; она такъ смотрѣла на него, что у него переворачивалось сердце отъ жалости и горя.

— Господи, помилуй!—воскликнулъ онъ, снова садясь.—Если бы ты любила меня настолько, что могла бы довѣриться мнѣ,—наше счастье было бы безгранично!

— Или если бы *ты* болѣе довѣрлял *мнѣ*!—сказала она и, придвигаясь къ нему еще ближе на колѣняхъ, добавила:—любить тебя? Неужели я люблю мало! Въ ночь столкновенія нашихъ пароходовъ, когда меня перенесли къ тебѣ, ты стояль на рубкѣ и командоваль. Никогда еще я не видывала столько мужества и безстрашія... Я тутъ же полюбила тебя навсегда! И когда ты переносилъ меня въ лодку, я опять почувствовала охоту жить, а эту охоту я до той минуты считала утраченною навѣки!

Она замолкла и опять заплакала. Но потомъ она обвила руками его колѣна и съ мольбою проговорила:

— Ботольфъ! будь великъ и благороденъ, какъ въ то время, когда ты взялъ меня—меня одну... Ботольфъ!

— Зачѣмъ ты искушаешь меня?—проговорилъ онъ почти сурово.—Вѣдь, ты знаешь, я не могу! Мы хотимъ обладать и душою, а не однимъ только вашимъ тѣломъ... Можно удовольствоваться однимъ тѣломъ первые дни сожителства, а потомъ нужна и душа.

Она опять отодвинулась и безнадежно прошептала:

— Да, видно, разбитую жизнь нельзя опять склеить!... О, Господи.

Снова она залилась слезами.

— Дай мнѣ *всю* твою жизнь, а не только частицу ея— и я умѣю сдѣлать ее опять цѣльною,—твердо сказала онъ, желая ее ободрить.

Она не отвѣтила, но онъ видѣлъ, что въ ней происходитъ борьба.

— Ты умѣешь доводить меня до крайности!—выговорила она, наконецъ, тономъ мольбы.

Онъ не понялъ ея и сказалъ:

— Я могъ бы помириться съ мыслью, что ты совершила самое страшное преступленіе, но съ этимъ положеніемъ примириться не могу.

— И я тоже не могу!—воскликнула она, вставая.

— Я помогу тебѣ нести твой крестъ, только покажи мнѣ его,—сказалъ онъ, тоже вставая, — но я не могу помочь тебѣ нести ношу, тяжести которой не знаю и которая, быть можетъ, относится къ другому. Для этого я слишкомъ гордъ.

Она покраснѣла до корня волосъ.

— Стыдись! Я еще болѣе горда, а потому и не желаю навязывать тебѣ то, что касается другого... Перестань, наконецъ!

— Если ты настолько горда, то освободи меня отъ моего подозрѣнія!

— Господи, Боже мой!... Это невыносимо!

— Да, невыносимо! и я поклялся, что этому сегодня будетъ положенъ конецъ...

— Не жестоко-ли такъ мучить и терзать женщину, которая довѣрилась тебѣ?

Она опять была готова заплакать, но удержалась и крикнула:

— О, я теперь поняла тебя! Ты хочешь довести меня до полного отчаянія, чтобы такимъ образомъ узнать что-нибудь отъ меня!

Она съ тоскою взглянула на него и медленно отвернулась.

— Скажешь или не скажешь?—рѣзко отчеканилъ онъ.

— Нѣтъ!

Она простерла руку впередъ и добавила:

— Нѣтъ не скажу, Ботольфъ, хотя бы ты предложилъ мнѣ въ награду все, что видно отсюда!

Она отступила назадъ, грудь ея волновалась, а взглядъ блуждалъ вокругъ, то суровый, то грустный, то опять суровый. Она прислонилась къ дереву и зарыдала. Потомъ она снова подавила слезы и стала тихо удалиться.

— Я такъ и зналъ, что ты меня не любишь!—послышалось за нею.

Эти печальные слова перевернули ей всю душу. Она хотѣла отвѣтить, но не могла, и вмѣсто того кинулась ничкомъ въ верескъ и закрыла лицо руками.

Онъ подошелъ и нагнулся надъ нею. Она чувствовала его близость и ждала, что онъ заговоритъ. Но онъ молчалъ; ей стало жутко и она невольно взглянула на него. Въ то же мгновеніе она въ ужасѣ вскочила: его продолговатое, загорѣлое лицо какъ-то сразу осунулось, глубоко лежащіе глаза безъ бровей, широкій, но крѣпко сжатый ротъ, вся его могучая фигура, производили на нее подавляющее впечатлѣніе. Она снова видѣла его такимъ, какимъ онъ явился ей въ первый разъ въ ту бурную ночь. Онъ былъ такъ же величественъ, силенъ и грозенъ, но теперь онъ противостоялъ не стихіямъ, съ которыми тогда боролся, но—ей самой.

— Ты обманула меня, Оста!—крикнулъ онъ.

Она отшатнулась, но онъ придвинулся еще ближе.

— Своею ложью ты и меня сдѣлала лгуномъ. Ни одной минуты не было правды между нами во все время нашего сожителства!

Онъ глядѣлъ ей прямо въ лицо такими страшными глазами,

что сердце ея замерло. Она не знала, что онъ можетъ сдѣлать въ слѣдующее мгновеніе, потому ей стало страшно и она инстинктивно закрыла глаза.

Настала рѣшительная минута. Наступившее мрачное молчаніе смутило и его. Еще разъ произошелъ въ душѣ его переворотъ.

— Отбрось всё свои увертки и оправдайся,—сказаль онъ.— Не медли болѣе: сдѣлай это теперь же, не сходя съ этого мѣста.

— Да!—отвѣтила она безсознательно.

— Такъ говори же, наконецъ!..

Онъ страшно вскрикнуль, потому что при послѣднемъ его словѣ она пролетѣла мимо него и бросилась внизъ съ кручи. Онъ видѣль ея свѣтлые, развѣивающіеся волосы, ея простертыя вверхъ руки, видѣль, какъ соскользнулъ съ нея платокъ. Онъ безсильно уналъ навзничъ и не слышалъ ни ея послѣдняго крика, ни всплеска волнъ.

Съ моря онъ ее взяль въ ту памятную ночь, въ морѣ же она исчезла, унося съ собою тайну своей жизни. Въ бездонной глубинѣ было похоронено все, что было дорого его душѣ, — не бросить-ся-ли ему вслѣдъ?

Онъ пришелъ сюда съ твердымъ рѣшеніемъ положить конецъ своей мукъ, но то, что случилось, было не концомъ, а, напротивъ— лишь началомъ такой ужасной муки, о какой онъ ранѣе и понятія не имѣль. Ея отчаянный поступокъ ясно доказываль, что онъ ошибся и этой ошибкой убилъ её. Да, и хотя его страданія удесятерились, онъ не имѣль права убивать и себя: онъ долженъ жить, чтобы обдумать, какъ все это произошло.

Неужели же онъ спасъ ее тогда только для того, чтобы потомъ самому убить ее? Онъ, объѣхавшій весь міръ и признававшій во всемъ этомъ мірѣ только море да торговые пункты,—онъ вдругъ сдѣлался жертвою любви, которая погубила и ее, и его самого. Дурной онъ человѣкъ? Ему никто этого не говорилъ и самъ онъ этого никогда не чувствовалъ. Такъ въ чемъ же дѣло?

Онъ поднялся—не для того, чтобы кинуться въ море, но чтобы уйти домой. Никто не убиваетъ себя, поставивши себѣ задачей рѣшеніе загадки.

Да, но эта загадка едва-ли разрѣшима. Она была привезена въ Америку уже взрослою; отсюда она ѣхала, когда произошло столкновение пароходовъ. Америка велика—въ какомъ именно мѣстѣ наводить справки? А въ какой части Норвегіи родилась она? Ему и это не было извѣстно; онъ даже не зналъ, называлась-ли она своимъ настоящимъ именемъ... Незнакомый морякъ, можетъ быть, знаетъ все, но гдѣ онъ? Да и зналъ-ли онъ еще ее, или только она знала его? Нѣтъ, тутъ и концовъ не найдешь!

Онъ, несомнѣнно, ошибся. Кающаяся грѣшница почувствовала бы себя облегченной; нераскаивающаяся прибѣгла бы къ уловкамъ. Но она ни въ чемъ не призналась да и уловокъ никакихъ не было съ ея стороны—она только убила себя, когда онъ сталъ слишкомъ настаивать на своемъ требованіи. Этого не сдѣлала бы виновная... Впрочемъ, почему и нѣтъ? На это, вѣдь, все-таки нужно менѣе храбрости, чѣмъ на признаніе... Да,—но, однако, хватило же у нея мужества сознаться, что у нея есть кое-что, чего она не можетъ сказать. Значить, самый проступокъ ея запрещалъ ей говорить. Въмѣстѣ съ тѣмъ нельзя было предположить, чтобы этотъ проступокъ былъ изъ тяжелыхъ, потому что она часто рѣзвилась, какъ дитя. Она была вспыльчива, но добра, мягка и деликатна. Навѣрное то, что угнетало её, было совершенно другимъ. Но отчего бы тогда не сказать, что она страдаетъ отъ вины другого? Этимъ бы все и покончилось. Если же ни она, ни кто другой не совершилъ вичего дурного, то въ чемъ же дѣло? Вѣдь, сама же она созналась, что было что-то... Да и знакомый морякъ, котораго она такъ испугалась, значилъ же что-нибудь.... Что же это было такое? Что именно могло быть?... Еслибы она осталась жива, онъ продолжалъ бы мучить ее разспросами—это было ясно ему, и отъ этого онъ чувствовалъ себя такимъ жалкимъ и сквернымъ.

А мысль все работала да работала. Быть можетъ, Оста вовсе не была такъ виновна, какъ ей казалось самой или какъ могло казаться другимъ. Какъ часто за нашей виною скрывается полная безвинность, какъ часто по незнавію называется грѣхомъ то, что вовсе не грѣшно. Она не считала его способнымъ понять ее, и потому молчала. И дѣйствительно, ясный отвѣтъ далъ бы ему поводъ къ тысячамъ мелкихъ подозрѣній—не мудрено, что она

предпочла скорѣе довѣриться смерти. чѣмъ ему! И зачѣмъ онъ не хотѣлъ давать ей покоя? Къ *нему* она бѣжала, *у него* искала защиты отъ своего прошлаго, и именно *онъ-то* и натравливалъ на нее это прошлое! Она была ему такъ предана, была такъ мила съ нимъ—что же ему было за дѣло до ея прошлаго? А если было дѣло, то отчего онъ не сначала обратился къ нему? Нѣтъ, чѣмъ болѣе усиливалась ея любовь къ нему, тѣмъ болѣе являлось у него сомнѣній. Когда она отдалась ему, не только изъ благодарности и удивленія, но въ силу, главнымъ образомъ, искренней любви, тогда онъ хотѣлъ узнать, не принадлежала-ли она раньше другому и какъ она вообще жила до него. И чѣмъ болѣе она молила о пощадѣ, тѣмъ безжалостнѣе онъ настаивалъ, потому что разъ она не хотѣла говорить, значить, было что скрывать.

И вотъ въ первый еще разъ ему пришло въ голову, что, вѣдь, самъ-то онъ ничего не говорилъ ей. Да и можно-ли *все* говорить другъ другу? Будетъ-ли все *такъ* понято, какъ оно было въ дѣйствительности?—Конечно, нѣтъ.

Онъ услышалъ за собою голоса дѣтей и оглянулся. Онъ онять, совершенно безсознательно очутился въ той зеленой бесѣдкѣ, о которой *она* давеча упомянула. Прошло уже пять часовъ съ минуты катастрофы; ему эти часы показались минутами. Быть можетъ, дѣти давно уже возились около него, а онъ теперь только замѣтилъ ихъ.... Да это не Агнеса-ли, шести или восьмилѣтняя дочь пастора, которую такъ любила Оста за удивительное сходство съ собою?... Боже праведный, какъ похожа на нее эта дѣвочка.

Вотъ она помогла своему маленькому братцу вскарабкаться на громадный камень; онъ долженъ представлять ученика, а она будетъ учителемъ.

— Повторяй теперь за мною, что я буду говорить,—сказала она.—Говори: Отче нашъ!

— Очъ на!

— Иже еси на небесѣхъ.

— Небесъ.

— Да святится имя Твое!

— Святъ имя!

— Да приидеть царствіе Твое!

— Нѣтъ!

— Да будетъ воля твоя!

— Нѣтъ не хочу!..

Ботольфъ осторожно зашелъ за кусты, чтобы дѣти его не замѣтили. Его не молитва тронула: онъ даже не замѣтилъ, что дѣти лепетали, но глядя на нихъ, онъ показался самому себѣ нечистымъ, хищнымъ звѣремъ, отвергнутымъ Богомъ и людьми. Онъ смутился при видѣ ихъ, какъ еще никогда ни предъ кѣмъ не смущался.

Онъ прокрался въ лѣсъ, въ самую глубину его, подальше отъ всякаго жилья, а также отъ всякой торной тропинки. Куда ему теперь идти? Возвратиться-ли въ опустѣвшій домъ, купленный и устроенный для нея? Или брести куда глядятъ глаза и понесутъ ноги?... Ахъ, не все-ли равно, гдѣ бы ни быть: вѣдь, вездѣ, вездѣ она будетъ стоять предъ нимъ! Говорятъ, что въ глазу умершаго человѣка остается отпечатокъ того, что онъ видѣлъ предъ смертью. Такъ точно и тотъ, кто приходитъ въ себя послѣ того, какъ онъ совершилъ дурное дѣло, воспринимаетъ въ себѣ видѣнное въ это мгновеніе и никогда ужъ потомъ не будетъ въ состояніи избавиться отъ этого впечатлѣнія. Онъ видѣлъ предъ собою не Осту, когда она бросалась съ кручи, но маленькую дѣвочку — Агнесу. Даже, представляя себѣ картину утопающей, онъ постоянно видѣлъ дѣвочку съ поднятыми вверхъ руками. Воспоминаніе о безграничной любви Осты къ ребенку таинственнымъ образомъ перепутывало въ его душѣ всѣ впечатлѣнія: представленіе о норазительномъ сходствѣ его погибшей жены съ маленькою Агнесою все примѣшивалось къ терзавшему его вопросу: виновна она или нѣтъ? Не носила-ли Оста такого ребенка въ своей душѣ? Да, онъ видѣлъ это, или вѣрнѣе сказать, онъ *теперь* понялъ, что онъ это видѣлъ. Прежде онъ же раздумывалъ о томъ, почему она заразъ улыбается нѣсколькимъ — отъ ребяческаго незнанія, или отъ порочности, и почему то ребяческое, которое было въ ней, проступало лишь только изрѣдка. Ея крайняя подвижность и неровность характера, вѣчные переходы отъ одной крайности къ другой и привлекали его, и отталкивали при ея жизни, а теперь, послѣ ея трагической,

неожиданной смерти, всѣ воспоминанія о ней сосредоточились въ маленькой, лепетавшей что-то дѣвочкѣ.

Куда бы ни обращалась его мысль, ища свѣта и выхода, вездѣ онъ наталкивался на этого ребенка и дальше идти не могъ. Онъ припоминалъ всѣ подробности ихъ непродолжительнаго сожителства, но какъ только онъ останавливался на чемъ-нибудь, отыскивая ключъ къ загадкѣ, предъ нимъ неизмѣнно вставала Агнеса.

Это былъ заколдованный кругъ, изъ котораго не было выхода. Вращаясь въ немъ непрерывно, онъ такъ измучился, что, добравшись, наконецъ, подъ утро до дома, слегъ, съ тѣмъ чтобы ужъ болѣе не вставать никогда.

Всѣ, знавшіе его, ясно видѣли, что онъ быстро приближается къ концу. Кто носить въ себѣ загадку, становится для другихъ самъ загадкою. Еще въ то время, когда онъ поселился тутъ съ Остою, его мрачное молчаніе, ея молодость и красота и неизвѣстное прошедшее обоихъ давали обильную пищу празднымъ языкамъ сосѣдей. Когда же Оста внезапно исчезла безслѣдно, общее напряженіе достигло такой степени, что стали строиться самыя невѣроятныя предположенія и догадки, а чѣмъ менѣе было въ нихъ смысла, тѣмъ усерднѣе ухватывались за нихъ и носились съ ними. Никто не видалъ, какъ она бросилась въ море, да и трупа ея не выкинуло на берегъ, чтобы свидѣтельствовать правду.

Такимъ образомъ сложились о Ботольфѣ самыя фантастическія сказки.

Дѣйствительно, на него страшно было смотрѣть. Лицо совершенно высохло; рыжіе волосы и рыжая борода свалились во что-то безобразное; большіе глаза сверкали мрачнымъ, неестественнымъ огнемъ. Такъ какъ онъ, очевидно, не могъ ни жить, ни умереть, то сложилось убѣжденіе, что изъ-за него происходитъ борьба между небомъ и адомъ. Нѣкоторые видѣли, какъ злой духъ, въ видѣ огненнаго языка, тинудся къ нему въ окно, чтобы утащить его. Видѣли его также въ образѣ страшной черной собаки, прыгавшей вокругъ дома. Леталъ онъ черезъ крышу свѣтищимся змѣемъ, а то темнымъ клубкомъ спускался въ трубу. А то бывало и такъ,

что весь дворъ казался охваченнымъ какимъ-то страннымъ зеленоватымъ огнемъ, который не жегъ, а только свѣтился.

Сторожъ рассказывалъ, что по ночамъ иногда выходило изъ моря цѣлое полчище чудовищъ, которыя съ гиканьемъ, свистомъ, воемъ, ржаньемъ и лаемъ бросались въ домъ къ умиравшему, производили тамъ адскій шумъ и опять удалялись въ море. Работники и слуги Ботольфа все разбѣжались, бросивъ его на произволъ судьбы. Они-то, главнымъ образомъ, и были распространителями сказокъ. Не будь сосѣда бочара съ женою, которымъ Ботольфъ оказывалъ большія услуги, онъ такъ и остался-бы безъ всякой помощи; они приходили къ нему и ходили за нимъ. Старуха очень боялась, но изъ христіанскаго милосердія все-таки заботилась и сокрушалась о немъ. Чтобы прогнать злого духа, она сожгла подъ его постелью снопы соломы; чуть не сожгла его живьемъ, а злого духа все-таки не выгнала.

Онъ страдалъ и мучился невыразимо. Старухѣ, наконецъ, пришло въ голову, что онъ ждетъ кого-нибудь. Она спросила его, не позвать-ли пастора. Онъ покачалъ головою. Такъ не желаетъ-ли онъ видѣть еще кого? На это онъ вовсе не отвѣтилъ. На другой день онъ ясно выговорилъ: „Агнеса“. Едва ли это былъ отвѣтъ на вчерашній вопросъ, но старуха поняла такъ. Съ довольнымъ видомъ она вышла къ своему мужу, возившемуся на дворѣ, и попросила его съѣздить къ пастору за Агнесою. Въ пасторатѣ, конечно, подумали, что старушка ослышалась и что умирающій звалъ къ себѣ пастора, но бочаръ стоялъ на томъ, что капитанъ требовалъ именно Агнесу. Дѣвочка слышала эти переговоры. Ей стало очень страшно, когда она припомнила все ужасы, рассказываемые о Ботольфѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она вспомнила слышанное, что человѣкъ не можетъ умереть, пока не дождется того, кого желаетъ видѣть; а что онъ пожелалъ видѣть ее—было очень просто, такъ какъ она часто бывала у его жены. Отецъ и мать подтвердили ей, что желаніе умирающаго должно быть исполнено, и что если она хорошенько помолится Богу, то съ ней не случится ничего дурного.

Она повѣрила этому и согласилась ѣхать. Былъ ясный, холодный вечеръ. Бубенчики звонко заливались, по бокамъ лошади

тянулись и прыгали какія-то удивительныя тѣни — было жутко, но молитва успокоивала и придавала смѣлости.

Доѣхали очень скоро. Старушка вышла встрѣтить Агнесу, ввела ее въ кухню къ очагу, на которомъ весело пылалъ и трещалъ огонь, раздѣла ее и дала ей выпить чашку горячаго кофе, чтобы дѣвочка согрѣлась.

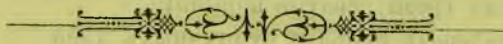
Потомъ, взявъ ее за руку и уговаривая, чтобы она не боялась, а смѣлѣе подошла бы къ умирающему и прочла бы надъ нимъ „Отче нашъ“, добрая женщина ввела дѣвочку въ спальню.

Онъ лежалъ худой, какъ скелеть, и глядѣлъ на нее въ упоръ громадными горящими глазами. Онъ, однако, вовсе не показался дѣвочкѣ страшнымъ, и она нисколько не испугалась его.

— Прощаешь ты мнѣ?—прошенталъ онъ.

Она поняла, что должна сказать „да“, — такъ и сказала. Онъ улыбнулся и попытался приподняться, но не могъ. Дѣвочка начала читать „Отче нашъ“, но онъ сдѣлалъ отрицательное движеніе и указалъ на ее грудь. Она кивнула головой и положила обѣ свои маленькія теплыя ручки на его изсохшую грудь; онъ положилъ свою костлявую, холодную какъ ледъ руку поверхъ ея рукъ и закрылъ глаза. Она снова начала читать молитву, и, такъ какъ онъ на этотъ разъ не выказывалъ нежеланія слушать, довела ее до конца. Видя, что онъ не шевелится, она повторила молитву, а когда она хотѣла начать ее въ третій разъ, вошла старушка, взглянула на лежавшаго неподвижно капитана и сказала:

— Будеть, дитя мое: твоя молитва испустила и спасла его.



* * *

Набѣжали тѣни
 На безмолвный садъ;
 Кустики сирени
 Молчаливо спятъ...

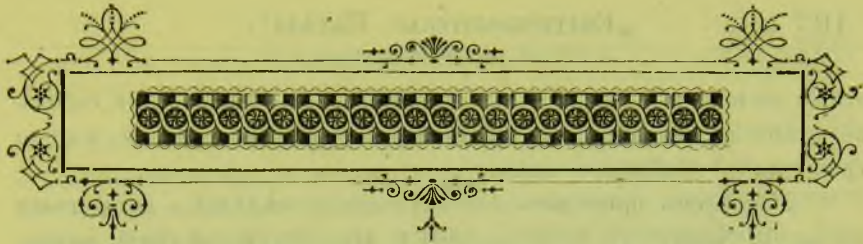
Вѣтеръ не играетъ
 Листьями вѣтвей;
 Звонко начинается
 Пѣсню соловей.
 Огненное пышетъ
 Зарево зари,
 Спитъ, и будто дышетъ,
 Озеро вдали...

А. Н. Севастьяновъ.

* * *

Мы съ тобою, мой другъ, не любимцы судьбы,
 Мы не дѣти слѣплого довольства и счастья...
 Къ намъ нерѣдко стучится и призракъ борьбы,
 И врывается сумракъ людского ненастья!
 Мы не баловни, другъ мой! Лишенья, нужда
 Съ нашей жизнью, какъ братья, такъ связаны тѣсно!
 Ты, подчасъ, изнываешь подъ игомъ труда,
 Я, нерѣдко, рыдаю надъ горечью пѣсни...
 Но, мой другъ, въ этомъ мѣрѣ людской суеты,
 Въ этой битвѣ страстей и на рынкѣ наживы
 Мы сумѣли сберечь еще наши мечты,
 Наши юныя грезы, святые порывы!..
 Ты сумѣла средь сумрака будничныхъ дней
 Сохранить въ своемъ сердцѣ и вѣру, и чувство;
 Я, страдаю, не сжегъ всѣхъ своихъ кораблей,
 И, какъ прежде, люблю и людей, и искусство!..

О. Изр—онъ.



ЧИКАГО И ЕГО ЖИЗНЬ.

Е. К.

Богатая литература европейцев объ Америкѣ увеличилась недавно книгою француза Стефана Жусселена— „Янки конца вѣка“ (Jankees fin de Siècle), представляющей рядъ бѣглыхъ, но крайне живо и остроумно написанныхъ очерковъ общественной и политической жизни Соединенныхъ Штатовъ.

Проѣхавъ заатлантическую республику отъ Нью-Йорка до Санъ-Франциско, авторъ продолжительное время прожилъ въ Чикаго, описанію котораго онъ посвящаетъ двѣ главы своего труда.

Въ виду предстоящей всемірной выставки въ Чикаго и того вниманія, которое этотъ городъ возбуждаетъ теперь въ русской читающей публикѣ, очерки Жусселена, рисующіе нравы и жизнь „американской Америки“, какъ онъ называетъ Чикаго, не лишены интереса дня.

I.

Чикаго, съ его колоссальными домами въ 15—20 этажей, съ его озеромъ, на берегахъ котораго громоздятся роскошные богатые дворцы, съ уличнымъ движеніемъ и дѣятельностью, вызывающими головокруженіе даже у видавшаго виды человѣка, съ трамваями,

этими маленькими желѣзными дорогами, изрѣзывающими городъ по всѣмъ направлѣнїямъ, — производить сразу впечатлѣнїе чего-то громаднаго, необыкновеннаго.

Жусселенъ приводитъ статистическія свѣдѣнїя о возрастанїи населенїя Чикаго съ 1830 по 1891 г. Изъ этихъ свѣдѣнїй видно, что въ 1830 г., когда Чикаго былъ только что основанъ и представлялъ изъ себя маленькое, дрянное поселенїе, онъ имѣлъ 70 человѣкъ жителей; черезъ двадцать пять лѣтъ, въ 1855 г., населенїе его возрасло уже до 60,627; въ 1871 г., въ эпоху страшнаго пожара, истребившаго почти весь городъ, онъ имѣлъ 334,270, а черезъ двадцать лѣтъ, въ 1891 г., — 1.250,000 жителей.

Чикаго — узелъ двадцати девяти желѣзнодорожныхъ линїй, идущихъ къ океанамъ Атлантическому и Тихому, къ великимъ озерамъ, Мексиканскому заливу, соединяющихъ городъ со всѣми главнѣйшими пунктами Соединенныхъ Штатовъ. Желѣзнодорожныя станціи Чикаго принимаютъ каждый день — почти невѣроятное число — 902 поѣзда, изъ которыхъ 240 курьерскихъ; количество уѣзжающихъ и прибывающихъ ежедневно пассажировъ простирается до 185000. Въ портъ Чикаго ежегодно приходитъ до 25000 судовъ, вмѣщающихъ около 10 милліоновъ тоннъ.

Выгодное географическое положенїе Чикаго позволяетъ ему съ успѣхомъ соперничать съ первоклассными городами Америки. „Я не нахожу“, говоритъ Жусселенъ, „лучшаго средства высказать точно мое мнѣнїе о Чикаго, какъ сравнить Америку съ человѣческимъ тѣломъ, сердце котораго — Чикаго: какъ всѣ кровеносныя сосуды, сообщающїе жизнь различнымъ членамъ, исходятъ изъ этой главной артерїи, такъ и Чикаго разсылаетъ по своимъ многочисленнымъ желѣзнымъ дорогамъ во всѣ пункты Америки произведенїя своей чудной индустріи, результаты генїя и труда своихъ обитателей.“

Чикаго, по мнѣнїю Жусселена, не только типъ крупнаго американскаго города но преимуществу, но и будущая столица Америки; ростъ его не остановится очень долго, а пожалуй, и никогда. Сопоставляя Чикаго съ Нью-Йоркомъ, Жусселенъ говоритъ, что Чикаго — это Лондонъ, между тѣмъ какъ Нью-Йоркъ — Ливерпуль.

Осматривая городъ, его девятнадцати-этажныя зданїя, Жуссе-

лень былъ пораженъ удобствомъ и легкостью, съ которыми дѣйствуютъ подъемныя машины, переносящія желающихъ, во мгновеніе ока снизу вверхъ и обратно, по различнымъ этажамъ гигантскаго зданія, и берегающія массу времени дѣловому люду. „Чувствуешь“, пишетъ Жусселенъ,— „что всѣ эти люди работаютъ, что они знаютъ цѣну времени и имѣютъ только одну цѣль: сдѣлаться богатыми“. Но и достигнувъ этого, американцы не отдыхаютъ. Въ Чикаго люди очень богатые ходятъ въ свои бюро, какъ самые мелкіе служащіе, а дѣти ихъ съ самаго нѣжнаго возраста поступаютъ въ суровую школу труда и дѣловыхъ занятій. Американцы полагаютъ, что каждый человѣкъ долженъ работать и жить своими средствами; въ этомъ они подають примѣръ своимъ дѣтямъ и требуютъ отъ нихъ такой-же жизни въ будущемъ.

По улицамъ Чикаго на каждомъ шагѣ встрѣчаются крупныя надписи: „продаются земли“. Чикаго излюбленное мѣсто для земельныхъ спекуляторовъ. Всѣ громадныя состоянія составлены путемъ продажи и покупки земельныхъ участковъ, цѣнность которыхъ иногда возрастаетъ въдесятеро противъ ихъ первоначальной стоимости; называютъ по фамиліямъ жителей стараго Чикаго, которые продали за нѣсколько долларовъ участки земли, стоящіе теперь милліоны. По мѣрѣ увеличенія города, перемѣщается и его центръ, и всѣ обитатели его, помѣшанные на спекуляціи землею, только и думаютъ, чтобъ отыскать маленькій клочокъ земли, который когда нибудь ихъ обогатитъ, и купить его въ окрестностяхъ города, могущихъ въ послѣдствіи сдѣлаться самимъ городомъ. Здѣсь спекулятивная лихорадка во всей ея красѣ. Вчерашній колоссальный богачъ сегодня разоренъ; но, благодаря своей личной энергіи, завтра опять поправляется на какой-нибудь громадной аферѣ, заставляющей снова говорить о немъ.

Къ особенностямъ уличной жизни Чикаго относится странное для европейца явленіе: на какомъ-нибудь углу нерѣдко можно видѣть одного изъ городскихъ „королей доллара“, терпѣливо ожидающаго прохода трамвая. Здѣсь, какъ и въ Нью-Йоркѣ, самые богатѣйшіе люди ѣздятъ, какъ простые рабочіе, въ общественныхъ дилижансахъ. Они не считаютъ этого неловкимъ и никогда не употребляютъ другого средства передвиженія. Собственные экипажи

они предоставляютъ своимъ женамъ для прогулокъ въ Линкольнъ-паркъ и Джаксонъ-паркъ, двухъ великолѣпныхъ бульварахъ, опоясывающихъ городъ. Расположенные на берегахъ Мичигана, эти парки составляютъ любимое мѣсто гуляній эlegantнаго общества.

Биржа въ Чикаго, этотъ „дворецъ Его Величества бога Доллара“, сравнительно даже съ парижской биржей,—разъяренный океанъ, сопоставленный съ спокойнымъ моремъ. Шумъ, сумятица, крики, непрестанный гулъ тысячи человѣческихъ голосовъ! Спекулируютъ, главнымъ образомъ, на хлѣбъ, для котораго Чикаго служитъ крупнѣйшимъ рынкомъ. Въ противоположность европейскимъ, американскіе цари биржи по виду рѣшительно ничѣмъ не отличаются на биржѣ отъ самыхъ мелкихъ спекуляторовъ и, подобно послѣднимъ, смѣшиваются съ толпой. Американецъ мало обращаетъ на нихъ вниманія, ибо этотъ миллионеръ черезъ недѣлю можетъ быть бѣднякомъ, а онъ самъ сдѣлается болѣе богатымъ, чѣмъ этотъ король минуты.

Опера въ Чикаго помѣщается въ гигантскомъ Аудиторіумъ-отелѣ, съ башней въ 24 этажа. Театральный залъ очень комфортабеленъ: кресла превосходны, поставлены просторно, мѣста широки и обширны; акустика прекрасная; превосходная вентиляция; отличное электрическое освѣщеніе распространяется по всей залѣ, видъ которой былъ-бы очень хорошъ, если-бы не странный, монотонный характеръ ея украшеній,—все бѣлое съ золотомъ, ни одной арабески, ни одного скульптурнаго произведенія, на которомъ могъ-бы отдохнуть глаза. Театральный залъ выстроенъ очень недавно. При его открытіи одинъ изъ членовъ комитета постройки обратился къ присутствующимъ съ маленькимъ спичемъ чисто американскаго содержанія:

„Что такое опера въ Вѣнѣ? Что такое опера въ Парижѣ, о которой говорятъ такъ много? Простые залы, гдѣ слушаютъ музыку. Превосходство надъ ними театра Аудиторіума проявляется на каждомъ шагу; не только мы имѣемъ залъ столь-же большой и прекрасный, какъ залы тѣхъ двухъ оперъ, о которыхъ я только что сказалъ, но мы еще и даемъ массу неопцѣнимыхъ преимуществъ. Имѣеть-ли Парижская опера отель и комнаты, всегда готовые принять зрителей, убаюканныхъ музыкой? Опера въ Вѣнѣ

имѣть-ли ресторанъ? Эти оба театра имѣютъ-ли аптеку и ванны? Нѣтъ,—не правда-ли? Слѣдовательно, нашъ театръ, я повторяю, самый превосходный, самый практичный въ мірѣ.“

Каждый американскій отель представляетъ изъ себя маленькій городъ; вы можете жить тамъ и находить множество занятій, не выходя на улицу. Всѣ журналы, газеты, самыя разнообразныя книги собраны въ огромной библиотекѣ, присущей каждому отелю; парикмахеръ, аптека, телеграфъ, телефонъ, ресторанъ,—все находится къ вашимъ услугамъ. Нужно-ли вамъ написать много писемъ? Вы обращаетесь къ молоденькой дѣвушкѣ, имѣющей специальное бюро, и диктуете ей свою корреспонденцію; очень бойкая стенографистка, она пишетъ съ тою-же скоростью, какъ вы говорите; окончивъ писать, съ необычайнымъ проворствомъ она беретъ приборъ, составленный изъ клавишъ съ вырѣзанными на нихъ буквами алфавита,—пишущую машину, посредствомъ которой немедленно воспроизводитъ ваше письмо на листѣ бумаги, въ высшей степени аккуратно и безъ малѣйшей неточности. Нѣтъ ни одного отеля въ Америкѣ, гдѣ бы не было такихъ дѣвушекъ, которыхъ зовутъ здѣсь „typewriters“. Впрочемъ, ихъ видишь вездѣ, во всѣхъ конторахъ, агентствахъ, въ каждомъ торговомъ домѣ. Одинъ крупный капиталистъ рассказывалъ Жусселену, что болѣе года онъ не прикасался къ перу иначе, такъ только подписывая свою фамилію.

Желаете вы ѣхать, напр., въ Санъ-Франциско? Въ самой конторѣ отеля вы найдете себѣ билетъ; вашъ багажъ будетъ сданъ, и вамъ останется только сѣсть въ вагонъ. Хотите идти въ спектакль? Вы берете билетъ также въ отелѣ и не принуждены бѣгать за нимъ изъ конца города въ другой, какъ практикуется это въ Европѣ. Всѣ эти маленькія удобства дѣлаютъ то, что отели очень любимы американцами, которые часто предпочитаютъ жить въ нихъ, нежели нанимать квартиры. Многіе богачи живутъ круглый годъ въ Пальмеръ-гаузѣ, избѣгая тѣмъ хозяйственныхъ заботъ и имѣя постоянныя развлечения. Если имъ скучно въ своихъ комнатахъ, они спускаются въ общіе залы, гдѣ происходитъ вѣчное движеніе, безпреставная смѣна лицъ и впечатлѣній, гдѣ вы всегда можете рассчитывать встрѣтить своихъ знако-

мъхъ или какихъ-нибудь финансовыхъ или политическихъ знаменитостей города. Репортеры знаютъ это хорошо и поэтому устраиваютъ здѣсь свою „главную квартиру“, свое постоянное мѣстопробываніе.

Чикаго, даже по элементарнымъ учебникамъ географіи, славится своею свининой, между тѣмъ какъ въ самомъ городѣ вы не увидите ни одной лавки съ свинными тушами, ибо — курьезное обстоятельство — въ Чикаго нѣтъ торгова свининой и потребляютъ ее здѣсь чрезвычайно мало. Чтобы видѣть знаменитыя свинныя бойни, нужно проѣхать весь громадный городъ, пересѣчь страшное количество путей всякаго рода; двадцать девять желѣзныхъ дорогъ имѣютъ свои спеціальныя вѣтви, подвозящія регулярно, часъ въ часъ, животныхъ для убоя. Наконецъ, мы на мѣстѣ: острый, вызывающій тошноту запахъ захватываетъ ваше дыханіе, воротитъ всѣ ваши внутренности; слышатся крики, и черезъ нѣсколько секундъ мы у преддверія ада. Изъ огромной черной дыры поднимается съ помощью блока громадная свинья, которая отчаянно бьется. Посредствомъ особаго приспособленія животное въ нѣсколько секундъ перевозится къ человѣку, одѣтому въ кожаный передникъ, вооруженному ножомъ, который онъ вонзаетъ свиньѣ въ рыло. Это дѣло мгновенія: льются потоки черной крови, среди конвульсивныхъ вздрагиваній животное испускаетъ пронзительные крики, въ то время, какъ обхватывающій его блокъ переноситъ его въ громаднѣйшій чанъ съ кипящей водой, при выходѣ изъ котораго оно переходитъ въ руки двухъ рабочихъ, которые длинными бритвами счищаютъ съ него щетину, тогда какъ третій отрубаетъ ему голову и ноги. Затѣмъ животное разнимается на части, разрѣзается, очищается отъ внутренностей; черезъ нѣсколько минутъ оно уже въ ящикахъ. Всѣ эти операціи продѣлываются крайне быстро и ловко, но обстановка бойни, съ ея специфическимъ запахомъ, криками и конвульсіями убиваемыхъ животныхъ, льющаюся кровью производить на свѣжаго человѣка тяжелое впечатлѣніе.

Близъ свинной бойни помѣщается бойня быковъ. Несчастныя животныя приводятся одинъ за другимъ въ небольшія помѣщенія, имѣющія дверь въ рабочую комнату. Когда животное появляется, оно получаетъ въ голову ударъ молотомъ, который сразу его сваливаетъ и оглушаетъ. Затѣмъ вытаскиваютъ животное изъ его кельи

и подвѣшиваютъ внизъ головой къ потолку мастерской, гдѣ перерѣзываютъ ему горло, распластываютъ, очищаютъ внутренности, моютъ и разрѣзаютъ на двѣ части: каждая туша передвигается на особомъ приборѣ въ ледники, гдѣ хранится двое сутокъ, послѣ чего свѣжее мясо направляется во всѣ пункты Соединенныхъ Штатовъ.

На бойняхъ Армура ежедневно убивается до 5000 свиней и 1500 быковъ. На всѣхъ-же бойняхъ Чикаго въ теченіе 1891 г. было убито до 4,425,941 свиней и 2.350,627 быковъ.

II.

Вечеромъ дѣловой Чикаго преобразается. Трамвай, быстро бѣгущіе по освѣщеннымъ электричествомъ великолѣпнымъ улицамъ Чикаго, наполнены биткомъ людьми, возвращающимися, по окончаніи трудового дня, къ своимъ очагамъ. Наконецъ, наступило время отдыха и удовольствій: всѣ эти люди, которые цѣлые часы жонглировали съ милліонами, составляли грандіозные проекты, играли на повышеніе и пониженіе, испытывали всѣ треволненія игры,—возвращаются къ себѣ и оставляютъ до-завтра всѣ свои финансовыя заботы.

Въ нѣсколько минутъ они преобразаются: маленькая круглая шляпа, простой костюмъ уступаютъ мѣсто шелковой шляпѣ, черной парфѣ, бѣлому галстуку, и всѣ эти люди отправляются въ городъ, одинъ—чтобъ провести вечеръ въ театрѣ или циркѣ, другой—пообѣдать у друзей, этотъ—чтобъ продолжить на балу очаровательный „флиртъ“ съ хорошенькой миссъ, съ которой онъ познакомился вчера, тотъ, наконецъ,—засвидѣтельствовать свое почтеніе молодымъ дѣвушкамъ, видѣть которыхъ днемъ помѣшали его многочисленныя занятія.

Общество въ Чикаго принадлежитъ, безспорно, къ одному изъ самыхъ пріятныхъ и любезныхъ въ Америкѣ. Гостепріимство, какъ, впрочемъ, и повсюду въ Соединенныхъ Штатахъ, практикуется здѣсь въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Если вы имѣете рекомендательное письмо, вы можете быть увѣреннымъ, что вашъ новый знакомый откроетъ вамъ всѣ двери своего дома, познакомитъ васъ съ своими друзьями, которые въ свою очередь пригласятъ васъ бывать у себя. Въ короткій срокъ вы будете познакомлены, хорошо

привяты и положительно очарованы сердечностью приѣма, который вы встрѣтите.

Такъ какъ крупныя состоянія очень многочисленны въ Чикаго, который, прежде всего, городъ богатый, то приѣмы, вечера, праздники слѣдуютъ одинъ за другимъ до безконечности. Балы здѣсь представляютъ одно изъ самыхъ привлекательныхъ зрѣлищъ. Кругомъ свѣжія, смѣющіяся лица, ибо мамы почти всегда отсутствуютъ и лишь изрѣдка вы встрѣтите двухъ-трехъ дуэней, обязанныхъ сопровождать въ общество эту кипучую молодежь; повсюду прелестныя платья. Тутъ букетъ молодыхъ и красивыхъ дѣвушекъ, столь-же ловкихъ въ флиртѣ, какъ и въ вальсѣ, и способныхъ заставить полюбить балъ самыхъ упрямыхъ нелюдимовъ. По окончаніи вальса вы исчезаете со своею дамою въ оранжерею или уголокъ салона, иногда даже на лѣстницу, однимъ словомъ туда, гдѣ никто не помѣшаетъ вашему очаровательному tête-à-tête. Американскіе балы отличаются веселостью и свободою. Вездѣ сіяющія лица, полное отсутствіе какой бы то ни было принужденности; молодая дѣвушка держитъ себя свободно съ тою развязностью, которую даетъ ей сознаніе собственнаго достоинства.

Для большихъ баловъ нанимаютъ спеціальныя залы, превосходно устроенныя, съ громаднымъ помѣщеніемъ для буфета и маленькими салонами для отдыха. Эти послѣдніе, кажется, спеціально предназначаются для тѣхъ, которые хотятъ флиртовать, потому что именно тамъ завязываются безчисленныя свѣтскія интриги, составляющія особенность Новаго Свѣта. Въ уютныхъ уголкахъ, подъ тѣнью пальмъ, все располагаетъ васъ къ нѣжнымъ разговорамъ; вокругъ васъ полумракъ; музыка, плѣнительные звуки которой вамъ слышатся издали, настраиваетъ васъ къ сердечнымъ изліяніямъ. Во Франціи такая свобода отношеній привела-бы во многимъ скандаламъ. Здѣсь-же, вслѣдствіе свойствъ американскаго темперамента, все остается въ границахъ свѣтскихъ приличій.

Причина извѣстнаго кокетства американки объясняется главнымъ образомъ холодною американца-мужчины. Его флегматичность ее раздражаетъ; она видитъ въ ней оскорбленіе своей граціи, своей красоты; она хочетъ разбить ледъ и возбудить желанія у этой льдины. Отсюда всѣ эти жеманства, кокетничанья, на

которыя сдается мужчина, но которыя не заходятъ слишкомъ далеко, потому что лишь только американка увидитъ, что она производитъ впечатлѣніе, тщеславіе ея удовлетворено, она сдерживаетъ слишкомъ горячихъ обожателей и продолжаетъ свою „систему“, пока не найдетъ себѣ „химическаго сродства“, — человѣка, котораго она захочетъ имѣть мужемъ.

Въ Америкѣ вечера начинаются обыкновенно въ 9 часовъ, а въ 2 часа утра все оканчивается. Въ полночь ужинъ за отдѣльнымъ столикомъ въ компаніи съ понравившейся вамъ дѣвушкой. Въ 2 часа подается сигналъ къ разъѣзду, и молодыя царицы бала съ неохотой удаляются въ сопровожденіи нѣсколькихъ обожателей, несущихъ ихъ цвѣты и трофеи котильона, между тѣмъ какъ ихъ некрасивыя подруги, просидѣвшія весь вечеръ у стѣнъ, быстро исчезаютъ, избѣгая лукавыхъ взглядовъ и ироническихъ вопросовъ своихъ счастливыхъ соперницъ.

Ежегодно извѣстное число молодыхъ дѣвушекъ 17—18 лѣтъ дѣлаютъ свой первый выѣздъ въ свѣтъ. Ихъ называютъ „дебютантками“ или „бутонами розы“. Родители молодой дѣвушки-дебютантки даютъ для своей дочери блестящій балъ. Съ этого момента она принята во всѣхъ собраніяхъ, приглашается на обѣды, вечера, приемы, на всѣ общественныя удовольствія; въ честь ея даютъ балы; если она красива, то тотчасъ-же дѣлается царицею дня.

Замужнія женщины умѣютъ прекрасно распоряжаться тѣмъ свободнымъ временемъ, которое предоставляютъ имъ мужья, занятые сколачиваньемъ денегъ. Принужденны обходиться безъ „непрекраснаго“ пола, онѣ мужественно покоряются своей участи, но не остаются одинокими въ четырехъ стѣнахъ, а напротивъ, всѣ свои дни посвящаютъ свѣтскимъ развлечениямъ. Онѣ устраиваютъ „люнчи“—завтраки, на которые приглашаютъ нѣсколькихъ своихъ подругъ. Садятся за столъ въ часъ, выходятъ изъ-за него въ четыре часа; происходятъ оживленные разговоры, передаются новости, время проходитъ незамѣтно. Молодыя дѣвушки, въ свою очередь, тоже устраиваютъ люнчи, на которые родители не показываются, а мѣсто ихъ занимаетъ какая-нибудь молоденькая женщина, недавно вышедшая замужъ, которая и руководитъ этою изящ-

ною молодежью. Въ четыре часа завтракъ оканчивается; дѣлается 4—5 визитовъ; отъ пяти до семи часовъ вечера—чай, для приготовления котораго хозяйка дома приглашаетъ нѣсколькихъ молодыхъ дамъ или дѣвицъ,—что считается признакомъ особой любезности,—являющихся въ блестящихъ туалетахъ, декольте. У входа въ салонъ гостей встрѣчаетъ сама хозяйка, обыкновенно, вмѣстѣ съ какою-либо изъ самыхъ близкихъ своихъ подругъ. Поздоровавшись, гости проходятъ въ буфетъ, гдѣ разставлены въ изобиліи мороженое, сандвичи, пуншъ, шоколатъ и т. п., и всего рѣже самый чай. На этихъ маленькихъ собраніяхъ царитъ величайшее оживленіе, веселость, не перестающіе разговоры, и дамы, повидимому, нисколько не сожалѣютъ объ отсутствіи мужчинъ.

Свадебныя церемоніи въ Америкѣ происходятъ обыкновенно въ восемь часовъ вечера. Весь день проходитъ въ приготовленіи невѣсты; всѣ ея подруги возлѣ нея и украшаютъ домъ цвѣтами всякаго рода и гирляндами бука для вечера, который будетъ послѣ церемоніи. Наконецъ, туалетъ оконченъ; ѣдутъ въ церковь, гдѣ въ изобиліи разсыпаны цвѣты. Всѣ въ роскошныхъ туалетахъ, дамы въ декольтированныхъ платьяхъ, мужчины во фракахъ, съ бѣлыми галстуками. У входа въ церковь стоятъ восемь или десять шаферовъ и указываютъ приглашеннымъ ихъ мѣста. По прибытіи невѣсты, они попарно идутъ впереди ея; за ними слѣдуетъ такое-же число дѣвушекъ, одѣтыхъ въ бѣлыя платья съ длинными тrenaми. Невѣста, въ открытомъ платьѣ, идетъ къ своему жениху, ожидающему ее у подножія алтаря. Приближается отецъ дѣвушки и вкладываетъ самъ руку дочери въ руку своего зятя. Пасторъ обращается къ брачующимся съ обычными вопросами и надѣваетъ кольцо на палецъ молодой женщины; затѣмъ благословляетъ ихъ, произноситъ короткую молитву;—и церемонія, продолжающаяся всего десять минутъ, окончена. Органъ играетъ свадебный гимнъ, и кортежъ двигается снова, но уже теперь молодая идетъ впереди подъ руку со своимъ мужемъ, сопровождаемая сзади своими подругами и шаферами. Въ церкви поздравленій не бываетъ. Всѣ отправляются въ домъ родителей, гдѣ происходитъ приемъ поздравленій, а затѣмъ балъ. Въ 10 часовъ молодая скрывается, чтобъ переодѣнуть туалетъ, въ то время какъ приглашен-

ные ходятъ по салонамъ и любятъ подарками, выставленными въ особой комнатѣ. По прошествіи нѣкотораго времени появляются оба новобрачные въ дорожныхъ костюмахъ. Оркестръ играетъ вальсъ, и они вмѣстѣ открываютъ балъ. Затѣмъ невѣста бросаетъ свой букетъ изъ флеръ-д'оранжа подругамъ, которыя вступаютъ изъ-за него въ эпическую борьбу, ибо, по существующему повѣрью, овладѣвшая имъ выйдетъ въ этомъ же году замужъ. Въ это время новобрачные наскоро одѣваютъ свои шляпы, верхнія платья и возможно поспѣшно убѣгаютъ, преслѣдуемые толпою друзей, которые со всѣхъ сторонъ бросаютъ въ нихъ горстями риса, куда попало: въ ротъ, глаза, уши, волосы; таковъ обычай. Карета ожидаетъ молодыхъ у дверей,—они быстро вскакиваютъ въ нее, но все-же не настолько скоро, чтобъ не получить въ догонку старую туфлю, символъ, который долженъ предохранить ихъ отъ малѣйшихъ супружескихъ несчастій. Наконецъ, они уѣхали; медовый мѣсяцъ начался... Кипитъ веселый, оживленный праздникъ; вальсъ слѣдуетъ за вальсомъ, пока ужинъ не соединитъ всѣхъ танцоровъ, ужинъ, за которымъ льется рѣкой шампанское за здоровье новобрачныхъ.

Жители Нью-Йорка, не могущіе до сихъ поръ примириться съ баснословнымъ ростомъ Чикаго, утверждаютъ, что онъ по преимуществу городъ богатый, дѣловой, обитатели-же его совершенно невѣжественны и ничего не понимаютъ въ вопросахъ искусства и литературы. Правда, Чикаго въ этомъ отношеніи не можетъ сейчасъ соперничать съ Нью-Йоркомъ, но надо надѣяться, что впоследствии онъ догонитъ своего старшаго собрата. И теперь уже въ Чикаго много людей съ прекраснымъ вкусомъ, очень образованныхъ и развитыхъ. Они не составляютъ еще большинства, но это дѣло времени. Чикаго гордится, и съ полнымъ правомъ, своимъ музеемъ, American Art Institute, гдѣ находятся старинныя и новѣйшія картины неопредѣлимыхъ достоинствъ. Что касается частныхъ коллекцій, то ихъ въ Чикаго множество; изъ нихъ особенно замѣчательны и дѣлаютъ величайшую честь ихъ собирателямъ,—коллекціи Поттера, Пальмара, Генри Фильда, Эльсворта. Число періодическихъ изданій, выходящихъ въ Чикаго, достигаетъ громадной цифры 1310. Театры довольно многочислен-

ны, но всѣ очень посредственны, какъ, впрочемъ, и во всѣхъ Соединенныхъ Штатахъ, не исключая Нью-Йорка. Клубы Чикаго очень хороши, особенно Чикаго-клубъ и Унионъ-клубъ.

Заканчивая свои очерки жизни въ Чикаго, Жусселенъ говоритъ:

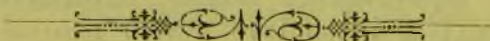
„Еще нѣсколько минутъ, и я покину Чикаго, унося съ собою воспоминаніе о городѣ колоссальномъ, въ нѣкоторомъ родѣ феноменальномъ, почти геніальномъ. Черезъ годъ выставка ознаменуетъ здѣсь пятисотлѣтіе открытія Америки; намъ обѣщаютъ показать на ней чудеса, и, конечно, сдержатъ слово. Но каково бы ни было великолѣпіе этой выставки, наибольшее вниманіе посѣтителей, среди собранія всѣхъ этихъ чудесъ, привлечетъ именно самъ городъ Чикаго, великая столица Соединенныхъ Штатовъ“.



Труженникъ.

Много дней трудовыхъ и бессонныхъ ночей
 Онъ печально провелъ въ душевой хатѣ своей,
 Надъ работою корпя и не зная утѣхъ,
 (Неизвѣстны ему были радость и смѣхъ).
 Но съ пеленокъ нужда тяготѣла надъ нимъ:
 Онъ родился, онъ росъ лишь на горе роднымъ
 И суровую жизнь въ нищетѣ короталъ....
 Съ ней не вынесъ борьбы и... измученный палъ.
 Безъ рыданій, безъ слезъ, безъ излишнихъ рѣчей
 Схоронили его межъ высокихъ елей
 На кладбищѣ глухомъ, гдѣ въ ненастные дни
 Громко плачутъ надъ нимъ только вѣтры одни.

* * *





СЫНЪ ДЮРАМЭ.

Разсказъ Лэблана.

(Съ французскаго).

Перев. Л. А. Мурахиной.

Супруги Дюрамэ сидѣли въ своей бѣдной, неприглядной хижинѣ за скуднымъ ужиномъ, тщетно придумывая, какъ бы вывернуться изъ цѣпкихъ когтей душившей ихъ бѣдности.

Въ углу пищаль двухнедѣльный ребенокъ—мальчикъ.

Цезарина Дюрамэ встала, взяла его изъ аляповатой, кое-какъ сколоченной колыбели и приложила къ груди. Ребенокъ жадно прильнулъ къ ней и замолчалъ.

Вдругъ за окномъ раздались чьи-то торопливые шаги и вслѣдъ затѣмъ кто-то разомъ распахнулъ дверь. На порогѣ появился прекрасно одѣтый господинъ со сверткомъ подъ мышкою. Затворивъ за собою дверь, онъ нѣсколько мгновений простоялъ неподвижно; окинувъ пытливымъ взоромъ и хозяевъ, и ихъ помѣщеніе, онъ потомъ выступилъ немного впередъ и спросилъ:

— Вы Викторъ и Цезарина Дюрамэ?

Викторъ, смущенный и обезпокоенный появленіемъ незнакомца, медлилъ отвѣтомъ, но Цезарина сказала:

— Да, сударь, мы Дюрамэ.

Господинъ подошелъ къ ней и положилъ ей на колѣни свертокъ.

— Развертывайте скорѣе!—съ улыбкой проговорилъ онъ.— Это мальчикъ—ровесникъ вашему. Будьте и ему матерью.

Она сидѣла не шевелясь, съ недоумѣніемъ глядя то на господина, то на свертокъ.

— Что же вы боитесь?—продолжалъ господинъ.

Она осторожно развернула нѣсколько платковъ,—показался дѣйствительно такой же крошечный мальчуганъ, какъ ея собственный.

Увидавъ его сморщенное личико и услышавъ его тоненькій пискъ, Цезарина почувствовала къ нему чисто материнскую жалость и поспѣшила приложить его къ свободной груди. Такимъ образомъ она стала кормить заразъ двухъ.

— Вотъ и прекрасно!—замѣтилъ незнакомецъ.—Теперь можно и объяснитьсь. У меня очень мало времени, и потому мы постараемся сдѣлать это покороче. Я зналъ, что вы молоды, здоровы, трудолюбивы и очень бѣдны. Поэтому я и пришелъ именно къ вамъ. У васъ уже есть одинъ ребенокъ; не хотите-ли взять ему въ компанію моего мальчика? Вотъ мои условія: каждые четыре мѣсяца, считая съ настоящаго дня, вы будете получать въ Фэкампѣ у нотаріуса Лоазеля по триста франковъ. Вы непременно должны брать съ собою ребенка. Слышите? Безъ него вамъ ничего не дадутъ. Воспитывайте его одинаково со своимъ сыномъ. Посылайте ихъ въ одну и ту же школу, а потомъ, если найдете возможнымъ, отдайте въ одну коллегію. Средства на ученіе вы, разумѣется, получите отъ того же нотаріуса. По наступленіи совершеннолѣтія, онъ получитъ двадцать тысячъ франковъ. Надѣюсь, вы согласны?

Дюрамэ слушали съ вытаращенными глазами и разинутыми ртами. Упомянаніе такихъ громадныхъ суммъ положительно ошеломило ихъ.

Господинъ долженъ былъ повторить имъ свои условія. Потомъ онъ добавилъ:

— Вы болѣе никогда не увидите меня и даже не услышите обо мнѣ. Можете рассказывать обо всемъ этомъ, какъ только вамъ

вздумается. Совѣтую, впрочемъ, лучше всего говорить правду. Для меня же самого это безразлично. Я на всякій случай принялъ свои мѣры. Прошу же сказать мнѣ, согласны вы или нѣтъ?

Оба молчали. Съ свойственною крестьянамъ недовѣрчивостью они предположили, что за предлагаемымъ имъ богатствомъ должно скрываться что-нибудь дурное.

Наконецъ Викторъ Дюрамэ пробормоталъ:

— Мы бы не прочь... но... но кто же докажетъ намъ... что нотаріусъ... дѣйствительно будетъ давать денегъ?... По мнѣ бы лучше было... если бы дали намъ... ну, такой клочекъ бумажки, на которомъ все было бы прописано... какъ слѣдуетъ.

— Это зачѣмъ?— нетерпѣливо произнесъ незнакомецъ.—Если вамъ не будутъ давать обѣщанныхъ денегъ, вы можете бросить мальчика,—вотъ и все. За первую же треть года плачу сейчасъ. Вотъ, получите.

Онъ положилъ на столъ 15 золотыхъ монетъ. Видъ блестящаго металла сразу убѣдилъ супруговъ Дюрамэ.

— Согласны, сударь, на все согласны!—заявилъ Викторъ.—Цезарина будетъ хорошей матерью вашему ребенку, да и я не буду дурнымъ отцемъ.

Незнакомецъ со слезами на глазахъ нагнулся къ своему сыну и крѣпко поцѣловалъ его.

— Его зовутъ Марселемъ,—сказалъ онъ потомъ.—Прошу такъ и звать. Слышите?... Марсель!

И онъ ушелъ, не говоря ни слова болѣе.

II.

По истеченіи первыхъ четырехъ мѣсяцевъ, они поручили своего маленькаго Шарло попеченіямъ доброй сосѣдки и отправились съ Марселемъ въ Фэкампъ къ нотаріусу, сильно тревожась относительно результата свиданія съ мэтромъ Лоазель.

Нотаріусъ принялъ ихъ такъ хорошо, что они сразу успокоились. Онъ убѣдился въ здоровьѣ Марселя, освѣдомился объ его молочномъ братцѣ, выдалъ Виктору триста франковъ и взялъ съ него расписку. Тѣмъ все и ограничилось.

Съ этихъ поръ Дюрамэ зажили въ полномъ довольствѣ.

Они даже наняли себѣ работника, о чемъ раньше и мечтать не смѣли. Тщательно обработанная земля стала приносить дохода вдвое болѣе противъ прежняго, прибавилось скота, заведенъ былъ прекрасный огородъ,—вообще все хозяйство стало процвѣтать какъ нельзя лучше.

А мальчики росли и крѣпли. Цезарина ухаживала за обоими почти одинаково; если кому изъ нихъ когда-нибудь оказывалось предпочтеніе, то, конечно, Марсею, какъ источнику всего семейнаго благосостоянія.

Исторія съ Марселемъ была извѣстна во всей окрестности. Дюрамэ сами всеѣмъ рассказывали ее, но только скрывали сумму, получаемую за воспитаніе мальчика. Конечно, послѣднее обстоятельство возбуждало фантазію кумушекъ, такъ что онѣ стали приписывать супругамъ Дюрамэ почти сказочное богатство.

Все шло отлично. Въ одинъ прекрасный день, когда Викторъ собиралъ въ саду яблоки, онъ вдругъ услышалъ изъ хижины отчаянные крики жены. Поспѣшивъ къ ней, онъ нашелъ ее лежащею на полу, придавленную свалившимся на нее старымъ шкапомъ съ посудой. Онъ поспѣшно высвободилъ жену и поднялъ шкапъ. Подъ грудой черепковъ и осколковъ лежало что-то странное, безформенное. Викторъ нагнулся, но тутъ же съ крикомъ ужаса отпрянулъ назадъ: это былъ трупъ Марсея.

— Деньги пропали!... Деньги!—крикнулъ Дюрамэ, вцѣпившись обѣими руками въ свои волосы и глядя помутившимися глазами на изуродованный трупикъ у его ногъ.

Стонъ раненой Цезарины, забившейся на постель, привелъ его въ ярость. Онъ кинулся на нее и началъ осыпать ее ударами кулака.

— Мерзкая, подлая тварь!—кричалъ онъ сквозь стиснутые зубы.—Что ты теперь надѣлала по своей неосторожности?! Вѣдь, теперь мы погибли и деньги наши пропали!...

Цезарина молча принимала жестокіе побои, какъ нѣчто должное. Когда его злость утихла, онъ сѣлъ рядомъ съ женою, закрылъ лицо руками и, мѣрно раскачиваясь взадъ и впередъ, бормоталъ все одно и то же: „Убить! умерь!... Пропали наши деньги!“

Цезарина сокрушалась не менѣе его. Долго она въ тупомъ отчаяніи смотрѣла на маленькаго мертвеца. Потомъ встала, накинула на себя платокъ и пошла къ двери.

— Пойду, нозову бабушку Левашу, которая снаряжаетъ мертвыхъ,—сказала она.

— Постой, погоди!—проговорилъ Викторъ, однимъ прыжкомъ очутившись возлѣ нея.—Мнѣ пришла хорошая мысль... Обсудимъ вмѣстѣ...

И онъ объяснилъ ей свою мысль. Цезарина сперва запротестовала было, но потомъ сдалась на его доводы.

Когда работникъ вернулся съ поля, онъ нашелъ Цезарину плачущею на колѣняхъ предъ колыбелью, а Виктора стонущимъ въ углу.

— Что случилось?—спросилъ работникъ.

— Сынъ нашъ убитъ!—дрожащимъ голосомъ отвѣтилъ Викторъ.—Нашъ маленькій, дорогой Шарло умеръ... Наказаль насъ Господь!... Вотъ не случилось же этого несчастія съ тѣмъ... съ чужимъ-то...

На другой день Викторъ заявилъ въ мэріи о смерти сына своего Пьера-Цезаря-Шарля, десяти мѣсяцевъ отъ роду.

Путешествія въ Фэкампъ продолжались своимъ чередомъ. Въ первый визитъ послѣ несчастнаго случая Цезарина ущипнула „Марселя“,—онъ закричалъ, и нотаріусъ не сталъ подробно осматривать его.

Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ Дюрамэ не показывали своего сына (превратившагося теперь въ Марселя) никому изъ тѣхъ, кто прежде видалъ его. Никто и не подозрѣвалъ подмѣна.

Супруги жили счастливо, въ мирѣ, согласіи и полномъ довольствѣ. Черезъ нѣсколько лѣтъ они сдѣлались самыми состоятельными фермерами во всемъ Фробервилѣ. Всѣ завидовали имъ и глядѣли на нихъ, какъ на особенныхъ избранниковъ судьбы.

Когда Марсель достаточно подросъ, его отдали въ школу. Товарищи, смутно слышавшіе что-то о немъ, относились къ нему, чуть-ли не какъ къ природному принцу.

Впрочемъ, онъ и держалъ себя съ сознаниемъ превосходства надъ всѣми.

Дюрамэ окружали его нѣжнѣйшими заботами, гордились имъ и постоянно дрожали за него, какъ бы судьба не отомстила черезъ него за смерть настоящаго Марсея. Они, безспорно, любили его истинно родительскою любовью, но еще болѣе любили въ силу алчности. Вѣдь, если не будетъ его, погибнетъ все ихъ благосостояніе, съ которымъ они такъ свыклись.

— Не занимайся слишкомъ много, — твердили они ему. — Береги себя и развлекайся хорошенько. Денегъ не жалѣй: у насъ ихъ довольно.

Дома они не позволяли ему ничего дѣлать по хозяйству. Глядя, какъ онъ зѣваетъ отъ скуки, они многозначительно переглядывались.

— Ничего не дѣлая, онъ приноситъ намъ болѣе, чѣмъ приносить другимъ родителямъ тѣ, которые работаютъ, какъ волы, съ утра до ночи.

Когда ему стало 15 лѣтъ, Дюрамэ пошли посоветоваться съ нотаріусомъ относительно дальнѣйшаго ученія. Матрѣ Лоазель посоветовалъ отдать его въ коллегію.

— Это воля его отца, — добавилъ онъ. — „Если мой сынъ покажетъ нужныя способности, пусть избретъ одну изъ свободныхъ профессій“, говорилъ онъ мнѣ при прощаніи.

— А кто его отецъ? — спросилъ Викторъ.

— Это безразлично, — сухо отвѣтилъ нотаріусъ: — сынъ все-таки никогда не будетъ знать его.

Избрали Гаврскій лицей.

Шель годъ за годомъ. Побуждаемый самолюбіемъ, часто осмѣиваемый товарищами за деревенскія манеры и выраженія, Марсель постарался и перевоспитать себя, и учиться съ успѣхомъ. Онъ усваивалъ все съ трудомъ, но за то прочно, и понемногу приобрѣлъ себѣ солидныя познанія.

Онъ захотѣлъ быть адвокатомъ, чѣмъ привелъ своихъ родителей въ окончательный восторгъ.

— Каково! — говорили они всѣмъ: — нашъ сынъ будетъ адвокатомъ и, конечно, однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ!

Получивъ дипломъ бакалавра, Марсель нрѣхалъ къ родителямъ отдохнуть. Онъ сталъ высокимъ, плотнымъ и красноще-

кимъ малымъ, съ лѣнливою походкою, небрежными манерами и и вялою рѣчью. Дюрамэ глядѣли на него съ благоговѣніемъ. Они любовались каждымъ его жестомъ, восторгались каждымъ его словомъ.

Онъ же относился къ нимъ лишь съ добродушною снисходительностью. Они были для него только грубыми и придурковатыми крестьянами, воспитавшими его, но болѣе ничего не имѣвшими съ нимъ общаго. Вотъ отдохнетъ онъ немного и тогда уѣдетъ отъ нихъ навсегда въ Парижъ.

Онъ часто думалъ о своемъ „настоящемъ“ отцѣ, который непремѣнно долженъ быть и благороденъ, и богатъ, какъ Крезъ. Неужели онъ никогда не увидитъ его? Онъ чувствовалъ, что былъ бы достоинъ такого отца, сдѣлалъ бы ему честь.

Въ началѣ второго мѣсяца его пребыванія на фермѣ, въ то время, какъ онъ наслаждался у окна послѣ-обѣденной сигарой, пріѣхалъ какой-то господинъ.

— Вы меня не узнаете?—весело спросилъ онъ, остановившись въ дверяхъ.

Викторъ и Цезарина, сидѣвшіе за кофе, молча смотрѣли на него.

— Это не ты-ли, Марсель?—обратился онъ къ молодому человѣку.

— Да, это мое имя, сударь,—съ изумленіемъ отвѣтилъ тотъ.

— Я де-Бервиль, твой...

— Богъ мой!—перебилъ Викторъ, съ ужасомъ вскочивъ съ своего мѣста.—Это, вѣдь, отецъ, право, отецъ!... Слушайте, что вамъ здѣсь нужно?—добавилъ онъ грозно, подступая къ де-Бервилю.—Вы сказали, что никогда болѣе не придете... Зачѣмъ же вы вернулись?

— Да, зачѣмъ вы вернулись?—какъ эхо повторила Цезарина, тоже вставшая въ свою очередь.

Оба были блѣдны, какъ смерть, и дрожали съ головы до ногъ.

— Я пришелъ за моимъ сыномъ, Марселемъ,—просто отвѣтилъ де-Бервиль.—Марсель, вѣдь, ты не откажешься слѣдовать за мною?

Молодой человекъ бросился къ нему на грудь.

— Отецъ, дорогой отецъ! Наконецъ-то я нашелъ васъ! — восклицалъ онъ, осыпая его поцѣлуями.

— Хорошо, хорошо... Я вижу, что мы будемъ друзьями. Готовься сейчасъ ѣхать со мною.

— Вы хотите взять его съ собою? — завопила Цезарина, бросаясь между ними. — Хотите увести нашего Марселя, нашего сына?

— Вашего сына? Скорѣе же — моего собственно, — возразилъ де-Бервиль, сіяя отъ счастья при видѣ этого здороваго, сильнаго и тѣломъ, и душою юноши, котораго судьба, наконецъ, позволила ему признать въ глазахъ всего свѣта.

— *Вашъ сынъ? тотъ-то?* — внѣ себя крикнула Цезарина. — О, нѣтъ, нѣтъ!... Я расскажу все... я не хочу, чтобы его взяли у насъ!

Викторъ остановилъ ее взглядомъ и сказалъ:

— Потрудитесь сперва доказать намъ, что вы его отецъ, а тогда посмотримъ.

— Вотъ ваши собственныя расписки въ полученіи отъ моего нотаріуса денегъ за его воспитаніе, — спокойно произнесъ де-Бервиль, подавая ему пачку расписокъ.

Викторъ молча опустилъ голову.

— Идемъ же скорѣе, Марсель, скорѣе, — поторошилъ пріѣзжій. — Ничего не бери изъ вещей, кромѣ шляпы и пальто. У меня всего довольно для тебя.

Молодой человекъ молча одѣлся.

— Такъ вашъ собственный сынокъ умеръ? Это, что-ли, вы хотѣли мнѣ рассказать? — освѣдомился де-Бервиль. — Я слышалъ объ этомъ страшномъ несчастіи тогда же.

— Да, нашъ сынъ умеръ, — глухо отвѣтилъ Викторъ.

— Прощай, папа-воспитатель! — сказалъ молодой человекъ, цѣлуя его. — Прощай, мама-воспитательница! Спасибо за ласки и заботы! Я скоро напишу вамъ и пришлю хорошенькій подарокъ.

Онъ схватилъ пріѣзжаго подъ руку и удалился вмѣстѣ съ нимъ.

Дюрамэ нѣсколько минутъ стояли, какъ пригвожденные къ

мѣсту, безъ словъ и движенія. Наконецъ Цезарина всплеснула руками, вскрикнула и залилась горькими слезами.

— Смотри, жена, деньги!—замѣтилъ Викторъ, указывая на столъ, гдѣ лежалъ билетъ въ пять тысячъ франковъ.

Цезарина молчала.

Онъ сѣлъ къ ней на диванъ, обнялъ ее и тоже заплакалъ.

— Да, на что и богатство, когда некому передать его!—тихо проговорилъ онъ наконецъ.—Одни мы теперь съ тобою, Цезарина, одни!...



* * *

Въ эту ночь непогодную
Сердцу какъ-то тяжелѣй...
Я зову васъ, грезы ясныя,
Грезы юности моей!

Помню я, какъ, лучезарныя,
Въ полусонной тишинѣ,
Вы несли мнѣ сны волшебныя
О родимой сторонѣ.

Съ вами, полный всепрощенія,
Полный радостей и силъ,
Въ мѣръ холодный и озлобленный
Я съ улыбкою входилъ...

Гдѣ-же вы! Теперь покинутый
Я бреду одинъ съ тоской...
Жизнь мнѣ хмуро улыбается
И грозитъ своей нуждой.

Все, во что такъ жарко вѣрилось,
Съ чѣмъ-бы сердце за одно, —
Такъ безжалостно осмѣяно,
Такъ поругано оно!

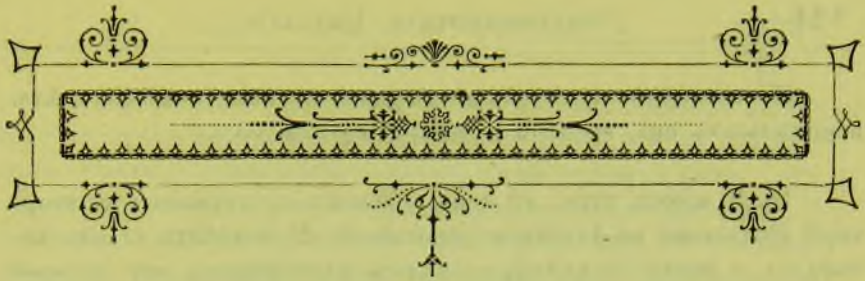
И теперь мнѣ страстно хочется
Снова, съ дѣтскою душой,
Слиться съ этой непривѣтливой
И суровою толпой.

Снова вѣрить-бы хотѣлося
Въ блескъ ликующаго дня...
Только вѣрить и надѣяться
Нѣту силы у меня!..

Въ эту ночь непогодную
Сердцу какъ-то тяжелѣй...
Я зову васъ, грезы ясныя,
Грезы юности моей!

А. Туркинъ.





ИЗЪ ПРОШЛАГО,

Е. К.

Нужны намъ великія могилы,
Если нѣтъ величія въ живыхъ.
Некрасовъ.

Въ одной изъ своихъ статей за прошлый годъ г. Скабичевскій, характеризует покойнаго Н. А. Некрасова, какъ человѣка, уподобляетъ поэта тому персоналу его поэмы, крестьянину далекой приволжской губерніи, который, вступивъ въ столицу бѣднякомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ имѣлъ въ карманѣ миллионъ; достиженіе такого положенія было главнымъ, постояннымъ стремленіемъ практическаго Некрасова, прошедшаго въ молодости суровую школу бѣдности и неудачъ. Такая характеристика—знаменіе нашего уравнивѣшеннаго времени. Иначе оцѣнивали покойнаго пѣвца музыки „места и печали“ его современники пятнадцать лѣтъ тому назадъ, когда провожали его тѣло до послѣдняго пристанища, когда „надгробное рыданіе“ заставляло забывать все мелочи и дрызги повседневной жизни и лишь напоминало, „какой свѣтильникъ разума угасъ, какое сердце биться перестало.“

Къ воспоминаніямъ объ этомъ далекомъ, памятномъ для всѣхъ пережившихъ его, времени я теперь и обращаюсь.

Въ 8 часовъ утра, въ день похоронъ, я отправился къ квартирѣ Некрасова на Литейномъ проспектѣ. У подъѣзда стоялъ катафалкъ и много экипажей; толпилась масса народа, изъ которой большая часть, судя по костюму, принадлежала къ учащейся молодежи. Мнѣ съ трудомъ удалось пробраться въ покои поэта. Въ комнатахъ царилъ мракъ. Гробъ былъ окруженъ густою толпою, среди которой много лицъ обращали на себя вниманіе какою-то особенною сосредоточенностью. Впрочемъ, никто изъ посѣщавшихъ мертваго поэта долго не оставался у его гроба: всѣ, отдавъ послѣдній долгъ, тихо, безъ рѣчей и другихъ выраженій своего сочувствія или горести, удалялись къ выходу, ожидая выноса. Такимъ образомъ, составъ публики постоянно мѣнялся. Здѣсь я слышалъ, будто было сдѣлано распоряженіе поставить гробъ на катафалкъ, но, впрочемъ, если публика будетъ этому противиться и захочетъ нести его на рукахъ, то этому не пренятствовать. Тутъ же я слышалъ, что самъ поэтъ хотѣлъ, чтобъ тѣло его погребено было не на Волковомъ кладбищѣ, гдѣ покоятся наши литераторы, а въ Новодѣвичьемъ монастырѣ.

Ровно въ 9 ч. совершился выносъ тѣла. Поставить гробъ на катафалкъ не было никакой возможности. Каждый старался понести хоть недолго тѣло любимаго поэта. Въ числѣ несущихъ вѣрѣдко можно было видѣть молоденькихъ женщинъ, едва достающихъ своими рученками до гроба; но за то на лицахъ этой будущей молодой силы чаще можно было видѣть какую-то серьезность, сосредоточенную думу,—вѣроятно, потому, что, благодаря слабости организма, душевное настроеніе рѣзче проявлялось на ихъ лицахъ. На пути къ Новодѣвичьему монастырю масса провожающихъ росла поминутно, составляясь изъ лицъ, принадлежащихъ къ всевозможнымъ классамъ и положеніямъ. Бросалось въ глаза присутствіе множества офицеровъ, артиллеристовъ и инженеровъ, воспитанниковъ военныхъ училищъ, особенно топографическаго и Константиновскаго. Одинъ изъ инженерныхъ офицеровъ всю дорогу несъ впереди гроба вѣнокъ съ надписью „Пѣвцу народнаго горя“.

Толпа студентовъ весь путь пѣла „Святый Боже.“ Тотчасъ по выносѣ тѣла стали появляться личности съ вѣнками, и число ихъ возрастало. Гробъ былъ покрытъ вѣнками, среди которыхъ были: „отъ русскихъ женщинъ“, „отъ сотрудниковъ“, „отъ литераторовъ“ и т. п. Впереди гроба тянулась такая-же вереница лицъ съ вѣнками. Надписи на этихъ вѣнкахъ ясно показывали—кто, кого и за что хотѣлъ увѣнчать, съ такою щедростью награждая посмертными лаврами; еще два вѣнка съ надписью „отъ русскихъ женщинъ“, „Некрасову отъ студентовъ“, „Некрасову отъ студентокъ“, „Печальнику народныхъ страданій“, „Пѣвцу народного горя“ и т. п.

Въ монастырѣ, по отпѣваніи, священникъ сказалъ рѣчь. Она показалась мнѣ страдающей отсутствіемъ общей руководящей идеи, обиліемъ общихъ мѣстъ, и потому произвела слабое впечатлѣніе.

Началось прощаніе съ поэтомъ, затѣмъ выносъ тѣла его къ могилѣ. Едва успѣли опустить гробъ, какъ со всѣхъ сторонъ градомъ посыпались вѣнки, среди которыхъ, рядомъ съ самыми изысканными, можно было видѣть сплетенные изъ вѣчно-зеленыхъ сѣверныхъ лавровъ—обыкновенной хвои. Вскорѣ весь гробъ былъ засыпанъ вѣнками; раздались голоса: „будетъ кидать вѣнки!.. некуда!... На могилу ихъ!“ Наступило затишье. Всѣ какъ будто замерли въ ожиданіи. Кто-то тихо, почти шепотомъ, два раза спросилъ: „кто будетъ говорить рѣчь?“ Ожиданіе и безпокойство публики еще болѣе увеличились, какъ будто на всѣхъ надавилъ какой-то тяжелый кошмаръ... Вдругъ толпа раступается; въ головахъ у могилы появляется глубоко взволнованная личность, съ какою-то яростью сдергиваетъ шапку, возбужденно озираетъ всѣхъ и начинаетъ голосомъ, полнымъ не то гнѣва и досады, не то глубокаго горя: „Господа! говорить мнѣ рѣчь даетъ право моя 38-лѣтняя дружба, 38-лѣтнее знакомство съ Некрасовымъ. Да, я зналъ его; я, повторяю, 38 лѣтъ былъ его другомъ! Это былъ самородокъ; самородокъ первой величины. Но онъ, быть можетъ, не имѣлъ бы такого значенія, еслибъ не встрѣтился съ другимъ самородкомъ, еще болѣе великимъ,—Вѣлинскимъ. Вѣлинскій столкнулся съ нимъ и сразу-же угадалъ, оцѣнилъ, что можетъ быть изъ этого человѣка. Правдивая оцѣнка значенія Некрасова еще не настала,—она впереди. Она настанетъ только тогда, когда сѣрая,

голая, безграмотная, угнетенная трудомъ и голодомъ Русь будетъ въ состояніи приобрѣсти его печатныя пѣсни и прочтеть ихъ сама! Въ этихъ пѣсняхъ она увидитъ себя и узнаетъ того, кто такъ горячо любилъ ее. Да, Некрасовъ умѣлъ видѣть горе русскаго человѣка! Онъ воспѣлъ и старика-дѣда, отца умирающаго, мать-старуху, жену-рабу, дочь опозоренную, молодуху и красную дѣвицу, бурлака-батрака, стонъ котораго раздается по Волгѣ, Камѣ и Огѣ!.. Впрочемъ, что-же это я говорю? Литературное значеніе Некрасова каждому изъ насъ извѣстно. Господа, я увлекся. Я хотѣлъ говорить о Николаѣ Алексѣевичѣ, какъ о человѣкѣ. Это тѣмъ болѣе необходимо теперь, когда многіе отзываются о немъ, какъ о человѣкѣ, дурно. Это—ложь! Чтобы судить о нравственныхъ достоинствахъ или недостаткахъ человѣка, надо знать его; надо, чтобъ онъ дѣлился съ тобой и горемъ, и радостью, надеждой и разочарованіемъ, надо, чтобъ онъ исповѣдывался предъ тобой! Многіе думаютъ, что они его знаютъ, но это—неправда. Онъ съ виду казался грубымъ, черствымъ. Я уже сказалъ, что это былъ самородокъ золота, но самородокъ необдѣланный, съ виду грубый. Если-же удавалось кому-нибудь провести по этому самородку черту, то эта черта была глубокой и блестящей... Николай Алексѣевичъ имѣлъ душу добрую, сердце любящее! Онъ со всей горячностью своей души, со всею искренностью любящаго сердца отдавался всему доброму, молодому, свѣтлому, честному. Да и могли бытъ иначе?... Прощай-же, мой милый, дорогой другъ, Николай Алексѣевичъ!..“ Крики: „браво! браво! фамилія оратора?“ провожали уходящаго отъ могилы Панаева. Рѣчь Панаева произвела на меня глубокое впечатлѣніе. Не слыша автора и не видя его, она является блѣдною, какъ полотно, въ сравненіи съ той, которая выходила непосредственно изъ устъ оратора.

Послѣ Панаева слѣдовала рѣчь Вологодина-Засодимскаго. Онъ говорилъ, что Н. А. Некрасовъ намъ дорогъ потому, что былъ поэтомъ горя. Многіе-ли изъ насъ извѣдали счастье, а горе извѣстно каждому. Горе, о которомъ мы читаемъ въ стихотвореніяхъ Некрасова, есть горе великое, близкое всякому порядочному, честному человѣку. Дальше я не могъ разслышать рѣчи, послѣ которой Вологодинъ произнесъ еще какое-то длинное стихотвореніе Некрасова.

Затѣмъ говорилъ Достоевскій. Его рѣчь отличалась какимъ-то пуританствомъ, носила на себѣ, среди, пожалуй, лестныхъ выраженій, отпечатокъ несочувственный покойному Некрасову. Достоевскій сравнивалъ Некрасова съ Лермонтовымъ и Пушкинымъ и доказывали, что, поживи Пушкинъ долѣе, онъ непременно пошелъ-бы по той дорогѣ, по которой шель Некрасовъ, и опередилъ бы даже его. Рѣчь эта вызвала возраженіе другого литератора, который сказалъ Достоевскому: „но, вѣдь, социальное-педагогическое значеніе Некрасова несомнѣнно выше, чѣмъ Пушкина“. Завязавшійся вслѣдствіе этого споръ вскорѣ, впрочемъ, прекратился. Очень характерно, что во время этихъ литературныхъ пререканій, какой-то рабочій горячо вступился за превосходство Некрасова предъ Пушкинымъ и другими поэтами, говоря, что Пушкина онъ и читать не станетъ, „а Некрасовъ—не то.“

Послѣ Достоевскаго кто-то предекламировалъ отрывокъ изъ стихотворенія Некрасова, содержащій трогательное напутствіе матери поэта къ сыну. По окончаніи этого чтенія изъ толпы выдвинулся какой-то молодой человѣкъ, говорили, —литераторъ. Онъ произнесъ свою рѣчь громко, съ увлеченіемъ и жестами. Онъ говорилъ: „Господа! Человѣкъ, который сошелъ теперь со сцены и для отдачи послѣдняго долга которому мы собрались здѣсь, оставляетъ намъ по себѣ, кромѣ своихъ правдивыхъ, надрывающихъ душу пѣсенъ, напоминаніе о трудѣ. Онъ не ограничивался произношеніемъ великихъ словъ и громкихъ фразъ. Онъ, не смотря на всѣ крайне неблагоприятныя условія, никогда не вѣшалъ головы, не опускалъ рукъ, не говорилъ, что дѣлать нельзя. Онъ дѣлалъ, насколько могъ; онъ работалъ, пока у него были силы. Онъ намъ завѣщалъ трудъ, трудъ настойчивый, энергичный. Онъ въ своихъ пѣсняхъ указалъ намъ, куда нашъ трудъ долженъ быть направленъ... Господа! теперь между нами оказывается цѣлая масса людей, которые говорятъ, что мы живемъ въ такое время, когда дѣлать ничего нельзя, что для дѣла еще не настало время. Эти люди, облакаясь въ тогу равнодушія, не только сами ничего не дѣлаютъ, но и другимъ говорятъ, что дѣлать нельзя. Это—стыдъ, срамъ! Это позоръ для всѣхъ насъ! Господа, всякій знаетъ, что камни тесать трудно, тяжело, но вѣдь, не обтесавъ камней, не воздвиг-

нешь зданія. Позоръ—останавливаться передъ трудностями, стыдно создавать невозможности! Трудиться, и трудиться полезно, можно вездѣ, всюду и во всякомъ положеніи. Для этого нужна только рѣшимость, настойчивость, энергія и любовь! Послѣднее мы почерпнемъ изъ пѣсенъ того, котораго мы теперь хоронимъ. Первая мы найдемъ въ каждомъ шагѣ его борьбы. Господа, будемъ-же подражать нашему дорогому поэту! Будемъ искать указаній и опоры въ его пѣсняхъ, будемъ почерпять силы, вспоминая его жизнь. Господа, будемъ-же трудиться, какъ бы это трудно ни было! Пусть для насъ не существуетъ понятіе о трудности, пусть для насъ исчезнетъ невозможность!“

Послѣ этой горячей, прочувствованной, увлекательной рѣчи, у могилы появился какой-то Степушка. Онъ бойко, съ шикомъ началъ свою рѣчь: „Господа, я явлюсь здѣсь представителемъ рабочаго класса! Здѣсь есть представители интеллигенціи и рабочаго сословія“... Со всѣхъ сторонъ раздается: „тебѣ-тебѣ-тебѣ!—снова, снова“!... Ораторъ стѣсняется; можно было видѣть, какъ пропадаетъ его возбужденіе, какъ оставляетъ рѣшимость. Онъ начинаетъ снова и произносить ранѣе сказанное. Но тутъ память окончательно покинула его; съ каждымъ мгновеніемъ онъ теряетъ все болѣе и болѣе и, наконецъ, собравшись съ силами, онъ едва можетъ произнести: „я явился сюда, чтобъ заявить отъ рабочаго сословія, что къ тебѣ поистинѣ заростетъ (вышло по его) народная тропа“. Фигура этого оратора, его сбивчивыя фразы невольно вызвали подозрѣніе, что рѣчь была составлена для него заранее кѣмъ-то и въ концѣ концовъ проявилась въ вышеприведенномъ обрывкѣ.

Вслѣдъ за этимъ ораторомъ у могилы появилась, повидимому, студентка и начала свою рѣчь такъ: „Среди вѣнковъ Некрасову мы видимъ нѣсколько вѣнковъ отъ русскихъ женщинъ. Русскія женщины должны быть признательны этому поэту. Онъ не прошелъ ихъ молчаніемъ; онъ ярко своимъ стихомъ обрисовалъ всю безвыходность ихъ положенія. Онъ обратилъ на это вниманіе и своимъ громкимъ, прочувствованнымъ стихомъ вызывалъ сочувствіе и желаніе облегчить горькую долю русской женщины. Я пришла сюда выразить сочувствіе этому поэту отъ лица русской женщины и заявить, что безвозвратная потеря этого человѣка для нея

тяжела“.... Эта безхитростная, сказанная отъ души рѣчь произвела на большинство очень замѣтное впечатлѣніе...

Наконецъ, печальный обрядъ совершился, и толпа стала медленно расходиться, оставляя свѣжую могилу того, кого, по его-же словамъ, подъ холодною крышкою гроба не достигнетъ ни чело-вѣческая сила, ни злоба, ни ошибка. Тяжело и смутно было на душѣ. Казалось, что каждый изъ насъ потерялъ очень близкаго, родного человѣка, утрата котораго невозможима. И невольно какъ-то воспоминались слова покойнаго поэта, сказанныя имъ по поводу смерти Н. А. Добролюбова: „природа-мать! когда-бъ такихъ сыновъ ты иногда не посылала-бъ міру, —заглохла-бъ нива жизни“....



* * *

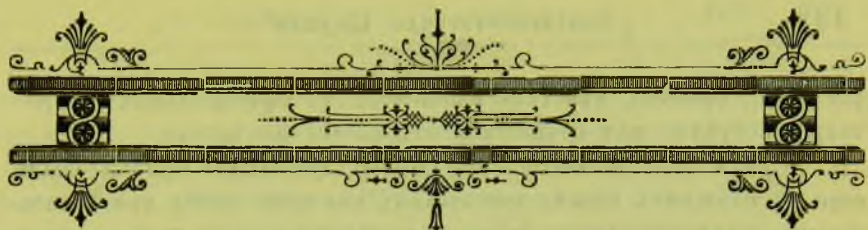
Ты пѣла про море... Я слушалъ съ тоскою...
 И билось сердце и рвалось оно...
 Ты кончила пѣсню и нервной рукою
 Въ проснувшійся садъ отворила окно.
 И властно ворвался, со звуками пѣсень,
 Къ намъ въ комнату запахъ весны молодой...
 О, какъ показался мнѣ жалокъ и тѣсенъ
 Взлелѣянный образъ отчизны иной!
 И жаркое небо, и даль горизонта,
 И рокоть томительный синей волны—
 Все скрылось въ потокахъ весенняго солнца,
 Все сгнуло въ краскахъ родной стороны!...

А. Туркинъ.

ОТРЫВОКЪ.

И я любовался съ невольной тоскою,
Какъ солнце, прощальнымъ лучемъ загоря,
Торжественно скрылось за дальней горою,
Какъ тихо, на смѣну, взошла заря.
И сонмомъ пугливымъ крылатыхъ видѣній,
Спустившихся въ мѣръ съ бархатистыхъ небесъ,
Ложились на землю вечернія тѣни,
Какъ флеромъ, окутавши горы и лѣсъ.
Я млѣлъ, волновался и ждалъ безпокойно,
Что скоро, со звуками пѣсенъ во мглѣ,
Весенняя ночь сладострастно и знойно
Приникнетъ къ сгоравшей томленьемъ землѣ...
Я ждалъ... И она подошла, какъ царипа,
Сверкая порфирой небесныхъ огней,
И тихо за нею плыла вереница
Задумчивыхъ грезъ и воскресшихъ тѣней...
Онѣ мнѣ несли позабытыя ласки,
Мелькнувшія въ жизни обманчивымъ сномъ,
Онѣ мнѣ шептали весеннія сказки,
Весеннія сказки о счастьѣ быломъ...

А. Туркинъ.



ЛОРЕЛЬ-РЭНСКАЯ ПОЧТМЕЙСТЕРША.

Разсказъ Бретъ-Гарта.

Переводъ съ англійскаго. В. И. и Е. В.

Почтовый дилижансъ только что пронесся мимо Лорель-Рэна, и при томъ пронесся съ такою быстротою, что облако пыли, закрутившееся и потащившееся за нимъ съ вершины холма по крутому спуску, продолжало висѣть надъ долиною долго еще послѣ того, какъ экипажъ успѣлъ уже скрыться изъ виду. Мало-по-малу, впрочемъ, оно начало разсѣиваться, покрывая мелкою красноватою пылью накаленную солнцемъ платформу передъ Лорель-Рэнскою почтовою конторою.

Изъ этого облака вскорѣ вынырнула хорошенькая фигурка почтмейстерши, державшей въ рукахъ сумку съ письмами, которая была только что ловко сброшена прямо къ ея ногамъ съ крышки дилижанса. Около десятка ротозѣйничавшихъ обывателей послѣшно протянули было руки, чтобы помочь ей, но строгое замѣчаніе, брошенное однимъ изъ присутствующихъ: „Это противу правилъ, парни, — кромѣ нея, никто не смѣетъ касаться сумки,“ и кокетливое отрицательное покачиваніе головкою со стороны почтмейстерши, кото-

рое было, конечно, дѣйствительнѣ всѣхъ официальныхъ запретовъ,—побудило ихъ отказаться отъ своего намѣренія.

Сумка была не особенно тяжела—Лорель-Рэнъ принадлежалъ еще къ слишкомъ юнымъ поселеніямъ для того, чтобы привлечь значительную корреспонденцію—но молодая женщина, набросившаяся на свою добычу съ чѣмъ-то въ родѣ кошачьяго инстинкта, потащила ее, и все-таки не безъ труда, за деревянную перегородку, отдѣлявшую почтовую „святая святыхъ“ отъ помѣщенія доступнаго публикѣ, и тотчасъ же заперла за собою дверь на ключъ.

Ея хорошенькое личико, мелькнувшее на секунду въ окнѣ, оказалось слегка раскраснѣвшимся отъ усилія, а пряди бѣлокурыхъ волосъ, спускавшіяся и смачивавшіяся потомъ—завившимися въ самыя соблазнительныя колечки. Къ сожалѣнію, для ожидавшей публики окно быстро захлопнулось ставнею и очаровательное видѣніе окончательно скрылось изъ виду.

— „Правительству нашему слѣдовало бы имѣть побольше здраваго смысла въ башкѣ и не заставлять женщинъ подымать по дорогамъ почтовые мѣшки“,—замѣтилъ Джо Симмонсъ сострадательно: „Не ей заниматься такимъ дѣломъ. Правительство должно было бы вручать ей мѣшки поделикатнѣе—подавать прямо въ руки, значить, какъ подобаетъ дамѣ. Кажется, оно, это самое правительство, достаточно богато для этого. Одно безобразіе, право!“

— „Да правительство здѣсь ни при чемъ, это все штуки omnibusной компаніи“,—перебилъ его какой-то новоприбывшій: „Компанія воображаетъ, что это удивительно какъ мило, когда ея дилижансы лущатъ во всѣ лопатки мимо вашего Лорель-Рэна и заставляютъ каждого глотать взбитую ими пыль—и именно только потому, что остановка здѣсь не значитъ у нихъ въ контрактѣ. Ну, конечно, если бы этотъ самый кондукторъ, швыряющій свои мѣшки, питалъ бы хоть каплю должнаго чувства къ лэди“.... здѣсь говорившій сразу остановился, замѣтивъ ироническія улыбки на лицахъ своихъ слушателей.

— „Нужно полагать, любезный, вамъ извѣстно не очень-то много насчетъ чувствъ этого самого кондуктора“,—проговорилъ угрюмо Симмонсъ: „Не мѣшало бы вамъ посмотрѣть, какъ онъ еще на спускѣ вытаскиваетъ свою сумку, начинаетъ съ нею нянчиться словно

съ новорожденнымъ младенцемъ, затѣмъ встаетъ таково учтиво, таково бережно опускаетъ ее къ ногамъ миссисъ Бэкеръ—другой можетъ, пожалуй, подумать, что эта самая сумка набита хрустальными вазами по 5 долларовъ за штуку. Такъ-то вотъ! Ишь, вѣдь, выдумалъ же толковать о его чувствахъ къ ней! Да онъ такъ втюрившись въ нашу почтмейстершу, что мы, гляючи на него, все ожидаемъ, какъ бы онъ не забылъ, что дѣлаетъ, и самъ не сбросился къ ея ногамъ, вмѣсто сумки!“

Между тѣмъ миссисъ Бэкеръ успѣла уже за своею перегодкою стряхнуть красноватую пыль съ сумки съ висячимъ замкомъ и отвязать какой-то дополнительный пакетъ, прикрѣпленный къ ней снаружи посредствомъ проволоки. Открывъ его, она нашла тамъ изящный флаконъ съ духами—очевидно, приношеніе отъ преданнаго ей кондуктора. Она отложила склянку въ сторону и съ легкою улыбкою пробормотала: „глупости“. Но когда она отперла сумку, то даже и священное нутро послѣдней оказалось профанированнымъ присутствіемъ свертка, тайкомъ всунутаго туда почтмейстеромъ изъ сосѣдняго Гикори-Гилль и содержавшаго золотую брошку и нѣсколько билетовъ на представленія въ циркѣ. И эти вещи были въ свою очередь приобщены къ флакону съ духами. Вѣдь, все это было только одно суета суеть!

Въ сумкѣ находилось далѣе семнадцать писемъ, изъ которыхъ пять были адресованы ей—что, впрочемъ, составляло еще небольшое процентное отношеніе по сравненію съ другими днями. Два письма, помѣченныя надписью „дѣловое“, она также немедленно отложила въ сторонку уже отдѣльно отъ подарковъ, затѣмъ она открыла ставни и приступила къ раздачѣ корреспонденціи.

Эта процедура сопровождалась нѣкоторыми особенностями, вошедшими въ обычай Лорель-Рэна. Выдавая письма поселенцамъ, выстраивавшимся гуськомъ у окна и терпѣливо выжидавшимъ своей очереди, молодая женщина удостоивала заводить съ избранными коротенькій разговоръ на приватныя или общія темы, веселаго или серьезнаго характера, смотря по случаю и по темпераменту собесѣдника. Лишнее прибавлять, что со стороны мужчинъ разговоръ почти всегда уснащался комплиментами. Тѣмъ не ме-

нѣе бесѣда всегда отличалась изысканною сдержанностью и, по молчаливому-ли соглашенію или по личному чувству чести, никогда не переходила границъ, предписываемыхъ строгимъ приличіемъ, деликатностью и почтеніемъ. Выдача корреспонденціи, разумѣется, болѣе или менѣе затягивалась, но отнюдь не на опредѣленное время: послѣ трехъ-четырехъ-минутнаго разговора съ хорошенькою почтмейстершею, разговора, который нерѣдко осложнялся застѣнчивостью и робостью со стороны собесѣдника (но только никакъ ни со стороны собесѣдницы) и подчасъ велся имъ преимущественно съ помощью пріятныхъ и выразительныхъ взоровъ—всякій безирекословно уступалъ свое мѣсто слѣдующему кандидату. Вообще, это былъ формальный „пріемъ“, смягчаемый непринужденнымъ деревенскимъ тактомъ, величайшимъ добродушіемъ и безконечнымъ терпѣніемъ. Онъ, пожалуй, могъ бы показаться нѣсколько комическимъ, если бы онъ только не былъ всегда такъ убійственно серьезнымъ, а по временамъ даже трогателенъ, ибо онъ, этотъ пріемъ, составлялъ характерную особенность данной мѣстности въ данную эпоху и былъ неразрывно связанъ со всею исторіею жизни миссисъ Бэкеръ.

Она была женою Джона Бэкера старшаго рабочаго при копяхъ *The last Chance*—того самого Джона Бэкера, который вотъ ужъ годъ какъ лежалъ погребеннымъ на глубинѣ полумили подъ обломками обрушившейся шахты около Бернъ-Риджа. Однажды въ знойный полдень изъ глубины копей внезапно раздался душевраздирающій крикъ. Джонъ бросился изъ своей хижины въ сопровожденіи своей хорошенькой, кокетливой, легкомысленной молодой жены, повисшей у него на рукѣ—ринулся, чтобы поспѣшить на отчаянные призывные вопли товарищей, очутившихся заживо въ могилѣ. Ему, и только ему одному, былъ извѣстенъ одинъ пунктъ въ туннелѣ, гдѣ среди обваливающихся стѣнъ и подпорокъ можно было проложить выходное отверстіе и поддержать его въ теченіе нѣкотораго времени, достаточнаго для того, чтобы засыпанные рудокопы успѣли выбраться на свободу. Только одно мгновеніе этотъ крѣпкій душою чловѣкъ колебался въ выборѣ между женою и погибающими братьями. И вдругъ она выпустила его изъ своихъ объятій, подняла свое поблѣднѣвшее личико и сказала: „Иди, Джонъ,

я буду ждать тебя здѣсь!“ Онъ пошелъ, люди были спасены, но ей не суждено было дожидаться его возвращенія...

Великъ былъ ударъ, нанесенный ей этимъ несчастіемъ, тяжела была борьба съ бѣдностью, постигшею теперь раззоренное поселеніе, и тѣмъ не менѣе миссисъ Бэкеръ почти не измѣнилась. Но за то совершенно измѣнились мужчины. Хотя она, повидимому, оставалась все прежнею, живою, хорошенькою Бетси Бэкеръ, которая еще недавно такъ сильно тревожила душевный покой молодыхъ поселенцевъ, послѣдніе казались теперь неуязвимыми по отношенію къ ея вольнымъ и невольнымъ чарамъ. Казалось, ими всеми овладѣло чувство извѣстнаго затаеннаго уваженія и благоговѣнія передъ памятью Джона Бэкера, словно духъ мученика все еще продолжалъ держать ее въ своихъ объятіяхъ.

Рудокопы притаивали дыханіе всякій разъ, когда мимо нихъ проходила эта обаятельная женщина, краткосрочный трауръ которой, повидимому, нисколько не повліялъ на ея обычную бодрость и даже игривость настроенія. Она же не покинула ихъ и въ эту самую тяжелую пору молодого поселенія: все еще оставаясь единственною женщиною среди сорока мужчинъ, она стала помогать имъ по части стирки бѣлья, варки пицци и удовлетворенія другихъ хозяйственныхъ нуждъ. Святость ея хижины тѣмъ не менѣе охранялась въ такой строжайшей неприкосновенности, какъ будто бы это была его могила—его, пострадавшаго за братьевъ-товарищей. Никто въ точности не зналъ, почему это такъ выходило, ибо все это дѣлалось по молчаливому инстинктивному соглашенію, и даже нара-другая тѣхъ молодыхъ людей, которые при жизни Джона Бэкера не стѣснялись ухаживать за Бетси, теперь содрогнулись бы даже при одной мысли о фамилярности по отношенію къ женщинѣ, заявившей нѣкогда, что она „будетъ его ждать“.

Впослѣдствіи, когда для нихъ настали болѣе счастливые дни и поселеніе увеличилось отъ прибытія одной или двухъ семей, и когда, наконецъ, подоспѣли новые капиталы для разработки богатствъ въ нѣдрахъ земли около Бернтъ-Риджа, о нуждахъ общины и правахъ вдовы Джона было доведено до свѣдѣнія высшихъ сферъ—и при томъ доведено съ такимъ успѣхомъ, что вскорѣ послѣдовало учрежденіе Лорель-Рэнской почтовой конторы, специально

ради вознагражденія этой женщины. Въ постройкѣ хорошенькаго и вмѣстѣ съ тѣмъ солиднаго домика—единственнаго общественнаго зданія во всемъ Лорель-Рэнѣ—расположеннаго на пыльной столбовой дорогѣ, въ полумиліи отъ самаго поселенія, приняли участіе всѣ наличные обыватели мужского пола. Здѣсь миссисъ Бэкеръ стала проводить извѣстныя часы дня—остальные же она по-прежнему проводила въ хижинѣ Джона, съ которою она ни за что не хотѣла разстаться.

Но слѣпая преданность Лорель-Рэна по отношенію къ реликвиі Джона Бэкера на этомъ не остановилась. Усердіе, съ какимъ старались доказать правительству необходимость въ новомъ почтамтѣ и обезпечить за миссисъ Бэкеръ постоянное мѣсто почтмейстерши, повела къ цѣлому ряду экстравагантностей. Въ теченіе первой недѣли продажа почтовыхъ марокъ въ Лорель-Рэнской конторѣ достигла размѣровъ, доселѣ еще не встрѣчавшихся въ лѣтописяхъ почтоваго департамента. За первыя марки, высланныя сюда послѣднимъ, платили безумныя цѣны; затѣмъ марки начали покупать при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ безъ малѣйшаго разсчета и надобности. Разговоры съ комплиментами у почтоваго оконца неизмѣнно заканчивались словами: „А теперь позвольте мнѣ марокъ на долларъ, миссисъ Бэкеръ“. Покупать самыя дорогія марки, совершенно пренебрегая ихъ практическою пригодностью, считалось самымъ хорошимъ тономъ, затѣмъ стали гнаться за количествомъ. Всѣ исходящія письма оказывались оплаченными сверхъ таксы—облѣпленными несообразнымъ числомъ марокъ, стоявшимъ впѣ всякаго отношенія къ вѣсу и даже размѣру письма. Когда-же миссисъ Бэкеръ выяснила имъ, наконецъ, всю нелѣпность подобнаго поведенія и указала, какое неблагоприятное вліяніе оно могло возымѣть на репутацію Лорель-Рэнской почтовой конторы въ глазахъ центральнаго почтоваго управленія, — марки вдругъ начали обращаться въ качествѣ мѣстной размѣнной монеты и даже появляться съ декоративными цѣлями на зеркалахъ и стѣнахъ хижинъ. Всѣ и каждый принялись писать письма, при чемъ въ результатѣ получилось то курьезное явленіе, что число отправляемыхъ писемъ превосходило число получаемыхъ до самыхъ гомерическихъ и подзрительныхъ размѣровъ.

Во избѣжаніе этого иные обыватели начали предпринимать спеціальныя экскурсіи въ Гикори-Гилль, гдѣ находилась ближайшая почтовая контора, и посылали оттуда письма и различныя личныя объявленія по своему же адресу въ Лорель-Рэнъ. Неизвѣстно, до какихъ поръ могла бы продолжаться подобная нелѣпая расточительность, если бы не пронесся слухъ о томъ, что почтовый департаментъ въ виду столь необычайной бойкости корреспонденціи въ этомъ пунктѣ, намѣревается замѣнить почтмейстершу почтмейстеромъ—вышимъ существомъ, способнымъ справляться съ дѣлами лучше женщины. Появленіе столь тревожнаго слуха повело къ нѣкоторому протрезвленію, и обыватели наконецъ помирились на томъ, что ихъ почтмейстершѣ былъ назначенъ властями извѣстный постоянный окладъ.

Такова была исторія миссисъ Бэкеръ, которая только что ковчила свой послѣдній пріемъ и, распрощавшись съ улыбкою съ своимъ послѣднимъ покупателемъ и посѣтителемъ, снова закрыла свое оконце. Затѣмъ она взяла было частную корреспонденцію, но прежде чѣмъ приняться за прочтеніе—бросила довольно нетерпѣливый взглядъ на адресованные ей дѣловые пакеты, которые она положила на отдѣльную полку. Подобныя оффиціальныя конверты содержали обыкновенно кучу „новыхъ правилъ“, различныя извѣщенія или же глупые запросы, не имѣвшіе никакого касательства до Лорель-Рэна, и только надодѣдали ей да заставляли у нея „трещать голову“. За разъясненіемъ этихъ канцелярскихъ посланій она обыкновенно обращалась къ своему поклоннику и сосѣду почтмейстеру въ Гикори-Гилль, а онъ, какъ правило, возвращалъ ихъ ей съ коротенькими помѣтками, въ родѣ: „ерунда, плюньте“ или „чепуха, бросьте въ помойницу“ и т. п. Теперь ей вдругъ припомнилось, что онъ почему-то не прислалъ ей обратно двѣ послѣднія бумаги. Сдвинувъ брови и слегка надувши губки, миссисъ Бэкеръ отложила въ сторону свою частную корреспонденцію и распечатала первый оффиціальныя конвертъ. Въ этомъ документѣ говорилось съ канцелярскою вѣжливостью о какомъ-то извѣщеніи, посланномъ ей на прошлой недѣлѣ и оставленномъ безъ отвѣта, причемъ, корреспондентъ заявлялъ, что онъ вынужденъ напомнить ей правило 47. Опять эти ужасныя правила! Она распечатали дру-

гой конвертъ; складка между бровей стала глубже и болѣе уже не сглаживалась.

Это былъ списокъ цѣлаго ряда денежныхъ писемъ, которыя пропали гдѣ-то на пути къ адресатамъ, и которыхъ касалось предшествовавшее сообщеніе.

Щеки ея загорѣлись яркимъ румянцемъ. Да какъ они смѣютъ! Что сви хотять сказать этимъ! Ея книги и квитанціи всегда были въ самомъ безукоризненномъ порядкѣ. Она знала наперечетъ имена и фамиліи каждаго мужчины, каждой женщины и даже каждаго ребенка въ своемъ округѣ. Людей съ фамиліями, стоявшими на пропавшихъ письмахъ, никогда не существовало въ Лорель-Рэнѣ, и изъ ея конторы никогда не отправлялось писемъ по подобнымъ адресамъ. Все это были просто-на-просто самыя низкія инсинуаціи! Она тотчасъ же подаетъ прошеніе объ отставкѣ! Она заставитъ „парней“ написать ругательное письмо сенатору Слокэму, завѣдывавшему почтовымъ департаментомъ—и она разыщетъ, кто осмѣлился сдѣлать подобный лживый, гадкій, безстыдный, подлый доносъ! По всему вѣроятію, это была продѣлка луноглазой длинноносой жены почтмейстера въ Гэви-Три-Кроссингъ, ревновавшей миссисъ Бэкеръ ко всѣмъ, включая своего мужа. „Напоминаемъ о предыдущемъ запросѣ“—какъ вамъ это нравится! Куда, однако, могло дѣться это извѣщеніе? Она навѣрное помнила, что отослала его своему поелоннику въ Гикори-Гилль. Какъ же это онъ ничего не отвѣтилъ ей... Странно..... Онъ, всеконечно, сразу понялъ всю мерзость этой гнуснѣйшей интриги, да и какъ бы онъ еще осмѣлился заподозрить ее! Онъ, Стэнтонъ Гринъ, старый лорель-рэнецъ, другъ Джона,—правда, человекъ немного легкомысленный и подчасъ воображающій о себѣ слишкомъ много, но все-таки принадлежавшій къ искреннимъ доброжелателямъ молодого поселенія. Почему же онъ даже и не заикнулся ей пока объ этомъ?

Въ этотъ моментъ до нея донесся топотъ лошадиныхъ копытъ, смягченный густою пылью дороги, затѣмъ бряцанье шпоръ всадника, соскочившаго съ сѣдла, потомъ послышались чьи-то твердые шаги на платформѣ. Безъ сомнѣнія, это былъ кто-нибудь изъ „парней“, вернувшихся назадъ для нѣсколькихъ дополнительныхъ замѣчаній по тому или другому интересному предмету, подъ про-

зрачнымъ предложомъ: „забылъ, молъ, купить марку“. Это дѣлалось и прежде, и она сильно не долюбливала подобныя „рысканія“ около почты, но теперь ей хотѣлось излить передъ первымъ встрѣчнымъ всю накипѣвшую обиду.

Миссисъ Бэкеръ схватила было ручку двери, но тотчасъ же остановилась, почувствовавъ снова всю глубину нанесеннаго ей оскорбленія. Могла-ли она, слѣдовало-ли ей признаваться въ этомъ своимъ поклонникамъ?!

Прежде чѣмъ она успѣла дать себѣ отвѣтъ на этотъ вопросъ, дверь, у которой она стояла, распахнулась настежь, и въ комнату вошелъ какой-то незнакомецъ. Подстриженная четырехугольникомъ козлиная бородка съ легкою просѣдью оставляла совершенно открытымъ его красивый ротъ съ тонко очерченными губами; глаза у него были темные, смѣющіеся и вмѣстѣ съ тѣмъ пронизательные. Но важнѣйшую отличительную черту его, сразу поразившую миссисъ Бэкеръ, составляла пріятная смѣсь городской непринужденности и учтивости съ чисто поселенческою сердечностью. Это, очевидно, былъ джентльмэнъ, которому пришлось таки потолкаться какъ въ городѣ, такъ и въ деревнѣ. Одѣтъ онъ былъ просто и удобно, какъ обыкновенно одѣваются калифорнійцы, путешествующіе верхомъ; однако, ея женскіе, хотя и не изощренныя опытомъ по этой части, глаза тотчасъ же сумѣли открыть несомнѣнный признакъ respeitability, въ видѣ тщательно повязаннаго галстука. Жители Сьерры, по большей части, пренебрегаютъ подобными стѣснительными ошейниками и предпочитаютъ оставлять свои шеи открытыми и свободными.

— „Мое почтеніе, миссисъ Бэкеръ“, — произнесъ онъ весело, держа уже шляпу въ рукахъ, — „я Гарри Гомъ изъ Санъ-Франциско.“ И затѣмъ взоръ его скользнулъ, съ выраженіемъ очевиднѣйшаго одобренія, по хорошенькой и чистенькой комнаткѣ, тщательно перевязаннымъ и разложеннымъ бумагамъ, аккуратно выглядывающимъ полочкамъ, цвѣточнымъ горшкамъ, помѣщавшимся на конторкѣ, по легкой накидкѣ изъ китайскаго шелка, висѣвшей на стѣнѣ вмѣстѣ съ душеубійственною соломенною шляпкою, украшенною лентами; затѣмъ взоръ направился на ея зардѣвшееся, очаровательное личико, синіе глаза и вьющіеся волосы, и, въ заключеніе, внезапно

остановился на почтовой кожаной сумкѣ, все еще лежавшей на столѣ. Вниманіе незнакомца приковала къ себѣ особенно злополучная проволока, прикрѣпленная влюбленнымъ кондукторомъ и продолжавшая свѣшиваться съ мѣднаго замка. Незнакомецъ уже протянулъ было руку къ мѣшку, но маленькая миссисъ Бэкеръ опередила его и схватила сумку въ свои объятія. Она была слишкомъ взволнована и озадачена, чтобы сразу воспротивиться дерзкому вторженію за ея перегородку, но послѣднее фамиліарное обращеніе со священною государственною собственностью—хотя уже опорожненною—окончательно переполнило чашу нанесенныхъ ей обидъ.

— „Да какъ вы смѣете трогать!“—воскликнула она съ негодованіемъ.— „И какъ вы смѣли войти сюда, и кто вы такой вообще?... Сейчасъ же уберите отсюда!“

Незнакомецъ отступилъ назадъ съ выраженіемъ комическаго удивленія и продолжительнымъ беззвучнымъ смѣхомъ.

— „Очевидно, вы не имѣете ни малѣйшаго представленія о моей особѣ“,—сказалъ онъ любезно,— „я Гарри Гомъ, агентъ почтоваго департамента въ Санъ-Франциско. Мое извѣщеніе подъ № 201, съ моимъ именемъ на конвертѣ, повидимому, куда-то запропастилось“.

Не смотря на весь свой испугъ и удивленіе, миссисъ Бэкеръ тотчасъ же припомнила, что и эту бумагу она препроводила въ Гикори-Гилль, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней пробудилась женская инстинктивная скрытность, и она промолчала.

— „Конечно, мнѣ слѣдовало бы сначала объясниться“,—продолжалъ онъ, улыбаясь.— „Но вы совершенно правы относительно этой штуки, миссисъ Бэкеръ“,—прибавилъ онъ, кивнувъ въ сторону сумки. „Разъ вы меня не знали, вамъ такъ именно и не слѣдовало подпускать меня къ ней. Очень радъ, что вы умѣете такъ хорошо охранять имущество дяди Сэма! Я бы только хотѣлъ знать, была-ли вотъ эта вещица“—онъ указалъ на проволоку— „привязана къ мѣшку, когда вамъ его сдавали?“

Миссисъ Бэкеръ не видѣла основаній, почему бы ей не сказать правды. Въ концѣ концовъ этотъ чиновникъ былъ мужчина, и при томъ такой же, какъ и всѣ остальные; пусть себѣ

узнаетъ на здоровье, какъ сильно можетъ плѣнять мужскія сердца ея обаятельная особа.

— „О, это только глупости кондуктора!“—отвѣтила она, кокетливо встряхивая кудрявоюголовкою— „онъ тутъ привязываетъ всякую чепуху, передъ тѣмъ какъ бросить мнѣ мѣшокъ, и воображаетъ, что это страхъ какъ шикарно!“

Мистеръ Гомъ, глаза котораго были устремлены на ея хошенькое личико, очевидно, рѣшилъ, что подобная „глупость“ весьма и весьма прощительна для слабаго человѣческаго существа.

— „Ну, пока онъ не касается внутренности мѣшка, вамъ, надо полагать, придется помириться съ этимъ положеніемъ вещей“,—сказалъ онъ, смѣясь.

При этомъ замѣчаніи она съ ужасомъ вспомнила, что Гикори-Гилльскій почтмейстеръ для доставленія ей *своихъ* „глупостей“ имѣлъ обыкновеніе пользоваться именно внутренностью мѣшка. На ея лицѣ, вѣроятно, отразилось внутреннее безпокойство, такъ какъ чиновникъ продолжалъ уже полуотеческимъ, полубодряющимъ тономъ:

— „Однако, довольно объ этомъ. Теперь перейдемъ къ дѣлу, приведшему меня сюда, миссисъ Бэкеръ. Скажу тутъ же, что васъ оно ни чуточки не касается, или, пожалуй, касается лишь постольку, поскольку оно можетъ избавить васъ и нѣкоторыхъ другихъ личностей, хорошо извѣстныхъ департаменту, отъ нѣкоторой отвѣтственности и, можетъ быть, безпокойства. Мы хорошо знакомы съ положеніемъ дѣлъ въ Лорель-Рэнѣ и“—прибавилъ онъ съ легкимъ поклономъ— „знаемъ все относительно васъ и Джона Бэкера. Моя обязанность здѣсь заключается лишь въ томъ, чтобы занять ваше мѣсто на сегодня при принятіи вечерней почты, которая приходитъ въ 9 ч. 30 м.,—не правда-ли?“

— „Да, сэръ,“—поспѣшно сказала миссисъ Бэкеръ, „подлянась эта почта никогда ничего не привозить, кромѣ“—тутъ она спохватилась и споткнулась; ей вдругъ припомнились подарки вздыхавшаго по ней Грина— „кромѣ... развѣ какихъ-нибудь извѣщеній отъ Гикори-Гилльского почтамта. Дилижансъ отходитъ оттуда ровно въ половинѣ девятаго“,—продолжала она, принимая на себя дѣловой видъ, подъ которымъ она старалась скрыть свое смущеніе.

ніе—,и приходитъ сюда приблизительно черезъ часъ. Отъ насъ до Гикори-Гилля ровно семь миль.“

— „Совершенно вѣрно“,—согласился мистеръ Гомъ. „Ну, такъ вотъ я приму сумку, открою ее и затѣмъ отправлю дальше, а вы можете воспользоваться свободнымъ временемъ, какъ вамъ угодно.“

— „Но“,—снова начала миссисъ Бэкеръ, хорошо знавшая, что жители Лорель-Рэна особенно дорожили именно вечернимъ „пріемомъ“, доставлявшимъ имъ больше свободнаго времени для разговора,—„понимаете-ли, люди все-таки придуть за письмами“...

— „Мнѣ показалось, вы только что сказали, что никакихъ писемъ съ этою почтою не приходитъ?“—быстро сказалъ мистиръ Гомъ.

— „Нѣтъ, но... но“... отозвалась она съ легкимъ истерическимъ смѣхомъ.—„наши нарни все-таки приходятъ за ними“...

— „Ахъ, вотъ что!“ произнесъ мистеръ Гомъ насмѣшливымъ тономъ.

— „И... о, богъ мой!“ Но тутъ и безъ того уже напряженные нервы миссисъ Бэкеръ болѣе не выдержали; ея воображенію представилась комическая сцена, которая должна была разыгратъся у окошечка, когда ея разочарованные поклонники неожиданно наткнутся на бородатую фізіономію мистера Гома, вмѣсто ея собственнаго гладкаго личика, и она разразилась полуистерическимъ смѣхомъ, покрывая лицо своимъ изящнымъ фартучкомъ, отороченнымъ бахромою.

Мистеръ Гомъ съ снисходительною улыбкою выждалъ, пока она нѣсколько оправилась, а затѣмъ сказалъ: „А теперь позвольте мнѣ на одно мгновеніе вернуться къ посланному мною вамъ отношенію: конечно, оно у васъ гдѣ-нибудь тутъ подъ рукою?“

— „Нѣтъ, —т. е. я отослала его мистеру Грину въ Гикори-Гилль для разъясненія“....

— „Что?... Какъ?“

Какъ ни была она испугана серьезнымъ тономъ, внезапно принятымъ мистеромъ Гомомъ, миссисъ Бэкеръ все-таки кое-какъ сумѣла объяснить, что она никогда не распечатываетъ казенныхъ пакетовъ, а прямо отсылаетъ ихъ для разъясненій и справокъ своему болѣе опытному сослуживцу въ Гикори-Гилль, такъ какъ она не понимаетъ языка дѣловыхъ бумагъ—онѣ только причиняютъ

ей головную боль и мѣшаютъ исполненію другихъ обязанностей — онъ же ихъ понимаетъ и всегда сообщаетъ ей, что собственно слѣдуетъ дѣлать“. Припомнивъ обычный стиль гриновскихъ по-мѣтокъ, миссисъ Бэкеръ снова вспыхнула, какъ макъ въ дѣтѣ.

— „Ну-съ, и что же онъ вамъ отвѣтилъ на этотъ разъ?“

— „Ничего... онъ еще не возвратилъ ихъ мнѣ назадъ“.

— „Совершенно естественно!“ — проговорилъ мистеръ Гомъ съ какимъ-то особеннымъ, многозначительнымъ видомъ.

Нѣсколько секундъ онъ стоялъ молча, поглаживая свою бородку, затѣмъ вдругъ уставился глазами въ лицо молодой женщины.

— „Вы вынуждаете меня, миссисъ Бэкеръ“, — началъ онъ, отчеканивая каждое слово, — „говорить съ вами болѣе откровенно, нежели я сначала предполагалъ. Вы, полагаю, совершенно нечаянно и ненамѣренно предупредили человѣка, котораго правительство подозрѣваетъ въ незаконномъ присвоеніи чужой собственности. Сами того не зная, вы извѣстили Гикори-Гилльского почтмейстера о томъ, что онъ подозрѣвается нами въ этомъ преступленіи, и такъ какъ этимъ вы легко могли бы разрушить всѣ наши планы для преслѣдованія цѣлаго ряда расхищеній до ихъ настоящаго источника, то тѣмъ самымъ вы могли бы навлечь на себя большія неприятели въ качествѣ ближайшей сосѣдки и въ качествѣ ближайшаго отвѣтственного лица. Говоря прямо, мы прослѣдили исчезновеніе денежныхъ пакетовъ до пункта, лежащаго между этими двумя почтамтами. Я здѣсь же безъ малѣйшаго колебанія спѣшу заявить вамъ, что мы не подозрѣваемъ и никогда не подозрѣвали ни въ чемъ Лорель-Рэнскій почтамтъ. Даже и результатъ вашего необдуманнаго поступка — ваше нечаянное предупрежденіе Гикори-Гилльского почтмейстера, — только подтверждаетъ наше предположеніе о его виновности. Впрочемъ, ваше предостереженіе, очевидно, или не дошло до него, или же онъ сталъ дѣйствовать очертя голову, такъ какъ съ тѣхъ поръ пропало еще одно письмо. Но, какъ бы тамъ ни было, сегодня вечеромъ все должно выясниться окончательно. Мы устроили западню для воришки. Если, вскрывъ сумку, я не найду тамъ извѣстнаго помѣченнаго письма, то для насъ станетъ ясно, какъ бѣлый день, что оно застряло въ Гикори-Гилль“.

Пораженная почтмейстерша слушала эти рѣчи, словно замеревъ на своемъ стулѣ. Лицо ея теперь было блѣдно какъ полотно.

— „Полноте, миссисъ Бэкеръ, не волнуйтесь“, — продолжалъ онъ, — вѣдь я съ самаго начала сказалъ, что *вамъ*-то ужъ рѣшительно нечего опасаться. Даже вашъ необдуманный поступокъ и невѣдѣніе по части нашихъ правилъ послужили лишнимъ — совершенно лишнимъ — доказательствомъ вашей невиновности. Никто никогда не узнаетъ объ этомъ вашемъ маленькомъ промахѣ, такъ какъ мы не придерживаемся обыкновенія печатать о подобныхъ дѣлахъ въ газетахъ. Ни единая душа, кромѣ васъ, не имѣетъ понятія относительно настоящей причины моего посѣщенія. Теперь я удаюсь отсюда для того, чтобы отвлечь всякія подозрѣнія. Приходите себѣ сюда вечеромъ, какъ всегда, и покажитесь своимъ пріятелямъ, я же явлюсь только къ самому прибытію почты и вскрою сумку. До свиданія, миссисъ Бэкеръ. По правдѣ признаться, претривное это дѣльце, да что тутъ подѣлаешь — подобныя штуки входятъ въ нашу обязанность. Впрочемъ, приходилось мнѣ повидать на своемъ вѣку кое-что и похуже. Благословляйте небо, что занятія этого сорта не выпадаютъ на вашу долю“.

Она слышала, какъ шаги его удалились по корридору и замерли гдѣ-то за платформою. Затѣмъ брякнули шпоры и до нея донесся глухой стукъ лошадиныхъ копытъ, болѣзненно отдававшийся въ ея собственномъ сердцѣ. И затѣмъ она осталась уже совершенно наединѣ со своими мыслями.

Въ комнатѣ было очень душно и очень тихо. Слышался только по временамъ трескъ и поскрипываніе драницъ кровли, охлаждавшихся съ наступленіемъ солнечнаго заката. Конторскіе стѣнные часы пробили семь. Послѣ короткой мертвой паузы, дятель, долбившій на крышѣ и на мгновеніе озадаченный ихъ боемъ, снова принялся за свою прерванную работу. Ей теперь казалось, что онъ монотонно выбивалъ слова: „Стэнтонъ Гринъ — воръ!“ Стэнтонъ Гринъ — одинъ изъ парней, спасенныхъ ея Джономъ изъ подъ развалинъ туннеля! Стэнтонъ Гринъ, престарѣлая мать котораго все еще адресовала письма ему въ Лорель-Рэнъ, — черезъ какую-нибудь пару часовъ превратится въ человѣка, опозореннаго и погибшаго на всю жизнь....

Она припомнила теперь, какъ припоминають легкомысленныя женщины, различные толки о его жизни на широкую ногу и всевозможныхъ расточительствахъ—толки, на которые она прежде не обращала вниманія, и ей стало вдругъ невыразимо стыдно за его подарки. Теперь она ясно видѣла, что они должны были значительно превосходить скромныя средства почтового чиновника.... Что сказали бы парни? Что сказалъ бы, что *сдѣлалъ* бы Джонъ при подобныхъ обстоятельствахъ?....

Миссисъ Бэкеръ вдругъ вскочила съ своего стула; вскочила такая же блѣдная и похолодѣвшая съ ногъ до головы, какъ нѣкогда при разставаніи съ Джономъ передъ его роковымъ отбытіемъ въ туннель.

Быстро надѣвъ шляпку и накинувъ на плечи мантилію, она бросилась къ желѣзному несгораемому шкапчику, стоявшему въ углу, отперла его и вынула весь наличный запасъ золотыхъ и серебряныхъ монетъ. Затѣмъ она направилась было къ двери, но здѣсь ее осѣнила новая мысль: она открыла свою конторку, собрала все почтовыя марки до послѣдняго листа, быстро свернула ихъ и запрятала подъ шляпку. Мелькомъ взглянувъ на часы и осмотрѣвъ дорогу съ платформы, миссисъ Бэкеръ проворно скользнула съ нея и мгновенно исчезла въ лѣсной чащѣ, примыкавшей къ почтовому зданію.

Часть II.

Очутившись въ дружественно-покровительствующей тѣни вѣковыхъ сосенъ и оставивъ отнюдь необширное Лорель-Рэнское поселеніе вдали отъ себя по правую руку, она вскорѣ добралась легкими шагами до открытаго Бернтъ-Риджскаго склона, гдѣ по обыкновенію спокойно пасса мексиканскій жеребецъ, принадлежавшій Джо Симмонсу и носившій поэтическое наименованіе „Синяя молнія“.

Миссисъ Бэкеръ ѣздила на немъ много разъ и прежде, и потому, когда она теперь отвязала 50-футтовую привязь отъ его шеи, онъ, безъ дальнихъ разговоровъ, учтиво разрѣшилъ своей старой знакомой вцѣпиться пальцами въ свою синеватую гриву и и вскарабкаться къ нему на спину. Шалашъ, гдѣ хранились инструменты рудокоповъ Бернтъ-Риджскаго туннеля, и гдѣ всегда ви-

сѣли также и сѣдло и узда Джо Симмонса, находился на разстояніи маленькаго галопя. Миссисъ Бэкеръ прибыла туда никѣмъ не замѣченною и немедленно же, какъ это она дѣлала и прежде при подобныхъ прогулкахъ на „Синей молніи“,—смастерила себѣ дамское боковое сѣдло съ помощью такихъ простыхъ приспособленій, какъ подходящий сукъ дерева и байковое одѣяло, принадлежавшее все тому же собственнику. Затѣмъ она вскочила на свое импровизированное сидѣніе, проворно сбросила съ себя мантилію, завернула рукава ея вокругъ своего стройнаго стана, подпихнула край плаща подъ колѣно и остальную часть этой новоизобрѣтенной амазонки предоставила свѣшиваться внизъ и покрывать ея ножки. Къ этому времени у „Синей молніи“ уже успѣло блеснуть яркое воспоминаніе о значеніи подобныхъ приготовленій, и умный конь настоярожилъ свои чуткія уши.

Миссисъ Бэкеръ испустила легкое ободряющее и ласкающее восклицаніе, похожее на чириканіе какой-нибудь птички; „Синяя молнія“ припомнила, что она слыхала это и прежде, и въ слѣдующій моментъ они уже неслись во весь карьеръ по мосту.

Дорога, выбранная нашею всадницею, была крута, трудна и мѣстами даже прямо опасна, но за то она была короче большой дороги на цѣлыхъ двѣ мили и въ то же время менѣе угрожала возможностью встрѣчи съ кѣмъ-нибудь или прослѣживанію со стороны того или другого охочаго или любознательнаго субъекта. Большіе овраги и ущелья были уже подернуты сгущающеюся темнотою, высокія сосны на отдаленныхъ гребняхъ уже перестали сливаться въ одну массу, и ихъ отдѣльные силуэты уже начали обрисовываться явственнѣе и явственнѣе на темнѣющемъ небесномъ фонѣ, но атмосфера все еще оставалась теплою, и холодное дыханіе ночи еще не начало струиться по склонамъ горъ въ долины. Нижній районъ Бернтъ-Риджа все еще лежалъ внѣ сферы затмевія, угрожавшей ему со стороны подползавшей тѣни горы, находившейся передъ миссисъ Бэкеръ. Часовъ при ней не имѣлось, но и безъ нихъ она знала съ точностью, который теперь часъ—знала именно по этому давно знакомому огромному солнечному показателю, медленно подвигавшемуся по земному циферблату: Гэви-Три-Гилль, менѣе возвышенный пунктъ въ отдаленіи, уже былъ теперь

покрыть этимъ прозрачнымъ указательнымъ пальцемъ—ergo, теперь было уже половина восьмого! Омнибусъ долженъ прибыть въ Гикори-Гилль чутьчку раньше $\frac{1}{2}$ девятого; она должна добраться туда раньше—если возможно—онъ остановится тамъ только на десять минутъ, только для перемѣны лошадей—она *должна*, во что бы то ни стало, быть тамъ на станціи прежде, чѣмъ онъ успѣлъ ускакать оттуда!

До подошвы холма лежало добрыхъ двѣ мили дороги по равнинѣ. Ну, „Синяя молнія“, показывай теперь, что ты умѣешь! И „Синяя молнія“ показала, что она вполне достойна своего имени: нагнувшись надъ синеватою гривую жеребца, съ развѣвающимися по вѣтру лентами шляпы и подоломъ импровизированной амазонки, миссисъ Бэкеръ неслась какъ птица—неслась, ныряя съ одного горбика волнистой почвы на другой. Еще пара—другая такихъ нырковъ, и она очутилась передъ длиннымъ и люто-выглядывавшимъ подъемомъ.

Обливаясь острымъ потомъ и пудрясь пылью, то бойко скользя по дорогѣ, покрытой неопутительнымъ порошкомъ, то пошатываясь, какъ подъ хмѣлькомъ, въ красноватомъ пылевомъ облакѣ, то внезапно впадая въ уныніе при видѣ какого-нибудь легкаго пустяковаго подъема, то дико оживляясь при видѣ крутого косогора, кашляя, фыркая, похрапывая, поматывая головою, „Синяя молнія“ входила все больше во вкусъ занятой прогулки и все больше осваивалась съ воспоминаніями о былыхъ дняхъ въ томъ же родѣ. Да, это легкое, сидящее на ея спинѣ, ласкающее, лстящее, воркующее существо могло бы заткнуть самого чорта за поясъ по части всякихъ ловкихъ штукъ! Какъ было тутъ не вспомнить этой барыньки! Прекрасно, въ такомъ случаѣ—гопъ-ла!

И все съ большимъ азартомъ, прыгая какъ кроликъ, пускаясь то легкою иноходью, то въ галопъ, то скача на трехъ ногахъ—короче, развлекаясь и забавляясь, какъ умѣетъ только чистокровный мексиканскій жеребецъ—непобѣдимая „Синяя молнія“ наконецъ очутилась на самой вершинѣ холма и остановилась тамъ съ побѣдоноснымъ фырканиемъ. Черезъ золотистую дымку на горизонтѣ пробивались лучи вечерней звѣзды—восемь часовъ.

Да здравствуетъ „Синяя молнія“! Миссисъ Бэкеръ могла те-

перь поспѣть во-время! Но здѣсь у нея внезапно появилось впервые нѣкоторое замѣшательство: она хорошо знала свою лошадь, она хорошо знала свою дорогу, она хорошо знала самое себя, но знала-ли она *человѣка, къ которому теперь мчалась?*...

Она внезапно почувствовала, что ее обдало прохладою. Миссисъ Бэкеръ встрепенулась: это была ночь, быстро спускавшаяся по склонамъ уже потерявшейся изъ глазъ Сьерры, вступающая во владѣніе всѣмъ, до чего она коснулась своимъ покровомъ. До Гикори-Гилли оставался лишь ровный, хотя и длинноватый, спускъ, по которому „Синяя молнія“ снова понеслась на крыльяхъ.

Половина девятого! Вотъ показались и огни поселенія, вотъ наконецъ и само поселеніе, но вотъ и два фонаря омнибуса, который уже прибылъ и стоялъ теперь передъ почтовою конторою и единственною гостинницею мѣстечка....

Къ счастью, обычная куча зѣвакъ толпилась около отеля, и нашей всадницѣ удалось проскользнуть незамѣтно въ почтовое зданіе черезъ задній ходъ. Войдя въ комнату, она застала тамъ только почтмейстера—довольно красиваго молодого человѣка съ рыжеватыми усами. Онъ поспѣшно обернулся къ ней, при чемъ все лицо его вспыхнуло отъ радостнаго удивленія. Последнее, однако, мгновенно смѣнилось совершенно другимъ выраженіемъ, какъ только онъ увидѣлъ ея блѣдное рѣшительное лицо и сверкающіе глаза, которые даже ни разу не взглянули на него, а были неподвижно устремлены на большую широко-зіявшую сумку, все еще лежавшую на полу подлѣ конторки.

— „Гдѣ транзитное денежное письмо, пришедшее въ этой сумкѣ?“ спросила она быстро.

— „К-какъ... ч-что вы хотите этимъ сказать?“ пробормоталъ онъ, смущенно запинаясь и внезапно блѣднѣя еще хуже самой миссисъ Бэкеръ.

— „Я хочу сказать, что здѣсь должно быть денежное письмо, отправленное изъ Гови-Три-Кроссинга, что это ловушка, подставленная вамъ, и что мистеръ Гомъ изъ Санъ-Фринциско ждетъ теперь у меня въ конторѣ, чтобы узнать, взяли-ли вы его или нѣтъ!“

Онъ хотѣлъ было засмѣяться и соврать что-нибудь экспромтомъ, но онъ не смогъ проронить ни звука. Повинуясь, какъ

зачарованный, молчаливому велѣнію, выражавшемуся всеѣмъ ея существомъ, открытымъ и дышавшимъ правдивостью, прекраснымъ лицомъ, молодой человѣкъ почти механически открылъ свою конвертку и вынулъ оттуда конвертъ.

— „Богъ мой, Богъ мой! вы уже вскрыли его!“ воскликнула она, указывая на взломанную печать.

Выраженіе ея лица убедило его сильнѣе всеѣхъ ея рѣчей въ томъ, что ей было извѣстно все, рѣшительно все. Окончательно перепуганный тономъ отчаянія, которымъ она произнесла послѣднія слова, онъ пробормоталъ растерянно:

— „Да видите-ли, мнѣ нужно было заплатить нѣсколько счетовъ. Приходили за деньгами—ну, я и взялъ немножко изъ конверта. Но я хотѣлъ возратить все сполна съ слѣдующей же почтою, клянусь вамъ честью!“

— „Сколько вы взяли?“

— „О, сущіе пустяки! Да, я увѣрю васъ честью!“

— „Сколько именно?“

— „Да и всего только сто долларовъ...“

Она вынула изъ своего кармана деньги, захваченныя ею въ Лорель-Рэнѣ, и, отсчитавъ нехватавшую сумму, вложила ее въ конвертъ.

Онъ побѣждалъ было доставать сюрмучъ, но миссисъ Бакеръ остановила его движеніе повелительнымъ жестомъ и тотчасъ же бросила незапечатанный конвертъ въ почтовую сумку.

— „Не нужно запечатывать“, сказала она дѣловымъ тономъ: „были бы только деньги въ мѣшкѣ, а печать могла сломаться и совершенно случайно. Теперь вскройте слегка еще одинъ или два другихъ пакета. Пойдите, вотъ такъ“....

Она проворно вынула связанную пачку писемъ, бросила ее на полъ и принялась топтать ихъ своею восхитительною маленькою ножкою до тѣхъ поръ, пока не разломались казенныя печати, и не разслабили казенныя тесемки.

— „А теперь дайте мнѣ что-нибудь тяжелое“.

И не дожидаясь его помощи, она быстро схватила двухъ-фунтовую мѣдную гиру отъ почтовыхъ вѣсовъ, завернула ее все съ тою же лихорадочно-дѣловою поспѣшностью въ бумагу, запечатала, наложила почтовый штемпель и, написавъ на обложкѣ свой

собственный адресъ крупными печатными буквами, сунула пакетъ въ сумку, которую она затѣмъ закрыла и заперла на замокъ.

Гринъ хотѣлъ было снова помочь ей, но молодая женщина отстранила его движеніемъ руки.

— „Пришлите мнѣ теперь кондуктора, а сами уйдите на нѣсколько минутъ“, сказала она коротко и отрывисто.

Стэнтонъ смотрѣлъ на молодую женщину съ безграничнымъ восхищеніемъ. Его недавній искугъ смѣнился теперь приливомъ безумной страсти. Онъ повиновался ея приказанію въ сильнѣйшемъ волненія, но не произнося ни единого слова. Миссисъ Бэкеръ утерла свой вспотѣвшій лобъ, провела рукою по залекшимся губамъ и стяхнула подоль.

Увидавъ неожиданно-негаданно въ оконцѣ конторы эти сверкающіе глазки и этотъ сдержанно улыбающійся алый ротикъ, молодой кондукторъ вскрикнулъ въ себя отъ изумленія: „Миссисъ Бэкеръ!“

Она быстро приложила палець къ губамъ, при чемъ ея плутовское личико приняло самую загадочную мину.

— „Слушайте, Чарли: въ Лорель-Рэнъ сегодня будетъ принимать почту вмѣсто меня одинъ важный баринъ изъ департамента.“

— „Слушаю, сударыня!“

— „И вотъ очень жаль, что почтовую сумку нечаянно такъ потрясло по дорогѣ...“

— „Какъ такъ?“

— „Я говорю“, продолжала миссисъ Бэкеръ съ величайшею серьезностью въ голосъ, но съ глазками, прыгающими отъ внутренняго смѣха: „что было бы просто ужасно, еслибы этотъ важный франтъ изъ Санъ-Франциско напелъ всѣ вещи перемѣшанными и перепутанными, когда онъ откроетъ сумку. Понимаете, мнѣ бы ни за что не хотѣлось причинять ему какое-либо лишнее безпокойство“...

— „Конечно, сударыня, вы совѣмъ не изъ такихъ!“

— „И такъ будьте, пожалуйста, какъ можно осторожнѣе на этотъ счетъ—это очень важно для меня. Понимаете, Чарли?“

— „Миссисъ Бэкеръ“, сказалъ Чарли съ безпредѣльною серьезностью: „еслибы этотъ мѣшокъ вздумалъ-бы свалиться по дорогѣ меж-

ду Гикори-Гиллемъ и Лорель-Рэномъ хоть дюжину разъ, я буду прыгивать за нимъ собственными ногами и подымать его собственными руками. Ужъ будьте покойны—можете положиться на меня!“

— „Спасибо вамъ, Чарли! Вашу руку!“

И сохраняя все то же невозмутимо-серьезное выраженіе лица, они пожали руки черезъ оконце.

— „А вы развѣ не поѣдете съ нами, миссисъ Бэкеръ?“

— „Конечно, не поѣду. Это было бы не того... *Видь, меня здѣсь нѣтъ и не было.* Понимаете, Чарли?“

— „Безъ сомнѣнія, сударыня“.

Она подала ему мѣшокъ черезъ дверь. Кондукторъ приподнял и понесъ его крайне бережно. Но не смотря на всю величайшую осторожность, споткнулся и шлепнулся черезъ него раза два еще до выхода на улицу. Судя по нѣкоторымъ восклицаніямъ, подобное неприятное происшествіе постигло сумку и при взбрасываніи ея на верхушку дилижанса.

Едва раздался грохотъ колесъ, свидѣтельствовавшей объ отбытіи омнибуса, какъ вдругъ миссисъ Бэкеръ бросилась на стулъ и совершенно неожиданно разразилась слезами. Она почувствовала внезапно, что кто-то схватилъ ее за руку. Открывъ глаза, она увидѣла Грина, который стоялъ передъ нею на котѣняхъ. Молодая женщина вскочила.

— „Подождите“—заговорилъ онъ въ истерически-нервномъ волненіи—„выслушайте меня, ради самого Бога—умоляю васъ! Я знаю, что я погибъ, хотя вы спасли меня сію минуточку отъ уличенія позора. Вы даже не можете себѣ представить, что заставило меня поддаться искушенію. Послушайте, миссисъ Бэкеръ: я старался раздобыть деньги—честнымъ-ли тамъ путемъ или нечестнымъ, для меня было безразлично—только для того, чтобы заслужить ваше расположеніе, чтобы стать достойнымъ *васъ*—чтобы разбогатѣть и быть въ состояніи предложить вамъ свою руку и увезти васъ изъ Лорель-Рэна. Я сдѣлалъ все это только ради *васъ*, ради моей любви къ *тебѣ* Бетси, моя голубка!“

Въ этотъ моментъ, когда все маленькое тѣло миссисъ Бэкеръ было охвачено бурнымъ гнѣвомъ, чувствомъ оскорбленнаго

достоинства, негодованіемъ и безграничнымъ отвращеніемъ, ей слѣдовало бы походить на какую-нибудь величественную, подавляющею своею грозною суровостью, карающую и сокрушающую богиню. Но Господь Богъ поступаетъ иногда иронически по отношенію къ многострадальному женскому полу. Ей удалось только вырвать у него руку при помощи чисто дѣтскихъ вывертываній и кривляній, она могла только засверкать на него своими глазками, которые правда, блистали очень мило и пикантно, — она могла только шлепнуть его по рукѣ своею полною и бархатною ладонью; и когда она наконецъ смогла заговорить, она заговорила высокимъ фальцетомъ, да и все, что она нашла сказать, было только: „оставьте меня, пакостникъ вы этакій, или я заору!“

Онъ поднялся съ колѣнъ съ натянутымъ глуповатымъ и смущеннымъ смѣхомъ, стараясь скрыть вспыхнувшее въ немъ чувство стыда и гнѣва — „Въ такомъ случаѣ изъ-за чего же вы собственно прискакали сюда, изъ-за чего вы взяли на себя весь этотъ рискъ? Почему вы явились сюда раздѣлить со мною мое безчестіе—вѣдь, вы теперь замѣшаны въ это дѣло не меньше моего—почему, спрашиваю, разъ вы не собирались раздѣлить со мною и *все остальное*? Ради чего вы явились сюда, если не ради меня!“

— „Ради чего явилась *сюда*?“ проговорила, запинаясь, миссисъ Бэкеръ. Въ лицѣ у нея не осталось ни кровинки; губы ея нервно вздрагивали. — „Ради—чего—и—пришла—сюда? Ну, разумѣется—ради *Джона Бэкера*! ради того самаго Джона-Бэкера, который спасъ васъ отъ смерти въ Бернтъ-Риджѣ, какъ я теперь спасла васъ отъ суда и позора, мистеръ Гринъ! Да, Джонъ Бэкеръ, погребенный подъ развалинами Бернтъ-Риджа, сегодня для меня дороже всякаго живого человѣка, ползающаго въ грязи въ родѣ васъ! Изъ-за чего я пришла сюда? Я пришла сюда въ качествѣ жены Джона Бэкера—пришла, чтобы дальше дѣлать дѣло покойнаго Джона Бэкера! Да, мистеръ Гринъ—пожалуй, грязное дѣло на этотъ разъ, но для меня оно дорого ради его памяти. Вотъ почему я явилась сюда; вотъ изъ-за чего я только и живу на свѣтѣ —для того только, чтобы продолжать его дѣло, какъ могу и умѣю. Да, я Бетси Бэкеръ—понимаете—*Бэкеръ*!“

Она быстро ходила взадъ и впередъ по комнатѣ, стараясь за-

визать подъ подбородкомъ ленты своей соломенной шляпки; затѣмъ она внезапно остановилась, вынула изъ кармана свой кошелекъ изъ верблюжьей кожи и положила его на конторку порывистымъ движеніемъ.

— „Стэнтонъ Гринъ, бросьте дуриты! выкарабкайтесь изъ этой помойной ямы и станьте снова человѣкомъ! Возьмите изъ этого кошелека столько, сколько нужно вамъ уплатить казнь, подайте въ отставку и употребите остальные деньги на то, чтобы выйти опять на честную дорогу. Но только, чтобы и вашего духа не было въ Гикори-Гиллѣ завтра объ эту пору!“

Она сняла свою накидку со стѣны и отворила дверь.

— „Вы уже уходите?“ спросилъ Гринъ съ горечью.

— „Да“.

Была-ли она не въ состояніи выдержать долѣе серьезную роль, взятую на себя, или, слѣдуя внушенію женскаго такта, она захотѣла облегчить тяжелую минуту разставанія для молодого человѣка, но только въ это мгновеніе ея лицо внезапно озарилось ослѣпительною улыбкою и она прибавила:

— „Да, я хочу перегнуть на своей „Синей Молніи“ Чарли съ его сумкою. Жаль, что не пошла съ нимъ на пари, навѣрняка выиграла-бы!“

И дѣйствительно, она не ошиблась въ расчетѣ: благодаря тому-ли факту, что при возвращеніи въ Лорель-Рэнъ ей пришлось мчаться не только по болѣе короткой, но и болѣе легкой дорогѣ, значительная часть которой шла подъ гору, между тѣмъ какъ омнибусу приходилось взбираться на вершину холма по длиннымъ спиральнымъ ходамъ, или же благодаря тому обстоятельству, что транспортировка почтоваго мѣшка на этотъ разъ сопровождалась совершенно необычайными трудностями—злополучному Чарли пришлось два раза спасать безпокойную сумку изъ-подъ самыхъ колесъ дилижанса—но только миссисъ Бэкеръ вошла въ Лорель-Рэнскую почтовую контору нѣсколько раньше того, какъ передовая пара лошадей омнибуса показала рысцою на маковкѣ холма.

Мистеръ Гомъ находился уже на платформѣ.

— „Слушайте, сударь“, сказалъ съ серьезною миною Чарли, еще разъ подымая мѣшокъ, выскользнувшій изъ его цѣпкихъ рукъ на пыльную дорогу: „прикажете-ка напередки выбирать получше мѣш-

ки, не то вамъ придется заключить новый контрактъ съ нашею компаніею. Изъ-за этого проклятаго прыгуна мы сейчасъ потеряли 10 минутъ на 5 милыхъ!“

Ничего не отвѣчая на это заявленіе, мистеръ Гомъ быстро втащилъ свою добычу въ конторку, гдѣ онъ ужъ нашелъ миссисъ Бэкеръ стоявшею блѣдною съ затаеннымъ дыханіемъ. При видѣ хаотическаго состоянія внутренности мѣшка, она испустила легкій вздохъ. Мистеръ Гомъ взглянулъ на нее мелькомъ, вывалилъ содержимое изъ сумки на полъ и проворно взялъ разорванный и лишь на половину наполненный денежный пакетъ, затѣмъ онъ собралъ разсыпавшіяся монеты и сосчиталъ ихъ.

— „Все въ цѣлости, миссисъ Бэкеръ“, сказалъ онъ серьезно: „на этотъ разъ уцѣлѣлъ и онъ.“

— „Ахъ, какъ я рада!“ сказала маленькая почтмейстерша съ невиннымъ видомъ.

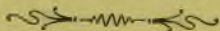
— „Радъ и я, съ своей стороны“, отозвался мистеръ Гомъ съ нарастающею серьезностью въ голосѣ.— „Насколько мнѣ удалось собрать здѣсь справки, Гринъ былъ старымъ піонеромъ Лорель-Рэна и другомъ вашего мужа—и, вообще, онъ, кажется, скорѣе глупецъ, чѣмъ плутъ!“

Мистеръ Гомъ помолчалъ секунду, постучалъ одною монетою о другую и затѣмъ прибавилъ небрежно:

— „Онъ уже удралъ оттуда, миссисъ Бэкеръ?“

— „Я положительно не понимаю, о чемъ вы говорите!“ отвѣтила миссисъ Бэкеръ съ видомъ величественнаго достоинства и съ нѣсколько поблѣднѣвшимъ личикомъ.— „Рѣшительно не постигаю, откуда я могу знать что-либо объ этомъ, и почему ему нужно куда-либо удирать!“

— „Ну-съ“, сказалъ мистеръ Гомъ, кладя руку на полное плечико вдовы почти съ отеческою нѣжностью: „ну-съ, видите-ли, въ чемъ дѣло, миссисъ Бэкеръ: друзьямъ его могло бы придти въ голову, что *все монеты были помычены!* Вы понимаете послѣ этого, что у него есть достаточно основаній послушаться совѣта друзей и удрать отсюда. Повторяю, во всякомъ разѣ—чтобы тамъ ни случилось съ нимъ—ваше поведеніе, миссисъ Бэкеръ, вполне безупречно—правительство полагается на васъ, и вы можете полагаться на правительство!“





БЛАГОРОДНОЕ НАМЪРЕНІЕ.

Разсказъ.

Н. И. Вагина.

I.

Лучь солнца проникъ сквозь неплотно спущенную штору и ударилъ прямо въ лицо Александра Георгіевича Горюнова, которій, одѣтый въ бархатную визитку и сѣрые брюки, лежалъ на постели, закинувъ бѣлыя и пухлыя свои руки подъ голову. Онъ, однако, не пошевелился, только крѣпче зажмурилъ заспанные глаза.

Не смотря на то, что уже было болѣе половины двѣнадцатаго, Горюнову вставать не хотѣлось: бурно проведенная ночь давала себя чувствовать—голова трещала, во рту все пересохло и вообще его ломало.

— Скверное состояніе, чортъ возьми!—пробормоталъ онъ и, закрыавшись синимъ тканевымъ одѣяломъ, отвернулся къ стѣнѣ: слишкомъ ужъ назойливо лѣзъ въ глаза солнечный лучъ, отражавшій въ себѣ снопъ мелкой пыли, которая, перевиваясь, играла какъ въ калейдоскопѣ.

Прошло еще нѣсколько минутъ; дверь скрипнула и пропустила домоправительницу Горюнова, сдобную, тридцати-лѣтнюю женщину, которую веселый квартирантъ прозвалъ Аграфеной XIV-й.

Войдя, она конфузливо оправилась на себѣ фартукъ и привилась будить нахлѣбника. Но увы! ни дерганье за одеяло, ни возгласы: „У, безстыдники, срамники, вставайте, ужъ обѣдать пора!“ — не помогали: Горюновъ въ отвѣтъ только что-то мычалъ и рѣшительно не подавалъ никакой надежды исполнить вполнѣ законное желаніе своей хозяйки. Наконецъ онъ разомъ поднялся и сѣлъ на кровати, спустивъ ноги на полъ, но, вѣроятно, почувствовавъ всю невозможность держаться въ вертикальномъ положеніи, тотчасъ же снова растянулся, выпроводилъ хозяйку энергическимъ жестомъ изъ комнаты и усталъ красными, воспаленными глазами прямо въ потолокъ, откуда на тонкой невидимой нити спускался паукъ: это дало ходъ его мыслямъ:

— Ишь ты, каналья, искусно какъ спускается, — подумалъ Горюновъ, — а что, сидеть онъ мнѣ на носъ, или нѣтъ? Я бы на его мѣстѣ сѣлъ... Покурить бы теперь, — вспомнилось ему далѣе; — толькоза какими папиросами послать? Богданова — нехорошо курятся, Лаферма — дрянн: вся бумага почернѣетъ отъ соуса, Шапшала — вкусъ какой-то мерзкій; Аппакъ развѣ? — и онъ сталъ напоминать Аппаковскій ярлыкъ, выставленный на коробкахъ.

Въ передней звякнулъ колокольчикъ. „Кто бы это такъ рано?“ — подумалъ Горюновъ и затѣмъ заговорилъ вслухъ:

— А все-таки надо бросить пить! вѣдь, такъ же невозможно, вѣдь, это свинство! Я слѣлался положительно хуже животнаго. Нѣтъ, шабашъ! Теперь какъ только получу изъ дому деньги, тотчасъ же удеру изъ этого проклятаго захолустья и начну новую жизнь...

— Здорово, пріятель! Ты что же это валяешься, аль чердакъ трещить? — загремѣлъ ворвавшійся армейскій прапорщикъ Валтатистъ, — другъ и собутыльникъ Горюнова.

— Да вотъ, мучусь со вчерашняго! — плаксиво пожаловался Горюновъ.

— Э, плюнь! вставай и пойдемъ къ Адлеру раковъ ѣсть. Какъ западишь рюмки три-четыре, такъ и всю боль рукой сниметъ! Ну, allons, благо ты одѣтъ, — раки, братецъ мой, просто су-перфлю.

II.

Горюновъ принадлежалъ къ числу баловней судьбы. Молодой, красивый, съ правильными чертами лица, 27-ми-лѣтній юноша, къ тому же единственный сынъ богатаго золотопромышленника, онъ, по окончаніи курса въ гимназій, не пожелалъ болѣе учиться, а поступилъ на сцену, имѣя къ театральному искусству съ дѣтства призваніе и вотъ уже четыре года колесилъ вдоль и поперекъ Россіи, переѣзжая изъ одного ея конца въ другой,

Разсказъ нашъ застаегъ его въ одномъ изъ тѣхъ захоластныхъ городковъ, которыхъ нельзя отыскать даже и въ самой подробной географической картѣ.

Скверное состояніе, на которое Горюновъ жаловался, въ сущности для него было почти нормальнымъ: давно уже онъ, изо дня въ день, регулярно напивался до чертиковъ, оправдывая себя тѣмъ, что дѣлаетъ это „отъ скуки.“ Каждое утро, лежа съ тяжелой головой въ постели, онъ, по обыкновенію, бичевалъ себя на всѣ лады, увѣряя невидимаго собесѣдника, что водка вредна, что она губить его, что надо бросить пить и начать новую жизнь, и тѣмъ не менѣе, какъ и всѣ слабыя натуры, кончалъ этотъ день къ вечеру новымъ запоемъ.

Горюновъ не то чтобъ любилъ водку, или имѣлъ какое-либо горе, нѣтъ,—онъ просто ве хотѣлъ подтянуться, встряхнуть себя, и пить, благо случаи къ тому представлялись часто. Такъ ужъ сложилась жизнь русскаго провинціального актера - вѣчный праздникъ въ перемежку съ голодовкой.

Не хочетъ человѣкъ оглянуться и вспомнить, что молодость преходяща, и живетъ день за день, находясь въ какомъ-то туманѣ...

Пріятели въ каждомъ городѣ находились скоро, еще скорѣе со всѣми ими Горюновъ сходилъ, и обусловливаемое самой профессіей нынѣшество начиналось... въ полдень репетиціи, послѣ выпивка и путешествіе по различнымъ вертепамъ вплоть до спектакля, по окончаніи котораго снова попойка, продолжавшаяся до утра, а въ результатъ—головная боль и расплата за разные скандалы: то въѣску сорвутъ и замѣнятъ ее другой, такъ что на утро изумленные горожане на пансіонѣ для благородныхъ дѣвицъ видятъ—*модный магазинъ madame Сердечкиной*, а на полицейскомъ управленіи

съ ужасомъ читають: *Здѣсь стригутъ и бръютъ, и кровь отворяють*, то напугають мирно почивающаго и рѣшительно никого не трогающаго будочника.

Натура у Горюнова была очень крѣпкая, такъ что отъ безпутной жизни, которую онъ велъ, не оставалось почти никакихъ слѣдовъ, развѣ только немного припухало лицо.

Для него, какъ субъекта слабохарактернаго, нуженъ былъ какой-нибудь особый случай, который могъ бы произвести извѣстный переломъ, но случая такого не представлялось и Горюновъ продолжалъ пьянствовать. Только что онъ рѣшить: „Вотъ ужъ съ съ понедѣльника непременно начну новую жизнь и брошу пить,“— какъ въ это время, будто нарочно, изъ дому получались деньги, въ болѣе или менѣе солидной суммѣ, и благое намѣреніе разлеталось словно дымъ.

Натура артистическая, Горюновъ цѣны деньгамъ не зналъ, и немедленно по полученіи принимался „протирать имъ глаза“, для чего накупалъ дорогихъ винъ, закусокъ, приглашалъ товарищей-актеровъ и офицеровъ мѣстнаго баталіона, самыхъ необрѣзанныхъ кутиль и устраивалъ „афинскую ночь“, обязательно заканчивающуюся скандаломъ, дававшимъ обильную пищу для разсужденій мирнымъ обывателямъ захолустнаго городишка Семишатовска, служившаго временной резиденціей труппы, въ которой Горюновъ былъ премьеромъ.

— Слышали, Арина Филофеевна, мой-то анекдотъ, что—вчера натворилъ?—съ ужасомъ вопрошала Графена XIV зашедшую къ ней за молокомъ куму.

— А что, мать моя?

Тутъ хозяйка наклонялась къ уху гостыи и что-то долго ей шептала, боязливо оглядываясь на сосѣдную дверь, откуда каждую минуту могъ раздаться, приблизительно, слѣдующій возгласъ:

— Графена XIV! сформируйте-ка, мой ангель, какую-нибудь закусточку, да подайте сюда пару рюмокъ и штопоръ.

Долго бы еще, пожалуй, Горюновъ не собрался начать новую жизнь, еслибъ не представился къ тому совершенно неожиданный случай, имѣвшій роковое значеніе на всю его послѣдующую судьбу.

Однажды, зайдя въ модный магазинъ купить себѣ галстухъ, Горюновъ увидѣлъ за прилавкомъ весьма миловидную, молоденькую дѣвушку. Ея миленькое личико и простые, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не лишеныя граціи жесты поразили его, не обращавшаго ранѣе никакого вниманія на женщинъ. Ему вдругъ пришла слѣдующая мысль:

„Такая красавица и пропадаетъ гдѣ-то въ захолустномъ городишкѣ! Ея мѣсто на сценѣ, а не здѣсь. Ужъ не заняться-ли мнѣ судьбой этой дѣвушки? Быть можетъ, изъ нея со временемъ получится знаменитая артистка.“

Уходя изъ магазина, Горюновъ обратился къ дѣвушкѣ съ слѣдующимъ вопросомъ:

— Позвольте узнать ваше имя?

— Нина... отвѣтила она.

— Вы что же, съ родными здѣсь живете?

— У меня нѣтъ родныхъ; я сирота.

„Какъ она просто отвѣтила на мой вопросъ,—думалъ Горюновъ;—сразу видна непосредственная натура; не то, что наши артистки—, словечка въ простотѣ не скажутъ, все съ ужимкой.“

Цѣлый тотъ день Нина не выходила изъ головы артиста, представляясь ему на сценѣ въ роляхъ Офеліи, Дездемоны и проч.

„Не за грошъ погибнетъ, бѣдная! Какъ только попадетъ на глаза какому-нибудь Адонису изъ мѣстныхъ львовъ, такъ и сбѣлается „одной изъ многихъ“, или, какъ выражаются въ газетахъ, „жертвой общественнаго темперамента“. Да и не мудрено, впрочемъ! вѣдь, она сирота: никого нѣтъ, чтобъ поддержать въ минуту несчастья и спасти отъ гибели. Нѣтъ, надо съ ней познакомиться, непременно надо!—рѣшилъ Горюновъ.“

Къ знакомству не представилось, разумѣется, особаго труда и вскорѣ Горюновъ зналъ уже прошлое Нины.

Не хитра была повѣсть дѣвушки.

Ея отецъ, вольнонаемный писецъ какого-то правленія и мать, сырая и полная женщина, не принадлежали къ числу аристократическихъ фамилій. Они воспитывались на мѣдныхъ деньгахъ и всю свою жизнь провели въ тяжеломъ неблагодарномъ трудѣ и заботахъ. Единственная дочь Нина являлась ихъ сокровищемъ, на-

деждою и даже опорюю въ будущемъ, но, къ сожалѣнію, старикамъ не пришлось долго любоваться на обожаемую дочь. Сначала умеръ отецъ, а спустя два года и мать. Нинѣ едва минуло 10 лѣтъ и ее взяла на попеченіе тетка, сестра ея матери, бѣдная мѣщанка. Это была не злая по натурѣ женщина, но бѣдность озлобила ее и она вѣчно брюзжала. Работы было много и Нина работала, не покладая своихъ дѣтскихъ рукъ, но не могла угодить теткѣ, которой все казалось, что племянница не вполне достаточно зарабатываетъ данный ей пріютъ и кусокъ хлѣба, и она продолжала ворчать съ утра до вечера. Каждая корка, достававшаяся на долю сиротки, была полита горькими слезами. Такъ прошло года три. Наконецъ тетка, по совѣту добрыхъ людей, отвела Нину въ модный магазинъ, прочитала ей мораль о соблюденіи себя и оставила на попеченіи „мадамы“. Исполнивши, такимъ образомъ, родственнѣе долгъ по отношенію къ племянницѣ и, вѣроятно, разсудивъ, что дѣлать ей болѣе на этомъ свѣтѣ уже нечего, тетка въ одинъ прескверный, осенній день незамѣтно умерла, какъ вообще умираютъ десятки и сотни бѣдняковъ.

Къ счастью для Нины, новая ея хозяйка оказалась женщиной богобоязненной и съ добрымъ сердцемъ: она приняла горячее участіе въ судьбѣ сиротки, да, впрочемъ, та вполне этого и заслуживала. Нина вообще была скромная, воспитанная въ страхѣ Божіемъ дѣвушка, весьма трудолюбивая и понятливая; она скоро оказала большіе успѣхи въ новой профессіи.

Съ утра до поздней ночи сидѣла Нина, склонивъ русую голову надъ швейной машиной и напѣвая, подъ трескъ ея, грустные мотивы.

Шестнадцати лѣтъ она была уже главной закройщицей въ магазинѣ. Къ этому времени худенькая дѣвочка распустилась въ прелестный бутонъ, а умѣнье со вкусомъ одѣться дѣлало ее положительно хорошенькой.

Такимъ образомъ, единственно благодаря счастливо сложившимся обстоятельствамъ и нѣкотораго рода собственной энергіи, Нина не погибла, какъ погибаетъ многое множество подобныхъ ей полевыхъ цвѣтковъ, брошенныхъ неумолимой мачихой-судьбой въ бурное житейское море.

А впрочемъ, самаго опаснаго времени дѣвушка еще не пережила.

III.

Горюновъ не только былъ артистъ, но онъ былъ еще и поэтъ, —крайне увлекающаяся, экзальтированная натура. Въ знакомствѣ съ Ниной онъ видѣлъ не только спасеніе для себя отъ той безобразной жизни, которая уже давно ему была въ тягость, но еще усматривалъ даже предопредѣленіе судьбы.

„Если—думалось ему—какая-нибудь бездушная кукла имѣетъ право на счастливую жизнь только потому, что она рождена въ высшей сферѣ,—то почему же Нина, это полное достоинство созданье, обязано погибнуть въ затхлой мѣщанской обстановкѣ, вѣчно готовясь къ лишениямъ и несчастью? И не призванъ-ли я, чтобы дать ей возможность увидѣть настоящую жизнь, открыть ей глаза? Вѣдь, какъ знать, быть можетъ, въ этой скромной дѣвушкѣ таится огромный талантъ“.

Онъ вѣрилъ этой. имъ же созданной, фантази и съ энергіей принялся за образованіе Нины; уединился, пересталъ вести прежнюю жизнь и совсѣмъ оставилъ пріятелей, которые, давно не видя его среди себя, махнули рукой: только прапорщикъ Валтатисъ не удовольствовался крайне несвязнымъ отвѣтомъ Горюнова и назойливо попросилъ „объясниться“, для чего и пригласилъ его къ Адлеру, весьма популярному содержателю единственной въ Семишатовскѣ гостиницы, въ которой обыкновенно собирались пріятели всевозможныхъ профессій для разрѣшенія всевозможныхъ же вопросовъ.

Изжелта-зеленоватый чадъ, проникавшій изъ сосѣдней кухни, и табачный дымъ застилали залъ гостиницы, тускло освѣщаемой грязной закопченной лампой, висѣвшей посрединѣ. Около буфета толпились разношерстные субъекты, съ вождельніемъ поглядывая на разставленные бутылки, въ ожиданіи выпивки; раздавалось щелканье билліардныхъ шаровъ и хриплые возгласы: „краснаго шаромъ въ средину! куразе желтаго!“—Этотъ невообразимый гамъ сочетался съ ужасной толкотней...

Въ маленькой комнаткѣ, рядомъ съ билліардной, сидѣли Валтатисъ и Горюновъ за столомъ, на которомъ шеренгой выстрои-

лись пивныя бутылки, а среди ихъ горделиво поднималъ пробковую голову графинъ очищенной, опорожненный, впрочемъ, на половину.

— Скажи же мнѣ на милость, съ какого ты дьявола сталъ избѣгать своихъ друзей? Ужъ не записался-ли въ общество трезвости?—азартно спрашивалъ Валтатись.

— Присутствіе мое здѣсь самымъ нагляднымъ образомъ опровергаетъ твое послѣднее предположеніе. Нѣтъ, тутъ, видишь-ли ты, вышелъ случай совсѣмъ особаго рода; да вотъ постой, я все расскажу по порядку,—проговорилъ Горюновъ, выпивая рюмку водки и закусывая ее огурцомъ.

— Я, какъ тебѣ извѣстно, человекъ независимый,—началъ онъ,—средства имѣю; всякій другой, на моемъ мѣстѣ, считалъ бы себя счастливымъ, а я—нѣтъ; я напротивъ несчастенъ. Меня не удовлетворяетъ эта сытая жизнь рантьеера. Что же я дѣлаю? Я не ищу исхода, а впадаю въ крайность—я почти совсѣмъ спиваюсь... Такое состояніе, признаться, мнѣ надоѣло; согласись самъ, что вѣчное пьянство, безъ всякаго проблеска впереди, эта наконецъ бездѣтельность...

— Ну, поступай на службу! Вотъ тебѣ явится и дѣятельность, и весьма даже продуктивная: будешь строчить отношенія...

— Ты знаешь, что я никогда не сдѣлаюсь чиновникомъ,—перебилъ Горюновъ и даже вспыхнулъ,—хотя бы это и дало мнѣ весьма обезпеченное положеніе; рыться съ утра до вечера въ пыльных и кляузныхъ дѣлахъ, отыскивая въ нихъ ужасную картину людскихъ пороковъ и злодѣйствъ всякаго рода,—нѣтъ, эта перспектива никогда не соблазнить меня.

— Какъ какого же рода дѣятельности ты ищешь?—съ досадою спросилъ Валтатись.

— Ты меня не совсѣмъ понялъ. Я вовсе и не думаю оставлять сцены,—своей профессіей я доволенъ вполне; я только хочу сказать, что у меня пропадаетъ безъ пути моя молодость. Обидно сознавать, что я никому не ауженъ, никому не могу принести пользы... Вѣдь, сколько, какъ посмотришь, рядомъ пропадаетъ хорошихъ и талантливыхъ существъ, единственно лишь по недостатку средствъ.

— Темно, братъ, что-то, ты говори прямѣе.

— Видишь-ли, я познакомился съ одной дѣвушкой—премилое существо; вотъ я и рѣшилъ заняться ея развитіемъ, подготовить для сцены; вѣдь, какъ знать, можетъ мнѣ суждено дать міру великую артистку...

— Те-эк-съ! Гдѣ же ты обрѣлъ такую жемчужину и согласятся-ли ея родные?

— Родныхъ у нея никого нѣтъ; это швед, тутъ изъ магавина; ну, знаешь, прелестный ребенокъ, брошенный судьбой въ глухую среду.

— Вонъ она исторія какая!—протянулъ Валтатисъ, мечтательно пуская кольца дыму.—А извѣстно-ли тебѣ, чѣмъ въ большинствѣ случаевъ подобныя затѣи кончаются, т. е. развитіе-то милыхъ существъ?

— Я не принадлежу къ корпораціи такихъ господъ,—обидѣлся Горюновъ,—и ты напрасно иронизируешь. Если я рѣшаюсь на подобную, какъ ты выражаешься, затѣю, то вовсе не изъ пустого любопытства, а съ твердымъ убѣжденіемъ, что изъ Нины Семеновны выйдетъ талантливая артистка.

— Блаженъ, кто вѣруеть,—сказалъ Валтатисъ, поднимаясь изъ-за стола.—Ну, въ такомъ случаѣ, желаю тебѣ полного успѣха! Благородное намѣреніе, благородное!..

Вывпивъ еще рюмку и какъ-то неловко закашлявшись, онъ добавилъ совсѣмъ уже другимъ тономъ:—„Ты, того.. уплати тутъ, я не захватилъ съ собой мелочи!—затѣмъ, стиснувъ руку Горюнова, ушелъ, позвякивая саблей...“

— Ну, что тебѣ сказалъ Горюновъ,—спросили его собутыльники, —почему онъ вздумалъ отшельничать?

— Оставимъ его, братцы, онъ задумалъ благородное намѣреніе, только... а впрочемъ, подите вы къ чорту!.. есть, что-ли, водка-то?

IV.

Знакомясь съ Ниной, Горюнову дѣйствительно не приходили въ голову никакія грязныя мысли; ни одной любезности, ни одного пустого слова, ничего, что могло бы оскорбить даже самую требовательную, свѣтскую дѣвушку, не позволялъ себѣ Горюновъ въ

отношеніи Нины, и она знала это, угадывая честную натуру артиста, не боялась не только до полночи гулять съ нимъ, но даже неоднократно посѣщала его холостую квартиру къ великому, впрочемъ, соблазну стыдливой Аграфены XIV.

Разговоры, какъ и слѣдовало ожидать, велись на тему о судьбѣ Нины.

— Я вѣрю вамъ, Александръ Георгіевичъ,—говорила Нина, —но ужъ, право, не знаю что сказать! Я, вѣдь, не учена, какая же я буду актриса. Къ тому же мнѣ не хочется оставлять этой жизни, я счастлива...

— Эхъ, Нина Семеновна! ну, что вы толкуете о вашемъ призрачномъ счастьи! Вѣдь, вы изсохнете за иголкой, не видя свѣта Божьяго; истомитесь, поблекнете и не увидите, какъ пройдетъ ваша безмятежная юность; нужда сушить незамѣтно, но скоро; она высосетъ изъ васъ кровь, какъ пьявка, каплю по каплѣ, и покается вы послѣ, да ужъ будетъ поздно; жизнь дается однажды. Я угадываю, угадываю своимъ актерскимъ чутьемъ въ васъ будущую знаменитость. Нѣтъ, не жалѣйте вы вашей сѣренькой жизни, поступайте на сцену! Тамъ ваше мѣсто, тамъ среди цвѣтовъ, подъ громъ оркестра, а не въ этомъ затхлому болотѣ! Что же касается вашей, какъ вы выражаетесь, неучености, то объ этомъ не беспокойтесь; ручаюсь, черезъ годъ вы сами себя не узнаете: я найму вамъ учителей, наконецъ, собственныя мои познанія къ вашимъ услугамъ, я займусь вашимъ образованіемъ; не поѣду изъ этого города, лѣто у меня всегда свободно; зиму буду служить здѣсь же и тогда, съ Божіей помощью, вы поступите на сцену.

Горячо, увлекательно говорилъ Горюновъ и, конечно, его слова не остались безъ слѣда—Нина согласилась учиться. Въ дѣлѣ образованія она оказалась такой же талантливой ученицей, какой была въ швейномъ искусствѣ, и быстро подвигалась на пути къ развитію.

Подъ руководствомъ такого умнаго учителя, какимъ былъ Горюновъ, съ увлеченіемъ объяснявшій ей мудренныя вещи, она скоро ихъ усваивала.

Между тѣмъ случилось то, чему и должно было случиться.

Горюновъ, знаяшій любовь только на сценѣ, въ водевиляхъ, и, со всѣмъ новымъ поколѣніемъ своихъ сверстниковъ, не очень охотно вѣрившій въ это чувство, незамѣтно увлекся красивой ученицей, чему не мало способствовало постоянное общеніе, разговоры наединѣ, и, со всею страстностью молодой натуры, полюбилъ дѣвушку.

Нина отвѣчала взаимностью, но она вообще умѣла сдерживать порывы своихъ чувствъ и на страстные ласки хладнокровно отвѣчала:

— Поѣдемъ отсюда, Александръ (они уже звали другъ друга однимъ именемъ),— я не хочу оставаться болѣе въ Семишатровскѣ, чтобъ не сдѣлаться предметомъ насмѣшекъ моихъ подругъ и знакомыхъ, и безъ того уже меня попрекають тобой.

Горюновъ и самъ видѣлъ, что въ Семишатровскѣ, гдѣ каждый шагъ, каждый поступокъ, выходящій изъ рамокъ обыденной жизни, дѣлается достояніемъ всего города и обсуждается вкривь и вкосъ,—продолжать жить нельзя, по крайней мѣрѣ, безъ печальныхъ послѣдствій для репутаціи Нины, и онъ, списавшись съ антрепренеромъ губернскаго города, вскорѣ уѣхалъ туда вмѣстѣ съ Ниной, рѣшившейся наконецъ оставить магазинъ, гдѣ такъ безмятежно протекала ея „будничная“ жизнь.

V.

Есть пословица, гласящая, что „ошибки другихъ не дѣлають насъ умнѣе.“ Эта пословица, какъ и большинство ихъ, выработанныхъ житейскою мудростью—слишкомъ справедлива.

Если бы кто годъ назадъ сказалъ Горюнову, что онъ полюбитъ простую необразованную швею, онъ искренно бы расхохотался тому въ лицо.

— Любовь, братецъ мой,—сказалъ бы онъ—ерунда, да, признаться, я такого чувства и не допускаю. Что мы испанцы, что ли? Это тамъ, въ Андалузїи гдѣ-нибудь, можетъ, и находятся субъекты, способные „съ гитарой подъ плащемъ“ распѣвать по цѣлымъ ночамъ серенады у балконовъ своихъ красавицъ, а мы, сѣверяне, бѣлые медвѣди, лапландцы, мы не доросли до этого. Есть, правда, разновидности любви и на Руси, но это скорѣе облаченіе въ то-

гу страсти, нежели истинное чувство. Дойдетъ человѣкъ до мрачной рѣшимости, что, молъ, „не могу безъ нея жить! застрѣлюсь?“ и носится съ этой идеей, какъ курица съ яйцомъ. А потомъ женится, не пройдетъ еще и медовый, или бѣдовый, какъ его тамъ не знаю,—мѣсяць и начинается уже знакомый дуэтъ; элементъ отрицательный поетъ: „Ты погубилъ меня, тиранъ!“—а элементъ положительный басовито отрицаетъ: „Врешь! это ты меня сгубила“ Да, вѣдь, еще что курьезнѣе всего, такъ это то, что нѣжные супруги никогда не дойдутъ до разумнаго рѣшенія—разойтись, а продолжаютъ жить въ ими же созданномъ аду.

— Погодите, вотъ сами полюбите, тогда и посмотримъ!—говорили ему.

— Нѣтъ, ужъ избавьте! Такой глуposti я не сдѣлаю. „Скорѣе отрублю указательный палецъ правой руки, чѣмъ увижу на немъ обручальное кольцо“,—заканчивалъ Горюновъ фразой Делакторскаго изъ „Испорченной жизни“.

Разсуждая такимъ образомъ, Горюновъ, пожалуй, былъ вполне искрененъ, но... недаромъ поется въ какой-то народной пѣснѣ:

„Что на свѣтѣ прежистоко?

Прежистока есть любовь“...

Не прошло еще и полгода, какъ Горюновъ понялъ, что онъ попался въ тенета, и что всякое проявленіе желанія вырваться изъ нихъ, только сильнѣе оуутываетъ его.

Охлажденіе началось, какъ и всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, незамѣтно: Горюновъ привыкъ къ свободѣ, а на его свободу посягали.

Съ раннихъ лѣтъ, еще живя въ Сибири, онъ не признавалъ надъ собой никакой узды и пользовался абсолютной свободой,—го пропадалъ по цѣлымъ днямъ на охотѣ, то самовольно не ходилъ по нѣскольку дней въ гимназію; родители его слишкомъ баловали, чтобъ запрещать эти невинныя развлеченія. И чѣмъ далѣе, тѣмъ больше проявлялась въ немъ деспотическая воля:

— Не хочу, папа, ѣхать въ университетъ, на сцену хочу поступить!—безъапелляціонно заявилъ онъ, и отецъ не препятствовалъ этому.—„Пусть малый поблажить, въ томъ грѣха нѣту,“—рѣшилъ старикъ и отпустилъ сына на всѣ четыре стороны.

Тѣмъ тяжелѣе было Горюнову чувствовать, что хорошенькія ручки Нины начинаютъ крѣпко сдерживать возжи, надѣтыя имъ на себя добровольно.

— Ты, Шура, не ходи сегодня никуда; посидимъ дома,—заявляла она, лаская его кудрявую шевелюру; заявляла, правда, мягко, но Горюновъ чувствовалъ, что, послушайся онъ и,—выйдетъ сцена: Нина расплачется, надуетъ губки и дня два не скажетъ съ нимъ ни слова. У нея, къ тому же, была одна скверная, чисто мѣщанская, привычка—это упреки.

— Я для тебя всеѣмъ пожертвовала, а ты не хочешь даже посидѣть со мной вечеръ!—ныла она.

Этого Горюновъ не могъ вынести, чувствуя, что Нина дѣйствительно для него пожертвовала (чѣмъ, онъ и самъ не зналъ, такъ какъ каждую минуту готовъ былъ на ней жениться) и онъ исполнялъ ея волю—оставался дома и этимъ окончательно поработилъ себя.

Для счастливой супружеской жизни нужно слишкомъ много условій и главнѣйшее изъ нихъ, несомнѣнно, заключается во взаимномъ уваженіи. Впрочемъ, эти качества такъ тонки, такъ невидимы, что формулировать ихъ нельзя. Вѣриѣе всего, что „мужемъ и женой“ надо родиться; выработать же эти невидимыя, связующія нити невозможно. Ихъ нельзя пріобрѣсти никакими усиліями ума и воли. Нельзя, да и basta.

VI.

Въ одинъ изъ ясныхъ іюньскихъ вечеровъ, въ бесѣдкѣ изъ акацій, въ глубинѣ обширнаго сада, прилегаваго къ вокзалу—скихъ минеральныхъ водъ, собралось общество, состоявшее изъ нѣсколькихъ дамъ и мужчинъ—артистовъ мѣстной труппы.

— Я должна сознаться,—говорила пожилая, дебелая примадонна,—что поведеніе Горюновой болѣе чѣмъ странно; эти капризы, эти поѣздки ея съ княземъ въ монастырь, право, наводятъ на размышленія; и неужели Александръ Георгіевичъ не замѣчаетъ такого явнаго кокетства!

— О, это ничего не значить! въ послѣднее время вошло въ моду. Наши эманципированныя дамы всюду являются не иначе, какъ въ сопровожденіи своихъ обожателей,—ехидно замѣтила ин-

женю, особа тоже не первой молодости, слышавшая въ труппѣ за „синій чулокъ“.

— Какая безнравственность!— томно начала было примадона, но тотчасъ же прикусила языкъ, такъ какъ въ эту минуту изъ за угла курзала показалась Нина подъ руку съ княземъ Гомбинскимъ, меценатомъ и покровителемъ искусства, вѣчно обрѣтавшимся за кулисами. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ плелся Горюновъ.

Подойдя къ бесѣдкѣ и приподнявъ цилиндръ, князь продолжалъ начатый разговоръ:

— Любовь, Нина Семеновна,—великій лозунгъ чловѣчества, синонимъ добра, пользы, истины...

— Все вздоръ!—нетерпѣливо перебила Нина,—это утопическія бредни идеалистовъ... любовь—погибель и вредъ; синонимъ зла и страданія на землѣ!..

Съ удивленіемъ слушалъ эти рѣчи Горюновъ, давно уже замѣчавшій, что его Нина перемѣнилась: во всемъ ея существѣ проглядывало какое-то болѣзненное раздраженіе и нетерпѣніе. Кромѣ того, его возмущало постоянное пребываніе ея въ обществѣ князи; Горюновъ хотя и значительно поостылъ въ своихъ чувствахъ, но жало ревности мучило его и онъ рѣшилъ сегодня же все узнать и поговорить съ Ниной откровенно, чего давно уже не существовало между ними.

Раздавшійся звонокъ, возвѣщавшій начало спектакля, прервалъ разговоры и все направилась въ вокзалъ. Видя Нину во время спектакля радостную и сіяющую, Горюновъ, казалось, начиналъ понимать, что роскошно шитое платье, масса блестящихъ украшеній, запахъ духовъ и комплименты многочисленныхъ поклонниковъ—составляютъ для нея обычную сферу.

„Въ такомъ случаѣ, намъ надо разстаться! Я чувствую себя совершенно неспособнымъ продолжать такую пустую жизнь“... думалъ онъ съ горечью.

Послѣ спектакля, когда Горюновъ, придя домой, спросилъ у Нины причину ея непостояннаго характера и раздраженія,—она злобно отвѣтила:

— По неволѣ станешь такой, когда я чувствую, что скоро буду матерью; согласишься, это не можетъ особенно радовать.

Горюновъ даже подпрыгнулъ отъ радости.

— Но почему же, милая Ниночка! Вѣдь, ты знаешь, что отъ одного твоего слова за висить, чтобъ я тотчасъ же сталъ твоимъ законнымъ мужемъ, и теперь я убѣдительно прошу у тебя этого согласія...

— Знаю это и безусловно тебѣ вѣрю, но... дѣти вообще роскошь, для артистовъ непозволительная и, кромѣ того, я и сама еще не жила, а тутъ вдругъ придется нянчиться и сохнуть!..

Нина стиснула свои хорошенькіе зубки и замолчала; на глазахъ ея блеснули слезы досады.

— Такъ вонъ оно что! а я то, глупый, думалъ, что въ словахъ этихъ сплетницъ есть доля правды и позволилъ себѣ заподозрить Нину, мою золотую, ненаглядную Нинку! О, я безмозглый! И какъ подобная, нелѣпая идея могла придти мнѣ въ голову... Теперь для меня понятны и капризы Нины, и ея раздраженіе! Вѣдь, она еще и сама ребенокъ, ей дѣйствительно хочется пожить, а тутъ... Впрочемъ, что-жъ такое! Малютка намъ ни сколько не помѣшаетъ: можно будетъ взять кормилицу, няньку... О, Господи! Какъ я радъ! я уже и теперь люблю ребенка! Съ какимъ восторгомъ буду нянчить этого милого крошку! Вотъ у меня и цѣль жизни... Навѣрно и Нина изменится.

Нина, однако, не раздѣляла радости Александра. Личико ея, попрежнему, было пасмурно, мрачныя думы образовали на лбу глубокую черту—признакъ сосредоточенности и озабоченности. Чѣмъ ближе наступало время родовъ, тѣмъ печальнѣе она становилась.

— Господи! хоть бы ужъ скорѣе!—плаксивно тревожилась Нина, злобно отстраняясь отъ ласкъ Александра Георгіевича. Но онъ теперь уже не сердился на такія вспышки и безпрекословно исполнялъ всѣ капризы нервничавшей Нины, утѣшая себя мыслью, что это все пройдетъ и для нихъ настанетъ долго-жданная счастливая жизнь.

Наконецъ, однажды вечеромъ, Нина со слезами сказала:

— Александръ, пошли ради Бога за докторомъ! Скорѣе!

Горюновъ самъ бомбой полетѣлъ за единственнымъ земскимъ врачомъ, котораго и притащилъ съ торжествомъ, отыскавъ гдѣ-то за преферансомъ.

Нина лежала въ постели и тихо плакала, безпрестанно вздрагивая: на блѣдномъ, покрытомъ красными кятнами лицѣ ея выжался страхъ...

Съ глубокой тоской ходилъ Горюновъ изъ одного угла гостиной въ другой, дрожа всѣмъ тѣломъ при каждомъ стонѣ Нины; тогда онъ вдругъ останавливался передъ иконой и страстно молился.

— Господи, спаси, пощади!..—И вновь прислушивался къ дикимъ воплямъ и неяснымъ рѣчамъ, доносившимся изъ спальни.

Къ утру больная разрѣшилась здоровенькой дѣвочкой. Горюновъ, не смотря на запрещеніе врача, ворвался въ спальню, съ крикомъ бросился къ кровати и безумно началъ цѣловать и Нину, и крохотное, маленькое существо, лежавшее подлѣ нея, такъ что докторъ вынужденъ былъ почти силой увести его, не безъ основанія опасаясь за больную.

Выздоровленіе Нины пошло быстро. Дней черезъ десять она ходила уже довольно бодро, и трудно было узнать теперь въ полной, красивой апатичной дамѣ прежнюю дѣвушку-швею. Да и не по одному внѣшнему виду измѣнилась Нина. Горюновъ положительно не могъ понять, что съ ней дѣлается; онъ думалъ, что ребенокъ пробудить въ ней инстинктъ матери, мечталъ — какъ они будутъ ухаживать за малюткой, займутся его воспитаніемъ, — а на дѣлѣ выходило не то. Нина по цѣлымъ часамъ сидѣла за книжкой и рѣшительно заявила, что она не чувствуетъ себя на столько здоровой, чтобъ кормить самой и потребовала для ребенка кормилицу, а затѣмъ почти и вовсе передала его на руки чужихъ. Горюновъ возмущался, но на всѣ приводимые имъ доводы Нина съ убійственнымъ равнодушіемъ отвѣчала, что она не здорова, что ей некогда и проч. въ этомъ же родѣ.

— Нина, Ниночка! да подойди же ты сюда, посмотри, — Оля какъ-то особенно плачетъ... да ты куда? — спросилъ Александръ, видя, что Нина взяла шляпку.

— Господи, точно безъ меня не могутъ унять ребенка! Миѣ необходимо ѣхать!

— Нина! да побойся ты Бога! Оля съ утра плачетъ, можетъ, больна, а ты хочешь куда-то ѣхать...

Такъ шла жизнь Горюновыхъ; а между тѣмъ случилось и еще горе.

Родители Александра, люди ветхозавѣтнаго закала, вовсе не раздѣляли восторговъ сына и не хотѣли слышать о его женитьбѣ на „актеркѣ“. Отецъ написалъ ему грозное письмо, видя, что такъ пожалуй, чего добраго, сынъ совсѣмъ отъ рукъ отобьется; звалъ его немедленно домой и заканчивалъ посланіе слѣдующими словами:

„А что касательно молоденца, то мы съ матерью эту шалость тебѣ прощаемъ; изъ посылаемыхъ денегъ выдай своей сударкѣ триста цѣлковыхъ и скажи, что и впредь забыта она не будетъ. Самъ пріѣзжай скорѣе; довольно пошалилъ, пора и за умъ взяться. Займешься дома дѣломъ—жалованьемъ не обижу, а ежели ты словъ моихъ не послушаешь и вздумаешь на своей жениться, то мы и эфтому не препятствуемъ, только тогда забудь, что у тебя есть родители. Словъ своихъ, самъ знаешь, я попусту не бросаю, — что сказалъ, тому и быть“...

Горюновъ хорошо зналъ упрямство старика, но онъ и самъ былъ такой же. На полученное письмо чрезвычайно обидѣлся, вскипѣлъ и даже хотѣлъ тотчасъ же возвратитъ присланные 500 рублей. Однако, Нина отнеслась болѣе практически: деньги прибрала къ себѣ и Александръ ограничился тѣмъ, что написалъ весьма рѣзкое письмо и заявилъ, что угрозъ не боится и женится на Нинѣ Семеновнѣ, будучи къ тому обязанъ долгомъ честнаго человѣка...

Вскорѣ они дѣйствительно повѣнчались и вотъ началась бродячая, полная лишеній, актерская жизнь. Изъ одного конца Россіи они перекочевывали въ другой: изъ Астрахани въ Архангельскъ, изъ Архангельска въ Тифлисъ и т. п., испытывая при этомъ все то чѣмъ такъ щедро награждаетъ судьба русскаго провинціального актера, да еще женатаго, и при этомъ съ малюткой.

Ни самъ Горюновъ, ни жена его особенной практичностью

не отличались; если у нихъ иногда и случались болѣе или менѣе крупныя деньги, то они тотчасъ же безразсудно ихъ ухлопывали, отнюдь не думая о томъ черномъ днѣ, который, какъ Дамокловъ мечъ, виситъ надъ головой актерствующей братіи. Само собою разумѣется, отъ такой непрактичности и легкомысленности, супругамъ подчасъ приходилось слишкомъ плохо, но это бы все ничего,—бѣда въ томъ, что Горюновъ запыль.

Нина своимъ сумасброднымъ характеромъ отравляла его жизнь, устраивая ему на дню по нѣскольку сценъ; если же онъ бѣжалъ, чтобъ забыться отъ этого ада гдѣ-нибудь на сторонѣ, она плакала, упрекала его и никакъ не могла понять, что сама же является причиной его бѣгства...

Такъ прошло два года.

Легко пишется подобная фраза; но если бы разобрать шагъ за шагомъ жизнь Горюновыхъ за это время, то много бы потребовалось исписать бумаги, чтобы хотя въ слабой степени изобразить ту трагикомедію, которую устроили себѣ супруги. Впрочемъ, мелочныя уколы, семейныя дразги, упреки съ одной стороны, и скрежетъ зубовой съ другой—все это, къ несчастію, составляетъ такую неотъемлемую принадлежность большинства браковъ, что нѣтъ особой надобности рассказывать то, что и безъ того каждому понятно. Итакъ, прошло два года. Стояла глубокая осень. Не снѣгъ, не дождь, а какая-то водянистая мразь валилась съ выси небесной на головы Семишатровскихъ жителей. Ругался людъ, выгнанный нуждой съ логовища, подчасъ нагрѣтаго не дровишками, а собственнымъ тѣломъ. Только „Вапки“, тянувшіеся къ вокзалу желѣзной дороги, весело поглядывали по сторонамъ, выжидая сѣдока, съ котораго уже запрашивали вдвое.

Было пять часовъ вечера. На дебаркадерѣ, въ ожиданіи поѣзда, тамъ и сямъ сидѣла разношерстная публика, кругомъ заваленная различнымъ сѣрымъ скарбомъ; та публика, которая вѣчно куда-то и зачѣмъ-то ѣдетъ, ища, должно быть, гдѣ лучше.

Изъ представителей власти одиноко шагаль по платформѣ, кутаясь въ сѣрую свою аммуницію, полусонный „жандаръ“, да буфетчикъ, поглядывая на часы, радостно ухмылялся въ бороду, и потиралъ свои пухлыя, красныя руки, разчитывая приблизительно,

сколько за сегодняшній день перепадеть лишнихъ пятаконъ въ его кошну.

Въ холодномъ воздухѣ уныло продребезжалъ небольшой колоколъ, возвѣщая, что поѣздъ вышелъ съ послѣдней станціи. Немногочисленные пассажиры потянулись къ кассѣ брать билеты; все зашевелилось.

Черезъ нѣсколько минутъ вдали показался густой черный дымъ, разстилавшійся по обѣ стороны полотна дороги; красный фонарь, какъ глазъ циклона, быстро надвигался, таща за собою вагоны, глухо гремявшіе колесами. Медленно подползъ поѣздъ, раздался свистокъ, а вслѣдъ за нимъ еще разъ звонъ колокола... Началась суматоха, безъ которой рѣшительно никогда не обходятся въ подобныхъ случаяхъ; пассажиры лѣзли въ вагоны, встрѣчали выходящихъ оттуда съ узлами, подушками, чемоданами и т. п. дорожными принадлежностями, сталкивались и переругивались.

Изъ II класса вышелъ Горюновъ, тоже навьюченный, какъ верблюды, различными тюками, кардонками и коробками, а за нимъ рядомъ выступала и Нина Семеновна, ведя за руку прелестную дѣвочку. Модная ротонда и шикарнаа, въ десятину величины, шляпка доказывали, что въ настоящую минуту матеріальныя дѣла супруговъ были недурны.

Нина брезгливо осмотрѣлась и недовольнымъ голосомъ замѣтила:—Александръ! что же ты остановился! возьми скорѣе лошадь, поѣдемъ—я ужасно измучилась.

Черезъ полчаса они были уже въ гостиницѣ Адлера, попрежнему благополучно процвѣтавшей, и заняли довольно приличный номеръ.

Вскорѣ не замедлилъ обнаружиться самый невообразимый хаосъ: посреди номера стоялъ раскрытый чемоданъ, на столахъ и стульяхъ очутились кардонки, мѣшечки и разнаго рода и величины узелки; на окнѣ свирѣпо шумѣлъ самоваръ; Оля что-то капризничала и плакала.

— Александръ! да уйми же ты ее! О, Господи! вотъ противная дѣвченка!—плаксиво воскликнула Нина.

Горюновъ пожалъ плечами и возразилъ:

— Нина, ты бы занялась сама ребенкомъ, очевидно, дѣвочка не совсѣмъ здорова съ дороги...

— Вотъ еще выдумалъ,—сказала безпечная мать,—у меня едва хватаетъ силы и самой-то одѣться и прибраться...

По лицу Александра было видно, что его глубоко оскорбило и огорчило безсердечное разсужденіе жены, онъ взялъ на руки Олю и сталъ дѣловать ее, чтобы скрыть свое волненіе.

Въ Семипалатровскѣ было такое одуряющее однообразіе жизни, что каждое событіе, разъ оно выходило изъ скучно-монотоннаго уровня, тотчасъ-же разносилось по городу съ быстротою телеграфа, при чемъ электрическая проволока и аппараты послѣдняго съ успѣхомъ замѣнялись языкомъ особыхъ специалистовъ, которыхъ сатирической Валтатисъ не безъ ехидства прозвалъ „*Семипалатровскимъ Вѣстникомъ*“.

Черезъ полчаса уже весь городъ зналъ о пріѣздѣ новой труппы, такъ что когда Горюновъ, успокоивъ, наконецъ, дочку, сошелъ внизъ и появился въ билліардной, то на первомъ-же шагу встрѣтилъ много знакомыхъ лицъ и, между прочимъ, стараго друга и пріятели—пропорщика Валтатиса, впрочемъ, уже безъ надлежащей формы. Въ два года не мало пронеслось бѣды надъ побѣдной головой сего сына Марса; онъ уже не былъ болѣе прапорщикомъ, а числился „въ запасѣ арміи“ и служилъ письмоводителемъ у мѣстнаго нотаріуса. Безжалостное время, а равно и „предметъ первой необходимости“, оставили на немъ свои неизгладимые слѣды.

— Шурка, здорово!—рявкнулъ Валтатисъ, ощущая живѣйшую радость при видѣ пріятели.—Надолго-ли въ наши палестины?

— Вѣроятно, пробудемъ всю зиму. Ну, что хорошаго?

— Хорошаго, братъ, много, только, вѣдь, не здѣсь-же я буду передавать тебѣ новости, пойдемъ вонъ туда,—Валтатисъ показалъ на маленькую комнатку.—Ты что, употребляешь нынѣ всероссійскую?

— Грѣшнымъ дѣломъ—испиваю.

— Ну, вотъ и отлично! эй, услужающій!—обратился

онъ къ половому,—дай-ка намъ графинъ очищенной, да гарнируй его, братецъ ты мой, закуской, приличной нашему званію, поняль?

Половой утвердительно тряхнулъ кудрями и исчезъ по направлению къ буфету.

Сдѣлавъ такое распоряженіе, Валтатись прищелкнулъ языкомъ, при чемъ у него задергало лѣвый глазъ, готовый уже открыться неугомонной вѣшкой, которая всегда опускалась сама собой, едва обладатель ея помышлялъ о выпивкѣ.

Вскорѣ пріятели сидѣли за столомъ и вели самую оживленную бесѣду.

— Ты это что же вздумалъ промѣнять шпагу на перо?— освѣдомился Горюновъ.

— Да такъ, знаешь... разныя обстоятельства... впрочемъ, обо мнѣ послѣ; расскажи лучше про себя: что? какъ? зачѣмъ? почему? и отчего? Счастливъ? Дѣтки есть?

Горюновъ, прежде чѣмъ отвѣтить на такую массу вопросовъ, налилъ рюмку водки, посмотрѣлъ ее на свѣтъ и выпилъ залпомъ, приглашая къ тому же жестомъ и Валтатиса.

— Если бъ два года тому назадъ я зналъ, что буду тѣмъ, чѣмъ я есть въ настоящее время, то даю тебѣ честное слово, я тогда же бы засадилъ себѣ въ лобъ пулю! Какое ужъ тутъ счастье! Тоже хотѣлъ что-то сдѣлать, ближняго своего спасти; вотъ тѣ и спасъ,—съ горечью проговорилъ Горюновъ и опустилъ голову на руки, опершись локтями о столъ.

Съ изумленіемъ посмотрѣлъ на него Валтатись и спросилъ:

— Что же она? не любить тебя, развѣ?

Горюновъ помолчалъ, выпилъ еще рюмку и началъ рассказывать все, что накопилось у него въ эти годы.

— Говорилъ я тебѣ тогда, Александръ: пустое затѣваешь, ну, вотъ и вышло по моему.

— Ахъ, Боже мой, да кто же это могъ предвидѣть! Нина была такая милая, такая хорошая. Не думалъ же я, что она окажется дурной матерью и вообще такъ измѣнится!

— Н—да! женитьба, братъ, вообще вещь обоюдоострая, а когда еще появятся дѣти, то ужъ тутъ дѣло совѣмъ скверно.

— Ребенокъ-то и является главнымъ звеномъ; еслибъ не это, мы бы разошлись—и дѣлу конецъ. А то, пойми ты, вѣдь, она терзаетъ меня, разрываетъ на части мое сердце; я не могу безъ слезъ смотрѣть на бѣдную дѣвочку! Боже ты мой, чѣмъ только все это кончится?—воскликнулъ Горюновъ съ такой глубокой тоской, что Валтатису сдѣлалось отъ души его жаль. Долго еще жаловался Горюновъ на свою судьбу. Слишкомъ ужъ хотѣлось ему вылить всю горечь передъ старымъ пріятелемъ.

Между тѣмъ за графиномъ послѣдовалъ другой, тамъ еще, и еще...

Часа черезъ два Горюновъ былъ уже совершенно пьянъ и ревѣлъ на всю гостиницу:

— Несчастный я человекъ! сгубилъ свою молодость! сгубилъ карьеру! Просвѣтить хотѣлъ, развить! ха-ха-ха! А впрочемъ... напловать! Рѣжу желтаго въ уголь... Аррръ!—закричалъ онъ, ставши въ драматическую позу и, перекосясь всѣмъ туловищемъ, сталъ цѣлить въ шара.

Только на утро вернулся Горюновъ на верхъ, въ свой номеръ. Нина уже не спала и готовила мужу одну изъ тѣхъ сценъ, которыми была такъ полна ихъ жизнь.

— А, наконецъ-то вы пришли, и въ такомъ видѣ!...—зашипѣла она, встрѣтивъ Александра,—этого еще только недоставало! Жена не спи ночь, водись съ ребенкомъ, а мужъ изволить пьянствовать. Безсовѣстный, тиранъ, извергъ! Бездушный человекъ...—и пошла, и пошла.

Долго молчалъ Горюновъ, но наконецъ вышелъ изъ терѣнія и запальчиво возразилъ:

— Замолчите! я изъ-за васъ пью! Вы довели меня до этого своимъ сквернымъ характеромъ. Вы никогда не любили меня, тогда какъ я...

— Не правда! я любила васъ, любила такъ какъ можетъ любить бѣдная, необразованная дѣвушка красиваго мужчину! Но вы не забудьте, что я *тогда* была наивной, ничего не понимавшей, не видѣвшей свѣта дѣвченкой! Оставьте вы меня такой же, и, безъ всякаго сомнѣнія, пеленки составили бы для меня поэзію

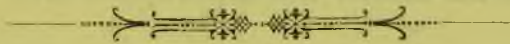
я была бы и хорошей женой, и хорошей матерью—для этихъ качествъ совѣмъ не нужно большаго образованія; но вы хотѣли, чтобы жена ваша была еще кромѣ того и высокообразована, вы стали наводить на нее лоскъ и въ результатѣ чего же достигли? Вы лишь открыли мнѣ глаза и я поняла, что для васъ, мужчинъ, мы являемся обожаемыми только въ періодъ любовной лихорадки, но лишь наступитъ охлажденіе, вы дѣлаете изъ насъ рабынь, кухарокъ, нянекъ, обязанныхъ ежеминутно заботиться о вашемъ спокойствіи и благополучіи, получая взамѣнъ снисходительную ласку, да, время отъ времени, обновку въ видѣ грошеваго платья. Вы, пропитанные феодальными принципами, смотрите на насъ всегда, за исключеніемъ немногихъ минутъ, какъ на ненужную принадлежность! О, остается васъ глубоко презирать, и я призираю! Призираю за то, что вы мужчина; мнѣ противна самая мысль о подчиненіи вамъ; я испытываю чувство отвращенія, которое поднимается во мнѣ при вашихъ ласкахъ...

Безмолвно слушалъ ее Горюновъ и больно сдѣлалось у него на сердцѣ.

— Господи, да что жъ это за женщина! гдѣ она почерпнула такія идеи?—думалъ онъ, а неотступная мысль—я погубилъ себя—буравила его мозгъ...

Въ окна глянуло скверное, осеннее сѣрое утро; мелкій дождь, сѣногной, частой дробью сыпалъ въ стекла рамы и съ болью отзывался въ душѣ Александра.—Задуть ее развѣ?—мелькнуло въ его головѣ и онъ съ горечью улынулся.

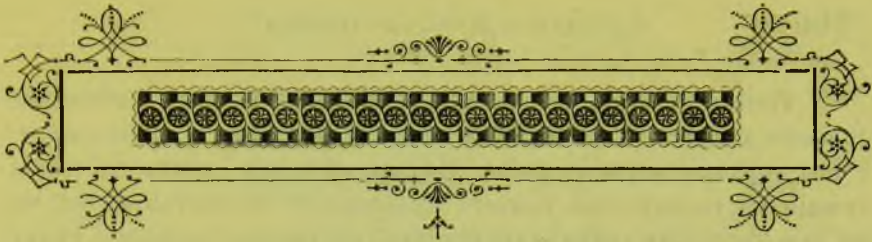
Оля проснулась и заплакала...



„ЗАБЫТЫЙ САДЪ“.

Я люблю этотъ старый, запущенный садъ,
Полный сладостныхъ сновъ и суровой красы...
По ночамъ онъ туманомъ волнистымъ объять
И украшенъ брильянтами свѣтлой росы...
Я хожу вечеркомъ по аллеямъ густымъ
И впиваю дыханье лазурной весны, —
Я, бесѣдуя тайно съ минувшимъ былымъ,
Вижу грезы свои, пролетѣвшіе сны...
Тамъ у склона, гдѣ ирудь чуть блистаетъ средь тьмы,
Гдѣ зеленымъ шатромъ разрослася сирень,
Проводили съ ней ночи такъ радостно мы
И встрѣчали зарю и ликующій день...
Тѣ минуты прошли, не вернуть мнѣ ихъ вновь,
Тѣ забыты мечты и истерзана грудь,
Не волнуетъ ужъ сердце былая любовь;
Впереди только мгла да безрадостный путь.
Почему-жъ я люблю группы сонныхъ ракичь,
Это мѣсто любви, этотъ сумракъ ночей?..
Здѣсь вся радость моя, юность свѣтлая спить,
Вродитъ тихо любовь среди мрака аллей.
Оттого-то и я прихожу вечеркомъ
Подъ зеленый шатеръ, подъ густую сирень,
Вспоминая въ тиши о минувшемъ быломъ
И встрѣчая любви невозвратную тѣнь!

Василій Миляевъ.



ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЯДЯ.

РАЗСКАЗЪ КРЕМЕРА.

(Съ голландскаго).

Перев. Л. А. Мурахиной.

Г.

Благородная чета путешествуетъ.

Позвольте, благосклонный читатель, представить вамъ господина и госпожу фонъ-Миддельнесовъ.

Господинъ фонъ-Миддельнесъ средняго роста, худощавый съ очень изящными манерами. Волосы и небольшая бородка тщательно завиты и руки аристократически бѣлы. На улицѣ, впрочемъ, господинъ фонъ-Миддельнесъ всегда носитъ цвѣтныя лайковыя перчатки. Онъ занимаетъ прекрасный постъ въ министерствѣ финансовъ. Кромѣ того онъ обладаетъ еще и порядочною движимою собственностью, играетъ на биржѣ... Да... Гмъ!... А со стороны его супруги!... Ну, конечно, тоже очень хорошо, что, впрочемъ, — далѣе будетъ видно.

Не правда-ли, въ Гаагѣ живетъ отлично? О, да, въ особенности вблизи роци! Лѣтомъ тамъ удивительно какъ хорошо. Впрочемъ, есть и садикъ при домѣ, такъ что было бы недурно и безъ роци... Вообще, прелесть что такое!

Госпожа фонъ-Миддельнесъ, урожденная Сильверъ, очень миленькая дамочка. Хотя она ростомъ меньше своего супруга, но видъ у нея гораздо внушительнѣе. Въ своемъ кругу—кругъ это тонкій, лучшій въ городѣ—она слыветь красавицей, не смотря на то, что въ теченіе своего двѣнадцатилѣтняго супружества подарила супругу шесть прелестныхъ Миддельнесиковъ: трехъ мальчиковъ и трехъ дѣвчурочекъ.

Господа фонъ-Миддельнесы отправляются путешествовать. Это случается еще въ первый разъ со времени ихъ супружества. До сихъ поръ госпожа фонъ-Миддельнесъ не рѣшалась оставить малютокъ, но теперь, убѣдившись въ полнѣйшей добросовѣстности своей гувернантки и прочаго служебнаго персонала, она оставляетъ на ея попеченіи трехъ старшихъ дѣточекъ, а трехъ младшихъ поручила заботливости нѣжной бабушки, живущей на Принценграхтѣ, въ собственномъ домѣ.

Супруги намѣреваются посѣтить Клеве, Кельнъ, побывать на Драхенфельсѣ и возвратиться домой черезъ Гельдерландію.

Господа фонъ-Миддельнесы уже усѣлись въ карету, дверь которой осторожно затворяется лакеемъ. Двое изъ дѣтей плачутъ оттого, что ихъ не берутъ съ собою; плачетъ и барыня, глядя на нихъ, плачетъ еще и тогда, когда уже давно не видать ихъ.

Лакей возвращается вмѣстѣ съ служанками въ кухню, щиплетъ толстую Лотту въ руку, при чемъ она оретъ: „Ахъ, ты долговязый болванъ!“ Чмокаетъ въ затылокъ „сахарную куколку“—Линхенъ, которая пищитъ: „фи, какъ это гадко!“ Всканиваетъ на скамейку и кричитъ басомъ:

— Ну, дѣточки, теперь мы господа! Сегодня вечеромъ что бы были блины, слышите?

— Будутъ блины, будутъ,—отвѣчаетъ Лотта.—Не безпокойтесь: буду кормить всѣхъ на убой.

Лакей соскакиваетъ на полъ, схватываетъ Линхенъ и опять чмокаетъ ее, на что она визжитъ: „Да отстанешь—ли ты, негодный?“

Не бойтесь, дорогіе читатели: хуже этого въ кухнѣ ничего не произойдетъ за все время отсутствія господъ. Дальше этого не пойдетъ баловство слугъ, почувствовавшихъ себя на свободѣ.

Господа фонъ-Миддельнесы ощущаютъ высокое наслажденіе

во время своего путешествія. Оба они такъ чувствительны къ красота́мъ природы! И кака́я свобода въ доро́гѣ! Дѣти ежедневно изи́щцаются о томъ, что все благополучно... Клеве, Кельвъ—о какъ хорошо! дивно хорошо!

Однако, мы вовсе не намѣрены слѣдить шагъ за шагомъ за господами фонъ-Миддельнесами. Упомянемъ только, что во время подъема на Драхенфельсъ господинъ фонъ-Миддельнесъ изволилъ замѣтить:

— Удивительно, какъ мало стѣсняешься въ путешествіи: я вотъ сегодня даже не надѣлъ перчатокъ!

Пароходъ, на которомъ наши туристы возвращаются въ Нидерланды, приближается къ столицѣ Гельдерланда.

Господа фонъ-Миддельнесы сидятъ на палубѣ подъ шатромъ и пьютъ, въ семь часовъ утра, вмѣсто чая, кофе, какъ дѣлаютъ всѣ порядочные нѣмцы, на которыхъ они насмотрѣлись недавно.

— Гдѣ же находится это Б.?—спрашиваетъ господинъ фонъ-Миддельнесъ съ такимъ выраженіемъ, точно предъ его духовными очами развернута вся карта Нидерландскаго королевства.

— Б. находится по доро́гѣ въ Нимвегенъ, въ Бетювіи,*)—отвѣчаетъ супруга.—Оно немножко въ сторонѣ. Мы можемъ нанять экипажъ... Ахъ, какъ бы ты обрадоваль ихъ!... Папа очень любилъ дядю, хотя онъ приходился ему не роднымъ братомъ, а только двоюроднымъ, и всегда относился къ нему съ уваженіемъ, не смотря на то, что былъ старше его на много лѣтъ.

— Такъ онъ тебѣ не близкая родня?

— Нѣтъ... то есть, онъ доводится мнѣ, такимъ образомъ, троюроднымъ дядей.

— Ты, кажется, говорила, что у него колоніальная торговля!

— Да, но только въ очень широкихъ размѣрахъ; при томъ же у него много земли и скота... Торгуетъ также сыромъ и масломъ, Мама всегда получала отъ него масло, даже въ то время, когда отца перевели въ Утрехтъ.

*) Бетювія (bat ouwe—добрая равнина) Плодоносная равнина въ южной сторонѣ провинціи Гельдерландъ; сѣверная же, песчаная часть этой провинціи называется Велюіей (wale ouwe—дурная равнина). *Прим. переводчицы.*

— Ну, да по мнѣ это все равно,—замѣчаетъ супругъ.—Но,—продолжаетъ онъ, граціозно прихлебывая кофе,—ты раньше и не говорила мнѣ, что этотъ дядя Іансенъ торгуешь.

Супруга немного краснѣетъ и лепечетъ:

— Дѣйствительно, я объ этомъ мало распространялась... Но, душечка, присылаемые имъ зайцы и рябчики всегда очень нравились тебѣ... Онъ дѣйствительно добрый и превосходный человѣкъ!... А Б... видишь-ли, я родилась въ этомъ мѣстечкѣ... Это былъ первый приходъ папы и я... да видишь-ли, у меня осталась какая, то дѣтская привязанность къ этому мѣсту...

Тутъ же, на пароходѣ, было рѣшено посѣтить дядю Іансена, предварительно ознакомившись съ Арнгеймомъ и его „прекрасными“ окрестностями. Вслѣдъ затѣмъ господинъ фонъ-Миддельнесъ написалъ слѣдующаго содержанія письмо, которое намѣревался опустить въ ночтовый ящикъ тотчасъ же по прибытіи въ Арнгеймъ „Уважаемый дядюшка!

Такъ какъ мы находимся здѣсь проездомъ, возвращаясь послѣ заграничной поѣздки домой, то мы ждали посѣтить васъ и вашу уважаемую семью. Если это будетъ вамъ удобно, то мы надѣемся прибыть къ вамъ въ четвергъ на этой недѣлѣ. Но только просимъ васъ не дѣлать себѣ изъ-за насъ лишнихъ хлопотъ и безпокойствъ. Мы любимъ, чтобы все было sans gêne.

Надѣясь не быть вамъ въ тягость, остаюсь съ искреннимъ привѣтомъ и глубокимъ уваженіемъ,

вашъ преданный племянникъ и слуга

Ц. фонъ-Миддельнесъ

Арнгеймъ, Отель ле-Солейло

Понедѣльникъ“.

Возвратившись на слѣдующій день съ прогулки въ гостиницу, супруги получили изъ рукъ швейцара вмѣстѣ съ ключемъ отъ номера отвѣтъ слѣдующаго рода:

„Уважаемый племянникъ!

Я и семья моя крайне обрадованы предстоящею намъ честью видѣть васъ и вашу достоуважаемую супругу у себя. Четвергъ выбранъ вами очень удачно, такъ какъ по пятницамъ я всегда отправляюсь въ Арнгеймъ на базаръ, и Анна-Лиза, тоже очень

довольна вашимъ прїѣздомъ, потому что у насъ какъ разъ завелся прекрасный свѣжій окорокъ, а что касается разныхъ тонкостей, то мы къ нимъ, знаете-ли, вовсе непривычны.

Свидѣтельствуя свое почтеніе, такъ же какъ и Анна-Лиза госпожѣ племянницѣ, остаюсь вашимъ доброжелательнымъ дидей
Г. Иансенъ съ женою.

Б. 8 іюля 189...

Р. S. Сиѣшу“.

Когда господинъ фонъ-Миддельнесъ прочелъ письмо черезъ плечо жены, послѣдняя случайно увидала въ зеркалѣ, что онъ насмѣшливо улыбается, почему она ласково замѣтила:

— Видишь: „сиѣшу“, но все-таки очень милое письмо. Почеркъ тотъ-же самый, которымъ онъ надписывалъ намъ посылки съ зайцами и рябчиками.

Г Г.

У д я д и.

Миновавъ прекрасную дамбу, которая ведетъ изъ Арнгейма въ Нимвегенъ, хорошенькій наемный экипажъ свернулъ на не менѣе прекрасную проселочную дорогу, по которой и доставилъ нашихъ путешественниковъ въ мѣстечко Б. При самомъ въѣздѣ туда экипажъ былъ встрѣченъ толпою мальчиковъ, направлявшихся въ школу на послѣобѣденныя занятія. На вопросъ кучера: „Гдѣ тутъ живетъ господинъ Иансенъ?“—маленькіе ротозѣи только отвѣтили смѣхомъ, свистомъ, тумаками другъ другу въ бокъ и всакиваньемъ одного на спину другого. На повторенный же вопросъ—одинъ изъ нихъ наконецъ соизволилъ свизойти до того, что ткнулъ пальцемъ въ пространство и крикнулъ во все „горло:“ „Тамъ вотъ, за домомъ Никель Петерса!“

Не смотря на неясность этого указанія, коляска все-таки благополучно добралась до жилища колониальнаго торговца, скотовода и мѣстнаго старосты Иансена. Увидавъ подъѣхавшій экипажъ, онъ самъ—коренастый, пожилой съ круглымъ румянымъ лицомъ—вышелъ, вѣжливо приподнялъ шапку, отворилъ дверцу экипажа и помогъ прибывшимъ сойти на землю.

— Добро пожаловать, любезные родственники! Прекрасная погода!—проговорилъ онъ.. А ты,—братецъ, продолжалъ онъ, обра-

паясь къ кучеру, — вѣзжай въ ворота, тамъ увидишь сарай. Тамъ же на сѣновалѣ превосходный клеверъ — покормишь лошадокъ.

Нѣкоторые изъ мальчишекъ, побѣжавшіе вслѣдъ за экипажемъ, чтобы полюбоваться на „важныхъ господъ“, когда они будутъ выходить, вбѣжали во дворъ, желая распросить кучера объ интересовавшихъ ихъ подробностяхъ.

Благородные гости между тѣмъ уже усѣлись въ парадной комнатѣ своихъ родственниковъ. Комната эта убрана очень недурно для деревни, что крайне радуеть госпожу фонъ-Миддельнесъ; господинъ же фонъ-Миддельнесъ находитъ, что тутъ все выглядитъ уже черезчуръ по-мѣщански. Хозяйка, тетя Іансенъ, раздѣтая по этому торжественному случаю во все самое лучшее, что только у нея имѣлось, вся такъ и горитъ отъ восторга, вызваннаго въ ней неожиданною высокою честью посѣщенія именитыхъ родственниковъ, и отъ смущенія только и знаетъ, что твердить о прекрасной погодѣ.

Госпожа фонъ-Миддельнесъ съ своей стороны разсипается въ увѣреніяхъ, что поражена любезнымъ пріемомъ тети Іансенъ и страшно рада знакомству съ нею. Кажется, у госпожи Іансенъ... то есть, у тети Іансенъ есть дѣточки? Насколько ей извѣстно, ихъ четверо, да?

Тети Іансенъ, давшая своему мужу торжественное обѣщаніе выразаться „по образованному“ и употреблявшая всѣ силы, чтобы сдержать его, восклицаетъ въ полномъ сознавіи своего материнскаго достоинства:

— *Четверо*, говорите вы? Да, какъ же, попали пальцемъ въ небо: *семеро* у меня карапузиковъ, *семеро!*

Госпожа фонъ-Миддельнесъ очень удивлена этимъ заявленіемъ, хотя у нея самой шесть малютокъ.

Понятно, что разъ сошлись двѣ женщины, у которыхъ вмѣстѣ набирается тринадцать человекъ дѣтей, то недостатка въ матеріалѣ для бесѣды нѣтъ, въ особенности если одна изъ нихъ такая снисходительная, какъ госпожа фонъ-Миддельнесъ, а другая такая словоохотливая и откровенная, какъ тетя Іансенъ. Старшіе отпрыски хозяевъ въ школѣ, младшіе снятъ послѣ обѣда.

Дядя Іансенъ, желающій показать, что онъ знаетъ, какъ об-

ращаться съ благородными людьми и насмотрѣлся ихъ порядковъ, притягиваетъ къ себѣ со стола корошенькій подносики съ двумя бутылками и четырьмя рюмками и, взявъ одну изъ бутылокъ въ руки, говорить:

— Развѣ вы не употребляете этого у себя, въ Гаагѣ? Превосходная горькая водка! Попробуйте-ка!

Господинъ фонъ-Миддельнесъ благодарить. Горькая водка, конечно, очень очень хороша, что доказываетъ одинъ видъ ея, но онъ не пьетъ, никогда не пьетъ!

— Въ такомъ случаѣ мы съ вами разнаго поля ягоды, говорить дядя Іансенъ.—Мы тутъ привыкли выпивать по капелѣ... Вы, пожалуйста, не смущайтесь тѣмъ, что самъ я сейчасъ не буду пить; я привыкъ опорожнять по двѣ рюмочки предъ ѣдою, ровно за десять минутъ до нея, и мы уже обѣдали. Такъ не церемоньтесь.

Господинъ фонъ-Миддельнесъ снова отклоняетъ отъ себя любезное предложеніе. Онъ немного разочарованъ тѣмъ, что хозяйева уже пообѣдали. Онъ чувствуетъ внутри какую-то непріятную пустоту и смутно напоминаетъ, что въ письмѣ, кажется, упоминалось объ окорокѣ.

— Анна - Лиза непременно хотѣла, чтобы мы ждали, пока вы пріѣдете,—продолжаетъ дядя Іансенъ, котораго начинаетъ ударять въ потъ отъ усилій выразаться „по образованному“.—Но я сказалъ, что не слѣдуетъ заставлять дѣтей такъ долго ждать, мы можемъ потомъ пообѣдать во второй разъ, по благородному. Отецъ, бывало, всегда долбилъ... всегда говорилъ намъ: „Ѣшьте столько, чтобы вы во всякое время могли начать съизнова.“

— Совершенно вѣрно, совершенно вѣрно!—подхватываетъ гость.—Однако, это слишкомъ затруднительно для...э-э! для госпожи...

— Для Анны-Лизы! перебиваетъ дядя Іансенъ.—Или назовите ее *тетей*, а „господа Іансенъ“—это ужъ слишкомъ для насъ благородно, такъ говорятъ только въ замкѣ, куда насъ иногда приглашаютъ во время охоты.

— Да, да, для тети... я такъ и хотѣлъ сказать!—поправляется господинъ фонъ-Миддельнесъ.—Не правда-ли, Эмилиа,—обращается онъ къ супругѣ,—это ужъ слишкомъ любезно, что же-

лають обѣдать изъ-за насъ вторично? Право, этого бы совершенно не нужно. Мы же плотно позавтракали по дорогѣ сюда, не правда-ли?

— Да, конечно,—увѣряетъ супруга, которой между тѣмъ страшно хотѣлось ѣсть.—Вы совсѣмъ напрасно беспокоитесь.

— Ахъ, глупости! кричитъ дядя Іансенъ.—Какъ только упадетъ вамъ на вилку кусокъ жаркого, такъ вы его невольно проглотите...скушаете, хотѣлъ я сказать...А нѣтъ—тоже не бѣда: слопаютъ... съѣдятъ и дѣтки... Ну живѣе, Анна-Лиза, сбѣгай-ка въ кухню и посмотри, не послѣлъ-ли картофель.

Анна-Лиза давно уже хотѣлось уйти въ кухню и она только и ждала этого слова. Во время ея отсутствія дядя Іансенъ пускаетъ въ ходъ все свое „образованное“ краснорѣчіе, чтобы убѣдить столичную племянницу выпить рюмочку двойной анисовки.

— Отъ нея дѣлаешься веселѣе и добрѣе,—говоритъ онъ въ заключеніе.—Эта бутылочка осталась еще послѣ послѣднихъ крестинъ, вотъ скоро будетъ годъ.

Къ большому удовольствію дяди Іансена, благородная племянница наконецъ сдается на его доводы, а глядя на нее, и супругъ, который никогда ничего подобнаго не пьетъ, тоже позволяетъ налить себѣ рюмочку.

Тутъ ужъ и самъ дядя Іансенъ изъявляетъ желаніе „выпить еще нѣсколько капелекъ ради пріятной компаніи“. Только онъ наливаетъ себѣ не анисовки, а горькой, потому что, вѣдь, предстоитъ еще разъ пообѣдать. При этомъ гости узнаютъ изъ собственныхъ устъ дяди Іансена, что онъ врагъ всѣхъ церемоній; что онъ не имѣетъ обыкновенія предлагать того, чего ему жаль; что онъ любитъ полную откровенность и терпѣть не можетъ никакихъ хитростей и поэтому видѣть и слышать не можетъ Жана Такса, своего сосѣда...

— Надо вамъ сказать,—поясняетъ онъ,—что Жанъ Таксъ лукавѣйшая скотина во всемъ мірѣ: словами медь расточаетъ, а въ карманѣ кулакъ сжимаетъ!

Дальше благородные супруги узнаютъ, что хотя дядя Іансенъ и первая особа во всемъ мѣстечкѣ, но гордости у него въ башкѣ... въ головѣ, то бишь, нѣтъ нисколько,

— Видите-ли,—продолжаетъ онъ,—когда я встрѣчаюсь даже съ послѣднимъ крестьяниномъ, я всегда дѣлаю вотъ такъ...

При этомъ онъ приподнимаетъ шапку, которую носить и дома.

— Но—ораторствуетъ онъ, все болѣе и болѣе входя въ азартъ, —кто не хочетъ работать, тотъ съ дядей Іансеномъ похлебки не сварить! Дѣльному работнику я говорю (онъ снова приподнимаетъ шапку): пойдѣмъ ко мнѣ, говорю я; пусть работа немного полежитъ, а мы пока по душамъ покаля... побесѣдуемъ, потому что человекъ, вѣдь, не волъ!

Затѣмъ еще сообщаются господамъ фонъ-Миддельнесамъ, выражающимъ различными междометіями и восклицаніями въ родѣ: „Да да!“ и „конечно, совершенно вѣрно!“ свое полное согласіе съ объясненіями хозяина,—что у него подъ посявомъ шестьдесятъ четыре десятины лучшей земли, шестнадцать коровъ и сорокъ быковъ, для которыхъ имѣется превосходный, обширный лугъ, а за домомъ находится большой фруктовый садъ. Вчера должны бы были собирать позднюю вишню, но онъ велѣлъ не трогать ихъ, „чтобы племянникъ и племянница изъ столицы могли хоть разъ наѣсться ихъ всласть“.

Онъ хотѣлъ сообщить еще что-то такое, но тутъ вернулась тетя Іансенъ и накрыла столъ хотя грубоватую, но безукоризненно бѣлою скатертью. Затѣмъ она начала разставлять глубокія тарелки, приговаривая: „Эта для племянника, эта для племянницы, вотъ для Іансена, а вотъ и для меня“. Потомъ она по правую сторону каждой тарелки положила по ложкѣ, а по лѣвую по вилкѣ. Кромѣ того она положила по кучкѣ столоваго серебра еще на верхнемъ и нижнемъ концѣ стола—это для перемѣны.

Когда эти приготовленія были окончены, явилась съ громадною круглою мискою въ рукахъ дыжа, загорѣлая служанка въ обыкновенномъ деревенскомъ нарядѣ.

— Здравствуйте, вы!—сказала она, ставя блюдо на столъ.— Вотъ вамъ супъ, но смотрите, не обожгитесь—больно ужъ онъ горячъ!

— На этотъ случай мы умѣемъ дуть,—возразилъ хозяинъ.— Ну, придвигайтесь ближе, кому угодно.

Служанка исчезла. Гости придвинулись къ самому столу. Іансенъ снялъ шапку и прижалъ ее внутреннюю сторону къ лицу, а жена его закрыла глаза и опустила голову на лѣвое плечо.

Господинъ фонъ-Миддельнесъ прикладываетъ свою бѣлую руку ко лбу, полузакрывая ею глаза, но онъ отлично видитъ, какъ его супруга во время этой безмолвной молитвы проводитъ своимъ тонкимъ, богато вышитымъ платкомъ по стоящей предъ него тарелкѣ и что по ея губамъ пробѣгаетъ брезгливая гримаска.

Обѣдъ начинается. Дядя Іансенъ предлагаетъ гостямъ послѣдовать его и хозяйкиному примѣру—„начерпать“ себѣ ложкою супъ изъ миски въ тарелку. Господа немного поколебались, но потомъ начали въ свою очередь „черпать“.

Послѣшно глотая супъ, дядя Іансенъ убѣждаетъ господъ повѣрить, что это вовсе не дѣтскій супъ.

Начерпывая себѣ вторую тарелку, онъ говоритъ:

— Я сказалъ Аннѣ-Лизѣ, чтобы вы у насъ не голодали, Боже, избави!... Ышьте, ѣшьте, дорогіе гости! Право, супъ превосходный... Вы только не стѣсняйтесь, а ѣшьте, сколько влѣзеть... сколько хватить аппетита!

— О, да, супъ очень хорошъ!—подтверждаетъ госпожа фонъ-Миддельнесъ, хотя и находить его слишкомъ жирнымъ, но вѣдь она такъ голодна!

— Великолѣпно, превосходно! похваливаетъ и благородный племянникъ по той же самой причинѣ, какъ его супруга.—Позволю себѣ *tant soit peu* взять еще тарелочку.

Утоля свой голодъ, онъ начинаетъ внутренно мириться съ „этими людьми“ и дѣлается совсѣмъ благодушнымъ.

Но дадимъ имъ всѣмъ спокойно доканчивать обѣдъ. Замѣтимъ только, что дядя Іансенъ, хотя уже и пообѣдалъ, кушаетъ такъ же исправно, какъ его гости, которые съ утра ничего не ѣли.

Послѣ супа подали большое блюдо съ дымящимся разсыпчатымъ картофелемъ и другое одинаковаго размѣра съ крупными бобами, которые, по выраженію хозяина, могли сдѣлать честь хоть королевскому столу. Къ этому поставили еще громадный окорокъ, „таявшій во рту“, такихъ же почтенныхъ размѣровъ жаркое и большую соусницу.

Іансенъ, все твердившій, что онъ врагъ всякихъ церемоній и принужденій, вмѣстѣ съ тѣмъ не переставалъ, на ряду съ своей супругою, упрашивать гостей отвѣдать то того, то другого,

съ тою, однако, уступкой, что можно и не кушать, если уже такъ дурно на господскій вкусъ.

— Да вы выкушайте еще этотъ стаканчикъ вина, господинъ племянникъ! Это сорокъ восьмого года. Повѣрьте, что отъ него голова не заболитъ... Дорогаи гостья, рюмочку анисовки еще, для пищеваренія!

Господинъ и госпожа фонъ-Миддельнесы ужъ пылаютъ пожаромъ отъ натуги.

Отворяется дверь и вслѣдъ за дѣвушкой, несущей новое блюдо съ рисовой кашей, вваливается цѣлая ватага дѣтей—шесть человѣкъ.

Вотъ пошло веселье!

— Здравствуй, папа! здравствуй, мама!

— Кто это?

— Это тѣ, что хотѣли пріѣхать изъ Гааги?

— Вы опять обѣдаете?

— А намъ дадите чего-нибудь?

Всѣ эти вопросы посыпались градомъ, въ то время, какъ родители увѣщевали ихъ поздороваться съ дядею и тетеею, которые „пріѣхали изъ столицы, гдѣ живетъ король“.

Когда это наконецъ было исполнено, мать добавила, что Вильгельмъ можетъ показать гостямъ свою тетрадку чистописанія, въ которой учитель написалъ такія хорошія отмѣтки, а Марихенъ должна почистить себѣ носикъ. Черезъ десять же минутъ, чтобы въ столовой никого не было; тогда дадутъ имъ въ кухнѣ рисовой кашки съ масломъ и съ сахаромъ.

Дѣти все послушно исполнили и исчезли, какъ вихрь.

— Прелестныя дѣточки! такія непринужденныя и вмѣстѣ съ тѣмъ благоправныя,—замѣтилъ господинъ фонъ-Миддельнесъ.

— И такія здоровыя на видъ!—добавляетъ его супруга.— Что можетъ быть лучше деревенскаго воздуха!

Кстати сказать, маленькіе Миддельнесики учатся дома, потому что опасаются, какъ бы они зимою не простудились дорогою въ учебное заведеніе; отъ того они такіе блѣдныя и прозрачныя,

— Имъ даютъ ѣсть вволю и позволяютъ бѣгать и играть, сколько имъ угодно,—говоритъ Іансенъ.—Требуется только, чтобы

они слушались и не дѣлали дурныхъ шалостей... Племянничекъ, еще стаканчикъ!

— Нѣтъ, нѣтъ... Пожалуйста, не надо... Непремѣнно вступить въ голову... Мерсі, мерсі.

— Ну чего тамъ мерсі!—кричитъ Іансенъ, наливая стаканъ. — Кушайте безъ церемоній!

Господинъ фонъ-Миддельнесъ выпиваетъ и этотъ стаканъ безъ всякой опасности для головы.

А рисовой каши тоже обязательно надо покушать. Тетя Іансенъ въ правѣ требовать, чтобы отвѣдали и похвалили ея кашу: не даромъ же она потратила на нее три бутылки сливокъ!

— Вѣдь, это настоящее пирожное!—увѣряетъ дядя Іансенъ.

Господа фонъ-Миддельнесы со вздохомъ рисуютъ своими ложками различныя фигуры въ кашѣ, изрѣдка кладутъ крошечку въ ротъ и говорятъ, что добрѣйшая тетя Іансенъ напрасно надѣлала себѣ такъ много хлопотъ, что имъ очень совѣстно, что... что... но, впрочемъ, они съ роду не ѣдали такой чудной рисовой каши.

Хозяинъ смѣется, радуясь тому, что гости его довольны, и говорить:

— Да, да, хотя мы только гельдернскіе крестьяне, мы прекрасно знаемъ, какъ нужно принимать гостей... Ну, если вамъ больше не съѣсть, можете и оставить. Помолимся и пойдѣмъ въ фруктовый садъ ѣсть вишни, пока мать намъ будетъ готовить кофе.

Неудивительно, что у господъ фонъ-Миддельнесовъ вовсе нѣтъ о собагожеланія ѣсть еще вишни. Тѣмъ не менѣе Іансенъ приказываетъ работнику Корнелиусу набрать десятифунтовую корзину полную вишенъ и поставить въ экипажъ подъ сидѣнье.

Госпожа фонъ-Миддельнесъ выразила желаніе побывать въ церкви, гдѣ отецъ ея былъ пасторомъ. Іансены, конечно, идутъ провозжать гостей, при чемъ хозяинъ доставляетъ себѣ удовольствіе показывать принадлежащія ему поля и луга. Съ внутреннею радостью слушаетъ онъ, какъ господинъ фонъ-Миддельнесъ изрѣдка снисходительно восклицаетъ: „Прекрасно!... Очень!.. Мило!.. Великолѣпно!“

Возвратившись съ прогулки, столичные родственники должны заглянуть въ свиной хлѣвъ.

— Ахъ, какіе прелестныя поросяточки!

— Ну, а какъ понравятся вамъ наши свинки?—спрашиваетъ Анна-Лиза, стуча большою деревянною ложкою въ перегородку.

Жирныя свиньи кувыркаются другъ черезъ друга и хрюкаютъ, что есть силъ, при чемъ хозяйка объясняетъ, что каждая изъ нихъ приносить по дюжинѣ и болѣе поросятъ.

Не мѣшаетъ тутъ замѣтить, что понемногу супруги Иансены совершенно забыли о своемъ твердомъ намѣреніи выразаться *по образованному*.

Снова сѣли за столъ. Кофе поданъ, т. е. на столѣ красуются два огромныхъ пирога: одинъ съ коринками и цукатомъ, другой безъ этихъ ингредіентовъ,—потомъ еще сыръ, масло и крошечныя великолѣпно пахнуція сосиски. Все это ждетъ истребленія.

Изъ громаднаго кофейника льется густая ароматная жидкость въ чашки, до половины наполненныя сливками.

Какъ ви потчуютъ, а все-таки нельзя почти ничего съѣсть. Даже самъ Иансенъ находитъ, что у него сейчасъ мало аппетита.

Теперь настала минута, когда можно узнать кое-что о томъ, что дѣлается въ большомъ свѣтѣ.

— Ну что, довольны пока еще министрами?—спрашиваетъ хозяинъ.— Правда,—что имъ такъ трудно добиться денегъ отъ палаты? Я,—внушительно, продолжаетъ онъ, мало занимаюсь политикой, но у каждаго человѣка есть свое особое мнѣніе, а мое мнѣніе, господинъ племянникъ, таково, что новыя министры всегда стоятъ много денегъ и что что мы сохранили бы въ казнѣ очень и очень кругленькія суммы, еслибъ мы не трогали старыхъ министровъ. Отъ этого странѣ была бы прямая выгода еще и въ другихъ отношеніяхъ.

Господинъ фонъ-Миддельнесъ вполне соглашается съ лядей Иансеномъ, но добавляетъ, что онъ вовсе не былъ бы прочь побыть самому министромъ— „эдакъ годковъ хоть на пять, а потомъ и пенсія!“

И онъ изящно подмигиваетъ глазами.

Дядя Иансенъ возражаетъ своему столичному племяннику, что не можетъ сочувствовать ему, если онъ желаетъ быть министромъ только изъ-за денегъ. На это гость спѣшитъ высказать увѣреніе, что онъ вовсе не то и хотѣлъ сказать и что едва-ли *кто*

хочетъ быть министромъ исключительно ради денегъ, но „на этомъ высокомъ посту страшно много дѣла, и каждый трудъ долженъ соразмѣрно вознаграждаться“.

Между тѣмъ какъ Іансенъ безусловно соглашается съ послѣднимъ замѣчаніемъ племянника, госпожа фонъ-Миддельнесъ увѣряетъ хозяйку въ томъ, что король совсѣмъ такой, какимъ его изображаютъ на серебряныхъ деньгахъ.

Потомъ господинъ фонъ-Миддельнесъ начинаетъ разсыпаться въ похвалахъ красотамъ столицы Гааги, дворцамъ, музею, церквамъ и прелестной рощицѣ, въ которой по воскресеньямъ и средамъ играетъ превосходная музыка.

Іансенъ съ женою въ восторгѣ отъ описательнаго таланта благороднаго племянника. А когда дядя наконецъ говоритъ, что ему страшно хотѣлось бы осмотрѣть Гаагу, но ему, вѣроятно, никогда не придется исполнить это желаніе. Господинъ фонъ-Миддельнесъ проситъ его изложить причины этой предполагаемой невозможности и, выслушавъ ихъ, объявляетъ, что это все пустяки и что милому, уважаемому дядѣ просто надо взять да и проѣхаться въ столицу. Конечно, и уважаемая гос... э-э-э!... тетя Анна-Лиза не откажется сопутствовать ему, и если они не очень взыскательны, то было бы большое удовольствіе видѣть ихъ у себя въ домѣ.

— Да, да, конечно, въ этомъ не смѣемъ сомнѣваться!— смѣется Іансенъ.—Хорошо, приѣду въ день святаго Нѣта, когда запляшутъ на льду телята, ха-ха-ха!... Вотъ было бы чудо, еслибъ дядя Іансенъ попалъ въ Гаагу!

Анна-Лиза тоже смѣется. Госпожа фонъ-Миддельнесъ, пріятно пораженная любезностью своего супруга, дѣлается вдвое любезнѣе. На лицѣ же ея дорогой половины вдругъ выражается тяжелое разочарованіе.

Если дѣйствительно существуютъ какія-нибудь неодолимыя препятствія, то онъ, разумѣется, не можетъ настаивать на своемъ предложеніи, хотя не можетъ не выразить своего убѣжденія, что такой человѣкъ, какъ господ... э-э-э! дядя Іансенъ, непременно долженъ бы видѣть хоть разъ въ жизни столицу и море... Enfin... enfin, онъ такъ былъ-бы радъ видѣть у себя дорогихъ родственниковъ своей уважаемой супруги!

Затѣмъ благородные гости начинаютъ собираться въ обратный путь, къ великому огорченію хозяйки, которая настоятельно проситъ посидѣть еще и отвѣдать простокваши, носыпанной корицею и сахаромъ съ тертыми сухарями.

— Нѣтъ, они и такъ долго засидѣлись. Завтра обязательно надо быть уже въ столицѣ. Дѣти такъ соскучились по нимъ, да и они соскучились по дѣтямъ!

— Да, это понятно, а все-таки побыли бы еще немного и поужинали бы хорошенько, прежде чѣмъ отправляться въ дорогу.

— Нельзя, никакъ нельзя, и безъ того слишкомъ поздно возвращаемся въ городъ.

Происходитъ трогательное прощаніе.

— Спасибо, тысячу разъ спасибо за радушный пріемъ!

— Не за что! Пріѣзжайте опять!... Стойте минутку!... Вотъ вамъ На колѣни госпожи фонъ-Миддельнесъ летитъ громадный круглый, какъ тыква, пакетъ.

— Это пряники для дѣточекъ, поясняетъ Анна-Лиза.—Я позаботилась, чтобы они могли пролежать мѣсяць, не портясь.

— Но, Боже мой, тутъ вѣдь, цѣлая, гора! восклицаетъ умиленная барыня.

Садясь въ экипажъ, господинъ фонъ-Миддельнесъ еще разъ крѣпко пожимаетъ хозяйкамъ руку и съ очаровательною улыбкою говоритъ:

— Надѣюсь, мы скоро опять увидимся, да?

— Да, разумѣется, если *вы* скоро опять пожелаете къ намъ, смѣется дядя.

Кучеръ оглядывается и спрашиваетъ, все-ли въ порядкѣ. Баринъ отвѣчаетъ утвердительно. Затѣмъ кучеръ слегка взмахиваетъ кнутомъ, отъѣзжающіе обмѣниваются послѣдними привѣтствіями съ своими сельскими родственниками, окруженными ватагою цвѣтущихъ отпрысковъ, а когда экипажъ повернулъ за уголъ, господинъ фонъ-Миддельнесъ съ видомъ полнѣйшаго утомленія откидывается назадъ на сидѣнье.

— Господи, какой день! восклицаетъ онъ.

— Какая сердечность, какое радушіе! добавляетъ супруга, втайнѣ опасаясь, что это восклицаніе имѣетъ дурной смыслъ.

— Удивительно! Эти люди готовы вывернуться наизнанку,

лишь бы угодить намъ... Видно, что народъ совсѣмъ нецивилизованный, хвастаются своимъ благосостояніемъ... Изрѣдка, впрочемъ, можно съ этимъ мириться... А какая ѣда! Ma foi, какаѣ груда пряниковъ!

Супруга поняла, что Шарль говоритъ серьезно, и потому крайне обрадована и польщена. Слава Богу, эта семья, о которой она прежде едва рѣшалась упомянуть понравилась ему!

— Настоящій типъ гельдернскаго добродушія, не правда-ли? говоритъ она.—Состояніе у нихъ дѣйствительно порядочное, очень порядочное.

— Очень милые люди! заключаетъ супругъ, продолжительно зѣвая. Онъ закрываетъ глаза, почти тотчасъ же засыпаетъ и видитъ во снѣ, что у него на вилкѣ громадная свинья съ двѣнадцатью поросятами.

III.

Обязанности званія.

Протекло уже три года съ того дня, который господа фонъ-Миддельнесъ провели въ В. у Іансеновъ. Они въ прошломъ году переѣхали въ „менѣе оживленную часть города“, потому что... да потому, что домъ сталъ малъ и тѣсенъ, а училище, въ которое были отданы двое дѣтей,—такъ далеко! По крайней мѣрѣ такъ говорилось всѣмъ, но я могу сообщить вамъ, дорогіе читатели, по секрету, что просто господину фонъ-Миддельнесу не удалась одна денежная спекуляція, служба же давала слишкомъ мало, чтобы продолжать жить на широкую ногу.

Однако и на тихой Грахтѣ живетъ очень очень недурно. Каждому посѣтителю это втолковывается по нѣскольку разъ, и какъ бы онъ ни стоялъ за „болѣе оживленную часть города“, но въ концѣ-концевъ онъ неизбѣжно долженъ согласиться съ тѣмъ, что тутъ дѣйствительно очень мило... такъ спокойно и мирно!

Черезъ недѣлю наступитъ десятое сентября, т. е. сороковой день рожденія господина фонъ-Миддельнеса, который онъ намѣренъ праздновать... да, да—*праздновать*, въ томъ-то и дѣло!

У дома, занимаемаго господами фонъ-Миддельнесами, стоитъ газовый фонарь, и они теперь что-то сильно пристрастились къ

сумеркамъ, хотя прежде, пока жили возлѣ роши, терпѣть ихъ не могли.

Такъ и нынче сумерничаютъ. Послѣ продолжительнаго молчанія господинъ фонъ-Миддельнесъ наконецъ говоритъ:

— Parole d'honneur, Эмилиа, нельзя сказать, чтобы я особенно восторгался этой необходимостью.

— Quant à moi, возражаетъ супруга, пожавъ плечами, — то и вовсе бы не... Но, быстро продолжаетъ она, — у насъ нѣтъ ни малѣйшаго предлога и мы сами бываемъ у всѣхъ... Да, никакъ этого не избѣгнешь! добавляетъ она, поразмысливъ немного.

— Это досадно, очень досадно! вырывается у супруга.

— Нанси Ласаль вчера только говорила, что я навѣрное по-прежнему буду праздновать десятое сентября magnifique, тѣмъ болѣе, что тутъ у насъ такая большая зала, въ которой такъ удобно танцевать.

Значить, никто и не догадывается, что мы забрались въ эту трущобу вовсе не отъ „бѣшенства ожирѣнія“, думаетъ господинъ фонъ-Миддельнесъ, а вслухъ добавляетъ:

— Но расходы, расходы-то!

— Это такъ, говоритъ его достойная подруга, — но ты подумай только, что будутъ болтать на нашъ счетъ, если мы не сдѣлаемъ попрежнему!

И господинъ фонъ-Миддельнесъ, напомнивши ей еще разъ, что у нихъ теперь далеко нѣтъ средства, какія были прежде, волей неволей долженъ сдаться на доводы относительно того что, званіе и общественное положеніе налагаетъ на нихъ *обязанность* праздновать день его рожденія какъ можно пышнѣе.

IV.

П о с ѣ щ е н і е.

Спустя пять дней послѣ этого рѣшенія, господа фонъ-Миддельнесы сидятъ за завтракомъ и наслаждаются мирною бесѣдою. Вдругъ у подъѣзда раздается звонокъ. Служанка выбѣгаетъ и черезъ минуту возвращается съ извѣстіемъ, что какой-то незнакомый человѣкъ желаетъ видѣть барина.

— Имя его? говоритъ баринъ.

— Человѣкъ этотъ велѣлъ сказать, что это кое-кто изъ Гельдерлиндіи, кого вы хорошо знаете... Довольно полный, съ краснымъ такимъ лицомъ, отвѣчаетъ служанка.

Лицо господина фонъ-Миддельнесъ также становится краснымъ, потому что, пока читателю приходится на умъ дядя изъ Б., предъ внутренними очами благородныхъ жителей. Гаага возстаегъ образъ нѣкоего виноторговца съ краснымъ кожанымъ бумажникомъ въ пухлыхъ рукахъ. Изъ этого бумажника долженъ сейчасъ вытаскиваться длинный счетъ въ восемьдесятъ гульденовъ.

— Я... мы... Ахъ, это такой скучный человѣкъ!... Синочка, насъ вѣтъ дома!

Наканунѣ у Синочки съ барыней былъ крупный споръ: барыня утверждала, что Синочка стащила изъ корзинки яблоко, Синочка отрицала это, на что барыня старалась дать ей понять, что дѣло вовсе не въ самомъ яблокѣ, а только въ фактѣ воровства и лганья, послѣ котораго Синочка должна лишиться всякаго довѣрія. Синочка искренно покаялась и раскаялась, и состоялось полное примиреніе.

— Понимаешь, насъ вѣтъ дома! повторилъ баринъ.

— Хорошо!

Но Синочка опять возвратилась черезъ нѣсколько секундъ и таинственнымъ видомъ прошептала:

— Онъ непременно желаетъ видѣть барыню. Но какой же онъ чудной и какіе у него грязные сапоги!

Супруги многозначительно переглядываются и господинъ фонъ-Миддельнесъ произноситъ съ удареніемъ:

— Барыня принять не можетъ, потому что занята туалетомъ.. одѣвается, понимаешь?

Служанка понимаетъ и исчезаетъ. Слышно, какъ дверь подъѣзда захлопывается. Служанка снова появляется въ столовой и говоритъ, фамиллярно подмигивая:

— Поперь восвоеси! Но хотѣлъ черезъ часъ быть назадъ.

— Ахъ, ужъ эти положенія, когда приходится втигивать въ довѣріе слугъ и они велѣдствіе этого становятся фамиллярными!

Когда Синочка удалилась въ людскую, Шарль сказалъ, что платить виноторговцу теперь, въ виду расходовъ по предстояще-

му празднеству, вовсе не входитъ въ его расчеты, но что было бы очень не дурно, если бы Эмилиа могла заказать у этого кредитора еще нѣсколько бутылочекъ бордо. Самъ онъ, вѣроятно, черезъ часъ не будетъ дома, а милая Эмилиа одна приметъ вино-торговца и поговорить съ нимъ

Госпожа фонъ-Миддельнесъ очень недовольна, что мужъ заставляеть ее одну вѣдаться съ „этимъ ужаснымъ человѣкомъ“, такъ какъ до сихъ поръ онъ всегда самъ сводилъ счеты со всеми поставщиками.

Но господинъ фонъ-Миддельнесъ слѣшить къ мѣсту своего служенія, хотя тамъ, между нами сказать, въ этотъ день рѣшительно было нечего дѣлать, и супруга его должна покориться неизбѣжному.

При каждомъ звонкѣ госпожа фонъ-Миддельнесъ нервно вздрагиваетъ. Она, впрочемъ, одѣлась потщательнѣе и теперь занята мысленнымъ распредѣленіемъ на столѣ десерта, который будетъ послѣ завтра въ день рожденія Шарля.

„Тутъ вотъ поставимъ пирожное бормочеть она вслухъ, тамъ направо ананасы, посрединѣ поставятся лампы, сюда—шеколатъ, а рядомъ кремъ съ .. Ахъ, Боже мой, вотъ онъ!..“

Синочкѣ приказано проводить „того господина“ только въ пріемную, и теперь она докладываетъ, что онъ уже тамъ.

Госпожа фонъ-Миддельнесъ выходитъ только по истеченіи нѣсколькихъ минутъ, страшно мучаясь тѣмъ, что у нея нѣтъ въ рукахъ денегъ, чтобы заплатить по счету.

Передъ тѣмъ, какъ надавить ручку двери въ пріемную, она еще колеблется, но потомъ, набравшись храбрости, рѣшительно вошла туда, гдѣ ее ожидала, по ея мнѣнію, „пытка“. Но каково же было ея удивленіе, когда она услышала веселый возгласъ: „какъ поживаете, госпожа племянница? Вотъ я и явился!“—и увидала гельдернскаго дядю, протягивавшаго ей свою большую, мозолистую руку!

Въ первый моментъ она сильно растерялась и сконфузилась.

— Ахъ, это вы?! говорить она.—А я думала... Ну, какъ вы поживаете?

И губы ея невольно кривятся отъ боли при эвергичномъ пожатіи ея тонкихъ пальчиковъ дядю.

— Я-то? живу веселехонько, доволенъ и здоровехонекъ, какъ видите! отвѣчаетъ Іансенъ.—Собрался я, наконецъ, въ Гаагу и рѣшилъ вознаграждать себя у васъ за расходы по вашему посѣщенію, ха-ха-ха!.. Жена низко кланяется.. Но какая же странная штука, эта самая столица ваша... преудивительная!

— Да, да, говоритъ госпожа фонъ-Миддельнесъ; повторяетъ это „да“ еще разъ шесть и потомъ только указываетъ на стулъ: „Неудобно-ли вамъ будетъ присѣсть?“

Противъ этого предложенія дяди не находилъ нужнымъ возразить, а преспокойно усѣлся да еще вытянулъ свои довольно-таки непрезентабельныя ноги во всю ихъ длину.

Онъ разыскивалъ господъ фонъ-Миддельнесовъ, сначала возлѣ роши, гдѣ они жили раньше, потомъ нашелъ ихъ настоящую квартиру и когда ему сказали, что еще не принимаютъ, онъ часокъ походилъ по городу. Ради сюрприза онъ не хотѣлъ назваться прислугѣ да и не придумывалъ письмомъ о своемъ пріѣздѣ. Анна-Лиза говорила, что господинъ племянникъ съ госпожею племянницею обрадуются гораздо больше, если пріѣхать къ нимъ неожиданно. Анна-Лиза увѣряетъ, что сюрпризы пріятнѣе всего въ мірѣ, и она прислала громадное печенье съ коринками, которое лежитъ еще въ передней.

Конечно, госпожѣ фонъ-Миддельнесъ было гораздо пріятнѣе увидеть добродушнаго гелдерискаго дядю, чѣмъ кредитора-вино-торговца, но затѣмъ ей стало очень неловко, узнавъ, что онъ, въ добавокъ еще привезшій печенье, долженъ былъ бѣгать цѣлый часъ по городу, вслѣдствіе глупаго недоразумѣнія. Неловко было и въ силу родства съ такимъ простякомъ.

— Кто же могъ этого ожидать! воскликнула она наконецъ, не зная, что болѣе сказать.

Ахъ, вотъ идетъ мимо оконъ майоръ фонъ-Амбергъ... идетъ къ подъѣзду... звонить!... Синочка приведетъ его прямо сюда; въ пріемную, гдѣ сидитъ этотъ ужасный дядя, который, конечно, не умолчитъ, что онъ дядя! Сидитъ толстый, красный съ рыжими волосами, въ длиннополномъ сюртукѣ изъ самодѣльнаго сукна и съ такими громадными костяными пуговицами... На колѣняхъ шляпа допотопнаго фасона, сивіе суконныя панталоны завернуты снѣ-

зу, „чтобы не замарать въ уличной грязи“, изъ-подъ нихъ видны толстые сѣрые шерстяные чулки, теряющіеся въ аляповатыхъ башмакахъ со шнуровкою, неприятно рѣзко контрастирующихъ съ прекрасными ковромъ.

— Не угодно-ли вамъ лучше будетъ пройти въ заднюю комнату, торопливо говоритъ хозяйка, вставая.—Я велѣла.. мы тамъ будемъ пить кофе, знаете-ли.

Иансенъ недоумѣваетъ, зачѣмъ это его такъ торопливо вы-проваживаютъ въ заднюю комнату.

— Что касается меня, то мнѣ и здѣсь очень удобно, говоритъ онъ медленно, растягивая слова.

Однако хозяйка настаиваетъ и онъ, произнеся: „Такъ куда же это вы меня теперь дѣнете?“—покорно слѣдуетъ за нею.

Ведя его въ заднюю комнату, госпожа фонъ-Миддельнесъ спѣшитъ оставить его одного, чтобы докладъ служанки о приходѣ майора не заставилъ его догадаться о причинѣ изгнанія изъ пріемной.

— Что это, какъ она разстроена! думаетъ гелдернскій земледѣлецъ, оглядывая комнату.

На полу валялась какая-то бумажка. Онъ увидѣлъ ее, сказавъ про себя: „Это нужно поднять; не хорошо, когда что валяется на полу“, поднялъ и машинально прочелъ.

Вотъ что было написано:

„Милостивая Государыня!

Согласно вашему порученію, я позабочусь доставить послѣ завтра желаемыя блюда, за исключеніемъ фазановъ съ трюфелями, которые прошу замѣнить каплунами, такъ какъ фазановъ у меня сейчасъ не имѣется.

Съ искреннимъ уваженіемъ вашъ покорнѣйшій слуга

Полъ, поваръ и пирожникъ“.

— Досадно! пробормоталъ Иансенъ, кончивъ чтеніе.—Еслибъ я это зналъ, то съ удовольствіемъ притащилъ бы съ собою пару жирныхъ курочекъ... Тутъ видно, живутъ очень роскошно. Домъ громадный, мебель такая, что намъ съ Анной-Лизой и во спѣ не снилось... Совсѣмъ другіе стулья, чѣмъ у насъ въ гостиной!.. Ахъ, какъ я далека теперь отъ этой милой гостиной!.. Но, вѣдь, я сюда пріѣхалъ для собственнаго удовольствія и развлеченія!.. Навѣрное,

Анна-Лиза ужасно скучаетъ... а дѣтки-то!... Какой тутъ грустный видъ изъ оконъ. Мнѣ бы хотѣлось видѣть своихъ индеекъ, разгуливающихъ по двору!.. Гмъ! да, вотъ и пріѣхалъ въ столицу развлекаться... Хорошее развлеченіе, нечего сказать!

Госпожа фонъ-Миддельнесъ возвратилась только чрезъ полчаса, выражая свое искреннѣйшее сожалѣніе по поводу того, что она была вынуждена оставить „господина Іансена“ одного, такъ какъ приходилъ челоуѣкъ, котораго ей необходимо было видѣть.

— Ничего не значить, госпожа племянница, отвѣтилъ Іансенъ.—Дѣла прежде всего... А какъ здоровье вашего супруга и дѣтей?

Приготовливая и наливая кофе („вестиндскій“, по убѣжденію гости), хозяйка рассказала „господину Іансену“ все, что онъ желалъ знать, и затѣмъ спросила его, какъ онъ могъ рѣшиться на „такое утомительное“ путешествіе и что именно онъ намѣренъ дѣлать въ столицѣ.

Оказалось, что его побудила пріѣхать выгодная продажа масла да уговариванія Анны-Лизы развлечься.

— Значить „качу“ прямо въ Гаагу, рѣшилъ я, продолжалъ онъ.—Думаю себѣ, племянникъ съ племянницею, навѣрно, позаймутся со мною, старикомъ, и растолкуютъ мнѣ, что надо посматрѣть, гдѣ побывать. Вы же говорили, что тутъ есть что поглядѣть. Вотъ и указывайте мнѣ дорогу.

Госпожа фонъ-Миддельнесъ близка къ обмороку. Расироотрившись насчетъ наилучшаго способа приготовленія окороковъ и дороговизны сливочнаго масла, она начинаетъ увѣрять, что сама выходитъ чрезвычайно рѣдко, страдая почти постоянными головными болями, а супругъ ея такъ заваленъ работою по дѣламъ службы, что едва находитъ минуту пообѣдать во время. Да особенныхъ достопримѣчательностей вовсе и не существуетъ въ Гаагѣ: есть какой-то музей да еще что-то въ этомъ родѣ, куда никто и не ходитъ.

— Неужели? недоумѣваетъ Іансенъ.—Вы же у насъ рассказывали, что тутъ разныя чудеса, какихъ нигдѣ еще и во всемъ свѣтѣ не найдешь.

Хозяйка не даетъ ему расироотряться и сообщаетъ, что была

бы очень рада, если бы „господинъ Іансенъ“ могъ жить у нея въ домѣ во все время своего пребыванія въ столицѣ, но этому, къ ея глубокому сожалѣнію, препятствуетъ то, что, кромѣ комнатки на чердакѣ, нѣтъ свободнаго мѣста, гдѣ бы ему можно спать.

„Вотъ тебѣ разъ! думаетъ про себя Іансенъ.—Домъ величійно съ церковь, а мѣстечка для ночлега нѣтъ!“

На вѣжливое предложеніе госпожи фонъ-Миддельнесъ непремѣнно отобѣдать у нея сегодня, хотя обѣдъ и будетъ простой, очень простой, такъ какъ, въ силу нѣкоторыхъ финансовыхъ затрудненій, приходится быть какъ можно экономнѣе,—пріѣзжій только говорить протяжно: „такъ, такъ!“ и думаетъ о запискѣ, въ которой упоминаются фазаны и каплуны.

Черезъ минуту онъ добавляетъ:

— Если я вамъ въ тягость, то могу занять комнату въ гостиницѣ Денегъ у меня хватитъ на все.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, ни сколько! увѣряетъ хозяйка.

До возвращенія господина фонъ-Миддельнеса, Іансенъ могъ всласть налюбоваться на прекрасный видъ, представляемый столичнымъ чернымъ дворомъ и наслаждаться обществомъ прекрасной племянницы, которая при его разсказахъ о деревнѣ, гдѣ она провела первые годы дѣтства, выказываетъ теперь гораздо меньше восторга, чѣмъ три года тому назадъ, когда она провела у него такой „прелестный“ день.

Дѣти едва удостоили гельдернского пріѣзжаго своимъ присутствіемъ. Мама, храбро избѣгая названія дяди, приказала своимъ блѣднолицымъ ребятишкамъ, глядѣвшимъ на незнакомца съ нескрываемымъ отвращеніемъ, поздороваться съ нимъ и подать ему руку.

Эмилечка сказала: „фи!“ Лизочка хотя и послушалась, но прошептала: „у-у! какія жесткія руки,“ поспѣшно убѣжала, между тѣмъ какъ оба мальчика такъ громко посмѣивались надъ тѣмъ, „какъ чудно онъ говоритъ“, что пришлось скорѣе выпроводить ихъ вонъ.

Господинъ фонъ-Миддельнесъ возвратился домой поздно, такъ какъ получилъ въ завѣдываемомъ имъ учрежденіи письменную

инструкцію отъ своей супруги. На первый взглядъ онъ рѣшительно.... э-э-э! не можетъ узнать, съ кѣмъ.... э-э-э! онъ имѣ-етъ честь.... Ахъ, да, вспомнилъ, вспомнилъ!... Положимъ, прошло уже много времени, но все-таки онъ припоминаетъ, что онъ съ своею супругою имѣлъ удовольствіе провести нѣсколько часовъ у „господина Іансена“. Милой Эмили такъ хотѣлось тогда увидать мѣсто своего рожденія! Надо же было доставить ей это.... се plaisir.... Остается только поблагодарить „господина Іансена“ за честь, доставляемую его посѣщеніемъ. Трудно было ожидать, чтобы человѣкъ такихъ почтенныхъ лѣтъ могъ рѣшиться на далекое путешествіе, сопряженное съ всевозможными неудобствами.... Да что же это дождь все не перестаетъ? такъ и льетъ нѣсколько часовъ подъ рядъ безъ конца!... Гдѣ же остановился „господинъ Іансенъ“?... Конечно, „господинъ Іансенъ“ не откажется отобѣдать, хотя и à la fortune du pot.... „Господинъ Іансенъ“, конечно, понимаетъ по-французски, не смотря на то, что прожилъ всю жизнь въ Бегювіи.... Но, вѣдь, и въ Гельдерландіи не любятъ особыхъ церемоній, не правда-ли?

Дѣтямъ праздникъ: мама нашла нужнымъ распорядиться, чтобы они обѣдали одни въ дѣтской. Довольна и Синочка, которой барыня объявила, что она сама накроетъ столъ, такъ какъ „барину надо переговорить съ *этимъ человекомъ* по очень важному дѣлу“.

На самомъ же дѣлѣ бесѣда господина фонъ-Миддельнеса съ „этимъ человекомъ“ была такъ безсодержательна, что ее смѣло могла слушать прислуга. Хозяинъ все болѣе распространялся на счетъ того, что въ столицѣ удивительно мало достопримѣчательнаго.

— А статуи Вильгельма Молчальника—конвал и пѣшая? замѣтилъ Іансенъ.

— Да, да, онѣ не дурны, говоритъ фонъ-Миддельнесъ.— Дѣйствительно, ихъ вамъ надо посмотрѣть... какъ бы это сдѣлать.... А! я придумалъ прелестный планъ!... Впрочемъ, завтра я буквально весь день занятъ по службѣ; останется одинъ только вечеръ, который я съ удовольствіемъ и посвящу вамъ. Улицы у насъ

отлично освѣщены газомъ, и потому ночью такъ же свѣтло, какъ днемъ. Тогда и осмотрите памятники...

Гость хотѣлъ было что-то возразить, но господинъ фонъ-Миддельнесъ, которому супруга что-то шепнула, продолжаетъ съ любезною улыбкою:

— Вы, надѣмся, не откажетесь и переночевать сегодня у насъ?... Если угодно, пойдемте сейчасъ же, послѣ обѣда, посмотрѣть городъ... Ахъ, мѣшаетъ несносный дождь!.. Грязь ужаснѣйшая—неудобно.... Ну, въ такомъ случаѣ завтра даже могу рекомендовать вамъ человѣка, который за небольшое вознагражденіе покажетъ все, что у насъ имѣется интереснаго... Послѣ-завтра-же мнѣ необходимо надо будетъ ѣхать въ Амстердамъ, такъ что опять не буду имѣть возможности сопровождать васъ.

„Видно, что гордятся и важничаютъ, а все же стараются сдѣлать, что могутъ, не теряя себя,—разсуждаетъ про себя Іансенъ.—Да я и вправду поступилъ ужъ слишкомъ смѣло, явившись къ нимъ какъ снѣгъ на голову. Они тогда предупредили о своемъ пріѣздѣ письмомъ... И гдѣ-жъ знать, что я пріѣхалъ было на цѣлыхъ три дня?... Анна-Лиза любитъ сюрпризы—да, но, вѣдь, у всякаго свой вкусъ... Заговорить опять о гостинницѣ—это будетъ неловко: прямо обидишь ихъ, вмѣсто благодарности за любезность.... А что касается письма Полэ, то оно, можетъ быть, давнишнее: года и числа не подписано.“

Поразмысливъ такимъ образомъ, добродушный Іансенъ ска-залъ вслухъ:

— Спасибо, дорогой племянникъ и дорогая племянница, воспользуюсь вашимъ предложеніемъ. Если не очень стѣсню васъ, то желалъ бы переночевать и завтра, чтобы на слѣдующее утро ужъ отправиться вмѣстѣ съ вами, господинъ племянникъ, въ Амстердамъ.

— О-о-о! очень радъ, очень радъ! увѣриетъ господинъ фонъ-Миддельнесъ, необычайно громко сморкаясь, между тѣмъ какъ его супруга поспѣшно отворачивается, чтобы скрыть улыбку.

Іансену очень хотѣлось выпить предъ обѣдомъ рюмочку горькой, какъ онъ привыкъ дома, но тутъ ей не полагалось! Хозяйка сдержала слово—обѣдъ былъ до крайности скромень. Ей самой

даже показалось совѣстно предъ добродушнымъ родственникомъ за такую скромность, но Шарль такъ пожелалъ, а развѣ можно ослушаться Шарля въ такомъ дѣлѣ? Чѣмъ же онъ виноватъ, что у нея такая неподходящая къ нему родня!

Господинъ фонъ-Миддельнесъ самъ пошелъ за виномъ, принесъ бутылку, откупорилъ ее и начинаетъ наливать...

— Ахъ, Богъ мой! вѣдь, это укусъ! восклицаетъ онъ.

— Укусъ?!... фи, Шарль!... Вино стоитъ на лѣвой сторонѣ.

Шарль бѣжитъ назадъ въ погребъ и возвращается съ другой бутылкой. Съѣлъ, откупорилъ и наливаетъ.

— Извольте радоваться: это пиво!... Вы, вѣроятно, желали бы вина?... Впрочемъ, и это пиво не дурно... Неудобно-ли попробовать?

Иансенъ выражаетъ одобреніе пиву, хотя въ душѣ находитъ его черезчуръ слабымъ. Сдѣлай ему пивоваръ, котораго онъ держитъ въ числѣ своихъ работниковъ, такое пиво, онъ немедленно же прогналъ бы его.

Ему ясно, что господа племянникъ съ племянницею очень стѣснены въ отношеніи пици: подано всего очень мало и плохо. Ну, да это ничего не значить: можетъ, такъ и принято въ столицахъ, чтобы ѣсть какъ можно меньше и хуже, а только была бы роскошная обстановка.

Окончивъ эту скудную трапезу, онъ благодаритъ и увѣряетъ, что съѣлъ „ужасно много“, съ чисто деревенскимъ аппетитомъ.

Хозяинъ приглашаетъ его въ свой кабинетъ выкурить сигару и поболтать по душѣ.

— Хорошо, соглашается Иансенъ, хотя ему страшно хотѣлось бы теперь соснуть часокъ.

Господинъ фонъ-Миддельнесъ въ восторгѣ отъ намѣренія „господина Иансена“ проѣхать вмѣстѣ съ нимъ до Амстердама, но... но не будетъ-ли „господину Иансену“ гораздо удобнѣе направиться на Роттердамъ, чтобы en passant осмотрѣть интересныя городки Дельфтъ и Шидамъ?... Въ особенности же достоинъ вниманія Дельфтъ! Тамъ вы встрѣтите массу историческихъ воспоминаній. Напримѣръ, лѣстница, на которой Вильгельмъ Первый...

— Убить Балтасаромъ Герардомъ, договариваетъ Иансенъ.
— Вѣрно! ... Такъ вы думаете, мнѣ лучше сперва осмотрѣть Дельфтъ?

— Лучше, несомнѣнно лучше! утверждаетъ господинъ фонъ-Миддельнесъ.

— Но я очень желалъ бы увидать и море, говоритъ гость.

— Море? Ахъ, да, море! Ну, проводникъ, котораго я завтра пришлю вамъ, сведетъ васъ и къ морю. Прежде всего осмотрите музей и королевскій замокъ, а потомъ отправьтесь въ Шевенингентъ... Въ крайнемъ случаѣ можете тамъ и... пообѣдать. Оттуда проѣдетесь по каналу. Увидите нашу рощу, лимонную оранжерею... Enfin еще что тамъ есть по дорогѣ. Вернетесь вечеромъ, отлично выспитесь и раннимъ утромъ, съ первымъ поѣздомъ, покатите въ Дельфтъ.

Иансену очень досадно, что служебныя обязанности препятствуютъ господину племяннику провожать его завтра, но что жъ дѣлать, надо покориться!

Дождь пересталъ, фонари уже зажжены, и господинъ фонъ-Миддельнесъ находитъ теперь возможнымъ „пройтись немного по улицамъ“. Гость выражаетъ свою готовность слѣдовать за нимъ.

Служанка является съ докладомъ, что пріѣхали дѣвицы Ламферъ—пріятельницы барыни.

— Ай-ай! восклицаетъ хозяинъ, поспѣшно одѣваясь,—въ такомъ случаѣ намъ надо скорѣе убѣжать, а то во весь вечеръ не вырвешься.

Оба уходятъ крадучись. Надвинувъ шляпу на самые глаза, господинъ фонъ-Миддельнесъ водить своего спутника по наиболѣе плохимъ и пустыннымъ улицамъ, увѣряя, что на большихъ улицахъ такая давка, что нельзя и шагу пройти.



Т р и с п а л ь н и .

Господинъ фонъ-Миддельнесъ лежитъ на обширной постели. Госпожа фонъ-Миддельнесъ еще возится съ папильотками.

— Крайне, крайне неприятно и неудобно имѣть такихъ родственниковъ! говоритъ господинъ фонъ-Миддельнесъ.

— Да чѣмъ же я-то виновата, Шарль?

— Тѣмъ, что тебѣ пришла странная фантазія посѣтить этихъ людей!

— Кажется, и ты былъ со мною у нихъ, и въ то время ты находилъ ихъ очень милыми людьми.

— Да, они очень добродушны, до смѣшного даже, но ужъ и слишкомъ глупы. Будь этотъ человѣкъ поумнѣе, онъ не рѣшился бы пріѣхать къ намъ.

— Но какже быть, Шарль... Миѣ очень грустно...

— А такъ и быть, что если онъ вздумаетъ остаться здѣсь и послѣ завтра... то я выгоню его вонъ изъ дома... или же останусь лежать весь день и предоставлю тебѣ одной съ твоимъ милымъ родственникомъ праздновать день моего рожденія.

— Не сердись, пожалуйста, Шарль!... Конечно, Іансену слѣдовало бы одѣться поприличнѣе и выучиться говорить по нашему... Да, но я все-таки во всемъ этомъ ни чуть не виновата. Я не выказала ни малѣйшей радости по поводу его пріѣзда, хотя мнѣ и жаль его, и приняла всѣ мѣры, чтобы скрыть отъ прислуги его родственныя отношенія къ намъ... т. е. къ мнѣ.

— Тѣмъ не менѣе завтра же всему городу будетъ извѣстно, что этотъ... крестьянинъ твой родственникъ!

— Этого не можетъ быть, Шарль, никакъ не можетъ быть! Повторяю тебѣ, что прислуга ничего не знаетъ. Синочка никакъ не могла понять, почему мы оставили *этого* человека здѣсь ночевать.

— Ну, и смотри, чтобы это такъ и осталось тайной! Счастье, что онъ уйдетъ съ утра и вернется только поздно вечеромъ. Послѣ завтра же *suite que suite*, пусть уѣзжаетъ совсѣмъ!... Интересно бы мнѣ знать, узналъ-ли меня Шмитъ, съ которымъ мы встрѣтились вечеромъ? Если узналъ, то скверно. Разъ нѣтъ равенства положеній, надо стараться избѣгать такихъ... Enfin, все это вышло очень глупо!... Я обязанъ заботиться о томъ, чтобы моя служба не была компрометирована, а тутъ являются вотъ этакіе... деревенскіе чурбаны!... Служба и положеніе прежде всего...

Въ жалкой, грязной коморкѣ на чердакѣ, еле освѣщенной

кухонной лампой, гельдернскій дядя осторожно снялъ свой праздничный костюмъ. Человѣкъ онъ неприхотливый и вполне доволенъ своимъ помѣщеніемъ. Постель узенькая, жесткая и не отличается особенной опрятностью, но онъ надѣется тѣмъ не менѣе отлично уснуть на ней.

Да, онъ, разумѣется, оказалъ своимъ столичнымъ родственникамъ плохую услугу тѣмъ, что явился неожиданно, а все-таки они нашли возможнымъ оставить его у себя отобѣдать, чѣмъ Богъ послалъ, да и ночевать тоже. Племянникъ не побрезговалъ пройтись съ нимъ по городу.... Держать себя *по бонтонному*, не по нашему, а во всемъ остальномъ....

Но вотъ кто-то еще поднимается на чердакъ. Двое идутъ къ нему... Нѣтъ, должно быть, рядомъ другая коморка. Вошли туда.

Раздается энергическій зѣвокъ и вслѣдъ затѣмъ до ушей гостя долетаетъ не менѣе энергическое восклицаніе:

— Ахъ, какъ хорошо теперь поспать!

Іансенъ старается не дѣлать никакого шума, чтобы не смутить служанокъ, въ сосѣдство которыхъ попалъ.

— Не кричи такъ! замѣтила подруга зѣвавшей.—Рядомъ все слышно, а тамъ спать пріѣзжій изъ деревни.

— Ну, тебя! такъ я и стала стѣсняться всякаго гельдернскаго медвѣда! Да его, навѣрное, и пушками не разбудишь.

— А ты, Сивочка, раньше знала, что наши господа такого низкаго происхожденія?

— Конечно. знала, няня. Я, вѣдь, всегда говорила, что нашъ баринъ удивительно какъ похожъ на Шевенингскаго лодочника.

— Съ ума ты сошла!

— Какже! При первомъ случаѣ непременно спрошу, не въ родствѣ-ли онъ съ этимъ лодочникомъ.... Этотъ-то, что рядомъ, имъ родной дядя.

— Какъ же имъ тогда не стыдно... начала было няня, но замаялась и продолжала:—Впрочемъ, имъ и то очень стыдно. Когда давеча пришелъ майоръ фонъ-Амбергъ, она чуть не силою вытащила дядю въ заднюю комнату.

— А какъ они боялись, что мы услышимъ, какъ онъ назы-

ваеть ихъ племянникомъ съ племянницею! А я все-таки слышала это два раза.... И какъ смѣшно онъ говоритъ, хи-хи-хи!

Няня тоже отъ души разсмѣялась.

— Ш-ш-ш! опять останавливала Синочка.

— Да поди ты! возражаетъ няня.—Кто-жъ имъ не велѣлъ положить своего прекраснаго дядю въ комнату для гостей! Но, видишь-ли, это слишкомъ бросилось бы намъ въ носъ. Сама-то все старалась увѣрить меня, что это тотъ самый крестьянинъ, отъ котораго она прежде брала масло и сыръ. Теперь, молъ, онъ разбогатѣлъ и явился съ какимъ-то дѣломъ къ самому. Ну, она ему „изъ любезности“ и предложила переночевать тутъ, на чердакѣ.

— Да, конечно, неловко показывать намъ, что они въ родствѣ съ крестьянами! замѣчаетъ Синочка.—А какъ онъ говоритъ-то! Въ первый разъ слышу такой дурацкій выговоръ. Неужто это все такъ говорятъ въ Гельдернѣ?... Вотъ было бы хорошо, еслибъ онъ остался на послѣ-завтра, въ день рожденія *самого!* Да я умру со смѣху, если увижу его посреди гостей.... Хи-хи-хи!

— Этого-то они и боятся. Вечеромъ, проходя мимо кабинета, я случайно услышала, какъ *самъ-то* намекалъ ему, чтобы онъ убрался послѣ-завтра пораньше.... А по моему было бы еще лучше, еслибъ онъ распростился завтра же, а то только грязи натакаетъ своими башмачищами, а „на чай“ нечего отъ него ожидать!..

Зѣвки. Скрипъ Задерживаніе постельныхъ занавѣсей. Новый скрипъ.

— Покойной ночи, няня!

— Спи съ Богомъ, Синочка!

Молчаніе.

Иансенъ тщетно старается уснуть на своей, пропитанной сыростью, постели.

VI.

На другой день.

Супруги фонъ-Миддельнесы едва успѣли утромъ выйти въ столовую, какъ туда явился и Иансенъ. Онъ поднялся съ зарею и успѣлъ уже обѣжать нѣсколько улицъ.... Спалъ онъ не особенно хорошо, хотя.... Да, постель ничего, недурна.... Да, да, спа-

сибо! Онъ уже думалъ о томъ, что человѣкъ, который будетъ провожать его, придетъ скоро. Онъ съѣстъ только маленькій кусочекъ хлѣба, потому что онъ вовсе не голоденъ.... Да, что-то нѣтъ аппетита.. Потомъ онъ находитъ, что ему лучше всего бы сейчасъ и проститься совсѣмъ. Онъ разсчиталъ, что ему гораздо удобнѣе будетъ вечеромъ, послѣ осмотра города, съѣсть прямо на поѣздъ въ Дельфтъ... Значить, онъ будетъ тамъ уже утромъ, и вообще скорѣе попадетъ къ своимъ, о которыхъ очень соскучился.

Господинъ фонъ-Миддельнесъ соглашается съ тѣмъ, что „господинъ Иансенъ“ поступитъ такъ вполне цѣлесообразно, хотя было-бы очень пріятно, еслибъ „господинъ Иансенъ“ провелъ у нихъ еще одинъ вечеръ—въ тѣсномъ... дружескомъ кругу, да кстаги и переночевалъ бы еще одну ночь.... Ну, если не угодно, надо съѣсть еще хотя бутербродъ, чтобы подкрѣпитъ для предстоящаго путешествія...

Госпожа фонъ-Миддельнесъ отрѣзываетъ кусочекъ сыру и подаетъ гостю.

— Благодарю, но, право, не могу!...

Проводникъ уже дожидается въ передней.

Прощаніе въ комнатахъ довольно задушевное. Господинъ фонъ-Миддельнесъ даже желаетъ „почтенному дядѣ“ счастливаго пути, а супруга его выражаетъ надежду, что „дядя“ найдетъ свою семью въ полномъ здоровьѣ.

Когда Иансенъ готовится выйти въ коридоръ, хозяйнѣ еще добавляетъ:

— Можетъ быть, вамъ вздумается измѣнить вашъ планъ,— милости просимъ назадъ. Нашъ домъ всегда открытъ для васъ, и чѣмъ больше бы вы у насъ прогостили, тѣмъ лучше!... Что касается поѣзда, то вамъ, конечно, извѣстно, что вечерній дельфтскій отходитъ безъ четверти восемь.

— Благодарю... Только онъ отправляется въ восемь съ четвертью. Я сейчасъ купилъ себѣ пачку сигаръ, на которой подробное расписаніе поѣздовъ.

— Ахъ, да! Вѣрно, совершенно вѣрно—восемь съ четвертью... Но, знаете-ли, лучше поспѣть на полчаса раньше, чѣмъ опоздать на полминуты, говоритъ господинъ фонъ-Миддельнесъ.

— Ну, дѣточки, будьте здоровы и веселы!

Съ этимъ послѣднимъ пожеланіемъ Іансенъ выходитъ въ переднюю.

— Подойди-ка сюда, дѣвчурка! крикнулъ онъ проходившей Сивочкѣ.

Сунувъ ей въ руку серебрянный талеръ. онъ добавилъ шепотомъ:

— Покажи это своей подругѣ: пусть знаетъ, что и „гельдеряскіе медвѣди“ умѣютъ цѣнить услуги.

Сивочка вспыхнула и пробормотала: „благодарю васъ!“

Затѣмъ мужчины обмѣниваются новыми рукопожатіями и благопожеланіями, при чемъ Іансенъ, слава Богу, не обмолвился названіемъ „племянника“.

Заявивъ проводнику, что онъ желаетъ ѣхать прямо къ морю, Іансенъ выходитъ на улицу.

Господинъ же фонъ-Миддельнесъ потираетъ свои аристократическія руки и, возвратившись въ столовую, говоритъ своей супругѣ:

— Ну, благодареніе Господу! У меня точно гора свалилась съ плечъ!

— Да, я была увѣрена, что онъ вернется вечеромъ, отвѣчаетъ супруга.—За то что ты обошелся съ бѣднымъ старичкомъ такъ любезно, надо поцѣловать тебя...

И она даритъ своего Шарля крѣпкимъ поцѣлуемъ, охотно принимаемымъ и возвращаемымъ имъ.

— Да, милая Эмилиа, говоритъ онъ,—ничего не подѣлаешь: разница общественныхъ положеній имѣетъ огромное значеніе... Она играетъ громадную роль даже между родственниками. Выше поставленный всегда компрометируется, когда онъ принимаетъ ниже поставленнаго, хотя бы это былъ даже родной... братъ. Я же стою на такой высотѣ, которая особенно обязываетъ меня остерегаться всякаго компрометирования и избѣгать всякихъ униженій

VII

О д н а к о.

Спустя приблизительно годъ послѣ путешествія Іансена въ столицу, онъ получаетъ письмо слѣдующаго содержания:

„Многоуважаемый и глубоко цѣнимый, дядя!

Съ удовольствіемъ припоминая и наше пребываніе у васъ, и ваше посѣщеніе насъ въ прошломъ году, мы скорбимъ, что лишены возможности видѣть васъ еще разъ у себя, такъ какъ мы теперь положительно не въ состояніи предложить вамъ хоть маломальски приличный ночлегъ. Надо сказать вамъ, достоуважаемый дядя, что мы вынуждены были взять гораздо меньшую квартиру. Этому виною послѣдній, общеизвѣстный, финансовый кризисъ, въ связи съ рядомъ другихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Страшное пониженіе цѣнностей, на приобрѣтеніе которыхъ я употребилъ почти все свое состояніе, довело насъ до крайности. Въ виду того, что вы уже не разъ выказали намъ самыя горячія родственныя симпатіи (всегда находившія не менѣе горячій откликъ въ нашихъ сердцахъ), я рѣшаюсь обратиться къ вамъ, дорогой дядя, съ покорною и убѣдительною просьбою ссудить меня—за какой вамъ угодно будетъ процентъ—суммою въ 2400 марокъ, которую и благоволите выслать въ теченіе грехъ дней. Отъ исполненія вами этой моей просьбы зависятъ честь и благосостояніе всей моей семьи. Умоляю васъ не наносить мнѣ послѣдняго удара отказомъ, Обрадуйте меня скорѣйшею высылкою просимой мною суммы и будьте увѣрены въ всегдашней преданности и глубочайшемъ уваженіи
вашего племянника и друга

Ш. фонъ-Миддельнесъ.

Гаага, 3-го ноября 188* г.

P. S. Просимъ передать нашъ сердечный привѣтъ вашей уважаемой супругѣ, а нашей тетускѣ, и всѣмъ вашимъ милымъ дѣткамъ“.

По прочтеніи этого посланія гелдернскій дядя послѣшно ушелъ въ поле. Въ груди его боролись двѣ силы, добрая и злая: первая кричала „да!“ вторая—„нѣтъ!“

Возвратился онъ домой такимъ печальнымъ и грустнымъ, какимъ Анна-Лиза еще ни разу не видала его.

Передъ отходомъ ко сну онъ долго читалъ евангеліе. Ночью онъ спалъ совершенно спокойно, а утромъ онъ вложилъ въ конвертъ, адресованный на имя господина фонъ-Миддельнеса, 2400 марокъ и записку такого рода:

„Прошу выслать расписку. Спекуляціи надо всегда совершать осторожно. Поклонъ. Свѣшу. Г. Іансенъ.

Б. 4-го ноября 188* г.“

Такъ поступилъ провинціальный дядя. Прочитавъ его записку, госнодинъ фонъ-Миддельнесъ разразился язвительнымъ хохотомъ, а у его супруги сдѣлалась въ то же время такая страшная мигрень, что вынуждены были послать за однимъ изъ знаменитѣйшихъ столичныхъ врачей.

* * *

Я помню, милый другъ, какъ ты, дитя свободы,
 Вступала въ міръ, въ разцвѣтъ юныхъ силъ,
 Стмясь надъ бурями житейской непогоды,
 Не въря въ грусть оплаканныхъ могилъ.
 Тебя манила жизнь, какъ праздникъ многошумный,
 Какъ греза яркая, она тебя звала...
 И ты пошла, дитя, пошла на подвигъ трудный,
 И жизни молодость свою ты понесла...

Прошли года, какъ сонъ... я жилъ одной мечтою,

Я звалъ мою любовь, волнуясь и грустя...

Я звалъ мою любовь... и вотъ теперь съ тобою

Я снова встрѣтился, страдая и любя.

Осыпана кругомъ душистыми цвѣтами—

Насмѣшкой горькою надъ жизнью молодой—

Лежала ты въ гробу, съ застывшими устами,

Лежала ты нѣмая предо мной...

И все, что я таилъ въ душѣ своей глубоко,

О чемъ когда-то робко грезилъ я,

Ты унесла съ собой, мой бѣдный другъ, далеко,

Въ таинственную тишь небытія...

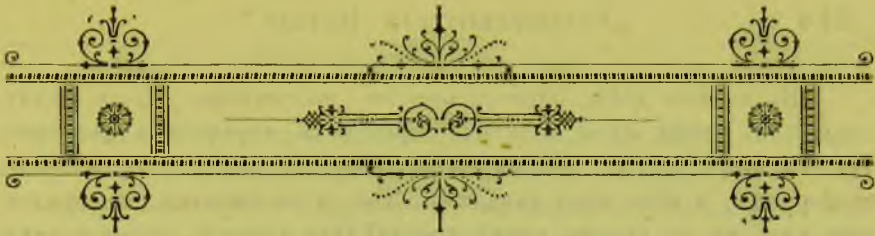
У гроба плакалъ я... а свѣчи догорали...

И мертвые цвѣты на мраморномъ чемъ

О райскихъ снахъ мнѣ кротко прошептали,

О грезахъ юности, разбитыхъ на земль...

А. Туркинъ.



О Д И Н Ъ

(Разказъ).

О. И - н а.

Трудно описать то радостное чувство, какое охватило старую Марью Ильинишну, когда пріѣхалъ ея сынъ, Аркадій Петровичъ Глѣбскій. Жить вмѣстѣ со своимъ единственнымъ сыномъ было ея давнишней мечтой. Она много разъ писала ему въ Петербургъ, испрашивая разрѣшеніе продать домъ, находившійся на окраинѣ города, и пріѣхать къ сыну, но каждый разъ получала отказъ въ однихъ и тѣхъ же словахъ.

Аркадій писалъ, что она—старая женщина, и Петербургъ ничего, кромѣ мелкихъ тревогъ и повседневнаго шума, не внесетъ въ ея жизнь, требующую на старости лѣтъ и покоя, и полной тишины. Что касается до дома, то онъ просилъ пока его не продавать, потому что со временемъ онъ, быть можетъ, самъ пріѣдетъ. Старушкѣ оставалось только лелѣять эту надежду, которая, наконецъ, сбылась.

Въ своемъ домѣ, однако, они не поселились. Домъ былъ старый и, чтобы жить въ немъ, требовалъ серьезнаго ремонта. Но стоило-ли тратить деньги на ремонтъ стараго дома, который, во-первыхъ, и безъ того давалъ доходы, а во-вторыхъ, находился еще чуть не на самомъ концѣ города? Они рѣшили, что не стоитъ и поселились въ домѣ Звѣрева, податнаго инспектора. Аркадію нужны были бібліотека, почта, и все это какъ разъ было недалеко отъ снятой ими квартиры.

Нужно было видѣть тотъ дѣтскій восторгъ, съ какимъ старушка обставляла новую квартиру! Она суетилась, бѣгала, разставляла мебель, вѣшала картины, зеркала. Аркадій почти не принималъ никакого участія и только, когда очередь дошла до его кабинета, оживился. Тутъ происходило не мало споровъ, Марья Ильинишна увѣряла, что кровать нужно поставить непременно къ печкѣ, а Аркадій говорилъ, что здѣсь ей не мѣсто: и слишкомъ жарко можетъ быть, и не уютно... Потомъ письменный столъ... По мнѣнію старушки, его нужно было поставить противъ кровати, а сынъ съ этимъ не соглашался.

Начинался новый споръ, и старушка, скрѣпя сердце и грустно вздыхая, должна была отступить отъ этой комнаты.

Аркадію Петровичу шелъ двадцать восьмой годъ. Окончивъ N-скую гимназію, онъ уѣхалъ въ Петербургъ и поступилъ на юридическій факультетъ. Но въ университетѣ онъ пробылъ недолго. Со втораго года онъ увидѣлъ, что его призваніе не юриспруденція. Ему казалось, что истинное призваніе его это—литература.

Онъ оставилъ университетъ и сталъ работать въ газетахъ. Когда онъ былъ еще юношей, то напечаталъ свою первую повѣсть и еще тогда мечталъ о литературной славѣ. Со втораго года ему удалось пробраться на страницы двухъ толстыхъ журналовъ, напечатавъ два небольшихъ разсказа. Его замѣтили, и критика сказала, что у молодого разсказчика есть искра.

Съ этого времени Аркадій окончательно рѣшилъ, что онъ будетъ писателемъ. Во-первыхъ, его замѣтили, а во-вторыхъ, онъ чувствовалъ, что это единственное, къ чему его тянетъ. Получая кромѣ того изъ дому ежемѣсячно деньги, онъ вполне могъ суще-

ствовать литературнымъ трудомъ. Онъ приобрѣлъ знакомства, кое-какія связи и сдѣлался литераторомъ.

Въ то же время Аркадій не переставалъ чувствовать, что жизнь чѣмъ-то его не удовлетворяетъ.

Не смотря на то, что судьба ему почти во всемъ благопріятствовала, онъ все чаще и чаще скучалъ, хандрилъ и томился чѣмъ-то смутнымъ и мало опредѣленнымъ. Иногда онъ съ тоской думалъ о томъ, что у него скоро не станетъ темъ и онъ испишется. Мысль эта его угнетала. Въ другое время ему казалось, что у него нѣтъ никакихъ опредѣленныхъ идеаловъ въ жизни и что писать нужно не такъ, какъ онъ пишетъ и какъ всѣ пишутъ, а иначе.

Больше и чаще всего Аркадію Петровичу казалось, что онъ одинокъ и ему недостаетъ какого-то полного, всеобъемлющаго счастья. Надъ этимъ онъ особенно сильно задумывался и въ эти минуты рѣшалъ, что всѣ страданія человѣка происходятъ отъ этихъ вѣчныхъ порывовъ къ полному, всеобъемлющему, но невѣдомому счастью.

„Нужно что-нибудь сильное, могучее, опредѣленную цѣль, привязанность“... думалъ онъ въ эти минуты;—можетъ быть, я еще не достаточно привязанъ къ искусству...

Аркадію стало казаться, что онъ долженъ оставить Петербургъ и уѣхать въ N-скъ.

„Здѣсь живутъ больше порывами и нервами!“ рѣшалъ онъ;—„здѣсь моя душа никогда не успокоится и не перестанетъ рваться къ тому, что люди называютъ счастьемъ“.

И онъ уѣхалъ.

Своей комнатою Аркадій завялся самъ. Нельзя сказать, чтобъ у него не было вкуса, потому что кабинетъ вышелъ и уютнымъ, и занимательнымъ. Въ комнатѣ было три окна, изъ которыхъ одно выходило на улицу, а два—въ садъ, густой, тѣнистый садъ, какіе только встрѣчаются въ провинціяхъ.

На стѣнахъ онъ развѣсилъ нѣсколько копій картинъ съ работъ извѣстныхъ художниковъ. Преобладалъ жанръ и пейзажъ. Все это были подарки молодыхъ художниковъ, его близкихъ зна-

комыхъ и даже пріятелей. По обѣимъ сторонамъ письменнаго стола красовались двѣ большія цинкографіи съ портретовъ Толстого и Тургенева. На этажеркѣ и на всѣхъ столикахъ были разбросаны книги, журналы и газеты.

Когда квартира была обставлена, онъ остался ею очень доволенъ. Аркадію нравились старинная тяжелая мебель, крупныя зеркала, большія, высокія окна и сдѣланный подъ паркетъ полъ. Отъ всего этого вѣяло немножко стариной.

Онъ подходилъ къ окнамъ и, глядя на сонную улицу, на небольшіе хорошенькіе домики, на стаю голубей, клевавшихъ разсыпанное просо по срединѣ улицъ, думалъ:

„Покой... тишина... Если я все это искалъ, то, кажется, нашелъ“....

Довольна была всѣмъ и Марья Ильинишна. О, всѣмъ, не исключая даже кабинета! Въ то время, какъ Аркадій любовался молча и больше про себя, ея восторгъ былъ шумный, болтливый. Ей хотѣлось со всѣми дѣлиться, передъ каждымъ изливать свои чувства. Радость старушки отпирывала только та небольшая перемѣна, какую она замѣтила въ сынѣ.

Лицо Аркадія постарѣло: черты стали суровѣе, а между глазъ легли тонкія, едва уловимыя морщинки. Ей казалось, что онъ задумывался чаще прежняго и сталъ молчаливѣе. Въ выраженіи лица и во всѣхъ движеніяхъ, вялыхъ и нѣсколько лѣнивыхъ, чувствовалось что-то, похожее на утомленіе и усталость. Марья Ильинишнѣ иногда казалось, что онъ скучаетъ и она терзалась.

Однажды она рѣшилась спросить его объ этомъ.

Аркадій вечеромъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и читалъ газету. Старушка стояла подлѣ полуотворенныхъ дверей и смотрѣла на него. Она видѣла, какъ онъ положилъ на столъ газету и задумался.

Марья Ильинишна вошла и, приблизившись къ Аркадію, положила на его плечо свою маленькую, сухую руку.

— Аркадій!.. тихо произнесла она.

— Что, мама?

— Ты все скучаешь... Тебѣ, я вижу, со мной скучно... Ты можешь быть, жалѣешь, что пріѣхалъ сюда!

— Что вы, что вы, мама! отвѣтилъ Аркадій: вовсе не жалѣю! Мнѣ Петербургъ надоѣлъ... тамъ только шумъ одинъ...

— Такъ о чемъ же ты скучаешь, родной? не унималась старушка.

— Я и самъ, мама, не знаю! Я и тамъ скучалъ. Вы думаете, что въ столицѣ не скучаютъ люди? Еще больше.

Послѣ этого разговора Марья Ильинишна немного успокоилась.

„Поженился бы... Скучно ему такъ-то!“ подумала она, и въ ея старческомъ воображеніи потянулись картины.

Аркадій послѣ ухода матери облокотился на столъ. Въ его головѣ тоже рождалась мысль.

„Правда, я и здѣсь скучаю“... подумалъ онъ: „не оттого-ли это, что, въ сущности, жизнь мало меня интересуетъ и что меня вовсе не трогаютъ людскія радости, счастье и горе? Я люблю только свои чувства, мысли, идеи, интересуетъ меня только жизнь, на сколько она можетъ служить для меня темой“...

И взглянувъ задумчиво въ раскрытое окно, за которымъ благоухала весенняя ночь, онъ прошепталъ:

— Надо работать. Это, кажется, единственное, что мнѣ осталось въ жизни.

Въ первое воскресенье, сидя за утреннимъ чаемъ, Марья Ильинишна сказала Аркадію:

— Сегодня будемъ новоселье справлять, Аркадій...

— Новоселье? удивился онъ.

— Да, новоселье. Пригласила нашихъ домохозяевъ. Хорошіе люди. Да вотъ самъ увидишь! Вчера вечеромъ къ нимъ зашла, а они пристали: „вы, говорятъ, должны насъ познакомить съ своимъ сыномъ“. Особенно Леля... ихъ дочка... такая милая барышня! „Непремѣнно, непремѣнно, говоритъ, должны познакомить! Вашъ сынъ долженъ быть такой умный: онъ писатель.“

— Эта Леля, должно быть, еще такая наивная дѣвочка! мягко улыбаясь, сказалъ Аркадій.

— Премилая. Я не могла отказать. Вѣдь, ты ничего противъ этого не имѣешь?

— Конечно, ничего. Очень радъ.

На самомъ дѣлѣ, Аркадію было все равно.

Нѣсколько дней онъ уже работалъ надъ одной вещью и началъ втягиваться въ работу. Онъ меньше скучалъ и рѣдко выходилъ изъ комнатъ.

Работа заставляла его забывать на-время весь окружающій міръ. Онъ создавалъ свой собственный міръ, въ которомъ находилъ не только отраду и успокоеніе, но подчасъ и высокое наслажденіе.

Онъ переживалъ вмѣстѣ съ своими героями ихъ радости, восторги, невзгоды и печали и забывалъ, что это не настоящая жизнь, а вымышленная.

Онъ былъ въ эти минуты счастливъ.

Звѣревы занимали во второмъ домѣ оба этажа, верхній и нижній. Внизу жила прислуга, а на верху сами. Въ нижнемъ этажѣ двѣ комнаты занимала еще сестра Павла Васильевича Звѣрева, старая дѣва, высокая и тощая, какъ извѣстный рыцарь печальнаго образа.

Павелъ Васильевичъ былъ высокій, полный, лѣтъ сорока пяти, мужчина и походилъ на свою сестру только ростомъ. У него была большая, красивая голова и крупные усы свитые на концахъ въ тонкую стрѣлку.

У Павла Васильевича былъ кроткій, созерцательный характеръ. Онъ любилъ природу и хозяйство. Онъ почти никуда не ходилъ. Въ головѣ его постоянно копошились проекты объ улучшеніи своего домашняго мірка.

Верстахъ въ ста отъ города у него было небольшое имѣнье. Имѣньемъ управлялъ онъ самъ и ѣздилъ туда, какъ только представлялась возможность. Имѣнье называлось „Воробьевкой“ и было расположено вблизи маленькой рѣчки Кислой. Кромѣ того недалеко отъ усадьбы находился сосновый лѣсъ.

Дочь Звѣревыхъ, семнадцатилѣтняя Леля, только что окончила курсъ въ мѣстной гимназіи. Какъ и всѣ барышни, она иг-

рала на рояли, гуляла и изрѣдка читала. До этихъ поръ ей еще никто не нравился, но иногда ей хотѣлось любить.

Леля была средняго роста, немного худенькая, но очень хорошенькая. У ней были бѣлокурые, слегка выщипсыя волосы и отцовскіе каріе глаза. У нихъ въ голубиной висѣли двѣ кони съ грѣзовскихъ головокъ, и Леля очень походила на одну изъ нихъ.

Когда Глѣбскіе переѣхали къ нимъ въ квартиру, то Леля сильно заинтересовалась новыми квартирантами, — она узнала отъ отца, что Глѣбскій — писатель, и ей захотѣлось съ нимъ познакомиться.

Однажды Леля увидала Аркадія Петровича изъ окна и немного разочаровалась. Глѣбскій мало походилъ на писателя, какимъ она его себѣ представляла. Лелѣ было очень досадно. Тѣмъ не менѣе желаніе познакомиться съ нимъ ея не оставило.

Леля познакомилась.

Въ воскресенье она и мама пришли къ Глѣбскимъ. Аркадій Петровичъ работалъ у себя въ кабинетѣ и вышелъ только къ чаю. За чаемъ онъ говорилъ мало, а Леля не могла никакъ втянуть его въ разговоръ.

Зато много говорила Марья Ильинишна. Темой для нея служилъ все еще пріѣздъ сына. Она готова была говорить на эту тему цѣлый день, только бы ее слушали.

Выпивъ два стакана, Аркадій извинился, что долженъ гостей оставить: у него спѣшная работа. Онъ ушелъ въ свой кабинетъ, а они остались.

Лелѣ понравились его глаза и мягкая, немного грустная улыбка. Она замѣтила, что, когда онъ улыбался, глаза оставались спокойными. Ей это тоже нравилось. Она находила, что это признакъ серьезности. Потомъ Лелѣ понравилось, что онъ совсѣмъ не спрашивалъ ее, когда она кончила курсъ, кто были у ней учителя и какіе она получала баллы изъ такого-то предмета.

Леля нашла, что Глѣбскій мало похожъ на другихъ.

Но при этомъ ей показалось, что онъ какъ будто совсѣмъ не обращалъ на нее вниманія. Лелю это разсердило, и она подумала про себя.

„Хорошо. Посмотримъ“...

Они вернулись домой.

Леля ушла въ свою комнату. Ей было обидно, что такъ окончилось ея первое знакомство съ Глѣбскимъ. Она думала, что онъ будетъ ей говорить о своихъ сочиненіяхъ, дастъ ей свои книги и станетъ интересоваться ея мнѣніемъ. Лелѣ хотѣлось съ этого дня совсѣмъ разочароваться въ немъ.

Леля лѣчилась отъ малокровія. Докторъ совѣтовалъ ей больше гулять и дышать свѣжимъ воздухомъ. Теперь былъ еще май, а въ іюнѣ она собиралась ѣхать въ Воробьевку. Пока же Леля просиживала цѣлыя дни въ своемъ саду. Обыкновенно она брала съ собой или работу, или книгу и уходила въ бесѣдку.

Бесѣдка была новая. Кругомъ росли молодыя липки и высокой кустарникъ. Вѣтки и листья касались рѣшетчатыхъ стѣнонь и ползли въ бесѣдку. Въ самомъ саду было много яблонь, вишень и старыхъ деревьевъ. Теперь яблони и вишни цвѣли и казались осыпанными пушистымъ снѣгомъ.

Когда на другой день Леля вошла въ садъ, то замѣтила издали, что въ бесѣдкѣ какъ будто сидитъ Глѣбскій, — Лелѣ это не понравилось. Она считала свою бесѣдку не прикосновенной. Но когда прошло это первое чувство, ею овладѣло желаніе отомстить Глѣбскому за вчерашнее.

Она постаралась придать своему лицу равнодушное выраженіе, а голосу насмѣшливый тонъ.

При входѣ Лели Глѣбскій всталъ и снялъ свою мягкую, сѣрую шляпу.

— Здравствуйте, господинъ писатель!

Глѣбскій ласково улыбнулся.

— До писателя мнѣ еще далеко, Елена....

— Павловна... Вы забыли даже, какъ меня зовутъ. Это мило!

— Простите, забылъ, сказалъ онъ и снова улыбнулся.

— А еще писатель! У писателей должна быть развита память!

— До писателя мнѣ еще далеко, Елена Павловна. Пока я только обыкновенный журнальный работникъ. Кромѣ того мнѣ

хотѣлось бы то же время быть и просто человѣкомъ...

Глѣбскій сказалъ это такъ просто и естественно, что Лелѣ стало неловко отъ своего насмѣшливаго тона.

— Это, навѣрное, авторская скромность! проговорила она уже своимъ обыкновеннымъ голосомъ.

— Нисколько. Почему вы такъ думаете?

— Почему я такъ думаю? Такъ... мнѣ кажется...

— Напрасно. Я люблю свой трудъ и мнѣ пріятно было-бы считать себя выше того, чѣмъ я теперь могу быть. Но для того, чтобы быть писателемъ, нужно много, очень много работать, а потомъ нужно любить этотъ трудъ, можетъ быть, больше и сильнѣе, чѣмъ я люблю.

Аркадій немного помолчалъ и прибавилъ:

— А у васъ здѣсь хорошо, прелесть! Эти липки, яблони, вишни... Чувствуется, что жизнь въ этомъ домѣ полная чаша... Довольство, покой и счастье... Хорошо.

Онъ задумчиво сталъ смотрѣть въ садъ.

Быль полдень. Солнце золотистыми яркими пятнами скользило по верхушкамъ деревьевъ. Небо было голубое и чистое, и только кое-гдѣ его бороздили тонкими штрихами перистыя облачка. Вокругъ все утопало въ яркой и сочной зелени.

— Довольство, покой...но развѣ это и есть счастье?—сказала Леля.

— А въ чемъ же, по вашему, счастье?

— Въ чемъ счастье?... Я, право, не знаю, въ чемъ... только не въ этомъ...

Лели не понимала, какое счастье могло быть во всемъ этомъ. Покой и довольство окружали её съ того дня, какъ она стала себя помнить. Она смутно чувствовала, что счастье въ чемъ-то другомъ. Но она не могла объяснить и разговоръ перемѣнился.

— Я только сегодня замѣтилъ, что у васъ такая прелесть—садъ, говорилъ Глѣбскій:—первый день, какъ вышелъ сюда. Я, вѣдь, страшный домосѣдъ.

— Вы, должно быть, очень счастливы!

— Почему это?

— Довольство, покой, счастье.

Леля громко расхохоталась и Аркадій тоже не могъ не улыбнуться.

На другой день Аркадій и Леля снова встрѣтились въ саду. Первымъ, какъ и вчера, пришелъ Глѣбскій.

Леля держала въ рукахъ работу, а Глѣбскій сидѣлъ противъ нея и мялъ шляпу.

— Вотъ вы затронули вчера счастье... говорилъ онъ полчасу спустя: — а въ сущности на землѣ счастья нѣтъ, и ни одинъ человѣкъ не достигалъ его. Счастье это загадка, которой люди томится, но которую не могутъ разгадать. Счастье это сфинксъ, туманная даль, грезы... О счастье нельзя думать, а можно только грезить. Спросите любого человѣка, что онъ считаетъ счастьемъ, и онъ затруднится дать вамъ объясненіе.

-- Почему же иногда люди говорятъ про себя, что они счастливы?—сказала Леля.

— Люди принимаютъ за счастье временное состояніе души и тѣла, которое лучше обыкновеннаго. Если хотите, это тоже—счастье, но не то, которое заставляетъ человѣка томиться чѣмъ-то неопредѣленнымъ и смутнымъ. Даже въ эти минуты временнаго счастья человѣкъ продолжаетъ грезить о какомъ-то иномъ счастьеѣ, полномъ и постоянномъ... Но его нѣтъ и не можетъ быть.

Леля вспомнила, что она вчера затруднилась отвѣтить, что такое счастье, и подумала, что это, можетъ быть, и правда. Но Лелѣ тяжело было примириться съ тѣмъ, что на землѣ счастья нѣтъ и не можетъ быть. Она о счастье часто мечтала и вѣрила, что оно есть и ждетъ ее. Ей было семнадцать лѣтъ, и она не могла не мечтать о счастьеѣ и не вѣрить въ него.

— По моему, человѣкъ только не можетъ опредѣленно выразить въ словахъ, что такое счастье, но неправда, что въ жизни его совсѣмъ нѣтъ!—горячо произнесла Леля.—Неправда! Безъ счастья и жить не стоитъ!

— Я не съ тѣмъ говорю, чтобы разочаровывать вашу вѣру въ счастье....—тихо сказалъ Глѣбскій.—Вы ужъ тѣмъ счастливѣе другихъ, что вѣрите въ него. Кромѣ того вы еще такъ молоды, красивы и имѣете полное право требовать отъ жизни всего. А мнѣ

кажется минутами, что высшее благо, какое жизнь может дать человѣку, это—покой. Къ этому въ концѣ концовъ должны придти всѣ люди. Когда человѣкъ устанетъ гнаться за счастьемъ и увидить, что то, за чѣмъ онъ гнался, есть ничто иное, какъ безформенная мечта, несбыточные грезы, онъ пойметъ, что высшее благо, какое еще доступно человѣку,—покой....

Леля вопросительно взглянула на Глѣбскаго.

— Да, покой.... Когда-нибудь люди поймутъ, что не из-за чего гнаться и тогда будетъ меньше зла въ мірѣ. Нужно только, чтобы человѣкъ былъ проникнуть какой-нибудь одной общей идеей въ жизни. Вотъ вы только-что сказали, что безъ счастья жить не стоитъ, а я думаю, что стоитъ, стоитъ ради одной идеи, которой проникнута жизнь человѣка. А вѣдь, и правда!.. Плохо только тѣмъ, у кого нѣтъ этой идеи, нѣтъ никакой иной цѣли, кромѣ счастья....

Леля задумалась и спросила себя: „какая у меня цѣль въ жизни?“ А Глѣбскій продолжалъ.

— Жизнь, мнѣ кажется,—величайшій даръ и благо; сами люди создали себѣ изъ нея непрерывный рядъ мукъ. Посмотрите, какъ хорошо вокругъ! Развѣ это не благо?

Онъ смотрѣлъ въ садъ, и на его лицѣ рождалась улыбка.

Лелю тянуло въ садъ.

Послѣ его ухода она иногда думала о Глѣбскомъ и о томъ, что онъ говорилъ. Леля многого не понимала изъ того, что онъ говорилъ, но ей казалось одно изъ двухъ: или онъ несчастный, или человѣкъ, который взялъ отъ жизни все, вѣдь, онъ долго жилъ въ Петербургѣ. Чаще ей приходило на умъ, что Глѣбскій несчастный и разочарованный.

Но отчего онъ могъ быть несчастный? Онъ писатель. Правда, она еще ни одного произведенія его не читала, но она увѣрена почему-то, что онъ даровитъ и талантливъ. Можетъ быть, всѣ писатели—разочарованные. А можетъ быть, онъ когда-то любилъ и не встрѣтилъ сочувствія....

Въ маленькой головкѣ Лели путались догадки.

„Онъ не особенно красивъ,—думала Леля,—но онъ такой

умный. У него хорошіе глаза и добрая улыбка. Отчего онъ такой странный“.

И онъ начиналъ интересоваться Лелю больше и больше.

Глѣбскаго тоже тянуло.. Ему нравились садъ и Леля. Садъ не напоминалъ петербургскихъ скверовъ, а Леля мало походила на тѣхъ женщинъ и дѣвушекъ, которыхъ онъ изрѣдка встрѣчалъ на журъ-фиксахъ, собраніяхъ, выставкахъ и публичныхъ лекціяхъ.

Вообще же женщинъ Аркадій зналъ мало. Можетъ быть оттого, что жилъ жизнью замкнутой и больше любилъ книги, газеты, свои мысли и планы, чѣмъ внѣшній міръ, а можетъ быть оттого, что не встрѣчалъ такихъ, которыя бы его могли сильно заинтересовать. Въ первые годы по пріѣздѣ въ Петербургъ онъ велъ очень разсѣянную жизнь, но потомъ ему это надоѣло, и онъ сталъ уходить въ себя.

Леля была такая простенькая. Она носила ситцевыя матроски, ходила съ распущенными волосами и держалась свободно. Ему это нравилось.

Потомъ ему нравилось, что онъ можетъ передъ ней высказывать свои мысли въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онѣ возникаютъ въ его головѣ.

И Аркадій шелъ въ бесѣдку.

— Есть люди, которые всю жизнь гонятся за счастьемъ,— говорилъ Аркадій нѣсколько дней спустя Лелѣ.—И это—самые несчастные люди! Гоняясь, въ сущности, за мечтой, имъ предстоитъ рядъ самыхъ глубокихъ и сильныхъ разочарованій, граничащихъ съ признаніемъ, что вся жизнь—суета и пустая химера. Я не могу это хорошо рассказать, но самоубійцы, думается мнѣ, могли бы объяснить эту печальную тайну жизни.

Аркадій снялъ шляпу и вытеръ платкомъ лобъ.

— Представьте человѣка, который больше половины своей жизни посвятилъ на погоню за счастьемъ, которое ему почему-то представилось въ видѣ богатства, славы. Онъ достигъ и богатства, и славы. Казалось бы, счастье поймано и остается только имъ наслаждаться. А между тѣмъ, когда пройдетъ первое упоеніе и онъ привыкнетъ и къ славѣ, и къ богатству,—онъ начинаетъ

чувствовать, что все это его не удовлетворяетъ, что это далеко не то счастье, о которомъ онъ мечталъ... Начинается погоня за новымъ счастьемъ,—и такъ безъ конца, пока онъ не придетъ къ выводу, что и его счастье, и человѣческое, и вся жизнь—суета и химера. Къ сожалѣнію, приходятъ къ этому обыкновенно тогда, когда человѣкъ уже не можетъ въ себѣ воспитать ничего другого...

— Какъ же достичь того покоя, о которомъ вы говорите и который, по вашему, выше и прочнѣе счастья? спросила Леля.

— Нужно только любить что-нибудь больше себя!

Эта мысль ему пришла впервые, и онъ на минуточку задумался.

Въ разговорѣ Аркадію приходило много новыхъ мыслей, и эти мысли открывали ему каждый разъ новые, невѣдомые еще до сихъ поръ горизонты. Часто эти мысли были тѣмъ, что носилось до сихъ поръ въ его умѣ смутно и неопредѣленно. Аркадій находился въ тѣхъ годахъ, когда люди еще рѣшаютъ сложную задачу жизни.

— Наука, искусство, любовь къ ближнимъ. Посмотрите, сколько великихъ и прекрасныхъ задачъ въ жизни, говорилъ онъ.—Неужели изъ-за нихъ не стоитъ жить?

Отъ этихъ мыслей Аркадію становилось легко и радостно. А Леля думала:

„Нѣтъ, онъ не несчастный.“

Они встрѣчались каждый день.

Глѣбскій иногда бросалъ работу и приходилъ въ садъ. Онъ зналъ, что встрѣтитъ тамъ Лелю, которая будетъ его слушать и глядѣть на него своимъ открытымъ и яснымъ взглядомъ.

Ему пріятно было, что отъ Лели вѣетъ на него женственностью и теплотой и что въ ея присутствіи онъ меньше чувствуетъ себя одинокимъ.

Потомъ ему пріятно было, что Леля такая хорошенькая и что ей всего семнадцать лѣтъ.

Когда Леля смотрѣла на него съ недоумѣніемъ, онъ радовался, что ея головку мало еще тревожили вопросы и сомнѣнія и что ея мысли наивны и простодушны, какъ у ребенка. Ему нравилось, что Леля похожа на едва распустившійся цвѣтокъ.

Однажды когда они сидѣли въ бесѣдкѣ, Леля сказала Аркадію, что она скоро уѣдетъ въ Воробьевку.

— Если-бы вы знали, Аркадій Петровичъ, что за чудо эта Воробьевка! Лѣсъ недалеко, рѣчка въ десяти шагахъ отъ усадьбы. А что за лѣсъ! Старый, высокій,—зайдешь неба не видать. Страсть, какъ люблю деревню! Цѣлый бы годъ прожила и не соскучилась.

— Вамъ не жаль меня здѣсь одного оставлять?—сказала Аркадій и улыбнулся.

Леля тоже улыбнулась и сказала:

— Васъ? А если жаль....

Онъ ничего не отвѣтилъ.

Прощаясь съ Лелей, Аркадію стало немного грустно.

Стоялъ іюнь. Въ саду яблони и вишни отцвѣтали. Леля собиралась въ Воробьевку.

Лелѣ было жалко расставаться съ Глѣбскимъ. Она не скрывала отъ себя, что онъ ей нравится. Иногда Лелѣ казалось, что она могла бы его полюбить. Теперь она много думала о сборахъ въ Воробьевку и часто забывала о немъ. Лелѣ было семнадцать лѣтъ....

Нѣсколько дней подъ рядъ шелъ дождь. Небо заволакивалось тучами и хмурилось. Въ саду плакали деревья. По временамъ дождь переставалъ и сквозь разорванныя тучки показывались клочья голубого неба.

Потомъ снова ложь, дождь и дождь.

Они два дня не видались.

Глѣбскій сидѣлъ дома и никуда не ходилъ. Работать не хотѣлось. Оттого-ли, что за окномъ шелъ дождь и было пасмурно, или отчего другого. но ему было грустно.

И Аркадій думалъ:

„Отчего мнѣ иногда бываетъ грустно? Чего мнѣ недостаетъ въ жизни? Я молодъ, довольно обезпеченъ, вѣрю въ себя, у меня есть любимый трудъ; я пережилъ періодъ смутныхъ томленій и порывовъ къ невѣдомому счастью. Да, я этотъ періодъ пережилъ! Мысли мои стали трезвѣе, а желанія опредѣленнѣе...“

А между тѣмъ....

Даже въ минуты наибольшаго душевнаго покоя онъ чув-

ствуетъ, что ему чего-то недостаетъ въ жизни. Это онъ чувствовалъ и въ Петербургѣ, чувствуетъ и здѣсь, а тамъ еще сильнѣе, чѣмъ здѣсь.

Въ Петербургѣ ему казалось, что онъ—одинокъ. Онъ уходилъ въ театръ, на журъ-фиксы, собранія, литературныя вечера; на журъ-фиксахъ и литературныхъ вечерахъ онъ принималъ участіе въ разговорахъ, спорилъ. Но странно! Когда онъ возвращался обратно въ свою мансарду, онъ чувствовалъ, что еще больше одинокъ, чѣмъ прежде.

Когда онъ уѣзжалъ изъ столицы, то думалъ:

„Тамъ я успокоюсь и стану работать.“

Онъ бросилъ знакомства, связи, столичную сутолоку и пріѣхалъ въ надеждѣ, что получитъ то желанное успокоеніе души, которое не нашелъ тамъ. Правда, когда онъ работаетъ, онъ не чувствуетъ этой тоски жизни. Въ остальное время душа его попрежнему рвется къ чему-то неизвѣстному и невѣдомому. И это наперекоръ его трезвымъ мыслямъ, наперекоръ разуму.

Разумъ говоритъ, что на землѣ иного счастья нѣтъ, кромѣ покоя, а душа рвется.

Аркадій глядѣлъ черезъ окно въ садъ и думалъ:

„Можетъ быть, мнѣ недостаетъ женской любви, ласки? Я одинокъ“.

И онъ думалъ о Лелѣ.

Къ вечеру дождь пересталъ и небо прояснилось.

Аркадій вышелъ въ садъ и заглянулъ въ бесѣдку. Тамъ не было никого, но Леля завтра уѣзжаетъ, и онъ зналъ, что она придетъ.

„Я одинокъ“, продолжалъ думать Аркадій: „мнѣ нужно родственную душу, которая бы меня понимала, мнѣ нужно отзывчивое женское сердце“.

И Аркадій ждалъ, когда придетъ Леля.

У него въ головѣ созрѣло рѣшеніе, и онъ хотѣлъ сегодня же сказать о немъ Лелѣ.

„У ней много непосредственности“,—думалъ онъ: „она полюбить то, что я люблю,—и намъ будетъ хорошо. Я, кажется, еще

не люблю ее, но она мнѣ нравится, и я ее полюблю. Жизнь не романъ. Скоро влюбляются только у поэтовъ“....

Немного спустя пришла Леля. Она была такая розовая и хорошенькая, и Аркадію показалось, что онъ уже почти ее любить. Онъ ей сказалъ это.

Его охватывало волненіе, и онъ говорилъ нѣсколько хуже обыкновеннаго. Но Леля все поняла и слегка покраснѣла.

— Вы мнѣ очень нравитесь, Аркадій Петровичъ! сказала она,—я къ вамъ такъ привыкла.... Но я никогда еще не думала объ этомъ....

Леля помолчала и проговорила:

— Не то, не то я говорю! Совсѣмъ не то. Я сама, право, не знаю.. Знаете что, Аркадій Петровичъ? Пріѣзжайте въ Воробьевку. У насъ тамъ хорошо! Это такъ серьезно. . Я подумаю... скажу мамѣ... Пріѣзжайте чрезъ недѣлю. Непремѣнно!

Леля ушла, и съ полдороги крикнула:

— Непремѣнно! Слышите?...

Въ этотъ вечеръ Аркадій долго пробылъ въ саду.

Онъ видѣлъ, какъ гдѣ-то за садомъ багровая даль пылала и рдѣла и незамѣтно спускались на землю сумерки.

Небо предвѣщало хорошую, ясную погоду, жизнь Аркадію сулила то-же самое.

Прошло три года.

Надъ Воробьевкой стояли прекрасные сентябрьскіе дни. Въ воздухѣ чувствовалось приближеніе осени. Пали листья. По ночамъ лѣсъ шумѣлъ и разносилъ по полямъ свою меланхолическую пѣсню. Позже вставала заря и раньше умиралъ день.

Глѣбскій былъ третій годъ женатъ. Второе лѣто они проводили въ Воробьевкѣ, которую Павелъ Васильевичъ отдалъ въ придачу къ своей хорошенькой Лелѣ. Зимой они жили въ городѣ, и Аркадій изрѣдка ѣздилъ или въ Петербургъ, или въ Москву, гдѣ ему приходилось бывать по редакціоннымъ дѣламъ.

Вмѣстѣ съ ними жила и Марья Ильинишна.

Леля въ эти три года возмужала и еще больше похорошѣла. Выраженіе лица стало глубже и серьезнѣе. Леля была уже матерью.

Глѣбскій за это время измѣнился очень мало. Онъ немного пополнѣлъ.

Глѣбскіе жили хорошо. Прежде Аркадію Леля нравилась, а теперь онъ ее любилъ. Леля же въ мужѣ души не чаяла и гордилась.

Въ эти три года Аркадій сдѣлалъ большіе успѣхи. Онъ напечаталъ три-четыре вещи, которыя ему создали имя. Журналы наперегонку приглашали его въ сотрудники, критика предсказывала будущность.

Аркадій Петровичъ много работалъ. Леля иногда заходила къ нему въ рабочую комнату и заглядывала въ его рукописи. Въ эти минуты у него являлось желаніе подѣлиться съ ней своими мыслями и планами, но онъ, такъ хорошо выразившій свои мысли и идеи на бумагѣ, не зналъ, какъ выразить ихъ Лелѣ, чтобъ ей было понятно и интересно.

Онъ иногда пробовалъ, но съ первыхъ же словъ замѣчалъ, что Леля думаетъ совсѣмъ о другомъ—о ребенкѣ, хозяйствѣ или еще о чемъ-нибудь. Въ первое время его это огорчало, а потомъ съ уходомъ Лели онъ еще съ большей страстностью принимался за работу.

И онъ творилъ.

Критика находила, что творчество Глѣбскаго обладаетъ большою объективностью; она хвалила богатство и разнообразіе его темъ, удивлялась тому ясному и спокойному взгляду на жизнь, которымъ были проникнуты его созданія отъ начала до конца.

Въ одинъ изъ такихъ сентябрьскихъ дней въ Воробьевкѣ гостилъ старый пріятель Аркадія Петровича, другъ молодости и товарищъ по университету. Гость пріѣхалъ изъ Петербурга и былъ по профессіи литераторъ. Прокуровъ состоялъ присяжнымъ критикомъ при одной большой и распространенной петербургской газетѣ.

Это былъ высокій блондинъ, одѣтый въ изящный, модный костюмъ. Красивое съ тонкими чертами лицо Прокурова было блѣдно и поношено. Оно носило слѣды петербургскаго климата, бессонныхъ ночей и оргій.

Аркадій и Прокуровъ сидѣли на террасѣ. Они давно не видались и время за разговоромъ летѣло незамѣтно.

Вечерѣло. Съ террасы открывался прелестный видъ на рѣч-

ку и на поля. Тамъ, гдѣ поля сливались съ горизонтомъ, садилось солнце и окрашивало и небо, и поля, и рѣчку, и даль. Все тонуло въ розовыхъ лучахъ вечерней зари и погружалось въ кроткую, мечтательную задумчивость.

Прокуровъ глядѣлъ вдаль и говорилъ:

— Все это прекрасно... Поэзія, покой, сельское затишье... Но неужели тебя не тянетъ въ столицу, гдѣ жизнь бьетъ людей по нервамъ и гдѣ каждый мигъ чувствуешь, что живешь? Неужели ты здѣсь не одинокъ? Вѣдь, не смотря на всю эту прелесть, ты осужденъ здѣсь на полное умственное и нравственное одиночество...

— Одиночество... Всѣ люди одиноки.. —спокойно отвѣтилъ Аркадій:—и ты, и я, и всѣ тѣ, которыхъ жизнь бьетъ ежеминутно по нервамъ. Но въ то же время, если хочешь знать, одиночества нѣтъ и не можетъ быть.

Прокуровъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на Аркадія Петровича.

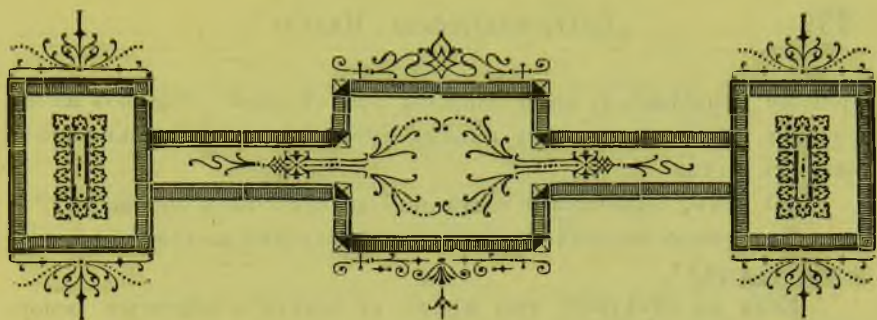
— Да, одиночества нѣтъ. То, что мы называемъ одиночествомъ, есть покой и вѣчная жизнь. Не та жизнь, которая ежеминутно бьетъ по нервамъ, а та, что даетъ тихую непрестанную радость и высочайшее въ мірѣ наслажденіе—сознавать, что ты полезенъ. Вѣда въ томъ, что люди ищутъ жизнь не въ самомъ себѣ, а внѣ себя... „In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne“... кажется, Шиллеръ сказалъ. И это правда.

— Ты отрицаешь одиночество...—возразилъ Прокуровъ.

— Я не отрицаю одиночества,—сказалъ Глѣбскій:—оно есть потому что всѣ люди одиноки, но въ то же время и не существуетъ. Міръ полонъ великолѣпныхъ тайнъ и глубочайшаго интереса, жизнь человѣческая требуетъ свѣта, истины, правды, любви. Сколько прекрасныхъ задачъ, которыхъ можетъ исполнѣ хватить на человѣческую жизнь. Неужели все это не можетъ доставить человѣку желаемого самоудовлетворенія? Нѣтъ, одиночества не существуетъ....

Аркадій Петровичъ глядѣлъ на Прокурова и въ его глазахъ свѣтились вѣра, покой и счастье.

И критикъ почему-то понялъ, что Глѣбскій не одинокъ и въ то же время—*одинъ*.



РЕПОРТЕРЫ И ПЕЧАТЬ ВЪ АМЕРИКѢ.

(Изъ „Jankeés fin de siècle“ С. Жусселена).

Е. К.

Жлюбите-ли вы репортеровъ? Желаете-ли быть „интервьюированными“? Нѣтъ ничего легче. Поѣзжайте въ Америку, и вамъ положительно не повезетъ, если подобное приключеніе не случится съ вами, по крайней мѣрѣ, раза два въ день. Въ началѣ эти „интервью“ покажутся вамъ смѣшными, вскорѣ вы начнете думать, что съ васъ уже довольно, и въ концѣ концовъ вы взбѣсуетесь, запираете свою дверь, баррикадируетесь, — и дѣлаете прекрасно, но, къ сожалѣнію, слишкомъ поздно: если вы имѣли неосторожность доставить матеріалъ Джеку, то его противникъ Чарли не оставитъ васъ въ покоѣ, пока вы не расскажете и ему какой-нибудь анекдотъ. Когда появляется репортеръ, его первый, самый обыкновенный, вопросъ таковъ: „Какъ вы находите Америку?“

Чтобы вы ни отвѣтили или даже вовсе ничего не отвѣтили все равно, онъ рѣшитъ, что ваше первое впечатлѣніе было превосходно. Когда эта формальность исполнена, формальность почти

столь-же неизбежная, какъ вопросы председателя суда объ имени и званіи подсудимаго, вашъ палачъ—ибо это дѣйствительно онъ—говорить вамъ:

„О чемъ, милостивый государь, желаете быть спрошены?“

Что иначе значить: „подъ какимъ соусомъ желаете быть скусаны, сударь?“

Если вы отвѣтите, что, право, не знаете,—любезный репортеръ старается облегчить ваше положеніе.

— Что вы дѣлаете, милостивый государь?

— Я путешествую по коммерческимъ дѣламъ.

— По какимъ именно дѣламъ?

— По торговлѣ шелкомъ и шелковыми издѣліями.

— Очень хорошо, милостивый государь, этого достаточно.

Надарапавъ нѣсколько словъ въ записной книжкѣ, вашъ собесѣдникъ исчезаетъ, а завтра утромъ вы съ удивленіемъ читаете статью въ цѣлыхъ два столбца, содержащую ваши впечатлѣнія, которыя вы никому не передавали, т. е. похвальное слово Америкѣ, сопровождаемое глубокомысленнымъ изслѣдованіемъ о торговлѣ шелкомъ.

Вы путешествуете для собственнаго удовольствія? Появится длинная тирада о вашемъ состояніи, наружности, вашихъ предположеніяхъ. Если, по несчастію, вы приѣдете съ какимъ-нибудь официальнымъ званіемъ, титуломъ, тогда ужъ зло положительно неотвратимо. Репортеръ сообщитъ о самыхъ мельчайшихъ вашихъ поступкахъ, меню вашего обѣда, число выпиваемыхъ вами стакановъ, всѣ слова, которыя только вы сказали, а если вы ровно ничего не сказали, все равно,—вамъ припишутъ слова и слѣлаютъ это такъ ловко, что въ концѣ концовъ вы сами повѣрите выдумкѣ.

Избѣжать репортера вещь невозможная; я думаю, что этого не сдѣлать и самому хитрому человѣку въ мірѣ. {Разсказываютъ, что одинъ англичанинъ поклялся быть нѣмымъ, какъ рыба. Послѣ цѣлаго дня, проведеннаго въ удачномъ избѣганіи репортера, англичанинъ поздно вечеромъ возвращается въ свой отель и къ ужасу своему видитъ, что репортеръ преспокойно лежитъ на его кровати.

Опасность репортера заключается въ томъ, что онъ очень

часто приписываетъ вамъ невѣроятныя глупости. Скажите ему число, напримѣръ, 60 тысячъ, а онъ напишетъ 600 тысячъ или просто 600, смотря по своей фантазіи. Одинъ изъ моихъ друзей былъ жертвой такого случая: около часу репортеръ напрасно старался вывѣдать у него что-нибудь; въ это время по улицѣ проѣзжаетъ пожарная повозка.

— Сколько пожарныхъ въ томъ городѣ, гдѣ вы живете?

— Но я-же, право, не знаю, подите вы къ чорту! Можетъ быть, и полсотни!

На-завтра въ длинной статьѣ репортеръ писалъ, что во французскихъ городахъ насчитывается до 50 тысячъ пожарныхъ.

Во избѣжаніе того, чтобъ вамъ не приписывали подобныхъ нелѣпостей, подражайте тому мудрому англичанину, который передъ отправленіемъ въ Новый Свѣтъ запасся печатными карточками, которыя онъ молча вручалъ каждому репортеру, съ красно-рѣчивымъ текстомъ: „Меня зовутъ Джонъ, имѣю тридцать два года и столько-же зубовъ; я глухо-нѣмой и одержимъ нервною болѣзнью, которая заставляетъ меня пинать подъ задъ ногою всякаго дурака, который ко мнѣ приближается“.

Репортеръ не только докучливый человѣкъ, но прежде всего существо вредное: ничто для него не свято, ничего онъ не уважаетъ. Разразится-ли въ семьѣ скандалъ, онъ первый его разоблачитъ и не скроетъ ни малѣйшей подробности. Вы его жертва, онъ васъ крѣпко держитъ и не выпуститъ, пока не высосетъ всѣ соки. Боязнь, которую онъ внушаетъ, такова, что большинство семейныхъ домовъ даже не рѣшается отказывать ему въ приѣмѣ.

Если вы дѣлаете вечеръ, является репортеръ, и вы волею-неволей должны будете дать всѣ нужныя ему свѣдѣнія; считайте себя еще очень счастливымъ, если у него нѣтъ въ карманѣ моментальнаго фотографическаго аппарата, и если завтра не появится въ какомъ-нибудь журналѣ портретъ вашей жены или дочери.

Богатая свадьба въ высшемъ обществѣ это такой случай, котораго репортеръ никогда не упуститъ, это сюжетъ для нѣсколькихъ столбцевъ весьма игриваго содержанія. Вотъ, напримѣръ, образчикъ:

„Миссъ Бокъ, въ сопровожденіи своего жениха, приходила вчера къ Лорду и Тайлору. Послѣ бѣлаго обзора магазина она остановилась передъ полкой съ сорочками и выбрала нѣсколько штукъ для своего жениха. Сорочки батистовыя, очень тонки, съ вышивками. Свадебная рубашка особенно удачна: она вся изъ шелка тѣлеснаго цвѣта съ маленькими амурами, вышитыми на груди; она стоитъ 20 долларовъ! Кальсоны изъ бѣлыхъ и желтыхъ полосъ, что даетъ возможность будущему мужу предстать предъ глазами своей жены въ видѣ какого-то зебра“.

Или хотъ такое описаніе въ томъ-же родѣ:

„Панталоны миссъ Перль очень элегантны: волны оранжевыхъ лентъ и длинныхъ кружевъ; ажурные чулки обрисовываютъ чудесно сложенную ногу; подвязки представляютъ змѣю, кусающую флеръ доранж“.

Что касается до самаго брака, то тутъ уже ничего не щадится; въ особенности старайтесь скрыть мѣсто, гдѣ вы въ первый разъ вкушаете любовь, иначе очень рискуете, что на другой день утромъ будете остановлены репортеромъ, который безъ всякаго стѣсненія васъ спроситъ:

„Каково ваше первое впечатлѣніе?“

На этотъ сюжетъ разказываютъ довольно оригинальный анекдотъ. Два друга, оба репортера, женились въ одинъ день. Случай свелъ ихъ послѣ брачной церемоніи въ одинъ и тотъ же отель. Привычка взяла свое, и на другой день утромъ оба они оставили свои „половины“ и пошли интервьюировать другъ друга объ обстоятельствахъ, при которыхъ совершилось таинство любви.

Случаются иногда съ репортерами и непріятности; часто мужъ или братъ, возмущенные безцеремонными шутками репортера, сводятъ съ нимъ счеты съ револьверомъ въ рукахъ. Происходитъ американская дуэль во всей ея красѣ: обмѣнъ выстрѣловъ въ упоръ, кровь,—и честь удовлетворена.

Но это ужъ слишкомъ. Я нахожу болѣе забавнымъ приключеніе, случившееся съ однимъ журналистомъ въ Миссури, извѣстнымъ своими сенсаціонными разоблаченіями. Однажды онъ напечаталъ статью диффаматорскаго характера о дамахъ, пользующихся большимъ уваженіемъ въ обществѣ. Ночью въ тотъ же

день онъ былъ схваченъ неизвѣстными людьми, которые увезли его за городъ и наградили тамъ 75 ударами розогъ, объявивъ ему, что если онъ не оставитъ штатъ, то будетъ преданъ суду Линча.

Репортеры изошряются въ пріисканіи сенсаціонныхъ заглавій, которыя привлекали бы вниманіе публики. Вообще въ каждомъ номерѣ газеты находятся десять или двѣнадцать заголовковъ, болѣе или менѣе курьезныхъ, напримѣръ:

„Онъ далъ ей первый поцѣлуй!“

т. е. господинъ X. и г-жа Z. наканунѣ сочetaлись бракомъ.

„Старому Джеку хотъ совсѣмъ не пить виски“—означаетъ, что мистеръ Джекъ Асморъ находится при смерти.

„Джонотанъ показываеъ носъ Джону Бумю“— Вольный переводъ: Америка мало тревожится угрозами Англии. Во время инцидента въ Новомъ Орлеанѣ въ журналахъ красовалось: „Разъяренная Италия показываеъ зубы; Блэнъ, скрытный, посмѣиваетъ себя въ бороду“. Въ моментъ скандальнаго процесса, когда одна и та-же женщина оспаривалась двумя мужчинами, какъ законная супруга cadaго изъ нихъ, огромныя надписи на улицахъ гласили: „Она больше любитъ Тальбо, онъ ее лучше цѣлуетъ“.

Эти заглавія, какъ бы странны они ни казались, имѣютъ, по крайней мѣрѣ, то преимущество, что бываютъ иногда смѣшными. Съ этой точки зрѣнія я предпочитаю заглавія самимъ статьямъ, форма, стиль и содержаніе которыхъ часто очень неудовлетворительны. За исключеніемъ нѣсколькихъ извѣстныхъ органовъ въ круиныхъ городахъ, — Нью-Йоркѣ, Чикаго, — громадное большинство газетъ только справочныя изданія. Онѣ берутъ, если не качествомъ, то количествомъ; каждая газета имѣетъ ежедневно отъ 8 до 12, а въ воскресенье, вмѣстѣ съ прибавленіями, до 32 листовъ. Это непрерывный рядъ денешъ со всѣхъ концевъ вселенной, помѣщаемыхъ по мѣрѣ того, какъ приносятъ ихъ телеграфъ, безъ всякой послѣдовательности. Часто случается даже, что телеграмма, напечатанная въ началѣ газеты, воспроизводится второй разъ въ срединѣ или концѣ ея. Столь-же безпорядочны и редакція, и размѣщеніе статей. Что касается до серьезныхъ этюдовъ по политикѣ или литературѣ, то они крайне рѣдки; если хочешь ихъ

найти, нужно читать „обозрѣнія“ (revue), всѣ замѣчательно ведущіяся самыми видными и почтенными общественными дѣятелями. „Forum“, „North American“, „Review“, „Century“ и т. п. даютъ своимъ читателямъ настоящее литературно-образовательное чтеніе. Газеты же нужно читать только для депешъ и рекламъ, которыми онѣ положительно испещрены. Въ объявленіяхъ дается самый широкій просторъ фантазіи. Слошъ и рядомъ встрѣчаются перлы и діаманты въ родѣ слѣдующихъ:

„Человѣкъ абсолютно трезвый, не курить и не пьетъ, темперамента холоднаго, съ крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, желаетъ жениться на молодой дѣвицѣ, имѣющей состояніе. Письм: В. М. Г.“

„Молодая дѣвица 22 л. желала-бы выйти замужъ за молодого человѣка. Писать подѣ инициалами: Z. G. M.“

„Молодой человѣкъ, хорошей фамиліи, имѣющей большое состояніе, желаетъ жениться на молодой дѣвушкѣ, которая каждый вечеръ танцовала-бы предъ нимъ skirt dance. Требуется также высокая грудь, желательна видѣть одинъ разъ передъ женитьбой“.

Манія рекламъ не минула даже и индѣйцевъ. О, Фениморъ Куперъ! ты никогда бы не повѣрилъ, чтобъ у потомковъ Кожаннаго Чулка идилліи начинались-бы съ такихъ объявленій: „Глава индѣйскаго племени предлагаетъ тысячу лошадей бѣлому мужчине, который женится на его дочери 18 лѣтъ. Бѣлый человѣкъ поселится на индѣйской территоріи и научитъ индѣйцевъ обрабатывать ее. Лошади представляютъ капиталъ въ 80 тысячъ долларовъ. Молодая индѣянка средняго роста, имѣетъ черные глаза, роскошные волосы и солидныя прелести“.

Должно по справедливости признать, что американскія газеты дѣлаютъ положительно чудеса въ смыслѣ своевременности и подробности всякаго рода сообщеній: онѣ не щадятъ ни денегъ, ни хлопотъ, чтобы доставить читателямъ свѣдѣнія о событіяхъ, происходящихъ на любомъ мѣстѣ земнаго шара. Не удивительно читать въ нью-іоркскомъ журналѣ самый подробный отчетъ о піесѣ, шедшей наканунѣ въ Парижѣ? Во время перваго представленія „Клеопатры“ В. Сарду „New-York Herald“ напечаталъ тогчасъ же шесть длинныхъ столбцовъ отчета объ этой піесѣ, который былъ ему переданъ по специальному кабелю. Стоимость этой де-

пеши должна быть баснословна, если принять во вниманіе, что каждый столбецъ заключалъ около 1500 словъ. Нѣтъ ни одного города, какъ-бы онъ малъ не былъ, который не имѣлъ-бы своего органа; большая-же часть имѣетъ ихъ даже по два—одинъ демократическій, другой республиканскій. Нѣтъ оскорбленій, которыхъ бы не бросали редакторы другъ другу въ лицо. Часто эти словесные турниры, особенно на Западѣ, переходятъ въ революверные выстрѣлы, и очень почтенная статистика-бы вышла, еслибы собрать свѣдѣнія о всѣхъ журналистахъ, убитыхъ или раненыхъ своими собратьями въ теченіе года.

Такъ какъ мы заговорили о статистикѣ, то кстати нужно сказать нѣсколько словъ о статистикѣ прессы въ Новомъ континентѣ.

Она достигаетъ громадной цифры 17960 органовъ. Правда, въ это число включена и Канада, но число изданій ея сравнительно не велико и простирается лишь до 812. Невольно задаешь себѣ вопросъ, какимъ образомъ можетъ существовать такое множество журналовъ и газетъ! Лично я не берусь этого объяснить и удовольствуюсь лишь сопоставленіемъ слѣдующихъ цифръ: въ Соединенныхъ Штатахъ и Канадѣ выходитъ 17960 періодическихъ изданій, Англіи 6200, Германіи 5700, Франціи 4300, Австро-Венгріи 1400, Италіи 1300, Россіи 754. Америка одна даетъ цифру, почти равную суммѣ изданій шести великихъ державъ, цифру, которая не замедлитъ скоро возрасти, если вспомнить, что нѣкоторые штаты ея еще очень слабо населены. Такъ въ Делаварѣ существуетъ лишь 38, въ Монтанѣ 58, Невадѣ 24 періодическихъ изданія. За то другіе штаты даютъ поразительныя цифры: штатъ Нью Йоркъ 1778, Иллинойсъ 1409, Пенсильванія 1281, Огіо 1043.

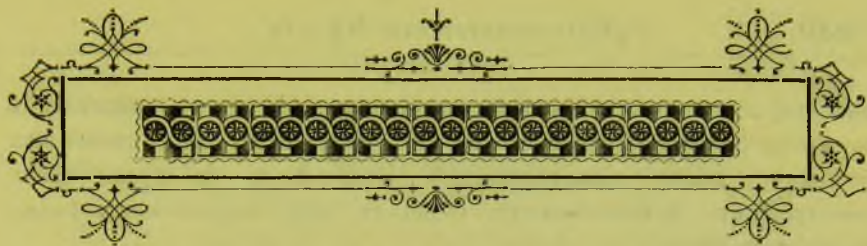
Привыкнувъ къ характеру европейской прессы, просто становишься втуникъ, узнавъ о величинѣ обращенія и числѣ страницъ американскихъ газетъ. Самая распространенная изъ нихъ „The World“ въ Нью Йоркѣ выходитъ ежедневно въ количествѣ 600 тысячъ экземпляровъ; за нимъ очень близко слѣдуетъ его соперникъ „New-York-Herald“, „Sun“, „Tribune“ и „Evening Post“, журналъ литературный по преимуществу.

Желаете-ли вы составить себѣ представленіе о мѣстѣ, которое занимаютъ въ этихъ газетахъ рекламы? Одинъ только „World“ въ октябрѣ 1880 г. опубликовалъ 41404 требованія и предложенія мѣстъ и занятій, что составило 2030 столбцевъ. Въ тотъ-же періодъ времени во Франціи „Figaro“ не могъ дать подѣ свои объявленія болѣе 216, а „Times“ въ Англіи 938 столбцевъ. И этотъ „World“ далеко не поглощаетъ одинъ всѣхъ объявленій, ибо его вышеназванные соперники печатаютъ ихъ почти столько-же. При этомъ надо замѣтить, что всѣ журналы въ Америкѣ имѣютъ чисто мѣстное значеніе, не обладая большимъ вліяніемъ и распространеніемъ внѣ мѣста своего изданія. Всѣ большіе города имѣютъ свои собственные органы, не уступающіе нью-іоркскимъ. Въ Чикаго—„Herald“, „Inter-Ocean“ и „Times“; въ Бостонѣ—„Globe“ и „Transcript“; въ Филадельфіи—„Ledger“ и „Press“; въ Балтиморѣ—„Sun“ и „American“; въ Санъ-Луи—„Globe“, „Democrat“, „Post Dispatch“; наконецъ въ Санъ-Франциско—„Chronicle“ и „Examiner“. Вотъ крупнѣйшіе журналы главнѣйшихъ городовъ Америки, но и кромѣ ихъ есть большое количество очень почтенныхъ органовъ, перечислять которые было-бы слишкомъ долго. Я не буду также говорить и о цѣнѣ: которая чрезвычайна по своей дешевизнѣ: за три су вы купите 14—15 листовъ,—болѣе, чѣмъ достаточно, чтобъ заснуть, если вы страдаете бессонницей.

Передъ тѣмъ какъ окончить это бѣглое обозрѣніе американской прессы, я считаю нужнымъ упомянуть о двухъ юмористическихъ журналахъ „Puck“ и „Judge,“ соперничающихъ между собою остроуміемъ и умомъ. Въ жанрѣ „Charivari“, они превосходятъ его своими карикатурами, очень живо схваченными, а также мѣткостью своей сатиры. Правда, для сатиры нужны сюжеты, и съ этой точки зрѣнія Америка гораздо богаче Франціи, но уотреблять сатиру нужно еще и съ умомъ, что составляетъ большую заслугу „Puck'a“ и „Judge'a“.

Я былъ-бы виноватъ предъ американской прессой, если-бы забылъ назвать одинъ французскій органъ, превосходно ведущійся и пользующійся большою извѣстностью какъ въ Соединенныхъ Штатахъ, такъ и Канадѣ: я говорю здѣсь о „Courrier des Etats-Unis“.





ЖИТЕЙСКОЕ.

Разказъ.

И. М. Зобнина.

И-и, мать моя! Мѣсто, я тебѣ доложу, красавица ты моя писаная, такое... такое... что во всемъ городѣ лучше не сыщешь! Работы,—не вовсе чтобы много, а хозяйка больно ужъ обходительная да ласковая...

— Да я, Устинья Пахомовна, работы не боюсь; вотъ чтобы хозяева-то были хорошіе!

— Не сумлѣвайся, голубонька моя; повѣрь ужъ мнѣ: не впервой мнѣ такія-то дѣла дѣлать! Сколько ужъ дѣвушекъ я на мѣста опредѣлила и всѣ, почитай, благодарили меня.

Такъ разговаривали въ маленькой комнатѣ стараго одноэтажнаго, покосившагося домика вдовы Устиньи Пахомовны Побѣгаловой, мѣщанки города***. Комнату занимала Екатерина Александровна Зорина, на-дняхъ пріѣхавшая въ этотъ городъ искать мѣста.

Зорина, будучи въ послѣднемъ классѣ прогимназіи въ городѣ Ч., мечтала поступить на мѣсто сельской учительницы. Окончивъ курсъ и сдавъ установленный для получения этого званія

экзаменъ, она подала инспектору народныхъ училищъ прошеніе, въ которомъ заявляла, что согласна поступить на мѣсто учительницы за самое малое вознагражденіе. Инспекторъ, не желая сразу обезкуражить просительницу, общалъ при первой-же возможности дать мѣсто.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, въ продолженіе которыхъ Зорина чуть не каждый день обивала пороги квартиры инспектора, справляясь о мѣстѣ, но получала отвѣтъ: „всѣ сидятъ на своихъ мѣстахъ: подождите еще!“ или-же прислуга говорила ей, что инспектора нѣтъ дома. Печальная приходила отъ него Зорина къ своей теткѣ, встрѣчавшей ее словами: „ну, ѣдешь что-ли? что носъ то повѣсила? Опять, видно фигу съѣла?! Дармоѣдка!.. Нѣтъ чтобы другое мѣсто искать! не велика барыня, -- можно и не учительшей быть! Хоть-бы въ швеи поступила! А то,—наткося,—затвердила—буду учительшей, и слушать ничего больше не хочеть! а того не разумѣеть, глупая, что у тетки-то немного для тебя капиталовъ припасено! Не все, вѣдь, у тетки жить,— надо и самой деньги зарабатывать!“

Екатерина Александровна молча уходила въ другую комнату, гдѣ, бросившись на постель, долго плакала. „Мама, мама! если-бы ты была жива,— не стала-бы ты меня попрекать дармоѣдкой!“—думала она. Она сознавала, что тетка права, что дѣйствительно нужно самой зарабатывать деньги, но что и она виновата... Ей страстно хотѣлось попасть въ учительницы, вотъ почему она и откладывала поступить мастерицей въ бѣлошвейное заведеніе, надѣясь, что мечта ея исполнится и она поселится гдѣ-нибудь въ селѣ учительницей, и, насколько силъ хватить, будетъ стараться о просвѣщеніи народа.

Однако ѣхать ей въ село не пришлось,—инспекторъ рѣшил-ся наконецъ отказать на ея прошеніе.

Теперь Зориной оставалось или быть „дармоѣдкой“, или-же ѣхать въ городъ*** и сдѣлаться бѣлошвейкой. Она избрала послѣднее...

— Поѣзжай, Катюша,—говорила тетка ласковымъ голосомъ, узнавъ о готовности племянницы поступить въ бѣлошвейное заведеніе.—Авось, тамъ и счастье свое найдешь! А то выдумала—

ѣхать въ учительши?! а и много-ли, спрошу, въ учительшахъ жалованья? А тамъ, въ швейяхъ — и жалованье-то не въ примѣръ больше, ну и подарки опять,—сѣумѣй только хозяйкѣ угодить!

— Охъ, тетя, не привыкла я къ этой работѣ!.

— Не привыкла?! А въ учительшахъ-то быть привыкла? Не дѣло ты говоришь, Катюша! Не учась,—лаптя не сплетишь! Научись, дастъ Богъ, тогда и сама откроешь заведеніе! Поѣзжай-ка съ Богомъ, да не забывай тетку-то: будутъ деньженки, такъ и гостинецъ пришли ей!...

Екатерина Александровна уѣхала въ городъ***, гдѣ мы ее и встрѣтили въ началѣ разказа.

— Ну, такъ вотъ что, Устинья Пахомовна,—сходимте вмѣстѣ къ рекомендуемой вами хозяйкѣ и я поступлю къ ней: надо же, вѣдь, хлѣбъ лобывать!—сказала Зорина.

— Давно-бы такъ, сударка моя! А ужъ хозяйка-то какъ рада будетъ! Когда я, знашь, пришла къ ней да сказала про тебя, есть, молъ, у меня дѣвица одна на примѣтѣ,—и работница-то, говорю, и красавица-то,—такъ она и говоритъ: „ахъ, Пахомовна! вотъ бы ты ее ко мнѣ опредѣлила; работницъ, говоритъ, хорошихъ сейчасъ нѣтъ, чего добраго и заведеніе прикрыть приведется! Будь добра, Пахомовна, уладь ты дѣло, а я тебя за это не оставлю“... И житье же тебѣ у ней будетъ!... Идемъ што-ли завтра къ ней; сеvodни можно-бы, ну да погуляй ужъ послѣдній денекъ, а завтра и опредѣлишься!..

Екатерина Александровна переѣхала въ бѣлошвейное заведеніе м-те Смѣловой. Началась трудовая жизнь. Ежедневно, часовъ съ 7 утра, бѣлошвейки, 5 дѣвушекъ, сидѣли уже за работой; работали до 8 час. вечера, удѣляя часа полтора на ѣду. По окончаніи работъ дѣвушки были свободны. Обыкновенно 4 дѣвушки, напившись чаю, уходили прогуляться. Зорина же не гуляла, а сидѣла въ комнатѣ, первое время впотѣмахъ даже (хозяйка ради экономіи послѣ работъ гасила свои лампы въ рабочей комнатѣ). Пообжившись, Зорина стала удѣлять нѣсколько копеекъ на освѣщеніе комнаты, и вечерами повторяла „зады“ по привезеннымъ изъ дому учебникамъ, все еще не оставляя мысли объ учительствѣ.

Гулять далеко отъ дома она не уходила по той причинѣ, что однажды, во время такой прогулки, какой-то нахаль началъ ее преслѣдовать, дѣлая далеко не двухсмысленныя предложенія. Послѣ этого она если и выходила подышать чистымъ воздухомъ, то прогуливалась по тротуару, вблизи мастерской.

Хозяйка больше обращала вниманіе на Екатерину Александровну, постоянно почти, при обращеніяхъ къ ней, называя ее ласкательными именами.

— Скучно тебѣ, голубушка моя? Пла-бы ты да и прогулялась, а то все въ комнатѣ сидишь,—этакъ и захворать недолго!.. Вѣдь, вотъ подружки-то твои гуляютъ же, такъ и ты бы съ ними... А то что это, Катюша,—пріѣхала ты ко мнѣ дѣвушкой кровь съ молокомъ, а сейчасъ и румянецъ теряешь ужъ. Нѣтъ, Катюша, надо тебѣ больше гулять..

— Не хочется гулять-то, Степанида Яковлевна! Выйдешь за ворота,—и то хорошо! А съ подругами не привыкла я гулять. Когда я училась, такъ и тогда у меня не было ни одной подружки, и теперь какъ-нибудь проживу.

— Все-же веселѣе съ ними, а то ты, моя милая, и впрямь похудѣла...

— Когда-нибудь да придется похудѣть..

— Что ты, красавица моя! въ твои-ли годы да худѣть! И не говори ты этого!..

Въ одинъ изъ праздничныхъ дней, подъ вечеръ, когда въ мастерской изъ работницъ оставалась одна только Зорина, подруги-же ея всѣ разошлись, къ хозяйкѣ пришелъ молодой человѣкъ. Вскорѣ былъ поставленъ самоваръ и когда чай былъ готовъ, хозяйка позвала Катю:

— Иди-ка, Катюша, сюда! Все-то ты въ своей комнатѣ сидишь, нѣтъ, чтобы на мою половину завернуть; иди-ка, попьемъ чайку да побесѣдуемъ, вотъ и веселѣе тебѣ будетъ.

Екатерина Александровна долго отказывалась, но въ концѣ концовъ вышла къ хозяйкѣ. Увидавъ незнакомаго мужчину, она хотѣла уйти „въ рабочую“, но хозяйка остановила ее:

— Ты это что назадъ хочешь идти? Вѣдь, это не чужой человѣкъ,

—это мой племянникъ,—только что пріѣхалъ изъ Москвы; прошу познаться!—слащаво сказала она.

Молодой человѣкъ всталъ, отрекомендовался, Екатерина Александровна молча подала руку.

Начали чайничать. Разговоръ не завязывался.

— Ну, расскажи, Петръ Кузьмичъ, весело-ли въ Москвѣ жить?—начала хозяйка, обращаясь къ молодому человѣку.—Чай, Москва-то повеселѣе будетъ нашего города? А?!

— Разумѣется, нельзя и сравнивать: тамъ однихъ магазиновъ столько, что и не пересчитать; опять-же—театры тамъ, цирки, или въ разные сады можно прогуляться; деньги ежели есть, такъ очень весело можно время провести!.

— Ну а ты какъ, весело жить?

— Всяко бывало. Занимался я въ конторѣ у одного коммерсанта, въ родѣ какъ-бы бухгалтера былъ; ну работы было порядочно всю недѣлю, и по праздникамъ магазинъ открывали съ 12—2 час. дня, а вечеромъ всѣ служащіе были свободны: всѣ мы шли гулять и довольно весело время проводили... Не знаю, какъ здѣсь буду жить.

— Такъ, вѣдь, и здѣсь также. Вотъ хоть у меня, напри-мѣръ,—въ будни въ 8 час. вечера, а въ праздники весь день работницы свободны, и могутъ дѣлать, что хотятъ. И гуляютъ онѣ, да вотъ только Катерина Александровна не охоча гулять-то...

— Что-же это вы такъ, Екатерина Александровна, не пользуетесь чистымъ воздухомъ? обратился къ Зориной племянникъ.

— Такъ что-то не хочется, да и городъ этотъ какой-то дикій,—покраснѣвъ, отвѣтила она.

— Это-съ почему-же дикій? Напротивъ, городъ, можно сказать, самый цивилизованный. Когда я проѣзжалъ съ желѣзной дороги въ номера, такъ мнѣ онъ очень понравился. Это вы напрасно-съ изволите такъ выражаться, Екатерина Александровна...

— Конечно, зря Катерина Александровна это говорить,—вставила хозяйка,—она и города-то хорошенько не видала. Случно ей, вотъ она и говоритъ, что городъ дикій, негдѣ повеселиться. Захотѣла-бы повеселиться, такъ можно найти увеселенія-то!

— Не весело одной-то, Степанида Яковлевна! а съ подру-

гами еще не подружилась, такъ куда пойдешь за весельемъ? — сказала Зорина.

— Веселья найти не трудно, была-бы охота съ вашей стороны, — отвѣтилъ за тетушку племянникъ.

Въ такомъ духѣ шли разговоры. Выпивъ чашки три чая, Катя начала прощаться.

— Что-же это такъ скоро? Посидѣли минутку, да и уходите; или мы васъ обидѣли чѣмъ? — проговорили тетушка и племянникъ.

— Нѣтъ, ничѣмъ меня вы не обидѣли, а скучно мнѣ стало, и хочется одной побыть...

— На будущее-то время, Катюша не отказывайся отъ моего приглашенія: все-же у меня хоть чуточку поразвлечешься, — говорила хозяйка.

Тетушка съ племянникомъ остались одни.

— Ну что, сударь, хороша моя краля-то?...

— Да-съ, очень красивая дѣвица-съ! Я такихъ, пожалуй рѣдко и встрѣчалъ. Но что-то мало она разговорчива...

— Тебѣ-бы ужъ все сразу! Тише ѣдешь, — дальше будешь! Не торопись, — такъ будетъ она твоя!...

— Ахъ, Степанида Яковлевна! Если бы это все по вашему вышло!...

— Ужъ выйдетъ, — я тебѣ говорю: только ты умѣй разговоры вести, а дѣвицу окрутимъ....

— Постараюсь, и васъ не позабуду, коли благополучно все обойдется.

Племянникъ началъ частенько навѣщать бѣлошвейное заведеніе: каждый праздникъ онъ ужъ неупустительно былъ у Смѣловой, но заходилъ туда изрѣдка и въ будни.

Екатерина Александровна въ будни не выходила изъ рабочей комнаты, въ праздники-же хозяйка всегда приглашала ее чай пить, — и она не могла отказаться: „онъ“ такъ весело разговаривалъ, и изъ его рассказовъ она знакомилась съ веселой жизнью большихъ городовъ, такихъ городовъ какъ Питеръ, Одесса и др., въ которыхъ онъ, по его словамъ, служилъ. Первое время она не засиживалась долго у хозяйки, боясь, чтобы новый знакомый не оказался такимъ-же нахаломъ, который оскорбилъ ее когда-то на

улицѣ, но молодой человѣкъ былъ такъ вѣжливъ, что не было поводовъ опасаться его дурныхъ намѣреній. Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и Зорина перестала его дичиться, весело болтала съ нимъ о разныхъ пустякахъ. Когда-же дѣвушка уходила къ себѣ въ рабочую комнату, племянникъ ухмылялся, а хозяйка говорила:

— Ну вотъ видишь,--дѣвица-то какъ перемѣнилась! Умѣй только разговоры вести съ ней, и дѣло въ шляпѣ будетъ. Дѣвицѣ-то, какъ я вижу, ты очень приглянулся своими манерами.

— Эхъ, Степанида Яковлевна... вѣкъ не забуду вашей услуги!..

Въ одно изъ такихъ посѣщеній племянникъ принесъ бутылку краснаго вина. Зорина, придя по приглашенію хозяйки чай пить и увидя на столѣ вино, спросила:

— Это еще зачѣмъ у васъ? Навѣрное, это вы, Петръ Кузьмичъ, принесли? Къ чему это?

— А это потому, значить, что сегодня день моего рожденія,—по этому случаю мы и разопьемъ бутылочку,—сказалъ онъ.

Дѣйствительно, послѣ чаю, хозяйка принесла 3 рюмки и налила ихъ виномъ.

— Пожалуйста! поздравь-ка, Катюша, племянника съ днемъ рожденія,—пригласила хозяйка.

— Да, да! я тоже съ своей стороны васъ прошу, Екатерина Александровна, выкушать за мое здоровье и за наше знакомство,—поддержалъ тетюшку племянникъ.

Не могла отказаться дѣвушка, и выпила рюмку. Огъ выпитаго вина голова у Кати немного закружилась, но она скоро оправилась и весело болтала съ племянникомъ, выпивая наливаемое ей вино. Хозяйка подъ разными предлогами уходила изъ комнаты и оставляла ихъ однихъ, но такъ какъ это случалось и прежде, то Зорина и не обращала на отлучки хозяйки вниманія, или даже ей не было времени обратить на нихъ вниманія: племянникъ такъ увлекательно рассказывалъ ей про Питеръ. Катя выпила въ этотъ вечеръ нѣсколько рюмокъ: голова у нея кружилась и она безъ причины хохотала.

Они ужъ сидѣли рядомъ на диванѣ. Хозяйка долго не воз-

вращалась... Племянникъ, заглядывая дѣвушкѣ въ глаза, говорилъ:

— Любили вы кого-нибудь и когда-нибудь, Екатерина Александровна?

— Я?! нѣтъ, никогда. Я не знаю, что такое это любовь!...

— Ну, а если-бы я вамъ полюбился, пошли-бы вы за меня замужъ?..

— За васъ? Что я скажу? Да,—вы мнѣ очень понравились. Вы такъ весело рассказываете. Мнѣ очень весело съ вами...

Племянникъ присѣлъ къ ней еще ближе, обнялъ ее за талию, она не противилась. И отъ выпитаго вина, и отъ поваго, нахлынувшего на нее и еще въ первый разъ испытываемаго ею какого-то пріятнаго ощущенія, голова у Кати закружилась и она забыла все на свѣтѣ...

Дѣвушка не раздумывала о послѣдствіяхъ этого шага. Она вѣрила въ искренность чувствъ своего „милаго“, ей и въ голову не приходило, чтобы онъ могъ ея покинуть въ особенности теперь, послѣ того, что произошло между ними въ послѣдній вечеръ.

Время шло. Племянникъ попрежнему посѣщалъ бѣлошвейное заведеніе, но уже не такъ, какъ прежде, болталъ съ Зориной. Прошло еще нѣкоторое время и онъ сталъ бывать у ней рѣже сначала пересталъ заходить въ будни, а потомъ и въ праздники стали они не особенно часто видѣться. Она это замѣтила, но перемѣну его обращенія съ нею перетолковала такъ: „что-нибудь дѣла пошли плохо; вѣдь, не все-же ему болтать со мной. Успѣемъ еще повеселиться съ нимъ. Оба мы еще очень молоды. Вотъ обвѣнчаемся, и жизнь пойдетъ ровно. Мы счастливо проживемъ“...

Подруги-мастерицы видѣли, что дѣло идетъ скверно, что связь у Зориной скоро прекратится, она только этого не хотѣла замѣчать, и на всѣ разговоры по этому вопросу мастерицъ упорно говорила:

— Онъ не такой человѣкъ, чтобы рѣшился бросить меня. Вы просто-на-просто хотите поссорить меня съ нимъ, но этому не бывать!

При ихъ свиданіи она старалась всячески ему угодить, во

онъ какъ-бы не замѣчалъ ея ласкъ; сдѣлался раздражительнымъ, придирался къ ней изъ-за разныхъ пустяковъ. Разъ какъ-то остались они вдвоемъ.

— Скажи, милый, отчего ты сталъ такой скучный?—обратилась дѣвушка къ нему.

— Съ чего же и веселымъ то быть?! Не все же съ тобой любезничать? Нужно и дѣломъ, вѣдь, заниматься!—отрѣзалъ онъ.

— Да, вѣдь, я такъ это сказала; я знаю, что у тебя дѣла. Но мнѣ тяжело было видѣть тебя хмурымъ, вотъ я и спросила о причинѣ этого,—виноватымъ голосомъ говорила она,

— А знаешь, что у меня дѣла, такъ нечего и спрашивать Ты начинаешь раздражать меня своими разговорами!

— Прости,—я не желала тебя разстраивать... Послушай, милый, что я тебѣ скажу..

— Что еще? ну говори!

— Я...я.. мнѣ что-то не здоровится... Я чувствую, что я...

— Беременна, хочешь ты сказать?.. Этого только не доставадо!

Дѣвушка покраснѣла. Онъ всталъ и нѣсколько минутъ торпливо ходилъ по комнатѣ; наконецъ подошелъ къ ней.

— Ну, прощай! Мнѣ нужно идти!—сказалъ онъ.

— Ужъ уходишь? Ты мной недоволенъ?—Поцѣлуй, хотя, на прощанье!..

— Вѣчно цѣловаться!—Онъ холодно поцѣловалъ ее и пошелъ къ двери.

— Приходи на недѣлѣ-то!—сказала она ему вслѣдъ. Онъ ничего не отвѣтилъ и вышелъ.

„За что это онъ такъ на меня обидѣлся?—думала послѣ его ухода дѣвушка.—Ему неприятно, что я беременна, но неужели же эта моя вина такъ велика, чтобы раздражаться ему. Да и моя-ли это вина? Ну, да Богъ съ нимъ! Все обойдется хорошо. Онъ на мнѣ женится и мы проживемъ съ нимъ счастливо!.. А учительство?!.. Такъ и придется его бросить? А какъ-бы хотѣлось быть тамъ, среди этихъ мальчугановъ и дѣвочекъ?.. Ну, да, знать, не суждено мнѣ быть учительницей и нужно эту мысль выкинуть изъ головы“...

Зорина продолжала работать въ мастерской; въ свободное же время она шила бѣлье для будущаго своего ребенка. Съ „милымъ“ она не видалась уже съ недѣлю. Когда же увидались,— онъ почти не разговаривалъ съ нею, и на прощаньи, уходя отъ нея вечеромъ, сказалъ, что врядъ-ли имъ удастся встрѣтиться ранѣе мѣсяца, ибо скопилось много работы и теперь ему уже „не до поцѣлуевъ“. Прошло мѣсяца два, а „милый“ не появлялся въ бѣлошвейномъ заведеніи, такъ что дѣвушка сильно беспокоилась о немъ: „не боленъ-ли?“ Хозяйка не заводила о немъ разговоровъ, и только однажды, когда Зорина спросила объ его адресѣ, замѣтила:

— На что тебѣ адресъ-то? Писать, видно, хочешь? Что ему писать-то?! Станетъ онъ тебѣ отвѣчать,—дожидайся! Сходила бы къ нему да поговорила: такъ, молъ, и такъ,—обязанъ ты позаботиться обо мнѣ!

— Нѣтъ, что ужъ ходить; напишу ему, можетъ быть, и отвѣтить.

Узнавъ его адресъ, Зорина написала записку: „Милый мой! Отъ чего ты не зайдешь ко мнѣ? Мнѣ такъ нужно повидать тебя! Вѣдь, я скоро буду матерью.—Твоя Е. З.“—Дня черезъ два она получила отъ него отвѣтъ: „Между нами все кончено. Виновата сама. Петръ Сидоровъ“.

— Все кончено?! Боже мой!... А я такъ вѣрила ему! И онъ такой же... какъ тотъ... на улицѣ?! Тотъ, хотъ, сразу показалъ себя, а этотъ....

Съ ней сдѣлалось дурно. Когда она очнулась, возлѣ ея койки сидѣла одна изъ работницъ, участливо глядѣвшая на дѣвуху.

— Ну, и напугала же ты насъ! Хозяйка,—подлая!—какъ это ты упала, и кричишь: „вотъ не было печали! Еще умреть тутъ,—возжайся тогда съ ней!“... Ну, слава Богу, что оправилась ты. И съ чего это съ тобой приключилось?—говорила подруга.

— Такъ, Люба! Скучно и больно мнѣ стало!..

— Не скрывай, Катя!... Всѣ, вѣдь, они такіе: сначала ухаживаютъ за тобой, а потомъ... у всѣхъ у насъ одна участь....

Меня тоже обманули... Не думай о немъ... Вотъ только съ ребенкомъ-то какъ быть?

— Я и то хотѣла спросить кого-нибудь объ этомъ, да все совѣстно какъ-то было. А скоро ужъ, кажется...

— Какъ-нибудь поможемъ тебѣ на первыхъ порахъ, а послѣ въ пріютъ надо будетъ отдать!

— Въ пріютъ?!... А я то какъ?..

— Ничего, Катя, не подѣлаешь! Съ ребенкомъ тебя не станутъ держать хозяева. Да что ты такъ испугалась? Вѣдь, ходить туда будешь! Всѣ такъ дѣлаютъ,—а то еще вотъ нѣкоторыя дѣтей-то своихъ подбрасываютъ. Горькая наша жизнь!...

Ребенка Катя отдала въ Воспитательный домъ, куда частенько и ходила навѣщать своего „ненагляднаго“ Васю. Однажды ей тамъ сказали, что Вася захворалъ и очень опасно. Мать, не дослушавъ всѣхъ подробностей, почти бѣгомъ поднялась въ дѣтскую, но тамъ Васи уже не было,—онъ былъ перенесенъ въ больницу. Придя туда и увидавъ осунувшееся личико ребенка, мать обратилась къ врачу съ просьбою дозволить ей ухаживать за своимъ Васей, но врачъ отвѣтилъ:

— Къ чему это поведетъ? Болѣзнь еще не опредѣлилась. Если онъ доживетъ до вечера, такъ тогда увидимъ, что дѣлать. Вы тутъ не поможете, если медицина не въ силахъ помочь. Да и по правиламъ не дозволяется пускать въ пріютъ постороннихъ.

— Я не посторонняя, докторъ, я мать, поймите это!... Я буду ходить за нимъ, а здѣшнія сидѣлки не замѣнятъ ему матери.

— Ну ужъ извините, сударыня, а для васъ правилъ измѣнять не будемъ... Навѣщать,—навѣщайте, а жить въ пріютѣ я не могу разрѣшить. .

Такъ и не довелось матери ухаживать за сыномъ; да Васи и прожилъ только два дня, и скончался на рукахъ матери: цѣлый день онъ кричалъ и судорожно бился. Послѣ похоронъ дѣвушка съ недѣлю ходила какъ помѣшанная, не понимая, что вокругъ нея происходитъ. Когда она поправилась, хозяйка отказала ей отъ мѣста.

— Сраму-то сколько я отъ тебя получила, и не приведи, Со-

здатель!—говорила она:—не чаяла я, что ты такая выйдешь! Не сподручно мнѣ держать тебя. Вотъ тебѣ расчетъ, и ступай съ Богомъ.

Поступила Катя въ другое бѣлошвейное заведеніе, но оттуда на другой же день ушла, ибо тамъ,—„не въ шитьѣ была сила!“...

„Господи, что дѣлать?.. что дѣлать?—думала она, живи на постояломъ дворѣ.—Какая я несчастная! Обманута, обезчещена... А тутъ и Васинька умеръ.. Гдѣ найти работу? Поѣхать развѣ къ теткѣ, авось, не прогонитъ; а прогонитъ, такъ въ горничныя къ кому-нибудь наймусь. Въ нашемъ городѣ много спокойнѣе, а этотъ городъ—подлый! и люди въ немъ, не люди, а звѣри“...

Зорина рѣшила поѣхать къ теткѣ. Тетка сильно удивилась прїѣзду Кати.

— Это ты какъ? Зачѣмъ прїѣхала? Не ужилась, видно, съ хозяйкой-то? Опять дармоѣдничать начнешь!—накинулась она на дѣвушку.

— Пусти, тети, на нѣсколько дней къ себѣ. Я невиновата! Мнѣ отказали, а другихъ мѣстъ найти я не могла, вотъ и прїѣхала къ тебѣ,—можетъ быть, не прогонишь. Я буду на тебя работать, буду стараться, чтобы недаромъ ѣсть твой хлѣбъ! Всю черную работу буду дѣлать!

— Отказали, говоришь,—а за что? спрошу. Видно, не хорошими дѣлами стала заниматься? А?...

Дѣвушка промолчала и тетка еще сильнѣе набросилась на нее.

— Вотъ какъ ты отблагодарила меня за то, что я посовѣтовала тебѣ ѣхать въ бѣлошвейки! Я объ тебѣ забочусь, а тебѣ и горюшка мало! Ну, дожила я, безталанная, до экого сраму! Что теперь будутъ говорить про меня! „Смотрите-ка, скажутъ, племянницу-то у ней прогнали съ мѣста. Не за добрая, конечно, дѣла отказали! Обѣ, знать, онѣ хороши!“... Доконала ты меня горегорькую!...

— Да зачѣмъ, тети, такъ будутъ говорить про насъ? Вѣдь, это сплетня будетъ. Что они знаютъ про насъ? Мало-ли изъ-за чего я ушла изъ бѣлошвейнаго!—горячилась дѣвушка.

— На чужой ротокъ не накинешь, матушка, платокъ! Ужъ отъ чего-нибудь да отказали-же тебѣ отъ мѣста. Если-бы хорошо

вела себя, такъ не прѣхала-бы сюда.

— Тетя! хоть дня на два пусти, а потомъ я осмотрюсь,— можетъ быть, и мѣсто какое найдется.

— О, Господи! Не чаяла я такой бѣды!.. Ну, да, инѣ, будь по твоему: поживи покудова у меня, а тамъ увидимъ, что Богъ дастъ.

Катя поселилась у тетки. Теперь тетка не звала ее „дармоѣдкой“, ибо дѣвушка постоянно сидѣла за работой; вырученныя за шитье деньги она все, почти, отдавала ей. Первое время досузія кумушки чесали языки на счетъ Кати, по всему бываетъ конецъ. Мало-по-малу жизнь входила въ прежнюю колею.

Катя еще разъ попробовала попасть учительницей въ какое-нибудь село и потому подала снова инспектору прошеніе объ этомъ. Черезъ мѣсяць, когда она пришла за отвѣтомъ, инспекторъ сказалъ:

— Меня удивляетъ ваша настойчивость сдѣлаться учительницей! Я вижу, что вы будете дѣльной работницей, но, къ сожалѣнію, у меня нѣтъ мѣста, а вотъ, если желаете,—можете поступить учительницей въ церковно-приходскую школу; на-дняхъ, какъ-то, спрашивалъ меня одинъ священникъ,—не знаю-ли я кого-нибудь, учителя или учительницу, къ нему въ школу,—я указалъ на васъ; онъ тогда ничего мнѣ не сказалъ положительнаго, а потому я и не знаю теперь, занято мѣсто или нѣтъ. Если вы согласны,—я справлюсь и васъ извѣщу.

— О, какъ я была-бы вамъ за это благодарна!..

— Долженъ предупредить, что жалованье тамъ небольшое,—рублей 8—10 въ мѣсяць...

Недѣли черезъ двѣ инспекторъ увѣдомилъ Зорину, что она можетъ ѣхать въ поселокъ Кроты учительницей церковно-приходской школы.

„Наконецъ-то мнѣ улыбается счастье,—сбывается моя мечта!“— думала она, выѣзжая изъ города въ поселокъ на простой деревенской телегѣ, а слезы такъ и лились изъ ея глазъ..

Возница, увидавъ плакавшую дѣвушку, началъ утѣшать её.

— Што? аль не охота изъ города-то къ намъ въ деревню ѣхать? А ты не плачь,—потому какъ у насъ веселѣе вашего. Вый-

дешь лѣтомъ въ поле, ажъ сердце радуется,—такъ Господь Богъ разукрасилъ землю-матушку... Ну, ну, не плачь! Обживешься съ нами и не захочется назадъ уѣзжать...

— Я не оттого плачу, дѣдушка, что мнѣ не хочется къ вамъ ѣхать, а отъ другого... отъ радости!—отвѣчала Катя.

„Вася, мой милый—продолжала она думать:—отчего ты не дожилъ до этого времени?! Какъ-бы хорошо это было: ты постоянно былъ-бы со мной, росъ-бы, я бы выучила тебя грамотѣ, сталь-бы ты учиться да учиться, и вышелъ бы изъ тебя умный, хорошій человѣкъ“...

Года черезъ два она добилась таки своего и попала въ земскую школу, въ одно богатое село Быстрое. Занятія шли успѣшно, дѣвочки ее любили,—она умѣла съ ними ладить. Познакомилась, конечно, съ учителемъ, съ священникомъ, и другими лицами сельской интеллигенціи. Наученная горькимъ опытомъ, она не такъ скоро довѣрялась новому лицу, а потому съ новыми знакомыми была сдержанна. Но общность интересовъ мало-по-малу сближала Зорину съ учителемъ Петровымъ. Онъ, нѣтъ, нѣтъ—да и зайдетъ къ ней въ праздникъ. Сначала просто они разговаривали объ учебныхъ дѣлахъ, потомъ онъ сталъ приносить книжки (у него была порядочная собственная бібліотека), которыя они и читали вмѣстѣ. Если что Зорина не понимала изъ прочитаннаго,—обращалась за разъясненіями къ Петрову, который всегда умѣлъ объяснить темныя мѣста книги, и который ничуть не гордился передъ дѣвушкою своею большею начитанностью, а давалъ объясненія такъ, что, какъ будто, спрашивающій самъ дошелъ до сути.

Прошла первая зима учительства Зориной. Подошли экзамены, и инспекторъ, присутствовавшій на нихъ, поздравилъ Зорину съ успѣшнымъ окончаніемъ перваго года учебной службы. Лѣто было у нея свободное, и она пользовалась имъ въ свое удовольствіе, запасаясь силами для будущаго года; прежняя жизнь дала себя знать,—она сильно похудѣла.

То она съ утра уходила бродить по лѣсамъ, то принимала прогулку въ окрестныя села, гдѣ были знакомыя учительницы. Учитель, не уѣзжавшій никуда изъ села, ибо не имѣлъ родныхъ, также сопровождалъ ее частенько въ этихъ прогулкахъ.

Въ одну изъ такихъ прогулокъ онъ, путаясь въ выраженіяхъ и краснѣя, говорилъ:

— Екатерина Александровна! Вы... я знаю... почему-то боитесь меня... Но простите меня за то, что я хочу вамъ сказать...

— Говорите!.. Напрасно вы думаете, что я боюсь васъ. Боялась я васъ въ началѣ, а теперь нисколько!

— Ну, вотъ видите,—боялись-же! А теперь вотъ что я вамъ скажу... Не сердитесь только на меня...

— Да что это такое сдѣлалось съ вами? „Простите“ да „не сердитесь!“ Зачѣмъ вы это говорите? Смѣшной вы сегодня какой!..

— Думаю, что—да... но выслушайте... Вы... мнѣ очень понравились... Пойдете за меня замужъ?..

Она не ожидала этого, и потому не сразу отвѣтила.

— Скажите, Александръ Павловичъ, вы тоже посмѣяться хотите надо мной?...—нервно сказала она.

— Посмѣяться?!.. надъ вами?.. Съ чего вы это выдумали?

— Будемъ откровенны, Александръ Павловичъ. Простите, если я обидѣла васъ своимъ вопросомъ, но вы поймете, почему я такъ поступила. Спросила я васъ такъ потому, что уже разъ надо мною жестоко посмѣялись, и теперь я въ каждомъ мужчинѣ вижу—простите—обманщика! Хотя вы мнѣ и кажетесь человекомъ во всѣхъ отношеніяхъ прекраснымъ, но, вѣдь, могла я и ошибиться, да къ тому же я теперь всегда предполагаю худшее... Можетъ быть, это и не хорошо, но что-же дѣлать, если сама жизнь мнѣ показала, что по наружности не всегда можно узнать человека...

— Екатерина Александровна! Я, какъ честный человекъ, говорю,—у меня ничего недостойнаго васъ не было въ мысляхъ, когда я началъ говорить о моихъ чувствахъ... И еще разъ спрашиваю,—будете моей женой?

— Я вѣрю вамъ, Александръ Павловичъ! Если вы не откажетесь отъ своихъ словъ, узнавъ подробнѣе мою прошлую жизнь,—такъ вотъ вамъ моя рука,—я ваша!..

Они крѣпко пожали другъ другу руки.

— Къ чему рассказывать!.. Я предполагаю, что ты—будемъ теперь на „ты“—повѣрила какому-нибудь мужчинѣ, и онъ оказался

негодяемъ!.. Это бываетъ... Я беру тебя такую, какую встрѣтилъ и думаю, что мы будемъ счастливы съ тобой!.. Не станемъ вспоминать прошлую жизнь! Мы заживемъ новою жизнью: и горе, и радости будемъ дѣлить пополамъ. Вѣдь, такъ, Катя?

— Госноди! да неужели-же это правда?—сквозь слезы говорила она.—Мнѣ не вѣрится... Это не сонъ-ли? Что было прежде, и что теперь? У меня голова идетъ кругомъ... О, Саша, какъ я счастлива теперь!.. Мнѣ не вѣрится, что я могу тебя назвать *моимъ* ..

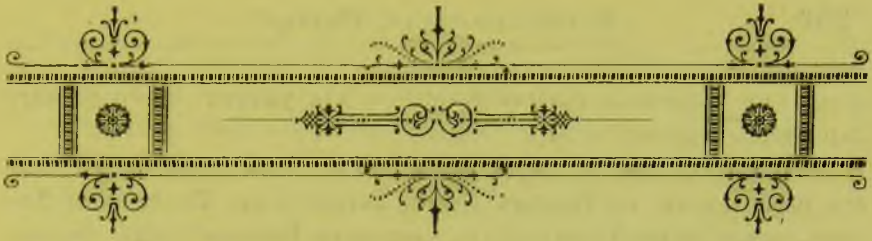
— Повѣрь, что я твой и ты—моя!—говорилъ онъ крѣпко цѣлуя ее.

— Но вотъ что, Саша! Я учительство не брошу! Это была моя завѣтная мечта. Когда я оканчивала курсъ прогимназiи, и порѣшила посвятить себя учительскому труду, но тогда мнѣ не удалось это, и случилось то, чего я никакъ не желала.

— Объ этомъ не беспокойся, дорогая моя! Я это устрою: инспекторъ ничего не будетъ имѣть, чтобы ты учительствовала и замужемъ. Я очень радъ, что ты такъ сильно полюбила школу, что не желаешь разстаться съ ней и выходя замужъ... Будемъ же вмѣстѣ работать!..

Въ концѣ вѣката была ихъ свадьба. Зорина—Петрова попрежнему учительствуетъ.





НЕУДАВШАЯСЯ ЖЕНИТЬБА.

Разсказъ Франсуа Коппе.

Переводъ П. Инф—ва.

I.

Въ одинъ изъ тѣхъ скучныхъ и безсодержательныхъ вечеровъ, какихъ всегда бываетъ довольно въ жизни старыхъ холостяковъ, я и мой пріятель, командиръ Дюлакъ, сидѣли около плавающего очага у меня въ квартирѣ. Дюлакъ, разваливъ въ большомъ креслѣ, время отъ времени поправлялъ свой монокль и не спускалъ взгляда съ раскаленнаго каменнаго угля, точно онъ замѣтилъ что-то очень интересное въ глубинѣ его пылавшихъ пустотъ. Я же, сидя на маленькомъ стулѣ по другую сторону камина, разсѣянно пробѣгалъ вечернюю газету, только что поданную мнѣ моимъ слугой.

Дюлакъ былъ мой старинный другъ. Въ школѣ Людовика Великаго, когда мы учились вмѣстѣ въ шестомъ классѣ,—онъ пансіонеромъ, я вольно-приходящимъ,—мнѣ удалось оказать ему услугу, купивъ у гербариста нѣсколько тутовыхъ листьевъ для шелковичныхъ червей, которыхъ онъ воспитывалъ въ своемъ питомцѣ. Позднѣе, когда онъ былъ уже лейтенантомъ артиллеріи, я избавилъ его отъ необходимости пустить себѣ пулю въ лобъ, одол-

живъ ему нѣсколько тысячъ франковъ для уплаты просроченнаго карточного долга.

Въ эпоху, когда я проживалъ наследство, доставшееся мнѣ отъ своего дяди, съ Бланшъ Кюни, актрисой изъ Водевилля, Дюлакъ, очень видный малый, въ котораго Бланшъ была безумно влюблена и преслѣдовала своей страстью, довелъ свою щепетильность до того, что помѣнялся съ однимъ изъ своихъ товарищей Оранской дивизіей, чтобы только воспротивиться искушенію обмануть друга. Такія вещи не забываются. Итакъ, мы очень уважали одинъ другого, тѣмъ болѣе, что, начиная съ двадцатипятилѣтняго возраста, мы были почти постоянно разъединены; онъ служилъ въ отдаленныхъ гарнизонахъ или участвовалъ въ походахъ, я былъ вольно-приходящимъ студентомъ въ различныхъ городахъ, потомъ служилъ секретаремъ при посольствѣ, т. е. дипломатическимъ нулемъ.

Когда я окончательно возвратился въ Парижъ и похоронилъ себя въ бюро иностранныхъ дѣлъ, я вновь встрѣтилъ Дюлака, котораго движеніе по службѣ было не блестяще моего,—онъ былъ начальникомъ эскадрона въ одномъ артиллерійскомъ полку, квартировавшемъ въ Военной школѣ. Съ этихъ поръ мы стали часто видѣться. Мы были ровесниками: каждому изъ насъ было по сорокъ три года. Въ настоящее время красивые, черные усы Дюлака сдѣлались сѣрыми и первые признаки подагры заставили его въ прошломъ году провести дѣто на водахъ въ Контрексевиллѣ, онъ началъ полнѣть, и подъ старость дѣлаться краснымъ. Я къ старости становлюсь желтымъ. У меня нѣтъ болѣе той романтической блѣдности, которая—могу это теперь сказать безъ хвастовства—когда-то производила нѣкія опустошенія въ Лиссабонѣ и Вѣнѣ. Кромѣ того мой желудокъ нѣсколько отяжелѣлъ отъ интернаціональной кухни. Ни тотъ, ни другой изъ насъ уже болѣе не молоды и неспособны заставить говорить свое сердце. Это былъ моментъ, когда такая испытанная дружба, какъ наша, дѣлается рѣдкой и драгоценной. Разъ или два въ недѣлю Дюлакъ приходилъ обѣдать *tête-à-tête* со мной въ мою маленькую квартиру, помѣщавшуюся въ улицѣ Малли. О, обѣдъ бы самый скромный,—лакомились поджареннымъ на живомъ огнѣ цыпленкомъ и скромной бутылкой

настоящаго Бордо, которое служанка за полчаса передъ супомъ выставляла прохладить въ столовой. Наконецъ, послѣ кофе,—о, не коньякомъ, увь, нѣтъ!—мы занимались воспоминаніями своей молодости.

Генрихъ напоминалъ мнѣ о нашей робкой бурсацкой любви къ одной пирожницѣ, жившей въ улицѣ Суффло, и о разстройствѣ нашихъ желудковъ, которыми мы рисковали, поѣдая пироги и кудичи, съ тѣмъ, чтобы имѣть возможность впродолженіе четверти часа созерцать свою обворожительницу. Я же въ свою очередь приводилъ ему на память нашу знаменитую прогулку по базарной площади въ Сень-Клу. Мы отправились туда,—онъ въ мундирѣ политехника, я гордый тѣмъ, что надѣлъ въ первый разъ сѣрую шапочку студента,—въ сопровожденіе двухъ рѣзвыхъ модисточекъ, одѣтыхъ въ яркія платья, платья, аттестовавшія ихъ какъ афиши. Сначала все шло прекрасно. Гадальщица на картахъ сдѣлала этимъ дѣвушкамъ прекрасное предсказаніе, объявивъ, что одинъ брюнетъ—это былъ Дюлакъ,—и одинъ блондинъ—это былъ я—преисполнены самыхъ серьезныхъ намѣреній на ихъ счетъ. Въ тирѣ для стрѣльбы обѣ молодыя особы за свои мѣткіе выстрѣлы получили въ призъ большое количество трубокъ, а высокая Матильда, та, которой я былъ заинтересованъ всего болѣе, имѣла даже удовольствіе попасть въ яичную скорлупку, балансировавшую на вершинѣ фонтана. Но все было испорчено, когда мы стали кататься на деревянныхъ лошадкахъ... Потому что мы имѣли неосторожность сѣсть на нихъ рядомъ съ этими модистками въ яркихъ платьяхъ,—и едва только механической циркъ двинулся при звукѣ шарманки, которая заиграла знаменитый тогда мотивъ „Femme à barbe“—о, скандалъ! Я замѣтилъ въ двухъ шагахъ отъ себя, въ первомъ ряду зѣвакъ, стараго друга нашего семейства, уважаемаго г. Тупе-Ляпруна, почтеннаго нотаріуса, взглядъ котораго, какъ молнія, пронизывалъ меня насквозь черезъ его золотыя очки. И никакой возможности избавиться, убѣжать! А деревянные лошадки все двигались и двигались!.. Двадцать три года прошло съ тѣхъ поръ, но я никогда не могу слушать мотива „Femme à barbe“ безъ суетвѣрнаго страха.

Такъ я и комендантъ, сидя около огня, припоминали обыкновенно обо всѣхъ этихъ юношескихъ увлеченіяхъ, но однажды вечеромъ, я не знаю, съ какой стороны тогда началъ дуть вѣтеръ,—мы были холодны и молчаливы. Дюлакъ неподвижно глядѣлъ черезъ свой монокль на огонь, я же, преисполненный скуки, пробѣгалъ прозаическую вечернюю газету, начиная съ фельетона, въ которомъ доказывалось, что Англіи грозитъ опасность потерять свои индійскія владѣнія, если она не послушаетъ совѣтовъ журналиста, и кончая объявленіями на послѣдней страницѣ, гдѣ восхвалялась до небесъ всякая всячина: и сигары, и продающійся замокъ, и романъ, полный недвусмысленныхъ намековъ, и помада для прелестей прекраснаго пола, и геральдическое агентство, имѣющее контору для продажи гербовъ и родословныхъ.

Вдругъ мой взглядъ упалъ на парламентерскую новость и я вскричалъ:

— Ай, ай! Любезный дружище, вотъ интересная для насъ новость!

Дюлакъ вопросительно взглянулъ на меня, и я прочелъ ему слѣдующія строки:

„Затруднительное положеніе, въ которомъ оказываются наши финансы, заставляетъ палату внести въ порядокъ дѣлъ вопросъ о налогѣ на всѣхъ холостяковъ. Утверждаютъ, что г. Экоршебёфъ, симпатичный депутатъ крайней лѣвой, имѣетъ намѣреніе снова возбудить этотъ вопросъ съ ближайшемъ засѣданіи бюджетной комиссіи“.

Комендантъ пожалъ плечами.

— Что за глупость!—пробормоталъ онъ сквозь зубы.—Какъ будто для того, чтобы жениться, всегда достаточно одного только желанія.

— Какъ?—вскричалъ я въ изумленіи.—Я тебя считалъ за коренѣлымъ, неисправимымъ противникомъ брака. А ты, значить, имѣлъ намѣреніе жениться?

— Да, я думалъ однажды о бракѣ. А ты?

— Да, вѣдь, и я тоже!... Разъ только.

— И не удалось?

— Не удалось.

— Значить, наши оба намѣренія оказались подобными двумъ фарфоровымъ лвамъ, сидящимъ при воротахъ дома... Но какого же дьявола мы до сихъ поръ не открывали этого другъ другу, мы, у которыхъ нѣтъ никакихъ секретовъ одинъ отъ другого?

— Это правда, комендантъ... И такъ какъ у насъ сегодня разговоръ не клеится, а нашъ моральный барометръ обрѣтается въ большой меланхоли, то не обмѣняться-ли намъ нашими романами, хочешь?..—Только предупреждаю, мой не изъ веселыхъ.

— А мой тѣмъ болѣе; впрочемъ, суди самъ,—сказалъ комендантъ.—Позволь мнѣ закурить сигару, и я начинаю.

III.

„Ты знаешь, что я былъ всегда сантименталенъ, даже романтиченъ. Въ политехнической школѣ я маскировалъ занятіями изъ-за разнаго рода мечтаній, и если бы я не терялъ много времени на сочинительство массы дрянныхъ стиховъ, сожженныхъ мною впослѣдствіи, то очень можетъ быть, что я вышелъ бы оттуда горнымъ инженеромъ или путейцемъ и не носилъ бы теперь штановъ съ двойнымъ краснымъ лампасомъ. Положеніе военнаго, не смотря на старый миѳъ о Марсѣ и Венерѣ, вовсе не благопріятно для любовныхъ похожденій. Большая часть моей цвѣтущей молодости протекла въ деревенскихъ гарнизонахъ, въ негостепрѣимной провинціи. Обладая нѣкоторой долею вкуса, я скоро почувствовалъ отвращеніе къ тѣмъ особамъ, у которыхъ валяются на столикахъ альбомы, наполненные фотографіями съ офицеровъ, особамъ, которыя могли бы закладывать сушить подаренные на память цвѣтки чуть не на каждой страницѣ календаря.

„За исключеніемъ одной парижанки, находившейся въ изгнаніи, жены одного чиновника,—впрочемъ, эта холодная кокетка заставляла, какъ только могла, меня страдать,—я не имѣлъ интересныхъ любовныхъ приключеній, и до двадцати пяти лѣтъ я безнадежно ждалъ и напрасно искалъ встрѣчи съ той женщиной, о которой грезять, съ женщиной, которая назначена намъ судьбой, которая... той, что... Ну, словомъ, ты меня понимаешь. Разразилась война. Послѣ Метцкой кампаніи я былъ водворенъ въ Помераніи и, немного спустя, былъ осужденъ военнымъ судомъ къ шестимѣсячному заключенію въ крѣпости за то, что задалъ трен-

ку одному нѣмецкому капитану, позволившему поднять руку на солдата изъ моей батареи, такого же плѣнника, какъ я. Я могъ возвратиться во Францію, въ довольно плачевномъ видѣ, только въ послѣдніе дни іюня 1871 г., послѣ пораженія коммунаровъ, и рѣшился провести время отпуска, даннаго мнѣ по болѣзни, въ Сен-Жерменъ, чтобы брать, по совѣту докторовъ, теплыя ванны и свѣжій воздухъ на „Террасѣ“.

„Нѣсколько парижскихъ семействъ, отдохавшихъ тамъ отъ усталости и лишеній осады, обратили благосклонное вниманіе на молодого капитана, имѣвшаго такой болѣзненный видъ и прогуливавшагося, опираясь такъ сильно на свою трость. Свѣдали объ исторіи моего плѣна; узнали, что я избѣжалъ казни только благоваря своему чину капитана, равнаго чину „hauptman'a“, котораго я поучилъ, рассказывали,—и это была правда,—что едва выйдя изъ тюрьмы, больной и трясущійся отъ лихорадки, я отправился, чтобы встрѣтиться съ этимъ господиномъ, въ Магдебургъ, гдѣ стоялъ его полкъ, что я потребовалъ отъ него въ присутствіи всѣхъ его товарищей, въ многолюдномъ „Bier-haus'ѣ“, удовлетворенія и, увѣрю тебя, такимъ манеромъ, что онъ не могъ мнѣ въ этомъ отказать, и что я, наконецъ, очень живо отпраздновалъ его на тотъ свѣтъ ловкимъ ударомъ шпаги въ правое легкое. Все это дѣлало меня довольно интереснымъ. Стали искать знакомства со мной, и я скоро сдѣлался своимъ человѣкомъ во всей маленькой колоніи въ Сенъ-Жерменѣ.

„Одинъ богатый промышленникъ, г. Дювелюи, человѣкъ около шестидесяти лѣтъ, котораго всѣ считали вдовцемъ и который жилъ въ сосѣдней виллѣ со своей единственной дочерью, m-lle Симонъ, особенно благоволилъ ко мнѣ. Онъ очень любилъ приглашать къ себѣ гостей, въ особенности на обѣды и имѣлъ свой собственный погребъ, которымъ по справедливости гордился; гостей своихъ онъ принималъ съ нѣкоторой фамиллярностью, однако вовсе не шокирующей; выйдя въ люди, онъ остался добрымъ малымъ. Онъ приглашалъ меня три или четыре раза въ короткій промежутокъ времени, и я скоро почувствовалъ себя очень легко, точно мы были давно друзьями, въ этой шумной, но сердечной и гостепріимной средѣ. Г. Дювелюи былъ дѣйствительно великолѣпный чело-

вѣкъ, и съ первой же встрѣчи я почувствовалъ симпатію къ его дочери, котора, едва достигнувъ семнадцатилѣтняго возраста, уже съ такимъ тактомъ и граціей исправляла обязанности хозяйки дома. Не будучи красавицей въ полномъ смыслѣ этого слова, м-ле Симонъ, походившая на своего отца, была высокаго роста, стройная, съ цвѣтомъ лица хотя не свѣжимъ, но смуглымъ, матовой бѣлизны, гармонировавшимъ съ густой массой ея черныхъ волосъ. Ничего не было привлекательнѣе улыбки ея немного большаго рта, и когда она смотрѣла вамъ въ лицо, невинность и нѣжность ея души блистали въ ея спокойномъ взглядѣ. Мнѣ доставляло удовольствіе находиться въ обществѣ этой милой молодой дѣвушки, столь естественной, безъ всякихъ претензій, и при томъ искренно любящей, какъ она сама говорила, природу и деревенскую жизнь. Мнѣ нравились въ этомъ ребенкѣ, воспитанномъ мужчиною, ея нѣсколько развязныя манеры, и я испытывалъ въ ея присутствіи чувство довѣрія и внутренняго удовлетворенія, какое ощущается въ присутствіи добраго товарища. Только у этого товарища были слишкомъ красивые глаза и шевелюра, приводившая меня въ смущеніе, — впрочемъ, это ничего не портило, не правда ли?

„Однако не было и слѣда страсти, какъ ты видишь, въ моемъ чувствѣ къ м-ле Дювелюи; такъ что въ одинъ прекрасный день я былъ чрезвычайно удивленъ, когда одна пожилая дама, другъ этого семейства, — вышедшая замужъ какъ большая часть прежнихъ дамъ, — скромно, но прозрачно дала мнѣ понять, что я нравлюсь м-ле Симонъ и что отъ меня зависитъ, жениться-ли мнѣ на ней. Прибавляли, что надъ этимъ стоитъ подумать, что представляется случай получить неожиданное богатство. Капитанъ, двадцати восьми лѣтъ, украшенный почетнымъ крестомъ, вполне заслуженнымъ и обладающій кое-какими остатками родового имѣнія, я былъ безъ сомнѣнія видной партіей; м-ле Дювелюи получила бы, въ день свадьбы, приданое въ пять сотъ тысячъ франковъ наличными, и кромѣ того она должна была наслѣдовать послѣ смерти своего отца болѣе четырехъ милліоновъ, честно нажитыхъ г. Дювелюи во времена грандіозныхъ построекъ при Императорѣ.

„Я тебя не удивлю, разумеется, если скажу, что въ этотъ вечеръ, оставшись одинъ въ своей комнатѣ, я почувствовалъ большое искушеніе овладѣть подаркомъ, который предлагала мнѣ судьба: прелестной женщиной и огромнымъ богатствомъ. Однако, я колебался... да, я колебался въ продолженіе нѣсколькихъ дней передъ этимъ бракомъ, не имѣвшимъ ничего романтическаго и напоминавшимъ мнѣ развязку всѣхъ комедій Скриба.—Будемъ говорить серьезно. Это не былъ идеаль мой молодости, истинно взаимная любовь, неразрывный союзъ двухъ сердець. Въ своемъ сердцѣ, которое я допрашивалъ, какъ честный человекъ, я находилъ для м-ле Симонъ одну только симпатію и истинную дружбу. Но, не смотря на все, развѣ это не было счастье, представлявшееся мнѣ, и зачѣмъ-же я долженъ былъ его упускать? Мои прежнія мечты были, вѣроятно, абсурдны. И развѣ существуетъ предназначенная женщина? Какъ глупо допустить себя дожить до старости въ ожиданіи удара грома съ небесъ!

„И кромѣ того, для меня, какъ и для всѣхъ солдатъ, будущее не представлялось въ розовомъ цвѣтѣ. Войны нельзя было ожидать въ скоромъ времени, это ясно; бѣдная Франція получила слишкомъ тяжелый ударъ. Начиналось безсмысленное гарнизонное прозябаніе; я снова нашелъ бы офицерскія пирушки такъ же скучными, какъ и прежде, пирушки, съ ихъ обѣдами въ харчевняхъ, съ ихъ кофе, въ сосудахъ, прикрываемыхъ солдатскими кепи, сталъ бы снова слышать военную музыку, разыгрывающую на публичныхъ площадяхъ такія новинки, какъ увертюра Запра, музыку, около которой прогуливаютъ свою скуку десять, пятнадцать, двадцать разъ, словомъ—до одуренія. Уединенный уголокъ, вмѣстѣ съ любимой женщиной и милыми дѣтками—это было очень заманчиво. Я не былъ безумно влюбленъ въ м-ле Симонъ, пусть такъ. Но развѣ я первый былъ, женившійся по разсудку? Такіе браки почти всегда счастливы. Сначала испытываютъ къ своей женѣ одно только искреннее расположеніе и глубокое уваженіе, потомъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, когда сидятъ съ нею около колыбели перваго ребенка, вдругъ замѣчаютъ, что обожаютъ ее... Короче, когда пожилая дама, сваха, возобновила свои намеки, я рѣшился, и сталъ просить ее посватать за меня м-ле Симонъ.

„На слѣдующій день утромъ, когда моя просьба была исполнена, г. Дювелюи коротенькой запиской пригласилъ меня прійти переговорить съ нимъ. Я явился. Онъ молча протянулъ мнѣ обѣ руки и, отведи меня въ уединенную аллею своего парка, съ обычнымъ добродушіемъ сказалъ:

— „Любезный капитанъ, вы мнѣ нравитесь, нравитесь также и моей дочери. Итакъ вы будете моимъ зятемъ, и увѣренъ въ этомъ, и думаю, что мы прекрасно поймемъ другъ друга. Но прежде всего, прежде чѣмъ даже говорить о вашемъ предложеніи Симонъ, я вамъ долженъ довѣрить одну тайну.... Я не вдовецъ. Пятнадцать лѣтъ, какъ я разошелся со своей женой, разошелся безъ вмѣшательства закона; но вы сами догадаетесь, что причины м-ше Дювелюи были очень важны, если она всецѣло предоставила мнѣ воспитаніе нашего ребенка. Я самъ виноватъ, я сдѣлалъ большую ошибку, женившись, въ сорокъ лѣтъ слишкомъ, на очень молодой дѣвушкѣ, аристократическаго происхожденія, между тѣмъ какъ мое происхожденіе немного грубое, немного вульгарное,—да, вульгарное, и хорошо сознаю это,—должно было оскорблять ее во всѣхъ ея привычкахъ, во всѣхъ ея наклонностяхъ.. Но зло было сдѣлано... М-ше Дювелюи, которой должно быть теперь.... позвольте.... едва тридцать шесть лѣтъ, живетъ въ Лионѣ, на своей родинѣ, почти круглый годъ; но она ведетъ съ Симонъ правильную переписку; впродолженіе двухъ весеннихъ мѣсяцевъ, которые она проводитъ въ Парижѣ, она видится со своей дочерью черезъ каждые два, три дня. Она ее очень любитъ, я это знаю, и каковы бы ни были упреки, которые я могу послать по ея адресу,—она вовсе не дурная женщина. И такъ, я не отдамъ Симонъ безъ согласія на это ея матери и такъ какъ вы знаете причину.... Поразмыслите нѣсколько дней. Посмотрите, не измѣнитъ-ли вашихъ намѣреній признаніе, только что мною вамъ сдѣланное, будете ли вы настаивать на томъ, чтобы вступить въ мою семью. И если-да, то я напишу... я возьму на себя обязанность написать м-ше Дювелюи; она прійдетъ въ Парижъ, вы отправитесь къ ней, и если вы ей понравитесь, въ чемъ я не сомнѣваюсь, то бракъ будетъ дѣломъ рѣшеннымъ.

„Я былъ тронутъ деликатностью этого славнаго человѣка,

дававшего мнѣ такимъ образомъ время не только размыслить, но и навести справки, и я тотчасъ же написалъ въ Ліонъ, гдѣ у меня были надежные друзья.

„Я узналъ отъ нихъ, что уже десять лѣтъ, какъ m-me Дювелюи живетъ въ совершенномъ уединеніи, не смотря на свою красоту и что своимъ безупречнымъ поведеніемъ она заставила позабыть о единственномъ, но громкомъ скандалѣ своей молодости. Выйдя замужъ шестнадцати лѣтъ за г. Дювелюи по настоянію своей алчной матери, и промучась восемнадцать мѣсяцевъ въ своемъ новомъ положеніи, она позволила открыто увести себя одному молодому композитору, съ которымъ и проживала во Флоренціи, гдѣ онъ, спустя пять лѣтъ, умеръ отъ чахотки. Тогда она, возвратившись, поселилась въ Ліонѣ, у своей старой тетки, и самыя дурныя язвы въ городѣ наконецъ должны были умолкнуть,—столь безукоризненна была ея новая жизнь.

„Ты согласишься, что было бы несправедливо съ моей стороны ставить въ вину невинному ребенку послѣдствія стараго, давно забытаго семейнаго несчастія. Получивъ эти свѣдѣнія, я тотчасъ же объявилъ г. Дювелюи, что мое рѣшеніе неизмѣнно и, спустя нѣсколько дней, онъ извѣстилъ меня, что его жена ждетъ моего визита въ Парижѣ, въ уединенномъ домикѣ Сень-Жерменскаго предмѣстья, содержимаго монахинями, куда она только что прибыла, и гдѣ столовалась.

„Я прибылъ въ Парижъ, чтобы сдѣлать этотъ визитъ, въ одинъ изъ тѣхъ чудныхъ вечеровъ, какіе бываютъ только въ концѣ сентября когда спокойная атмосфера, ясность неба и прозрачность воздуха даютъ какой-то особенный оттѣнокъ всей природѣ. Съ Сень-Лазарскаго вокзала я отправился нѣшкомъ въ улицу Мосье, гдѣ жила m-me Дювелюи и, проходя черезъ мостъ Конкордіи,—одно изъ самыхъ красивыхъ мѣстоположеній Парижа,—я былъ пораженъ величественнымъ зрѣлищемъ и не могъ сдержать крика удивленія. Мягкое и пріятное сіяніе дня золотило постройки, играло огнемъ на покраснѣвшихъ уже деревьяхъ Тюльери и Елисейскихъ Полей, а быстрые пароходы разсѣкали зеленныя воды Сены, сверкавшія алмазами въ струяхъ за ихъ кормой. По странной случайности, которую ты, какъ человѣкъ впечатлительный,

можетъ быть, поймешь, я почти вовсе не думалъ, въ продолженіе всей этой прогулки, о своихъ брачныхъ намѣреніяхъ, о томъ важномъ шагѣ, который я долженъ былъ сдѣлать, а предался ощущенію того удовольствія, которое разливалось въ моемъ сердцѣ.

„Монахини, у которыхъ помѣстилась м-ше Дювелюи, жили въ старинномъ отелѣ XVII столѣтія, довольно величественномъ и суровомъ зданіи. Сестра-привратница, взглянувъ на мою визитную карточку, объявила, что меня ждутъ и, показывая дорогу, повела меня черезъ обширные корридоры нижняго этажа, имѣвшіе мрачный оттѣнокъ отъ желтой окраски, въ пріемную залу. Это была холодная, голая комната, которую безобразила банальная изъ зеленого бархата мебель, комната, имѣвшая, вмѣсто всякихъ украшеній, громадное деревянное распятіе грубой работы, замѣнявшее каминное зеркало. Я почувствовалъ легкую дрожь, что та, къ кому я шелъ на свиданіе, была раскаявшейся грѣшницей; началъ думать о ея уединенной, искупительной жизни, и такъ какъ все еще испытывалъ остатки упоенія отъ прекраснаго дня, то невольно сравнивалъ свою судьбу съ судьбой этой женщины и мнѣ стало безконечно жаль ее.

„Въ этотъ моментъ дверь отворилась, и м-ше Дювелюи, одѣтая въ темное платье, вошла въ залъ и направилась ко мнѣ...

„Ахъ, другъ мой, называй меня безумнымъ, если хочешь, но мгновенная любовь существуетъ. Женщина, о которой я всю свою жизнь грезилъ, искалъ, ждалъ,—была она! Я не буду тебѣ ее описывать; очарованіе, прелесть не описываютъ. Я не буду тебѣ описывать также этого тѣла Діаны, скрытаго подъ черной матеріей, этой блѣдной головы, сформированной самымъ безукоризненнымъ образомъ, озаренной волшебными глазами. Вообрази себѣ излюбленный типъ женщины Леонардо да-Винчи, но болѣе нѣжный, позволяющій угадывать красоту подъ покровомъ тайны; вообрази плачущую Жюконду! Ея лѣта? Никто не могъ бы опредѣлить ея лѣта. Она имѣла лѣта побѣдоносной красоты, которую слезы не могли испортить, а скорбь сдѣлала болѣе трогательной. Едва можно этому повѣрить, но при первомъ взглядѣ, которымъ она меня окинула, я позабылъ все: и о томъ, кто она была, и о томъ, гдѣ мы, и о ея дочери, руки которой я искалъ, и о цѣли своего посѣщенія. Машинально поздрававшись

съ нею, я стоялъ, какъ истуканъ, молча, охваченный глубокимъ волненіемъ, весь отдавшись минутному впечатлѣнію, точно во снѣ.

„Она сѣла съ царственной граціей и, приглашая меня къ тому же, произнесла нѣсколько словъ обычной вѣжливости. Ея голосъ проникъ во всѣ мои фибры, точно очаровательная музыка.

„Тогда она начала говорить о Симонѣ и мнѣ показалось, что моя волшебная греза вдругъ превратилась въ какой-то нелѣпый, страшный кошмаръ. Эта женщина мнѣ говорила о моемъ бракѣ съ ея дочерью, какъ о дѣлѣ рѣшенномъ; она благодарила меня за мое предложеніе, прибавляя, впрочемъ, что она имѣетъ мало правъ на Симону и что, въ этомъ отношеніи, вполне полагается на мудрость г. Дювелюи. Она сдѣлала намекъ на свое прошлое съ безукоризненнымъ тактомъ, выразила нѣжно свои материнскія чувства... А я, едва понимая о чемъ она говоритъ, очарованный ея взглядомъ, упоенный звукомъ ея голоса, я желалъ упасть на колѣна, покрыть ея руки поцѣлуями и умолять ее располагать моею жизнью!

„Она говорила со мной съ опущенными глазами, думая, безъ сомнѣнія, что я долженъ знать вину, за которую ей было стыдно, и легкій, бѣглый румянецъ на мгновеніе озарилъ ея блѣдный цвѣтъ лица, точно лучъ солнца на ледникѣ. А я въ это время,—безумецъ, пусть такъ! но это правда,—я съ быстротой мысли представилъ себѣ въ умѣ все существованіе этой женщины. Да! Я представилъ себѣ ея несчастный союзъ съ человѣкомъ слишкомъ старымъ и вульгарнымъ, ея мученія, мученія цвѣтка, раздавленнаго между страницами большой книги, я понялъ, я оправдалъ ея безумную страсть къ артисту, ея бѣгство во Флоренцію съ этимъ музыкантомъ, который тамъ умеръ, любя ее, умеръ,—я былъ увѣренъ въ этомъ,—отъ того, что слишкомъ ее любилъ. Что я говорю? Я завидовалъ судьбѣ этого незнакомца! Зачѣмъ я не испыталъ его восторговъ и его блаженной смерти? Я представлялъ себѣ городъ искусствъ, стройный тосканскій городъ; я воображалъ, что нахожусь тамъ, скрывая свое счастье въ одномъ изъ такихъ уголковъ Lung-Arno вмѣстѣ съ этой обожаемой женщиной, выходя только по вечерамъ подъ руку съ ней на извилистыя улицы, подъ тѣнь старыхъ дворцовъ и возвращаясь поздней ночью въ гнѣздо любви

черезъ уединенную площадь Seigneurie, при ропотѣ фонтановъ и при мерцаніи звѣзды!

„М-ше Дювелюи, изумленная моимъ молчаніемъ, подняла, наконецъ, глаза и съ удивленіемъ посмотрѣла на меня. Она замѣтила, конечно, мое крайнее смущеніе и, безъ сомнѣнія, своимъ женскимъ инстинктомъ угадала причину, потому что румянецъ ея увеличился еще болѣе и, дѣлая видимое усиліе, чтобы смотрѣть мнѣ прямо въ лицо, она сказала:

— „Повторяю вамъ, сударь, что моя вина передъ г. Дювелюи и благородство его поведенія по отношенію ко мнѣ заставляютъ меня только очень скромно пользоваться правами, которыя ему угодно было оставить мнѣ надъ моей дочерью. Однако я дамъ свое согласіе на вашъ бракъ съ ней только въ томъ случаѣ, если вы чистосердечно, честно отвѣтите мнѣ на одинъ вопросъ, который я вамъ предложу! Любите-ли вы Симону?“

„Эти прямые слова вдругъ разсѣяли подобіе галлюцинаціи, въ которую повергло меня присутствіе м-ше Дювелюи и привели къ чувству дѣйствительности. Обращеніе къ моей чести вызвало у меня отвращеніе ко лжи и, бравируя самымъ смѣшнымъ образомъ, отвѣчала:

— „Я видѣлъ васъ, сударыня, и знаю только, что бракъ безъ любви можетъ принести очень много несчастій; я съ безпокойствомъ спрашиваю свою совѣсть и не осмѣливаюсь отвѣтить вамъ „да“.

„М-ше Дювелюи внезапно поднялась, подошла къ окну, открыла его и неподвижно остановилась, опершись на баллюстраду, точно оглушенная. Черезъ это окно я увидалъ одинъ изъ тѣхъ скрытыхъ садовъ, какіе еще встрѣчаются во дворахъ гостиницъ и монастырей,—садъ во всей его красотѣ и осеннемъ изобиліи. Вѣтви деревьевъ гнулись подъ тяжестью плодовъ, и теплый, лучезарный свѣтъ сентябрьскаго солнца обливаль листову.

— „Извините меня, сказала м-ше Дювелюи.—Я не совѣмъ здорова... Мнѣ душно.

„Я торопливо поспѣшилъ къ ней. Она показалась мнѣ очень взволнованной, потому что рука ея крѣпко сжимала распорку, ея трепещущая грудь высоко поднимала корсажъ и ея щеки, внезап-

но зардѣвшіяся, походили на два цвѣтка розы. Эта женщина предстала тогда предъ мной во всемъ блескѣ своей красоты, такъ что по внезапному сходству я сравнивалъ ее со зрѣлымъ фруктовомъ садомъ, который служилъ ей только рамкой, и обиліе, и великолѣпіе котораго она имѣла.

— „Если вы не любите Симону истинной любовью,—сказала наконецъ она серьезнымъ тономъ,—заклинаю васъ, откажитесь отъ этого брачнаго проекта и не принимайте во вниманіе никакихъ соображеній, никакихъ интересовъ. Вѣрьте мнѣ. Изъ союза двухъ существъ, не любящихъ другъ друга, или даже если одинъ изъ нихъ любить менѣе, чѣмъ другой, можетъ произойти только стыдъ и отчаяніе.

„Образъ Симоны уже испарился изъ моего сердца, и ея имя звучало въ моихъ ушахъ, какъ совершенно чужое.

— „Желаніе ваше будетъ исполнено,—отвѣтилъ я, поклонившись м-ше Дювелюи.—Но я не желалъ бы васъ покинуть, сударыня, не будучи увѣренъ, что вы не обвините меня въ легкомысліи и поймете цѣну моего постука.

„Она посмотрѣла на меня своими таинственными волшебными глазами и протянула мнѣ правую руку. Я взялъ ее въ свои, и тогда... тогда я почувствовалъ, что ея рука осталась въ моей.

„Да! Я почувствовалъ, что эта женщина испытывала волненіе, равное моему, что я произвелъ на нее такое же впечатлѣніе, какое она на меня и что въ моментъ разлуки,—потому что намъ необходимо было разстаться, и на всегда!—она поняла; да, что и она также меня любила, и только что проходила вблизи своего счастья.

„Ахъ, если бы мнѣ броситься къ ея ногамъ! Если-бы мнѣ во всемъ ей признаться!... Но нѣтъ, она приняла бы меня за сумасшедшаго, или даже хуже, она оттолкнула бы меня съ негодованіемъ, съ ужасомъ... Впрочемъ, кто знаетъ?...

„М-ше Дювелюи освободила руку, нѣжнымъ кивкомъ головы попрощалась со мной и покинула залъ.

„Спустя нѣсколько времени я блуждалъ въ длинныхъ улицахъ, сосѣднихъ съ Инвалидами, съ ощущеніемъ исчезнувшей сладкой грѣзы, потерянной надежды и до боли оскорбляемый ироническимъ великолѣпіемъ осенняго солнца.

„Я не возвратился въ Сень-Жермень. Я только послалъ приказъ заплатить по счету и взять свой багажъ. Въ тотъ-же вечеръ я написалъ г. Дювелю отказъ, не помню подъ какимъ благовиднымъ предложемъ. На другой день, утромъ, я отправился въ Военное Министерство, чтобы взять обратно свое прошеніе о продолженіи отпуска и чрезъ недѣлю я уже соединился со своимъ полкомъ въ Алжирѣ. Я никогда не встрѣчался ни съ m-ле Симонъ, вышедшей замужъ, ни съ m-ше Дювелюи, которая въ прошломъ году умерла въ Ліонѣ,—и ты знаешь теперь, любезный другъ, мою единственную попытку жениться.

„Теперь очередь за тобой“.

III.

— „Твоя исторія, любезный мой Дюлакъ,—сказалъ я, однимъ ударомъ щипцовъ вновь оживляя огонь, готовый потухнуть,—твоя исторія—исторія человѣка страстнаго; моя—человѣка впечатлительнаго. „Впечатлительные люди несчастны“, сказала Лафонтенъ и выразилъ этимъ, какъ всегда, очень тонкую и очень справедливую мысль.

„Ты, можетъ быть, припомнишь, что въ 1873 году,—мнѣ было тогда только тридцать лѣтъ и мои товарищи прозвали меня прекраснымъ Жоржемъ,—я былъ посланъ въ качествѣ помощника секретаря къ барону N., посланнику Франціи въ Даніи. Этотъ старый дипломатъ, прекраснѣйшей человѣкъ, не гордый, былъ вторымъ отцемъ для молодыхъ людей, служившихъ подъ его начальствомъ; онъ пятнадцать лѣтъ занималъ постъ въ Копенгагенѣ. Тамъ усвоилъ онъ всѣ датскіе обычаи, полные добродушія, и былъ извѣстенъ и уважаемъ всѣми. Сколько разъ приходилось ему раскланиваться, когда онъ проходилъ Kongs' Nitog, или когда отправлялся по вечерамъ между восемью и девятью часами въ Садъ-Тиволи, взять „*délicatesse*“, какъ тамъ говорили, т. е. съѣсть телячью котлетку, запивая кружками двумя пива! Сколько разборчивыхъ путешественниковъ заставилъ онъ удивляться, показывая знаменитыя античныя статуи Торвальдсенскаго Музея и стальную шпагу Карла XII, которую хранятъ, какъ святыню, въ галлереяхъ Фредериксборга.

„Баронъ N., какъ всѣ истинно добрые люди, очень любилъ

молодежь и тотчасъ же принялъ меня подъ свое особое покровительство. Онъ не только покровительствовалъ мнѣ въ высшемъ обществѣ, впрочемъ, отчасти это была его обязанность, но ввелъ меня въ дома своихъ интимныхъ друзей. Такимъ образомъ онъ познакомилъ меня съ графиней де-Гансбергъ, гдѣ онъ два раза въ недѣлю игралъ въ вистъ.

„Вдова королевскаго камергера, не особенно богатая, ш-ше де-Гансбергъ, когда-то знаменитая красавица, считала себѣ сорокъ пять лѣтъ и жила со своей единственной дочерью, красавицей, но, какъ говорили, почти совѣмъ безприданницей. Не правда-ли, что при подобныхъ обстоятельствахъ ея салонъ былъ бы совершенно пустъ въ Парижѣ? Въ Копенгагенѣ же, напротивъ, считалось очень большой честью быть принятымъ у графини, потому что тамъ все еще въ большомъ почетѣ знатные аристократы, а ш-ше де-Гансбергъ была страшно знатной. Да! Въ это время продажи родовыхъ гербовъ она безъ всякаго замедленія могла быть принята къ канонессамъ Ремиремонта, въ тотъ знаменитый капитулъ, куда, въ прежнее царствованіе, французскія дѣвушки могли вступать только по приказанію короля или по особенному исключенію, если только онѣ не имѣли, съ материнской стороны, извѣстно числа необходимыхъ знатныхъ поколѣній! Это было слѣдствіе брака Генриха IV съ Маріей Медичи, брака страшно неравнаго, нужно сознаться въ этомъ.

„Феодальный дворянскій сѣверъ еще полонъ уваженія къ подобнаго рода вѣщамъ. Кичась своею знатностью, будучи очень требовательной въ этомъ отношеніи къ людямъ, которыхъ у себя удостаивала принимать, ш-ше де-Гансбергъ была такимъ образомъ постоянно окружена тщательно изысканнымъ обществомъ и немногіе изъ такихъ разночинцевъ, какъ твой покорнѣйшій слуга, могли похвастаться счастіемъ пить у нея чай.

„Я не тщеславенъ и очень легко могъ бы обойтись безъ этой чести, если бы не любезная настойчивость моего начальника, который мнѣ доказывалъ, что съ этимъ салономъ было необходимо познакомиться молодому дипломату. Кромѣ того мнѣ казалось, что я доставляю удовольствіе барону, сопровождающаго его туда, и онъ представилъ меня со всѣми принятыми формальностями графинѣ.

„Съ перваго же раза она мнѣ показалаь антипатичной. Эта состарившаяся красавица, кокетливо напудренная и довольно видная, но въ общемъ, уже очень поблекшая, церемонно приняла меня въ своемъ будуарѣ, сидя въ глубокомъ креслѣ съ гербомъ, почти какъ на тронѣ, и безпрестанно верти въ рукахъ большое кольцо изъ слоновой кости, точь въ точь какъ кастелянша времянь Крестовыхъ походовъ; этотъ пріемъ, при такой претенціозной обстановкѣ, или, говоря откровенно, эта комедія ужасно мнѣ не понравилась, а жалкія группы старичковъ въ изысканнѣйшихъ галтукахъ, сидѣвшіе за игорными столами, начинали возбуждать во мнѣ рѣшительное предубѣжденіе противъ этого дома, когда дочь графини, m-Ne Эльза, вошла въ залъ.

„Я опишу однимъ штрихомъ это нѣжное видѣніе: представь себѣ Офелію въ траурномъ платьѣ.

„Виродолженіе двухъ мѣсяцевъ, проведенныхъ мной въ Копенгагенѣ, я имѣлъ довольно времени, чтобы немножко при-смотреться къ бѣлокурнымъ красавицамъ. Три четверти женщинъ тамъ имѣютъ голубые глаза и волоса цвѣта колосьевь, такъ что горничная, приносящая вамъ для бритья бороды теплую воду, походить болѣе или менѣе на Нильсонъ нашихъ дней.

„Безъ сомнѣнія и высокій стройный ребенокъ, только что вошедшій и почтительно наклонившій свой лобъ для поцѣлуя матери, имѣлъ также скандинавскій типъ лица; но этотъ типъ представлялъ собой само совершенство, безукоризненный идеалъ. Вообрази мадоннъ на иконахъ, святыхъ, рисуемыхъ въ святцахъ. Она имѣла ихъ легкую и чистую грацію, ихъ небесную невинность. Ея волосы, цвѣта старшихъ золотыхъ луидоровъ, были заплетены въ одну круглую, тяжелую косу, висѣвшую позади нея до середины черной юбки,—дамы были въ траурѣ; а ея лебединая гибкость, ея легкость призрака, въ особенности ея голубовато-зеленые глаза, глаза цвѣта нѣжной бирюзы, напоминали дѣвственницу,— что только есть божественнаго въ этомъ словѣ.

„Г. де N. представилъ меня m-Ne Эльзѣ. Ея голосъ вполне гармонировалъ съ ея красотой, голосъ, ласкавшій сердце. И въ то время, какъ она со мной говорила и улыбалась мнѣ, великій машинистъ, называемый амуромъ, производилъ видимую чудесную

перемѣну въ салонѣ m-me де-Гансбергъ. Смѣшная осанка графини, возсѣдавшей на гербованной кафедрѣ, преобразовывалась въ аристократическое величіе, и я уже съ большею благосклонностью сталъ смотрѣть на старичковъ, погруженныхъ въ вистъ при синеватомъ свѣтѣ зеленыхъ абажуровъ. Я былъ влюбленъ, другъ мой, безумно влюбленъ въ m-me Эльзу и, начиная съ этого вечера, домъ ея матери, въ которомъ я сдѣлался обычнымъ гостемъ, казался мнѣ единственнымъ мѣстомъ во всемъ мірѣ, гдѣ жизнь была сносной.

„Ахъ! Я никогда не буду сожалѣть о всѣхъ тѣхъ мукахъ которыя причинило мнѣ это чувство, чувство, рожденное въ одну минуту и увы! теперь заглушенное! Но оно одно способно еще поддерживать маленькій огонекъ въ кучѣ пепла моего сердца, и разбуженное воспоминаніе о немъ,—ты можешь это замѣтить,—заставляетъ дрожать въ этотъ самый моментъ мой голосъ. Имѣть тридцать лѣтъ, т. е. выйти здравымъ и невредимымъ, но увидшимъ, изъ бурь первой молодости, узнать ничтожество умственныхъ и чувственныхъ страстей, претерпѣть ихъ боль и огорченія и потомъ вдругъ полюбить чистой любовью очень молодую дѣвушку, —что можетъ быть прекраснѣе этого? Лучшія минуты моей жизни—это тѣ, которыя я провелъ у m-me де-Гансбергъ, сидя подлѣ Эльзы, говоря ей,—только для того, чтобы имѣть счастье услышать, какъ она мнѣ отвѣтитъ,—о разныхъ пустякахъ, о сказкахъ Андерсена, только что мной прочитанныхъ, о своей прогулкѣ верхомъ подъ прекрасными дубами Кронборга передъ горизонтомъ Зюнда.

„Какъ хорошо любить съ такимъ глубокимъ уваженіемъ, и совершеннымъ безкорыстіемъ; цѣлый день быть безумно счастливымъ только потому, что вамъ показалось наканунѣ, что вы замѣтили ласку во взглядѣ обожаемаго вами существа, нѣжность въ голосѣ! Ты видишь, я былъ тогда въ такомъ состояніи духа, что только одно воспоминаніе объ этомъ поднимаетъ меня въ моихъ собственныхъ глазахъ и какъ будто очищаетъ отъ всей грязи мое существо. О, чудная, невинная любовь, любовь безъ вожделѣній! Я не хотѣлъ, я ни на что не надѣялся отъ этого божественнаго ребенка. Мое сердце переполнялось невыразимой радостью

отъ одной только мысли, что она существуетъ, вотъ и все! и что я могу подойти къ ней, видѣть и слышать ее. Когда я говорилъ себѣ, что она женщина, что она можетъ меня полюбить и что нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что въ одинъ прекрасный день губы мои коснутся ея лба,—о ничего болѣе!—ну, смѣйся надо мной, сколько тебѣ угодно!—но какъ только приходила ко мнѣ въ голову подобная мысль, мнѣ становилось стыдно, и я краснѣлъ. Когда я уходилъ отъ нея и она робко протягивала мнѣ, при прощаньи, руку, это казалось мнѣ такимъ неоцѣнимымъ счастьемъ, котораго я считалъ себя недостойнымъ. Одно присутствіе Эльзы приводило меня въ экстазъ, подобный тому, какой доставляетъ людямъ религіознымъ молитва,—окужало меня атмосферой грезъ. Да будетъ навсегда благословенно дитя, заставившее меня жить такимъ образомъ въ продолженіе нѣкотораго времени, дитя, около котораго я чувствовалъ себя такъ счастливымъ, такъ нѣжнымъ и такъ чистымъ!

„Къ m-me де-Гансбергъ собиралось небольшое общество молодыхъ людей,—это были все бѣлокурые гиганты, съ тяжелымъ складомъ ума и неприятнымъ германскимъ тѣлосложеніемъ, люди безъ всякой привлекательности. Я скоро замѣтилъ,—и съ какимъ восторгомъ!—что Эльза предпочитала имъ мое общество и обходилась со мной съ видимой благосклонностью. Это чистое сердце, вѣроятно, не отдавало себѣ отчета въ томъ, что въ немъ происходитъ, но цвѣтокъ симпатіи распускался тамъ для меня.

„Быть ею любимымъ, какое счастье! Однако я сталъ думать объ этомъ только съ крайнимъ безпокойствомъ. M-me де-Гансбергъ, какъ я тебѣ сказала, имѣла всѣ аристократическіе предрасудки и гордость. Не смотря на мое внушительное богатство, не смотря на мои блестящіе успѣхи въ карьерѣ, пожелаетъ-ли эта высокоумная женщина отдать Эльзу молодому человѣку, хотя и изъ хорошей фамиліи, но называвшемуся такъ просто—Жоржъ Плесси? Я почти не осмѣливался надѣяться. Но графиня, какъ мнѣ казалось, очень любила свою единственную дочь и, можетъ быть, она и сжалилась бы передъ ея видимой склонностью. Это былъ единственный шансъ на успѣхъ. Однако мнѣ нужно было безъ замедленія рѣшиться сдѣлать предложеніе, иначе я сталъ бы себя упре-

катъ въ дурномъ поступкѣ, думая, что позволилъ укрѣпиться въ сердцѣ Эльзы чувству, которое могло сдѣлаться для нея несчастіемъ, въ томъ случаѣ, если бы оно бросило глубокіе корни, а м-ше де-Гансбергъ, не смотря на все, отказала бы мнѣ.

„Мой уважаемый начальникъ, мой другъ, баронъ де-Н. представился мнѣ какъ вполне естественный совѣтникъ. Этотъ великолѣпный человѣкъ, у котораго тридцать лѣтъ дипломатической службы не могли заглушить человѣческаго чувства, выслушалъ мое признаніе съ самой трогательной добротой. Безъ сомнѣнія, я былъ очень краснорѣчивъ, говоря ему о своей любви и о своихъ опасеніяхъ, потому что, когда я кончилъ, баронъ казался очень растроганнымъ и принужденъ былъ протереть стекла у своихъ очковъ.

— „Я не всегда носилъ парикъ, любезный мой другъ, — сказалъ онъ мнѣ съ печальной улыбкой, — было время, когда и я зналъ эти муки, и очень желалъ бы дать вамъ какую-нибудь надежду. Къ несчастію, графиня, какъ донъ Карлосъ въ Гернани... Вы помните прекрасные стихи Гюго:

Монархи отъ орловъ не отличаются нисколько, —

У нихъ въ груди, на мѣстѣ сердца, гербъ одинъ лишь только.

„Я боюсь, чтобы вы не встрѣтились съ неодолимымъ препятствіемъ... Впрочемъ, еще не отчаивайтесь. Я имѣю нѣкоторое вліяніе на м-ше Гансбергъ, и сегодня же вечеромъ переговорю съ ней“.

„Отвѣтъ былъ именно такой, какого я боялся, вѣжливый, но рѣшительный. „Никогда и ни за что въ мірѣ графиня не согласится, чтобы ея дочь сдѣлала неравную партію“. Напрасно бѣдный баронъ убѣждалъ ее въ продолженіе цѣлыхъ двухъ часовъ. Онъ принужденъ былъ принести мнѣ въ подлинныхъ выраженіяхъ жестокой отказъ, и горькое чувство, которое я испыталъ въ то время, можетъ только сравниться съ чувствомъ человѣка, получившаго ударъ хлыстомъ по лицу.

„Потомъ полились слезы... Да, другъ мой, я плакалъ, припавъ къ плечу моего стараго друга, и не краснѣю за это нисколько. — Нѣтъ стыда въ слезахъ о потерянной любви.

„Я не могъ оставаться въ Копенгагенѣ. Я потребовалъ от-

пускъ и получилъ его. Въ день моего отъѣзда, баронъ, провожавшій меня до вокзала, сжалился надъ моей смертельной тоской и сказалъ въ послѣдній моментъ:

— „Другъ мой, у меня нѣтъ мужества скрыть отъ васъ одно обстоятельство, которое должно вамъ разомъ доставить и скорбь, и удовольствіе... Я ходилъ вчера къ этимъ дамамъ... Эльза печальна“.

„Значитъ, милый ребенокъ любилъ меня! Я почти несомнѣвался въ этомъ; но отъ этого мнѣ было мало утѣшенія, потому что союзъ нашъ былъ невозможенъ.“

„Я возвратился въ Парижъ и тамъ искалъ забвенія въ сильныхъ развлеченіяхъ, а спустя шесть мѣсяцевъ послѣ того, какъ я покинулъ Данію, я узналъ о замужествѣ m-lle Гансбергъ съ однимъ молодымъ русскимъ княземъ Бабеловымъ. Она, безъ сомнѣнія, повиновалась желанію и приказанію своей матери. Развѣ отъ нея не возможно было этого ожидать?... Дитя!

„Я былъ назначенъ въ Лиссабонъ и цѣлый годъ скучалъ тамъ по ней. Южное солнце увеличиваетъ и отягощаетъ печаль. Наконецъ, въ 1875 году я снова взялъ отпускъ, чтобы провести его въ Трувиллѣ.“

„Тамъ-то, однажды утромъ, сидя за кофе съ однимъ изъ своихъ товарищей, въ общественномъ клубѣ, я прочелъ въ мѣстной газетѣ между именами знатныхъ путешественниковъ, только что прибывшихъ въ гостиницу Roches-Noires, имя княгини Бабеловой.“

„Мое сердце усиленно забилось. Но была-ли это навѣрное Эльза, находившаяся столь близко отъ меня? Я спросилъ своего спутника, человѣка очень свѣтскаго, имѣвшаго всемірныя связи, и узналъ отъ него---ты поймешь мое волненіе!—что княгиня Бабелова, остановившаяся пять или шесть дней тому назадъ въ Roches-Noires, была на самомъ дѣлѣ m-lle Эльза де-Гансбергъ, что она была замужемъ только едва одинъ годъ, ея мужъ случайно былъ убитъ на охотѣ. Мой товарищъ прибавилъ, что княгиня лишилась также и своей матери и что теперь путешествовала, чтобы разсѣяться отъ своихъ свѣжихъ утратъ въ сопровожденіи одной только старой родственницы, приставницы, не имѣющей никакого значенія. Княгиня должна была провести въ Трувиллѣ всего только одну недѣлю и потомъ возвратиться обратно въ Данію.“

„Итакъ Эльза была вдова, свободная, вполне самостоятельная, и я вспомнилъ вдругъ, что девятнадцать мѣсяцевъ тому назадъ она была печальна, она страдала отъ разлуки со мной. Величайшая надежда овладѣла мной. Я захотѣлъ повидаться съ нею, повидаться сію же минуту. Безцеремонно покинувъ своего товарища, я побѣжалъ къ себѣ и нанисалъ княгинѣ почтительное письмо, ссылаясь на случайность, приблизившую меня къ ней, для того, чтобы я могъ сказать ей, какъ велико участіе, которое я принимаю по причинѣ ея двойного траура и насколько неизмѣннымъ сохранилось мое чувство. Мой посланецъ принесъ мнѣ тотчасъ же отвѣтъ,—письмо, запечатанное княжеской короной—увы!—но писанное самой Эльзой однимъ изъ тѣхъ размашистыхъ и крупныхъ почерковъ, которые занимаютъ на четырехъ страницахъ всего нѣсколько словъ. Это было обычное увѣреніе, что съ большимъ удовольствіемъ желаютъ меня видѣть и ждутъ въ тотъ же вечеръ къ себѣ. Пообѣдавъ, я тотчасъ же отправился въ Roches-Noires по берегу моря. Спускалась тихая, лѣтняя, безъ малѣйшаго дуновенія вѣтерка, ночь. Уже нѣсколько звѣздочекъ мерцали на небѣ и во мракѣ слышались глубокіе вздохи моря. Всѣ мои воспоминанія о Копенгагенѣ толпой нахлынули на меня. Я вновь переживалъ длинные вечера, проведенные съ Эльзой, я припоминалъ ее, бѣлокурую въ черномъ платьѣ, нѣжно устремлявшую свои ясные глаза въ мои глаза, сидящую въ невинной позѣ святой. Я шелъ снова ее увидѣть... Возможно-ли?..

„Наконецъ я пришелъ въ гостиницу, слуга, проводивъ меня въ первый этажъ, отворилъ дверь. Съ холодной дрожью, почти совершенно ослабѣвъ, я вошелъ въ маленькій, ярко освѣщенный салонъ и увидалъ Эльзу, подымающую мнѣ навстрѣчу, Эльзу, оставшуюся той же самой, совершенно такой же, какъ нѣкогда, бѣлой и бѣлокурой, въ ея черномъ траурномъ платьѣ, съ тѣми же голубыми глазами, съ той же, сохранившейся неприкосновенной, дѣвственной граціей.

„Она протянула мнѣ руку, ту самую руку, къ которой я когда-то считалъ себѣ недостойнымъ прикоснуться, и, поклонившись, я взялъ ее; она приняла меня съ обычными словами вѣжливости, и я узналъ ея милый голосъ. Да! На мгновеніе моя ил-

люзія былая полная. Я думалъ, что вновь встрѣтилъ молодую дѣвушку, которую я такъ чисто, такъ идеально любилъ!

„Но при первомъ же словѣ, произнесенномъ мной, очарованіе было нарушено. Я вспомнилъ, какъ ее нужно называть, и на самомъ дѣлѣ назвалъ ее „мадамъ“, и этотъ титулъ, напомнивъ мнѣ о дѣйствительности, разсѣялъ химеру. Я взглянулъ на ея руку, которая была еще въ моихъ рукахъ, и увидалъ на ней обручальное кольцо.

„Ахъ, дорогой другъ, это свиданіе было самымъ горькимъ часомъ въ моей жизни. Я сѣлъ около Эльзы, я пытался обратиться къ ней со словами утѣшенія по случаю смерти ея матери, но она, въ смущеніи, отвѣчала на мои вопросы, припоминая, безъ сомнѣнія, какъ мать ея была жестока со мной. Ни я, ни она, мы нисколько не обдумывали своихъ машинальныхъ словъ, и оба вмѣстѣ, я увѣренъ въ этомъ, были погружены въ мысли, которыя терзали наши сердца. Эльза замѣтила мой взглядъ, брошенный на ея кольцо, и когда я снова поднялъ свои глаза и взглянулъ на нее, я замѣтилъ въ ней страшное выраженіе скорби. Потомъ у нея сорвалась фраза: „Послѣ смерти князя“... Но увидя, сколько муки отразилось на моемъ лицѣ, она, вся сконфузившись, прервала себя на полусловѣ.

„Мы поняли тогда, что между нами легла бездна, нѣчто совершенно неоправимое, и что всякое объясненіе было бы излишнимъ. При малѣйшемъ намекѣ на прошлое мы могли развиться безсильными слезами. Почему?... Какъкогда-то въ салонѣ m-me Гансбергъ, въ Копенгагенѣ, мы находились одинъ возлѣ другого, оба свободные, повидимому, оба влюбленные такъ же, какъ прежде, и однако намъ такъ же невозможно было воскресить наше прежнее чувство, какъ наложить молчаніе на отдаленный шумъ моря, который достигалъ до насъ черезъ открытое окно, или погасить звѣзды, блиставшія на ночномъ небѣ.

„Нашъ глупо-банальный разговоръ, но каждое слово котораго заключало безконечную жалобу и сожалѣніе, продолжался не болѣе четверти часа. Я имѣлъ мужество первымъ подняться съ мѣста, она, слѣдуя моему примѣру, тоже встала, объявивъ, что на слѣдующій день утромъ оставляетъ Трувилль; и я покинулъ

ее, не рѣшившись прикоснуться снова къ ея рукѣ, гдѣ блестяло ея вдовье кольцо.

„Выйдя на свѣжій воздухъ передъ темный фасадъ гостиницы, одво окно которой было освѣщено, и на мгновеніе неподвижно остановился на берегу моря въ торжественномъ молчаніи ночи и почувствовалъ, что во мнѣ образовалась неизмѣримая пустота. Вдругъ тамъ, въ темнотѣ, волна испустила свой продолжительный вздохъ; и мнѣ показалось, что въ тотъ-же самый моментъ, Эльза въ своей уединенной комнаткѣ и я на пустынномъ берегу моря—это мы испустили этотъ вздохъ, глубокій вздохъ вѣчной разлуки“.

IV.

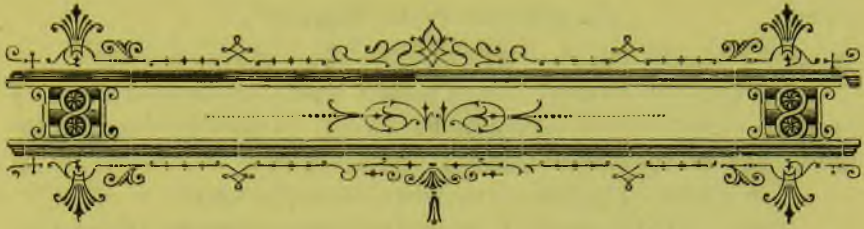
— Такъ вотъ почему ни тотъ, ни другой изъ насъ не женился,—сказалъ комендантъ Дюлакъ, собираясь идти.—Но думаешь-ли ты,—прибавилъ онъ почти весело,—(своей взаимной откровенностью мы облегчили свою душу),—думаешь-ли ты, что насъ извинять, если вотируютъ налогъ на холостяковъ, и мы будемъ отъ него изъять?

— Я сильно сомнѣваюсь въ этомъ,—отвѣчалъ я,—потому что разсказъ о нашихъ двухъ приключеніяхъ у очень немногихъ вызвалъ бы состраданіе, мой бѣдный другъ, а грубой демократіи, въ которой мы живемъ, очень мало заботы, не правда-ли, до тонкостей, отгѣнковъ и нѣжностей чувства.

— О, нѣтъ!—вскричалъ съ убѣжденнымъ видомъ комендантъ, который былъ реакціонеръ до мозга костей.

И, закуривъ на дорогу послѣднюю сигару, онъ братски пожалъ мнѣ руку.





Н О Э Т А Н У.

(Эскизь).

Д. В. Левина.

Звонъ кандаловъ и шумное движеніе по широкому, длинному и ярко освѣщенному врывавшимся въ громадыя окна утреннимъ свѣтомъ корридолу разбудили меня на цѣлый часъ раньше шестичасового удара въ колоколь, возвращающаго тысячи арестантовъ пересыльнаго тюремнаго замка отъ временнаго благодатнаго покоя къ тяжелой, горькой дѣйствительности.

Я не сразу пришелъ въ себя...

Въ головѣ еще мелькали обрывки какого-то сна, предъ глазами, какъ въ туманѣ, носились какія-то милыя, дорогія лица, слышались нѣжные звуки родного голоса...

Взглядъ мой упалъ на рядъ тинувшихся по противоположной стѣнѣ наръ, на темномъ фонѣ которыхъ выдѣлялись блѣдныя, изможденныя лица, скользнула по окрашеннымъ въ вышину человеческого роста темно-коричневой краской стѣнамъ „дворянской“ камеры, и я быстро вскочилъ съ своей жесткой, деревянной, безъ присутствія чего-либо, хоть отдаленно напоминающаго собою mattressъ, койки.

— Сегодня—этани!—была первая мысль, промелькнувшая у меня въ головѣ и отозвавшаяся въ груди какимъ-то возбуждающимъ радостнымъ чувствомъ.

Торопливо одѣвшись, я вышелъ въ корридоръ.

Здѣсь „колымажная“ ¹⁾ жизнь уже была ключомъ. Громадное пространство, между двумя желѣзными рѣпотчатymi воротами по обоимъ концамъ корридора, кишѣло арестантами. Въ воздухѣ стоялъ хаосъ отрывочныхъ звуковъ и словъ, отборной ругани и громкаго циничнаго смѣха... Откуда-то рѣжущимъ ухо диссонансомъ доносились обрывки долгой, заунывной, за душу хватающей пѣсни... Повсюду мелькали перекинутые на руку всевозможныхъ цвѣтовъ и фасоновъ брюки, жилетки, скюртуки, „спинжаки“ и визитки, бѣлье и сапоги; словомъ—огромный и горячій торгъ, предъ которымъ блѣднѣетъ представленіе о толкучемъ рынкѣ, былъ уже въ полномъ разгарѣ....

Я пробрался къ длинному, тянувшемуся вдоль стѣны умывальнику, съ трудомъ добился мѣстечка у одного изъ крановъ, съ наслажденіемъ умылся свѣжею, холодною водою и направился обратно въ свою камеру.

Гулко раздавшійся по корридору ударъ колокола оказался излишнимъ; и безъ того все было ужъ на ногахъ.

Черезъ четверть часа показались „парашники“ ²⁾ съ кипиткомъ въ закрытыхъ деревянныхъ кадкахъ,—и шумно галдѣвшая толпа сразу хлынула въ камеры.

Рынокъ мигомъ опустѣлъ.

Напившись чаю, я принялся увязывать свой несложный багажъ.

Въ семь часовъ малиновый звонъ „станового“ ³⁾ по обыкновенію, собралъ „на повѣрку“ всѣхъ арестантовъ, въ двѣ шеренги выстроившихся въ длину корридора.

— По сибирскому тракту,—въ „сборную“!—раздался хриплый басъ „блюстителя“ ⁴⁾ едва окончилась перекличка.

¹⁾ Такъ зовется арестантами московскій пересыльный замокъ.

²⁾ Чернорабочіе, выбираемые администраціей среди арестантовъ.

³⁾ Колокольчикъ, съзывающій арестантовъ на повѣрку, къ чаю, обѣду и ужину.

⁴⁾ Тюремный надсмотрщикъ.

Спустя четверть часа, огромная „сборная палата“ была полна сѣрыхъ арестантскихъ халатовъ, съ желтыми бубновыми тузами между лопатокъ.

Началась томительная, бесконечно-длинная провѣрка „статейныхъ списковъ“¹⁾ и осмотръ имущества отправляемыхъ.

Среди смутнаго, неяснаго гула, наполнявшаго воздухъ, рѣзко выдѣлялся окликъ арестантовъ по фамиліямъ, велѣдъ за которыми слышались мѣрно-однообразнымъ казеннымъ голосомъ отдаваемая конвойнымъ унтеръ-офицеромъ приказанія:

— Осмотрѣть.... въ „наручви“!

Раздавалось слабое щелканье замковъ, и два желѣзныхъ браслета, соединенные четырехъ-вершковымъ звеномъ, сковывали парно осмотрѣнныхъ арестантовъ.

Этотъ тихій, едва слышный звукъ отзывался въ душѣ сковываемыхъ погребальнымъ звономъ надъ послѣдними крупницами отбираемой у нихъ свободы: съ этой минуты ни въ одномъ изъ этихъ „близнецовъ“ по неволѣ не могло зародиться самостоятельнаго желанія. Четырехъ-вершковымъ звеномъ двѣ жизни, двѣ воли насильственно соединились въ одно неразрывное цѣлое: хотѣлось спать одному, долженъ былъ ложиться и другой, являлось желаніе сѣсть, встать, напиться воды одному, — неразлучной тѣнью долженъ былъ слѣдовать за нимъ и другой.

Но вотъ, наконецъ, утомительная процедура провѣрки вѣдомостей и арестантовъ окончена, осмотрѣнныя вещи уложены на подводы, и въ спертomъ, удушливомъ воздухѣ „сборной“ преносится зычный голосъ унтеръ-офицера:

— Стройся - -я!

Въ одинъ мигъ все смѣшалось и перепуталось въ одну массу, изъ которой чрезъ нѣсколько минутъ образовалась стройная, въ четыре шеренги колонна, на темно-сѣромъ фонѣ которой, въ хвостѣ, черными пятнами кое-гдѣ мелькали „собственныя“ платья привилегированныхъ „жителей“.²⁾

Въ головѣ колонны выстроились „каторжане“, за ними слѣ-

¹⁾ Вѣдомость съ обозначеніемъ преступленія, званія, примѣтъ и наказанія арестантовъ.

²⁾ Сосланные на временное житье, съ ограниченіемъ правъ.

довали „лишенцы“, ¹⁾ дальше—сосланные на житье и въ концѣ—арестантки.

— Смирно!—раздалась команда сопровождающаго партію офицера.

Вся масса мгновенно словно застыла.

— Шашки вонь!... Шагомъ маршъ.

Тяжелый скрипъ воротъ слился съ облегченнымъ вздохомъ, вырвавшимся изъ сотни истомленныхъ грудей и черезъ минуту, длинная, окруженная конвойными съ шашками наголо колонна дробнымъ шагомъ потянулась посреди улицы.

Я невольно оглянулся назадъ, бросилъ послѣдній взглядъ на мрачно высившуюся громаду тюрьмы, въ стѣнахъ которой мною было пережито столько тяжелыхъ, невыразимо-тяжелыхъ, оставившихъ въ душѣ неизгладимый слѣдъ страданій, и вдругъ почувствовалъ приливъ такого свѣтлаго, такого глубокого счастья, что на глаза, противъ воли, запросились слезы.

Стоялъ чудный, майскій день. Съ недосыгаемыхъ высотъ чистаго, какъ кристалль, лазурнаго неба ослѣпительно сіяло солнце, обливая и золотя своими горячими лучами убогія кровли предметныхъ домовъ. Ласковой струей откуда-то изъ ближнихъ садовъ доносился весенній ароматъ только что распустившейся зелени. Кунаясь въ прозрачномъ воздухѣ, звонко пѣла свой чудный гимнъ ожившей природѣ пернатая семья; кругомъ жизнь была могучимъ ключемъ; подъ золотистымъ потокомъ горячаго свѣта все цвѣло, благоухало, сіяло яркимъ, рѣжущимъ глаза блескомъ, и только унылый звонъ кандаловъ неприятнымъ диссонансомъ нарушалъ эту божественно-прекрасную гармонію воскресшихъ силъ...

Въ истомленную грудь широкой волной прихлынула какая-то нѣжная, теплая волна и такъ сладко, такъ томительно-сладко ласкаетъ ее... На мигъ забыто все: и пережитыя муки, и тяжесть предстоящаго пути, и мрачное полное неизвѣстности будущее: безмятежное радужное настроеніе тихимъ счастьемъ охватываетъ душу...

— Ну, чего отстаешь?—грубо раздается надъ самымъ моимъ ухомъ.

¹⁾ Сосланные на поселеніе, съ лишеніемъ *всякъ* правъ.

Вслѣдъ за этимъ восклицаніемъ я чувствую толчекъ въ плечо и оглядывалось.

Угрюмое, мрачное лицо конвойнаго солдата сразу возвращаетъ меня къ дѣйствительности. Я молча прибавляю шагу, стараясь идти въ ногу со своимъ сосѣдомъ: протестъ бесполезенъ и только повлечетъ за собою новыя оскорбленія.

— Нешто усталъ? Ну, да сейчасъ будемъ на мѣстѣ, а отставать никакъ невозможно, потому начальство за эфто строго взыскиваетъ, — совсѣмъ ужъ мягко добавляетъ онъ, смущенный моимъ молчаніемъ, которое, очевидно, пробудило въ немъ раскаяніе.

Предъ нами все яснѣе и яснѣе обрисовывались облитые золотистыми лучами солнца контуры Смоленскаго вокзала, и вскорѣ, выстроенная въ четыре шеренги партія стояла на пустынной платформѣ предъ ожидавшимъ насъ арестантскимъ поѣздомъ, вагоны котораго отличаются отъ обыкновенныхъ вагоновъ третьяго класса только устроенными въ окнахъ желѣзными рѣшотками.

Спустя четверть часа вся партія въ томъ же порядкѣ, въ какомъ она вышла изъ пересыльной, была посажена на поѣздъ, по сорока человѣкъ въ вагонъ, и чрезъ нѣсколько минутъ по соединительному пути доставлена на пассажирскій вокзалъ Нижегородской дороги, гдѣ по расписанію поѣздовъ намъ предстояло простоять до отправки въ путь около часа.

Этотъ часъ останется въ моей памяти неизгладимымъ навѣки!

Никакое перо, никакія самыя яркія, самыя сильныя краски въ мірѣ не передадутъ всей безотрадности той неожиданной, душу потрясающей картины, невольнымъ свидѣтелемъ которой пришлось мнѣ быть.

Глядя на эту полную ужаснаго горя сцену разставанья нѣсколькихъ ссыльныхъ съ тѣмъ, что для нихъ было дороже всего на свѣтѣ, съ чѣмъ такъ недавно связывали ихъ, казалось, такія крѣпкія, такія неразрывныя узы, — я чувствовалъ, какъ что-то горькое, невыразимо-горькое росло и поднималось въ моей душѣ.

Какія нечеловѣческіе, душу раздирающіе вопли отчаянія, какіе невыносимые, мучительные стоны слышались въ этой пестрой, разнохарактерной толпѣ братьевъ, сестеръ, отцовъ, женъ, матерей, пришедшихъ сюда на безлюдную, пустынную въ это время

платформу въ послѣдній разъ обнять близкихъ, горячо любимыхъ людей, осужденныхъ вдали отъ родины на безотрадную жизнь, полную лишений и безконечныхъ нравственныхъ страданій.

Вотъ—высокій, сѣдой, какъ лунь, старикъ прижимаетъ къ своей широкой груди худенькое, щедедушное тѣло молоденькой, съ ввалившимися глазами на блѣдномъ, изнуренномъ лицѣ дѣвушки... Осыпая дрожащія руки какъ-то странно согнувшася подъ тяжестью горя старика порывистыми, страстными поцѣлуями, успокаиваетъ она отца, не рыдающаго, —нѣтъ! а издающаго какіе-то нечеловѣческіе, полные невыносимаго отчаянья вопли... Несчастливая успокаиваетъ!—а у самой по исхудалому, истомленному личику слезы градомъ, противъ воли, текутъ неудержимымъ потокомъ... Рядомъ старуха мать, причитая и голая, новисла и словно замерла на шеѣ молодого парня въ кандалахъ.... Только угрюмое, съ мрачно сверкающими глазами, нѣсколько поблѣднѣвшее лицо, да рѣзкая складка между бровями выдаютъ его душевное волненіе... Около нихъ, высокий, стройный, красивый брюнетъ,—блѣдный, какъ полотно, съ застывшимъ въ глазахъ выраженіемъ тупого безмолвнаго страданія, не переставая, растерянно крестить бьющуюся на его груди, чуть не въ истерикѣ, молодую женщину....

— Голубка, успокойся... умоляю... ради Бога, не мучай себя... устроюсь,—пріѣдешь,—отрывисто, угрюмо, словно и самъ не увѣренный въ томъ, что говоритъ, утѣшаетъ онъ несчастную.

А рядомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, смѣясь и покуривая папирску, весело болтаетъ съ начальникомъ станціи конвойный офицеръ... На его привычные, притупившіеся нервы, очевидно, уже не дѣйствуетъ выраженіе самаго отчаяннаго, самаго непроходимаго горя....

Гдѣ-то глубоко, внутри, пронизывая все тѣло то холодомъ, то жаромъ, меня била лихорадка. Вокругъ все сразу точно окуталось полумракомъ, словно какая-то безформенная, холодная, слякотная туча распростерлась надо мной, закрывъ своей сѣрой свинцовой пеленой и безграничный, необъятный просторъ синяго, словно бирюзоваго весенняго неба и яркіе, золотые лучи горячаго солнца и волнистые, причудливыя линіи бѣлесоватыхъ тучекъ.

словно матовое серебро, то тутъ, то тамъ выдѣлявшихся на прозрачно-голубомъ фонѣ неба.

Я отвертываюсь, чтобъ не видѣть этой невыносимо-тяжелой картины, но эти ужасные нечеловѣческіе вопли доходятъ до уха, воображеніе дополняетъ то, чего не видятъ глаза,—и предомной, какъ живыя, снова встаютъ искаженные страданьемъ лица, тупое, точно застывшее отчаянье полубезумныхъ глазъ....

— О, милосердый Боже! хотъ бы скорѣе въ путь,—невольнорно вырывается изъ глубины измученной души.

— Но мѣстамъ!—раздается зычный голосъ конвойнаго офицера.

Третій звонокъ, свистокъ оберъ-кондуктора, вопли, крики, стоны и гдѣ-то надо всѣмъ выдѣляющійся истерическій хохотъ—все слилось вмѣстѣ.

Поѣздъ дрогнулъ, и медленно, тихо сталъ отходить отъ платформы. Еще минута, и доходившіе до насъ крики, постепенно стихая, замерли, въ воздухѣ....

Первыя мгновенія въ вагонѣ царила тишина: ни остротъ, ни шутокъ, ни смѣха! Даже бывалые, привычные арестанты смотрятъ хмуро и угрюмо, и только безучастный ко всему, что происходитъ вокругъ, конвойный солдатикъ съ сосредоточенной серьезностью раскладываетъ въ углу, на скамьѣ, товары своей незатѣливой походной лавочки.

Черезъ нѣсколько минутъ закипѣла торговля: неприхотливые съѣстные припасы перешли въ собственность арестантовъ. Сняты со всѣхъ, по распоряженію сострадательнаго офицера, „наручни“, кое-гдѣ занялись чаепитіемъ..... Откуда-то на Божій свѣтъ выплыла водка.... Открылись окна, мигомъ сброшены съ плечъ сѣрые халаты, и вскорѣ удалая арестантская пѣсня, наполнивъ вагонъ, вырвалась на волю, понеслась въ даль по широкому, безграничному простору, надъ изумрудной зеленью, ярко блестящую подъ горячими лучами солнца....

Острая боль начинаетъ понемногу улегаться, предъ глазами встаютъ образы милыхъ, дорогихъ лицъ, свѣтлыя картины такъ недавно пережитаго на свободѣ счастья, и въ душу начинаетъ прокрадываться тихая, мягкая грусть.... Но широкой волной вры-

важущійся въ окна нѣжный аромать весенняго луга, ликующая природа, богатая розовыми надеждами молодость и избытокъ про-
снувшихся въ груди силъ берутъ свое: исчезаетъ безслѣдно и лег-
кая грусть!

ПѢСНЯ НАРОДНАЯ.

Пѣсня веселая, пѣсня свободная,
Какъ ты вольна, широка,
Какъ ты могуча, о, пѣсня народная,
Какъ ты честна и громка.

Къмъ ты не пляся, пѣсня народная,
Гдѣ твой призывъ не звучалъ,
Пѣсня, какъ бурныя волны, свободная,
Звонкая словно металлъ.

Плясь подъ сводомъ палатъ раззолоченныхъ,
Въ шумномъ пиру за столомъ,
Въ битвахъ ты пляся, кровью омоченныхъ,
Плясь за тяжкимъ трудомъ.

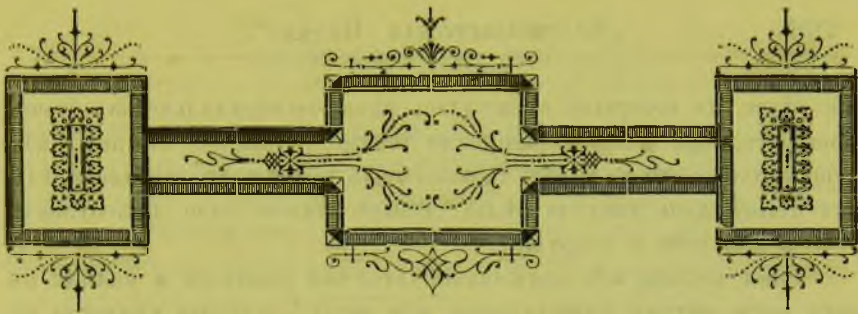
Ты забиралася въ хижину бѣдную,
Пльъ горемыка тебя,
Дѣвка тебя запѣвала, побѣдную,
Парня встѣмъ сердцемъ любя.

Плясь ты за рѣшоткой желѣзною,
Плясь ты въ рудникахъ,
Слышалъ я звуки твои безмятежныя
Въ крѣпкихъ тюремныхъ стѣнахъ.

Ты ураганомъ фемѣла, могучая,
Быстрой милая рѣкой,
Ты хлѣбопашцемъ удалая пляся
Въ полѣ за «маткой» сохой.

Ты разливалась, какъ море, свободная
Въ ширь необъятныхъ полей,
Пѣсня глубокая, пѣсня народная,
Пѣсня отчизны моей!..

Максимъ Леоновъ.



С Т А Р У Х А

(Разсказъ).

А. Г. Туркина.

- **Ч**его сегодня принесла, Анюта?
— Картошекъ, бабушка...

Дѣвушка въ темнотѣ съ трудомъ разыскала свичку, черкнула и зажгла маленькую жестяную лампочку. Фитиль у лампочки долго трещалъ и туснѣлъ, пока, наконецъ, огонь не вспыхнулъ и не освѣтилъ конуру, гдѣ проживали два человѣческія существа—бабушка и внучка. Это была крошечная комната въ подвалѣ одного большого дома. Вся мебель въ этой комнатѣ состояла изъ стола на трехъ ножкахъ, да изъ широкой лавки, гдѣ на кучѣ брошеннаго тряпья сидѣла старуха лѣтъ 80-ти. Она сидѣла, сложивъ изсохшія руки на колѣняхъ, и щурилась на огонь почти слѣпными глазами, при чемъ беззвучно шевелила тонкими безкровными губами. Второе существо была дѣвушка, скорѣе, пожалуй, дѣвочка, лѣтъ пятнадцати, поражавшая худобой своихъ членовъ, хотя лицо этой дѣвушки-подростка было замѣчательно красиво своими тонкими, нѣжными чертами. Густые темные волосы и си-

ніе глаза, въ которыхъ отражалась какая-то страдальческая безпомощность, еще болѣе скрашивали тонкое, изящное личико. Дѣвушка только что вернулась съ работы изъ прачешнаго заведенія, гдѣ она цѣлый день гладила бѣлье. Теперь нужно было приготовить ужинъ для себя и старухи.

Она достала изъ-подъ лавки чугунный котелокъ и налила въ него воды; потомъ развела огонь изъ щепъ, которыя принесла съ собой, и, наложивши въ котелокъ картофеля, поставила на огонь. Старуха любовно и въ то же время съ какимъ-то тоскливымъ безпокойствомъ слѣдила за движеніями своей внучки.

— Сколько сегодня тебѣ дали? спросила она и закашлялась такъ удушливо, что дѣвушка съ безпокойствомъ оглянулась на нее.

— Пятьдесятъ копеекъ, бабушка... тридцать отдала хозяйкѣ за квартиру, на десять купила хлѣба и картошекъ, а остальные тебѣ на лѣкарство...

— Подождала-бы хозяйка-то... глухо проговорила старуха. Вонъ, у тебя ботинки-то чего... Эхъ, Анютка, Анютка!

— Хозяйка-то просить, бабушка... выгоню, говорить, на улицу, ежели не отдадите...

— Выгоню!.. Ахъ, она подлая, нрости Господи... кхе.. кхе... выгоню... ну, и я хороша: чужой вѣкъ завѣшала...

— Полно, бабушка... грѣшно такъ говорить...

— Конечно, завѣшала... продолжала старуха. Вотъ, погоди, Анюта... Скоро умру, тогда отдохнешь...

— Полно, бабушка...

— Охъ, дитя, умру... А ты, Анюта, не тоскуй и какъ-нибудь похороми меня.. рядомъ съ матерью.. и крестикъ бѣленькій поставь... Поставишь, Анюта?

— Цоставлю, бабушка... со слезами въ голосѣ говорила дѣвушка.

— И на могилку похаживай... не забывай... а весной нарви цвѣтковъ, да и положи на могилку... Все-же мнѣ, старухѣ, милѣе лежать будеть...

— Полно, бабушка... всхлиивая, прошептала Анюта.

— Ну, ладно, ладно... давай-ка поужинаемъ...

Дѣвушка тихо вздохнула и начала чистить сварившійся

картофель. Очистивъ нѣсколько картофелинъ, она посолила ихъ и подала старухѣ. Ты съѣла, перекрестилась и легла на лавку. Дѣвушка также поужинала, убрала все и, доставши откуда-то старую, истрепанную книжку, принялась читать. По мѣрѣ чтенія, ея блѣдное личико разгоралось, глаза заблестѣли и вся ея худенькая, стройная фигурка затрепетала отъ наплыва какого-то радостнаго чувства. Черезъ часъ она кончила книгу, закрыла ее и замерла, глядя на огонь своими синими глазами.

И видѣлась ей жизнь, та чудесная, обольстительная жизнь, которая была такъ недалеко отъ ея собачьей конуры. Эта жизнь сосредоточивалась и въ грохотѣ экипажей, и въ ярко сверкавшихъ окнахъ громадныхъ этажей, и въ нарядныхъ магазинахъ, и въ мелодіи, той жгучей, сладкой мелодіи, которая случайно долетѣла до ея уха, когда она проходила по улицѣ. Во всемъ этомъ яркомъ, громадномъ, во всей этой сутолокѣ, какъ нѣчто таинственное и волшебное, сверкала жизнь и звала къ себѣ дѣвушку съ синими глазами... Она, эта жизнь, сулила ей жгучія радости и вкрадчиво шептала о цвѣтахъ, мелодіи, о любви... Молодость пѣла и ликовала въ истощенномъ тѣлѣ и общала такія заманчивыя картины, такъ настойчиво просила жизни, что слезы невольно заволакивали синіе глаза и судорожно сжимались въ темнотѣ блѣдныя ручки....

— Ты чего не спишь, Анютка?—пробормотала старуха спросонокъ.

— Я сплю, бабушка... шепчетъ дѣвушка поблѣвшими губами.

Черезъ недѣлю послѣ этого, старуха въ одинъ вечеръ долго дожидалась своей внучки. Жалкая и безпомощная, она, наконецъ, слѣзла съ лавки и зажгла огонь, посматривая на дверь. Долго дожидалась старуха. Но вотъ дверь отворилась и вошла Анютка. Подъ мышкой она держала большой свертокъ, а на головѣ ея виднѣлся новый расписной платокъ.

— Здорово, бабушка! крикнула она звонкимъ голосомъ.—Чай, заждалась?..

— Заждалась, матушка... Гдѣ ты это пропадала?

— Гуляла, бабушка... Вотъ принесла тебѣ гостинцы: ѣшь, пей и веселись...

Тутъ вдругъ Анютка круто повернулась на одной ногѣ, пцелкнула пальцами и запѣла, къ ужасу старухи:

„Не все горе приплакать,

Не все притужить“...

— Да ты съ ума, дѣвка, сошла?

— Нѣтъ, бабушка...

— Подойди сюда!

Анютка тихо подошла и уставилась въ полъ. Изящное личико дѣвушки носило слѣды буйнаго разгула.

— Э...да ты пьяная! въ ужасѣ вскричала старуха.

— Такъ что-же, бабушка... *Онъ* все мнѣ далъ: и денегъ, и чаю, и сахару...

— Кто онъ?

— Онъ, бабушка... Баринъ молодой, хорошій... я цѣлый день сегодня была у него...

— Ахъ, ты... развратная дѣвченка!.. Да какъ ты...

Тутъ старуха внезапно вскочила, схватила-было Анютку за волосы, но покачнулась и опустилась на лавку. Лицо ея почернѣло, а судорожный кашель потрясъ все ея существо.

Анютка стояла блѣдная, помертвѣвшая и глупо ухмылялась.

— Прости, бабушка... говорила она какимъ-то равнодушнымъ голосомъ.—Все равно бы съ голоду... *Онъ* хорошій... все мнѣ далъ: и чаю, и сахару...

Старуха не отвѣчала, задыхаясь отъ кашля. Анютка вдругъ зарыдала, повалилась на лавку и черезъ нѣсколько минутъ захрапѣла. Старуха долго смотрѣла на нее, потомъ встала, беззвучно шевеля губами, надѣла на себя рваную шубейку и вышла на улицу. „Господи!.. ребенокъ.. вѣдь, она ребенокъ“...

Бормоча эти слова, она тихо направилась по улицѣ и дошла до рѣки. Ночь была лунная, теплая. Въ одномъ мѣстѣ, у самой рѣки, между разбросанными камнями, старуха сѣла и закашлялась.

„Вѣдь, она ребенокъ“...

Старуха судорожно сжимала костлявые пальцы. Свѣжій воздухъ опьянилъ ее и она прилегла между камнями. Рѣка тихо шумѣла и убаюкивала.

„Вѣдь, она ребенокъ“... доносилось отъ рѣки. „Куда это я зашла? Господи! дѣвченка-то моя... Анютка-то моя!“...

Кругомъ было тихо, тихо. Городъ спалъ; полный мѣсяцъ безстрастно смотрѣлъ на землю, звѣзды искрились въ рѣкѣ... Люди спали и имъ, сытымъ и спокойнымъ, закутаннымъ въ теплыя одѣяла, не снилась маленькая старуха, свернувшаяся у рѣки...

На другой день, утромъ, у рѣки нашли мертвую старуху. Тотчасъ собралась толпа людей, пріѣхалъ слѣдователь, за нимъ, немного погодя, прокуроръ, и начали осматривать старуху.

Она лежала между камнями, прижавши изсохшія, заоченѣвшія руки къ груди. Вѣтеръ шелестилъ ея спутавшимися сѣдыми волосами, которые почти совершенно закрывали лицо. Когда волосы отбросили, то всѣ увидали восковое, морщинистое лицо, съ глубоко ввалившимися глазами. Беззубый ротъ былъ полуоткрытъ и на синихъ застывшихъ губахъ виднѣлось что-то похожее на улыбку. Эта прильнувшая къ губамъ улыбка производила непріятное впечатлѣніе. Многіе отвернулись. А между тѣмъ эта улыбка рассказывала, что если-бы не было смерти, то не было-бы и конца страданіямъ. И это старое, безкровное лицо говорило о той жизни, гдѣ нѣтъ ни провзительнаго вѣтра, ни снѣжныхъ метелей, ни голоду, ни жгучихъ слезъ.

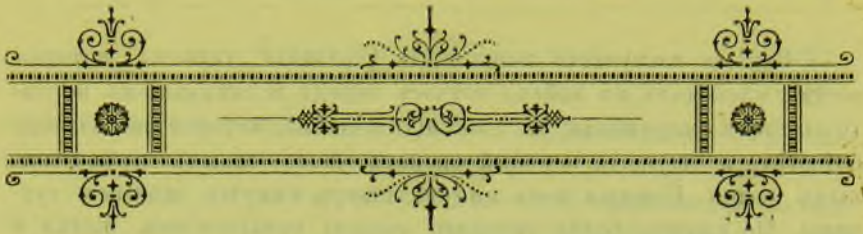
Слѣдователь сдѣлалъ знакъ. Полицейскіе подошли, набросили на смѣющееся лицо рваную шубенку и положили трупъ на телѣгу....



* * *

Садъ давно заснулъ; смолкли шумъ и гамъ.
Липы старыя въ мракъ окутались.
Сплю, не сплю-ли я... я не знаю самъ
Думы дня со сномъ перепутались.
На глаза мои набъжитъ слеза,
Мнѣ былое вновь вспоминается.
То въ душѣ-ль моей вновь гремитъ проза,
То-ль проза въ саду начинается...
Но прошла она... промъ послѣдній стихъ,
Садъ давно заснулъ, смолкъ докучный шумъ,
Свѣтомъ молніи мнѣ надеждъ былыхъ
Вновь проръзалъ мракъ безотрадныхъ думъ.

Ф. Ф—моновъ.



ИЗЪ ВЫЛЕИ О ВОЙНѢ.

Перевелъ съ англійскаго (изъ Pearson's Weekly)

Валерій Идельсонъ.

Жаркій лѣтній день. Парить.

Насъ выстроили рядами близъ опушки прохладнаго, зеленѣющаго высокаго лѣса. Тамъ, въ тѣни за нашими спинами, раздается веселое и беззаботное пѣніе птичекъ. Надъ нашими головами медленно порхаютъ нарядныя бабочки, погруженныя въ свою обычную полудремоту. Неподалеку, направо стоитъ на привязи у дерева какая-то корова, лѣниво пережевывающая свою жвачку, и по временамъ сонно посматривая на насъ, вяло обмахивающая съ себя мухъ своимъ неуклюжимъ хвостомъ.

Все кругомъ пока такъ спокойно и мирно, что и у насъ могли бы сонливо отяжелѣть вѣки, если бы только мы не знали, что еще какой-нибудь десятокъ минутъ—и при этой идиллической сельской обстановкѣ разыграется дико-бѣснующаяся, адская оргія.

Изъ лѣсу, въ нашемъ тылу, начинаетъ доноситься топотъ людскихъ и конскихъ ногъ. Около рожи, виднѣющейся по ту сторону широкаго мирнаго поля, занимаютъ позиціи пѣхотные и кавалерійскіе полки непріятеля.

Затѣмъ наступаетъ тишина, та страшная тишина, которая всегда нисходитъ на войско тотчасъ передъ вспыхиваніемъ перваго пламени разрушенія; та зловѣщая тишина, которая заставляетъ блѣднѣть и ощущать нервный трепетъ даже самыхъ мужественныхъ людей. Каждая пять минутъ теперь кажутся цѣлыми сутками. Не слышно болѣе громкаго говора; прекратились шутки и остроты. Офицеры отдають приказанія тихимъ, подавленнымъ голосомъ, солдаты передвигаются мягкимъ, осторожнымъ, неслышнымъ шагомъ, словно боясь нарушить эту недобрую тишь, тяжесть которой жутко ощущается даже самымъ безпечнымъ и удачнымъ человѣкомъ. Она подавляетъ не только людей, но, видимо, лошадей: однѣ изъ нихъ безпокойно переступаютъ на мѣстѣ, нервно шевеля ноздрями; другія стоятъ какъ вкопанныя, заостривъ чуткія уши и внимательно всматриваясь въ даль,—туда, за поле, гдѣ виднѣется другая масса людей и коней...

Трахъ—бумъ—трахъ!!!

Битва открылась, открылась внезапно, какъ ударъ грома.

Въ рядахъ людей и коней замѣчается движеніе облегченія. Оцѣпенѣніе мгновенно исчезло. И люди, и лошади теперь порываются двинуться впередъ.

Не слышно болѣе пѣнія птишекъ въ зеленомъ лѣсу,—оно заглушено грохотомъ пушекъ. Нѣтъ болѣе сонливой дымки въ лѣтнемъ воздухѣ,—онъ теперь наполненъ облаками порохового дыма. Мирному спокойствію деревни насталъ конецъ: оно умерщвлено теперь тѣми же смертоносными гранатами и бомбами, которыя падаютъ градомъ на наши ряды и разметываютъ людей или оторванные члены людей по травѣ и кустамъ.

Мы готовы, жаждемъ двинуться впередъ или назадъ, или куда-нибудь, но все-таки пока остаемся на мѣстѣ и стоимъ, словно на парадѣ. Наша бригада на лѣвомъ крылѣ развертываетъ свой фронтъ; стоящая же на правомъ мало по малу исчезаетъ въ дыму. Пули свищутъ надъ нашими головами и взрываютъ землю передъ нашими ногами, но начальство все удерживаетъ насъ на мѣстѣ. Среди солдатъ поднимается громкій ропотъ.

Внезапно грохотъ пушекъ усиливается. Непрiятель поставилъ батарею на холмѣ влѣво отъ насъ и теперь непрерывно мечетъ

картечь на весь нашъ правый флангъ. Начинаетъ все сильнѣе рѣзать и нашъ фронтъ. Зашатались и ряды въ тылу.

Наконецъ мы двигаемся впередъ,—намъ приказано атаковать батарею.

Передняя линія быстро исчезаетъ во мракѣ дыма. Сзади слышенъ лишь мѣрный стукъ безчисленныхъ ногъ. Становится невозможнымъ сказать, идетъ-ли въ атаку одинъ полкъ или цѣлая бригада: дымъ теперь закутываетъ насъ такимъ густымъ покровомъ, что нельзя сосчитать болѣе десятка людей направо или налево.

Мы не слышимъ болѣе никакихъ командъ, но тѣмъ не менѣе наша линія движется механически прямо впередъ и впередъ, пока мы не доходимъ до какой-то канавы, пересѣкающей поле. Всѣ перепрыгиваютъ съ крикомъ „ура!“ Ревъ пушекъ становится все оглушительнѣе. Направо и налево, впереди и назадъ, валятся снопами убитые и раненые. Мы спотыкаемся черезъ ихъ тѣла, но сиѣшимъ все впередъ и впередъ. Все яснѣе и яснѣе становятся вспышки молніевиднаго пламени, прорывающагося черезъ тучи дыма, и все ужаснѣе звучатъ въ ухахъ взрывы, раздающіеся мгновенно вслѣдъ за этими грозными молніями. И при каждомъ взрывѣ, тамъ или тутъ, тотъ или другой изъ солдатъ вдругъ скидываетъ кверху руки съ ружьемъ и валится на траву, какъ скошенный. Мы шагаемъ или перепрыгиваемъ черезъ нихъ въ то время, какъ они испускаютъ раздирающіе душу вопли и стоны или корчатся въ предсмертныхъ судорогахъ.

Мы идемъ впередъ и впередъ среди кошмара смерти.

Нами все никто не командуетъ,—да и было-бы просто невозможно слышать команду. Наша линія теперь то движется впередъ, то подается назадъ, точно ею управляетъ кто-нибудь съ помощью рычага, но никто не въ состояніи сказать, какимъ образомъ и для чего все это происходитъ. Каждый изъ насъ дѣйствуетъ самъ по себѣ, и, тѣмъ не менѣе, всѣ какъ-то дѣйствуютъ вмѣстѣ, сообща.

Начинается борьба у самыхъ пушекъ. И съ той, и съ другой стороны валятся люди, сраженные пулею или штыкомъ. Пушки продолжаютъ изрыгать свои снаряды, но теперь уже и на чу-

жихъ, и на своихъ—на хаотическую человѣческую массу, борющуюся въ десяткѣ футъ у жерль орудій.

Наши линіи отступаютъ, почему,—мы опять не знаемъ. Дюжина нашихъ солдатъ пытается овладѣть одною изъ пушекъ—стрѣляемъ, колемъ штыками, бьемъ прикладами. Но мы все-таки отступаемъ и дѣлаемъ попытку построиться въ болѣе правильные ряды. Половина орудій батареи уже замоякла, но другая продолжаетъ осыпать насъ картечью черезъ пространство въ какихъ-нибудь триста футъ.

И все попрежнему, повидимому, нами никто не командуетъ. И тѣмъ не менѣе всѣ наши линіи вдругъ снова устремляются впередъ съ крикомъ „ура!“ Линія то загибается назадъ, то сдваивается, то опять развертывается; люди то пятаются, то прыгаютъ впередъ, но въ концѣ концовъ мы находимъ себя снова среди непріятельскихъ пушекъ. И снова скрещиваются со звономъ и стукомъ штыки и сабли, и снова начинаютъ сыпаться удары прикладами послѣ того, какъ обломался штыкъ. Стоитъ ужасающій ревъ, густѣйшій дымъ, неумолкаемое „ура!“ Опьянѣніе дикимъ побоищемъ заставляетъ одного человѣка бросаться на десятокъ противниковъ...

Чу! что случилось?

Разомъ наступаетъ какая-то странная тишина. Солдаты оглядываются кругомъ въ недоумѣніи и удивленіи. Раны, оставшіяся неощутимыми минутъ пять назадъ, теперь начинаютъ горѣть и вызывать болѣзненные стоны. Пороховой дымъ относится въ сторону движеніемъ воздуха, взволнованнаго боемъ,—и теперь все объясняется.

Намъ удалось овладѣть непріятельскими орудіями и убить, изранить, взять въ плѣнъ полкъ инфантеріи, прикрывавшій эту батарею. Это были атака „на штыки“. Она была встрѣчена штыками, но мы выиграли дѣло.

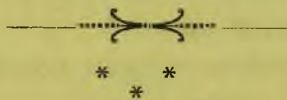
Да, выиграли. Десять акровъ полевой и луговой земли теперь усѣяны мертвыми и ранеными, ранцами, ружьями, саблями, полевыми фляжками,—но это былъ только одинъ простой ходъ на шахматной доскѣ поля одной битвы, одной изъ многихъ битвъ...

Теперь начинается слѣдующій ходъ. Отбитыя нами пушки

теперь обращены на ихъ прежняго собственника, на нашего не-
пріятеля. Наши ливіи приводятся въ порядокъ въ тылу.

И мы, пока уцѣлѣвшіе солдаты, спрашиваемъ себя, оправляясь:
что это было? Неужели все это случилось съ нами наяву? Не-
ужели мы въ самомъ дѣлѣ бродили въ тѣни смерти въ теченіе
предшествовавшаго получаса? Не было-ли все это страшною гре-
зою, тяжелымъ кошмаромъ?

Да, это могло-бы быть страшнымъ сновидѣніемъ, если-бы
не это ужасающее зрѣлище жатвы смерти передъ нашими глаза-
ми; если-бы не стояли въ нашихъ ушахъ эти невыразимо-скорб-
ные стоны, испускаемые безчисленными ранеными, томимыми му-
чительною жаждою, изнемогающими отъ нестерпимо-жестокихъ
болей....



*Храмъ засыпалъ... Ночь развила
Надъ нимъ покровы легкой тѣни
И голубая полумгла*

Ложилась тихо на ступени...

«Другой здѣсь былъ когда-то храмъ.

«Здѣсь прежде идоламъ служили

«И въ изступленіи боимъ

«Людскія жертвы приносили.

«Давно развѣнчаннѣй кумиръ

«Упалъ на каменные плиты,

«Истмѣли струны звонкихъ миръ

«И алтари давно разбиты.

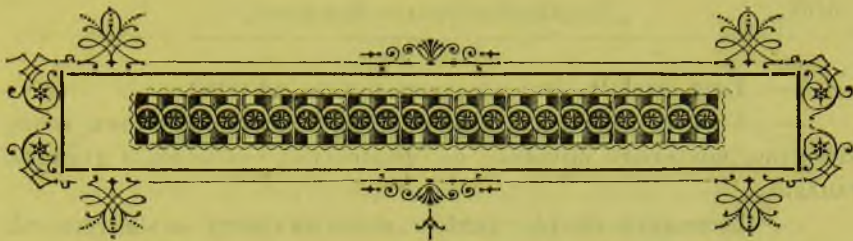
«И тамъ, идъ прежде жертвы кровь

«Лилась и пѣла томно мѣра,

«Давно поставила любовь

«Храмъ всепрощенія и мѣра»...

Такъ говорилъ старикъ съдой—
И взоръ его былъ молодъ снова.
Зачѣмъ-же слушалъ я съ тоской
Его восторженное слово?
Упалъ и мой любимый храмъ,
Куда вѣсь жертвы несъ я прежде.
Упалъ... И нѣтъ молитвы тамъ,
И больше мѣста нѣтъ надеждъ...
Тамъ отравлялъ меня и жегъ
Дымъ опьяняющихъ курений...
Онъ былъ суровъ, онъ былъ жестокъ—
Тѣхъ алтарей надменныхъ гений!...
А я, какъ рабъ, у ногъ его
Томился въ жажду жертвы новой,
Всю кровь изъ сердца своего
Лить на алтарь его готовый...
И онъ упалъ, ему не встать,
Онъ мертвъ и холоденъ, какъ камень,—
Ему не могутъ жизни дать
Огонь любви и вѣры пламень.
Но изъ камней своихъ руинъ
Я алтарей другихъ не строю
И часто тамъ брожу одинъ
Съ своей задумчивой тоскою...
Встаетъ знакомая печаль,
Невольно глазъ слеза туманитъ,—
И все назадъ зоветъ и манитъ,
И снова прошлаго мнѣ жаль...



ІЕРИХОНСКАЯ ТРУБА.

Разсказъ

Н. В. Казанцева.

І.

С^тояли послѣдніе дни августа. На террасѣ, выходившей въ густой старый садъ, сидѣлъ плотный и видный господинъ лѣтъ сорока, Борисъ Николаевичъ Березинъ. На его лицѣ, съ круглой русой бородкой, лежало недовольное и нѣсколько сердитое выраженіе.

На террасу вошла блѣдная съ болѣзненнымъ цвѣтомъ лица, изящно одѣтая, дѣвочка.

— Au revoir, rара!—сказала она какъ-то не подѣтски солидно.

— Куда это ты, Лида, такая нарядная? спросилъ онъ, цѣлуя блѣдную щечку дѣвочки.

— Маня Волгина именинница сегодня, у насъ дѣтскій праздникъ.

— Отлично, веселись и шали себѣ на здоровье, дѣвочка!

— Фи, рара,—съ брезгливой гримаской возразила дѣвочка,— тамъ будутъ все благовоспитанныя дѣти.

— Вотъ что! Что-же вы тамъ будете дѣлать?

— Сперва, конечно, устроимъ дѣтскія игры, а потомъ меня, вѣроятно, попросятъ сыграть на фортепiano,—объяснила дѣвочка уходя.

— Господи, и ей уже успѣли вбить въ голову объ искусствѣ! — съ неудовольствіемъ подумалъ Березинъ, развертывая газету.

— Лида прощалась съ вами?—спросила нѣсколько минутъ спустя молодая женщина, входя на террасу. Березинъ отложилъ въ сторону газету и посмотрѣлъ на жену. Анна Петровна Березина была, что называется, belle femme, въ полномъ смыслѣ этого слова. Высокая, стройная, съ пышнымъ бюстомъ, она была бы очень красива, еслибъ металлическій блескъ сѣрыхъ глазъ не придавалъ ея лицу холоднаго и отчасти надменнаго выраженія.

— Да, Лида была здѣсь,—отвѣчалъ Березинъ,—и вотъ по поводу-то ея я хочу еще разъ попробовать столкнуться съ вами.

— Мнѣ кажется, это будетъ бесполезно,—отвѣчала Анна Петровна, садясь въ кресло противъ мужа,—мы все равно не поймемъ другъ друга.

— Я хочу обратиться не къ вашему сердцу, а къ здравому смыслу; вы совсѣмъ изуродовали дѣвочку!

— Вы находите? насмѣшливо спросила Березина.

— Вы съ вашей гувернанткой совсѣмъ ея замуштровали; это не воспитаніе, а дрессировка какая-то. Такъ воспитываютъ не дѣтей, а ученыхъ собачекъ!

— Что же вамъ собственно не нравится?

— Все! Помилуйте, дѣвченка въ семь лѣтъ воображаетъ себя піанисткой! Болѣзненная, апатичная, безъ дѣтской рѣзвости и смѣха, это какая-то вѣчно разряженная кукла, а не живой ребенокъ! Ей нуженъ воздухъ, движеніе, а вы вѣчно заставляете ее брэнчать эти проклятыя гаммы.

— Ее никогда и никто не заставляетъ, она играетъ только по собственному желанію. Правда, у дѣвочки слабое здоровье, оттого она и выглядитъ нѣсколько болѣзненною. Къ зимѣ ее необходимо увезти на югъ. Я удивляюсь,—прибавила Анна Петровна послѣ небольшой паузы—почему это на васъ вдругъ напала забота о Лидѣ? Вы, кажется, и существованія-то ея не замѣчаете.

— Не правда! А что я ее не вижу по цѣлымъ днямъ,—это вѣрно. Она вѣчно трезвонить на рояли. Согласитесь, что все это и уродливо, и смѣшно.

— Для васъ,—а другіе всѣ говорятъ, что Лида выдержанный, серьезный не по лѣтамъ и съ замѣчательными музыкальными способностями ребенокъ.

— Вы ее приучаете къ ненужной роскоши, а мы съ вами вовсе не богаты.

— Къ сожалѣнію, и благодаря вамъ.... Кстати, вы условились съ Вальковскимъ о дѣлѣ?

— Я отказался!

— Отказались?! Да вы съ ума сошли! Отказаться получать три тысячи въ годъ за одно только номинальное участіе въ дѣлѣ!

— Да, пото мучто оно имѣетъ некрасивую подкладку, а я....

— Лѣнивый эгоистъ, для котораго благосостояніе семьи ничего не значитъ! перебила Анна Петровна.

— Не говорите вздора! Моего жалованья и вашего дохода слишкомъ достаточно даже для той глупой жизни, какую мы ведемъ.

— Достаточно только при моемъ умѣннѣ вести хозяйство. Вы даже не замѣчаете, что мнѣ приходится отказывать себѣ очень во многомъ.

— Это при 9000 дохода?!

— Намъ нужно не менѣе 12000. Мнѣ надоѣло дрожать надъ каждой копейкой! Ужъ если я сдѣлала непоправимую ошибку, выйдя за васъ, такъ я хочу вознаграждать себя за это хотя комфортомъ.

— Кажется вамъ не на что пожаловаться и я вовсе не желаю входить въ спекуляціи для удовлетворенія вашихъ наклонностей къ роскоши.

— А вы забыли, что я васъ за уши вытащила въ люди! что вы всѣмъ мнѣ обязаны!—съ раздраженіемъ сказала молодая женщина.—Выходя за васъ, я надѣялась, что вы сдѣлаете блестящую карьеру и, не смотря на вашу неспособность, вы бы ее сдѣлали, еслибъ слушались меня.

— Позвольте, я вамъ ничѣмъ не обязанъ!

— Вы забыли,— продолжала говорить она,— что только благодаря моимъ деньгамъ, на которыя были куплены акціи, вы попали въ директора вашего банка.

— Не скажете-ли вы, что я женился на васъ изъ-за денегъ?

— Да, изъ-за денегъ, изъ-за связей и вліяніи... Черезъ два года я уже поняла, что испортила себѣ жизнь, выйдя за такого безсердечнаго эгоиста, и съ тѣхъ поръ терпѣливо несла свой крестъ, дѣлая все, чтобы устроить наше благосостояніе.

— Вы только мѣшались и мѣшаетесь не въ свое дѣло! Какой это крестъ вы несете, желалъ-бы я знать?

Чѣмъ дальше шель разговоръ, тѣмъ больше увеличивались взаимное раздраженіе и упреки.

— Какъ!— вскричала Анна Петровна, быстро вставая съ мѣста,— вы забыли, что я пожертвовала для васъ своей артистической карьерой!

Березинъ желчно расхохотался.

— Вотъ вы про что! Знаете, ужъ если кто дѣйствительно несетъ крестъ и страдаетъ, такъ это мои несчастныя уши! Вашъ мелодическій голосъ, напоминающій одну изъ іерихонскихъ трубъ, скоро доведетъ меня до помѣшательства.

Березинъ никакъ не ожидалъ того эффекта, который произвели его послѣднія слова: Анна Петровна, блѣдная какъ полотно, нѣсколько секундъ молча сидѣла, смотря на мужа съ такой ненавистью, что онъ невольно опустилъ глаза, потомъ встала и молча ушла съ террасы.

Сцены между супругами повторялись не рѣдко, но такой, какая произошла сейчасъ, еще не бывало. Успокоясь, Березинъ пожалѣлъ о послѣднихъ словахъ, онъ зналъ, что ничѣмъ такъ нельзя оскорбить жену, какъ насмѣшкой надъ ея пѣніемъ. Анна Петровна обладала дѣйствительно громаднымъ голосомъ, верхнія ноты котораго производили неприятное впечатлѣніе на слушателя. Какъ всѣ самолюбивыя женщины, она не хотѣла замѣчать этого и, участвуя въ любительскихъ концертахъ, принимала аплодисменты изъ вѣжливости, за данъ своему таланту. Березина всегда возмущало, какъ это Анна Петровна, при ея умѣ, тактѣ и знаніи свѣта, не замѣчаетъ, что бываетъ порой смѣшна. Можетъ быть, онъ и оши-

бался, но лично на него пѣніе жены производило всегда удручающее впечатлѣніе, особенно усилившееся въ послѣднее время, когда разладъ между ними сталъ доходить почти до взаимнаго отчужденія. Въ первые годы ему удавалось, не оскорбляя самолюбія жены, отговаривать ее пѣть при публикѣ, но потомъ это ему надоѣло. Онъ пересталъ стѣсняться. Насмѣшки и небрежное отношеніе къ таланту жены больно задѣвали ея самолюбіе и послужили одной изъ главнѣйшихъ причинъ разлада.

— Мы чужіе, окончательно чужіе,—рѣшилъ онъ, ходи по террасѣ. Особенно его задѣло замѣчаніе жены, что онъ женился на ея деньгахъ.

— Неправда!—вслухъ подумалъ Березинъ.—Она мнѣ нравилась, нравился ея практической умъ, тактъ, красота. Наконецъ, мнѣ тогда вовсе не казалось такъ противнымъ ея пѣніе.

И Березину вспоминалось, какъ онъ, съ первой встрѣчи, сталъ ухаживать за Анной Петровной. Дочь когда-то богатаго помѣщика, Анна рано лишилась матери и получила воспитаніе въ одномъ изъ лучшихъ московскихъ институтовъ. Кончивъ курсъ, она пріѣхала къ отцу и, вмѣсто той блестящей свѣтской жизни, о которой она мечтала, ей пришлось поселиться въ деревнѣ вдвоемъ съ большимъ отцомъ, съ которымъ она не видалась со смерти матери. Вмѣсто богатства, она нашла полное раззореніе. Имѣніе продали за долги, отецъ умеръ. Къ счастью, одному изъ родственниковъ молодой дѣвушки удалось спасти отъ кредиторовъ часть имѣнія, принадлежащаго ея матери и, благодаря этому, послѣ ликвидаціи, у ней остались 25000 рублей, и Анна переѣхала жить въ городъ. Практичная не по лѣтамъ, Анна Петровна рано научилась цѣнить деньги. Жизнь у родственниковъ стѣсняла ее во многомъ и она рѣшила поскорѣе выйти замужъ. Блестящихъ жениховъ не было въ виду и практическая дѣвушка сообразила, что такой человекъ, какъ Березинъ будетъ для нея самымъ подходящимъ мужемъ. Во первыхъ, онъ былъ очень приличенъ, образовавъ, довольно красивъ, на хорошей дорогѣ, и отчасти ей нравился, а во-вторыхъ, она имѣла въ виду, что съ ея помощью Березинъ сдѣлаетъ блестящую карьеру.

Долго сидѣлъ на террасѣ Борисъ Николаевичъ, и ему при-

помнилось, как онъ, получивъ согласіе Анны, немедленно отправился подѣлиться своею радостью къ единственной своей родственницѣ Марьѣ Яковлевнѣ Гвоздевой, очень умной, пожилой женщинѣ, слывшей большой оригиналкой.

— Поздравьте, тетушка, женюсь!—весело сказалъ онъ, здороваясь съ теткой. Узнавъ на комъ, Марья Яковлевна насмѣшливо посмотрѣла на племянника и визгливо проиѣла:

„Вздумалъ Теренька жениться,
Тетка-то Марья дивится—
Экъ тебя черти-то взяли,
Мы бъ тебя дома связали!“

— Это ужъ Богъ знаетъ, тетушка, что такое!—обидѣлся племянникъ.

— А скоро ты замужъ-то выходишь? спросила тетка.

— Я не ожидалъ, что вы такъ отнесетесь къ моей женитьбѣ.

— Не взыщи, какъ думаю, такъ и говорю. Я тебя, Борисъ умнѣе считала—не пара вы. Она помѣшана на аристократичности, а ты разночинецъ. При томъ у ней есть деньги.

— Такъ неужели вы думаете, что я женюсь на деньгахъ? Мы любимъ другъ друга... Скажите, что ее заставляетъ выходить за меня съ ея средствами, умомъ, красотой, она бы нашла лучше партію, возражалъ Березинъ.

— Да пойми ты, что она женится, а ты только выходишь замужъ.

Этотъ разговоръ порвалъ всякія отношенія и Березинъ, женонась и переѣхавъ въ другой городъ, только разъ въ годъ перепиывался съ теткой.

— Какъ вѣрно угадала тетушка!—кончилъ свое размышленіе Борисъ Николаевичъ:—я дѣйствительно „вышелъ замужъ“, а не женился!

III.

Черезъ нѣсколько дней послѣ ссоры Березина съ женой на столбахъ города Н-ска появилась афиша, извѣщающая Н-ю публику, что извѣстный теноръ Н-ской оперы Граціановъ дастъ проѣздомъ черезъ Н-скъ концертъ. Это извѣстіе произвело сильную сенсацію между любителями и зала Н-скаго клуба была полна зрителями, въ день

концерта. Борисъ Николаевичъ, желая по возможности сгладить острыя отношенія съ женой, заранѣе достала для нея мѣсто перваго ряда.

Анна Петровна иронически улыбнулась, проговорила „merci“ и попрежнему продолжала игнорировать существованіе Бориса Николаевича. Концертъ сошелъ очень удачно, публика была въ восхищеніи и громъ аплодисментовъ покрывала каждую вещь, спѣтую артистомъ. У Граціанова былъ не особенно большой, но чрезвычайно мягкій и хорошо обработанный голосъ. Умѣнье пѣть, превосходная фразировка и красивая наружность Граціанова доставили всеѣмъ эстетическое удовольствіе, а восторженный приѣмъ публики въ свою очередь тронулъ артиста. Анна Петровна осталась въ восхищеніи отъ концерта и, познакомившись съ артистомъ въ тотъ же вечеръ, сказала ему нѣсколько комплиментовъ. Любезность красивой, молодой, эффектной барыни очень польстила Граціанову и онъ на другой же день былъ у ней съ визитомъ. Узнавъ, что Анна Петровна поетъ, онъ почти насильно заставилъ ее спѣть.

— Помилуйте, да у васъ феноменальный голосъ!—вскричалъ онъ, когда она кончила пѣть,—и не грѣхъ, не стыдно, зарывать такой талантъ!

— Вы шутите!

— Клянусь вамъ, что я ничего подобнаго не слыхалъ! Я не люблю и не умѣю льстить,—искренно говорилъ Граціановъ, любясь красивой пѣвицей,—у васъ рѣзки и не обработаны верхнія ноты, но годъ, самое большее два, труда и, пари на что угодно, вы будете европейской дивой.

— Полноте, ш-г Граціановъ, грустно отвѣтила Анна Петровна,—не для меня артистическая карьера!

— Что вы говорите! именно для васъ! При такой удивительно эффектной наружности, съ такимъ голосомъ, вы съ ума сведете цѣлую Европу.

— Зачѣмъ вы смѣтаетесь!—кокетливо отвѣчала молодая женщина.

— Клянусь вамъ, пѣть. Вы совершите преступленіе, если сейчасъ же не уѣдете въ Италію.

— Въ Италію! Но это не возможно.

— Вы должны это сдѣлать. Годъ работы, только годъ,—и вы будете дебютировать въ миланскомъ Scala!

— Не смущайте меня несбыточными грезами.

— Это не грезы, а дѣйствительность. Знаете что, я готовъ остаться здѣсь мѣсяць, два, чтобъ предложить вамъ свои услуги. Даже съ моими маленькими знаніями и опытомъ, вы черезъ мѣсяць не узнаете себя.

Анна Петровна съ непонятнымъ для нея удовольствіемъ смотрѣла на взволнованное, дышащее увлеченіемъ лицо артиста. Она чувствовала, что онъ говоритъ искренно.

— Какой вы добрый,—выговорила, она протягивая ему руку. Граціановъ наклонился и, цѣлуя руку, сказалъ:

— И такъ, съ завтрашняго дня мы начинаемъ уроки.

И сколько не отговаривалась Анна Петровна, Граціановъ сказалъ, что онъ останется въ N-скѣ до тѣхъ поръ, пока не убѣдитъ ее ѣхать учиться.

Черезъ нѣсколько дней въ городѣ стало извѣстно, что Граціановъ остается на неопредѣленное время въ N-скѣ и дастъ еще одинъ или два концерта, въ которыхъ примутъ участіе всѣ мѣстные таланты. Предположено было дать нѣсколько сценъ и отрывковъ изъ оперъ. Городъ оживился, начались репетиціи. Въ числѣ участвующихъ первое мѣсто завяла, конечно, Анна Петровна и Граціановъ въ продолженіе цѣлаго мѣсяца репетировалъ съ ней. Съ первыхъ же дней онъ сдѣлался любимцемъ публики N-ска—дамы его носили, что называется, на рукахъ и самолюбіе Анны Петровны было вполне удовлетворено; она видѣла, что вся эта исторія затѣяна Граціановымъ съ цѣлью выдвинуть ее на первый планъ. Съ перваго разговора съ Граціановымъ въ ней проснулась актриса. Сдержанная, Анна Петровна всегда въ тайнѣ мечтала о сценѣ, публикѣ, аплодисментахъ. Между ней и красивымъ артистомъ установились какіе-то особыя отношенія, точно между ними была тайна, которую они знаютъ оба, но не говорятъ о ней одинъ другому. Каждый день утромъ онъ пріѣзжалъ къ Березиной и, пропетировавъ съ ней, оставался часа два, весело и увлекательно рассказывая Аннѣ Петровнѣ о своемъ прошломъ. Граціановъ

принадлежалъ къ рѣдкому типу жизнерадостныхъ людей, для которыхъ вѣчно свѣтитъ солнце и жизнь является прогулкой по саду, полному цвѣтовъ въ свѣтлое майское утро.

— Неужели вамъ не надоѣли всѣ эти хлопоты и ваши безтолковыя ученицы?—спросила его недѣли черезъ двѣ послѣ перваго разговора Анна Петровна.

— О, нѣтъ. Я увѣренъ, что цѣль моя будетъ достигнута.

— Какая?

— О которой я говорилъ вамъ при первой нашей встрѣчѣ,— отвѣчалъ артистъ, смотря на вспыхнувшее румянцемъ въ эту минуту лицо Анны Петровны.

— Я не понимаю.

— Не правда,—понимаете. Женщина не можетъ этого не понять. Я знаю.

— Скажите,—чувствуя, что она покраснѣла, перебила разговоръ Анна Петровна,—вы откуда куда ѣдете?

— Въ Италію.

— Вы, зачѣмъ?

— Чтобъ проводить въ Миланъ къ профессору, у котораго я учился, новую ученицу,—и, взявъ руку Анны Петровны, онъ горячо поцѣловалъ ея розовую ладонь и медленно вышелъ изъ комнаты.

Черезъ два дня было назначено первое представленіе. Никогда еще Н-скій театръ не бывалъ такъ полонъ, какъ въ этотъ вечеръ. Насколько можно было подготовить любительницъ въ такое короткое время, все было сдѣлано и публика вынесла отличное впечатлѣніе. Когда Анна Петровна, пѣвшая съ Граціановымъ большой дуэтъ, вышла на сцену, Березинъ, сидѣвшій во второмъ ряду, не узналъ жены. Красивый, сдѣлавный по рисунку Граціанова, богатый костюмъ необыкновенно шелъ къ ея статной, высокой фигурѣ. Смущеніе и нервность согнали съ ея лица обычное капризно-презрительное выраженіе и она была красива теперь, какъ никогда. Начался дуэтъ. Мягкіе, чистые звуки голоса Граціанова, пѣвшаго ей о своей страстной, безумной любви, лились волной и точно передались Березиной. Въ ея голосѣ слышались теперь нѣжность и чувство. Пѣла она на среднихъ нотахъ и не-

пріятнаго, металлическаго тембра не было слышно. Борисъ Николаевичъ съ удивленіемъ слушалъ это пѣніе и невольно сознался, что былъ несправедливъ въ женѣ. Публика слушала съ напряженнымъ вниманіемъ, а на сценѣ шла своя сцена. Анна видѣла передъ собой красивое лицо и горящіе огнемъ страсти глаза Граціанова,—эти глаза, этотъ пѣжный ласкающій голосъ, молящій о любви, волновалъ и заставлялъ биться ея сердце такъ, какъ оно не билось никогда. Она не пѣла, она переживала слова дуэта, и они выливались у ней отъ сердца. Она чувствовала, что именно передаетъ то, что хотѣлъ сказать композиторъ. Она видѣла, что Граціановъ доволенъ, какъ артистъ, ея пѣніемъ, она слышала, какъ онъ шепталъ: „прелестъ, браво, хорошо!“ и это одобреніе придавало ей увѣренности въ себѣ; она забывала все и пѣла увѣренно и смѣло. Дуэтъ кончался тѣмъ, что въ отвѣтъ на послѣднія слова героя, звучація всей скорбью отвергаемой любви, въ которыхъ онъ говоритъ, что безъ нея ему весь свѣтъ могила, что онъ умретъ у ногъ ея, героиня склоняется ему на грудь и говоритъ: „живи, мой милый, я твоя“. Въ послѣднихъ словахъ, пропѣтыхъ Анной, слышались и страсть, и чувство. Въ то время, какъ занавѣсъ медленно опускался при громѣ аплодисментовъ, Анна не сознавала ничего, она только чувствовала, какъ ея губы и лицо жгли страстные поцѣлуи Граціанова и его голосъ шепталъ надъ ея ухомъ: „люблю, люблю, люблю“.

Занавѣсъ подняли, публика настойчиво требовала повторенія дуэта и даже Березинъ, какъ онъ не разъ вспоминалъ потомъ, тоже кричалъ „bis!“. Сцена минутъ пять оставалась пуста, наконецъ артисты вышли, но напрасно публика кричала „bis“, дуэтъ повторенъ не былъ. Дѣйствительно, Анна Петровна была настолько взволнована той массой совершенно новыхъ, пережитыхъ ей ощущенийъ, что была близка къ обмороку. Вырвавшись изъ объятій Граціанова, она едва дошла до своей уборной и упала въ кресло. Что происходило съ ней, она не могла дать себѣ отчета. Поцѣлуи Граціанова еще не остыли на ея губахъ, и не то гнѣвъ, не то испугъ отъ чего-то неожиданнаго, но радостнаго, охватилъ ее всю и мѣшалъ ей разобраться въ своихъ ощущеніяхъ. Кругомъ ея толпились участвующіе, поздравляли, аплодировали. Режиссеръ два

раза прибѣгалъ, говоря, что ея вызываютъ,—она не могла пошевелиться и жадно пила холодную воду. Въ дверяхъ уборной показался Граціановъ и, умоляюще смотря на нее, проговорилъ:

— Публика съ ума сходитъ, вызывая васъ.

Отказываться дальше было невозможно. Анна, сдѣлавъ, надъ собой усилие, встала и, какъ будто не замѣчая протянутой руки Граціанова, взяла подъ руку режиссера и вышла на сцену. Граціановъ шелъ слѣдомъ.

— Простите безумца!—успѣлъ шеннуть ей онъ, между вызовами.

— Не смѣйте говорить со мной!—вырвалось у Анны.

Борисъ Николаевичъ очень удивился, когда, придя на сцену, узналъ, что Анна Петровна уѣхала домой.

Возвращаясь изъ театра, Березинъ, въ первый разъ въ жизни, не чувствовалъ того раздражающе-непріятнаго впечатлѣнія какое онъ выносилъ всегда отъ пѣнія жены. Въ этотъ разъ онъ, видѣлъ, что публика осталась довольна исполненіемъ, и онъ искренно сознался, что былъ черезчуръ требователенъ и даже несправедливъ къ женѣ.

„Какая она красивая была сегодня“,—думалъ онъ и эта мысль, вмѣстѣ съ безпокойствомъ о здоровьѣ Анны, пробудила въ его душѣ давно забытую нѣжность и онъ вернулся домой съ твердымъ намѣреніемъ примириться.

— Что барыня?

— Спать легли,—отвѣчала горничная,—и не приказали себя безпокоить.

Несмотря на эти слова, онъ прошелъ въ спальню жены, двери оказались запертыми, онъ постучалъ и, не получивъ отвѣта, недовольный вернулся къ себѣ въ кабинетъ.

Анна Петровна заснула только утромъ. Лишь только она закрывала глаза, какъ передъ ней была снова театральная зала, снова слышать она страстный шопотъ Граціанова и чувствуетъ его поцѣлуи на своемъ лицѣ; она вздрагивала отъ негодованія, но въ то же время кровь бурной волной прилиwała къ ея сердцу и наполняла его какой-то нѣгой и сладкой истомой. На-

прасно она куталась съ головой въ одѣяло, на нее смотрѣли сверкающіе глаза артиста, снова обнимають ее его руки и слышатся между поцѣлуями: „люблю, люблю“...

„Впрочемъ, никто ничего не замѣтилъ,—подумала она и улыбулась,—я напрасно такъ встревожилась“.

Эта мысль успокоила Анну Петровну и она не старалась больше отгонять отъ себя овладѣвшихъ ею грезь. Она сознавала, что ея сердцу было тепло, что оно бьется, какъ не билось никогда, и холодная, разсудительная Анна Петровна не узнавала себя. Наконецъ она заснула и, пробудясь на другой день въ часъ дня, долго старалась припомнить, что такое видѣла она во снѣ. А сонъ былъ обаятельно хорошъ... Наконецъ ей удалось его припомнить. Видитъ она, что сидитъ на берегу моря, а у ногъ ея лежитъ онъ и, смотря въ ея глаза своими полными нѣжности и страсти глазами, поетъ ей чудную пѣсню любви подъ акомпаниментъ волны Средиземнаго моря.

III.

Одѣвшись, Анна Петровна узнала, что Граціановъ уже заѣзжалъ и сказалъ, что еще заѣдетъ. Борисъ Николаевичъ просилъ прислать сказать ему въ банкъ, какъ ея здоровье.

— „Merci,—я здорова“, написала Анна Петровна и стала думать—принять ей, или не принять Граціанова, и рѣшила, что не принять.

Въ комнату вошла Лида и поздоровалась съ матерью.

— Понравилось тебѣ вчера? спросила она дѣвочку, бывшую тоже въ концертѣ.

— О, да,—отвѣтила дѣвочка своимъ обычнымъ равнодушно спокойнымъ тономъ,—„mademoiselle“ говорить, что „maman était magnifique“, и даже рара очень доволенъ.

— Вотъ какъ,—улыбулась Анна Петровна.

— Простите, что безъ доклада,—сказалъ, быстро входя въ комнату, режиссеръ, Андрей Павловичъ Вельскій, страстный меломанъ, вѣчно торонящійся куда-то.

— Какъ вы насъ напугали вчера—говорилъ онъ, цѣлуя руку Анны Петровны,—ау какъ же здоровье? Впрочемъ, нечего и го-

ворить, вы еще красивѣе, чѣмъ вчера! Прелесть, восторгъ. Я виновать передъ вами, каюсь, я боялся за васъ, но вы, вы волшебница, вы были божественны.

— Будетъ, будетъ вамъ льстить,—перебила его очень довольная похвалами Анна Петровна; она знала, что Вельскій, какъ и всѣ, не былъ поклонникомъ ея пѣнія.

— Я никогда не лъщу. Вы вчера пѣли съ душой, была масса чувства. Мы всѣ въ восторгѣ... А Граціановъ... Онъ себя превзошелъ. Да, не забыть бы: слѣдующій концертъ черезъ недѣлю.

— Я едва-ли буду участвовать, я страшно утомлена.

— Будете, будете, должны! Ахъ, этотъ Граціановъ. Безъ него мы бы такъ и не узнали, что за перлъ скрывается среди насъ! Теперь я знаю, какая ждетъ васъ будущность.

— Пѣть разъ въ годъ обязательно въ концертахъ?

— Немедленно ѣхать учиться. Вотъ кстати,—вскричалъ онъ, увидавъ входящаго Граціанова—условьтесь съ Анной Петровной, когда назначить репетицію и извѣстите. До свиданія,—мнѣ пора. Онъ вамъ расскажетъ, какъ мы вчера и сегодня восхищались вами—и, наскоро поцѣловавъ руку хозяйки, Андрей Павловичъ торопливо вышелъ изъ комнаты.

Послѣднія слова Вельскаго дали время Аннѣ Петровнѣ оправиться отъ неожиданности появленія Граціанова.

— Слава Богу!—вскричалъ онъ,—я чуть съ ума не сошелъ, беспокоясь о вашемъ здоровьѣ.

— Лида, что же ты нездороваяешься съ т-г Граціановымъ? сказала Анна Петровна. Дѣвочка присѣла. Артистъ, поднавъ на руки и цѣлуя Лиду, сказалъ:

— Не правда-ли, Лида, мамочка была божественно хороша.

— Да!—анатично отвѣчала дѣвочка и хотѣла уйти, но Анна Петровна удержала ее.

— Еслибъ вы знали, какъ я мучился!—говорилъ Граціановъ, садясь на маленькое кресло возлѣ хозяйки.—Я не могъ дожидаться...

— А что сегодня холодно? перебила Анна Петровна, глядя рукой волосы Лиды.

— Я не знаю... я горю.

— М-г Граціоновъ, вы, кажется, все еще думаете, что вы на сценѣ.

— Простите, безумца,—прошепталъ онъ,—не добивайте, я и такъ убить! Неужели вы еще не простили меня?

— Вы скоро ѣдете?

— Я вамъ говорилъ, когда я уѣду...

— Не помню. Вѣроятно, послѣ второго концерта?

— Это не отъ меня зависитъ.

Анна Петровна не смотрѣла на артиста, но, по тону голоса, по его волненію, она понимала, что только присутствіе Лиды сдерживаетъ его отъ новаго порыва.

— Когда же назначить репетицію? спросилъ онъ послѣ минутнаго молчанія.

— Это не мое дѣло.. Я уже сказала Вельскому, что не буду участвовать во второмъ концертѣ.

— Отчего?

— Я не хочу снова очутиться въ положеніи женщины, которую могутъ безнаказано оскорблять.

— Умоляю васъ! Клянусь, этого не случится.

— Я вамъ не вѣрю. Довольно, ни слова объ этомъ. Я не буду участвовать.

— Во имя всего святаго! Наконецъ, во имя искусства. Забудьте, что съ вами говоритъ человѣкъ, бузумно.... васъ.....

— М-г Граціоновъ!

— Съ вами говоритъ артистъ и умоляетъ васъ во имя искусства, вашего таланта—не бросайте дѣла, такъ блистательно начатаго. Вы убѣдились теперь, что я не увлекался, говоря о вашемъ талантѣ. Во имя его дайте мнѣ возможность быть вамъ полезнымъ. Если вы не можете простить человѣку, на котораго никто никогда въ жизни не производилъ такого чарующаго впечатлѣнія, подѣвліяніемъ котораго онъ въ минуту безумнаго восторга не могъ сдержать того, что накопилось въ душѣ, то не отталкивайте его, какъ артиста.

Рѣчь Граціанова была прервана двумя барынями, пріѣхавшими съ визитомъ къ Аннѣ Петровнѣ. Затѣмъ еще пріѣхало нѣсколько человѣкъ знакомыхъ и Граціанову не пришлось остаться

вдвоемъ съ Анной Петровной. Извѣстіе, что она отказывается пѣть во второмъ концертѣ, произвело извѣстную сенсацію. На другой день къ ней явилась депутація отъ музыкальнаго кружка, но Анна Петровна настойчиво продолжала отказываться и только визитъ губернаторши и еще одной вліятельной дамы N-скаго общества заставили ее согласиться; опасеніе, что финаль дуэта былъ замѣченъ публикой, прошло, а общее вниманіе и любезность были настолько искренни, что Анна Петровна поняла невозможность отказа. А отказывалась она искренно; она опасалась повторенія финальной сцены, сознавая, что во второй разъ она уже будетъ не въ состояніи даже сердиться на Граціанова.

— Поздравляю, моя милая артистка,—говорилъ женѣ Борисъ Николаевичъ, вернувшись домой къ обѣду,—вы вчера были прелестны.

Анна Петровна снисходительно улыбулась и ничего не отвѣтила.

— Увѣряю тебя, что я говорю совершенно искренно,—продолжалъ онъ и хотѣлъ поцѣловать руку жены.

— Очень рада,—сухо отвѣчала Анна Петровна, отдергивая руку.

— Анята, будетъ ссориться, не сердись.

— Пора обѣдать,—уходя изъ комнаты, отвѣчала Анна Петровна.

Въ другое время Березинъ ограничился бы этой неудавшейся попыткой къ примиренію, но со вчерашняго дня въ немъ проснулось что-то похожее на прежнее чувство къ женѣ. Въ тотъ же день поздно вечеромъ онъ пришелъ въ комнату жены.

— Можно къ тебѣ, Анята? спросилъ онъ, отворяя двери. Анна Петровна, сидѣвшая у трюмо, разчесывая свои каштановые волосы, слегка вздрогнула отъ неожиданности.

— Что вамъ угодно?

— Анята,—ласково заговорилъ Березинъ,—я пришелъ сказать, что, если ты считаешь меня не правымъ, я готовъ извиниться. Попробуемъ, Анята, снова установить наши отношенія, попробуемъ понять другъ друга.

— Что это вамъ вдругъ вздумалось?

— Меня всегда тяготило это отчужденіе. Ну не сердись же! Ну, я виноватъ, прости меня, моя милая артистка... говорилъ Березинъ, любуясь женой.

— Я и не думаю на васъ сердиться, прощать мнѣ васъ не въ чемъ... и всякіе разговоры и объясненія бесполезны,—сухо и холодно говорила Анна Петровна, продолжая расчесывать волосы. Березинъ почти не слышалъ этого слова. Онъ залюбовался женой. Въ эту минуту она встала съ мѣста и начала свертывать на головѣ волосы. Широкіе рукава пеньюара, откинувшись на плечи, обнажили ея красивыя руки. Бѣлый пеньюаръ такъ изящно облегалъ ея роскошныя формы, что у Бориса Николаевича слегка закружилась голова, и, не давая себѣ отчета, онъ крѣпко обнялъ жену и нѣсколько разъ успѣлъ ее поцѣловать.

— Прочь! Я ненавижу васъ! вскричала молодая женщина, вырвавшись изъ объятій мужа.

— Анюта,—сконфуженно проговорилъ онъ, испугавшись того выраженія ненависти и презрѣнія, которое свѣтилось въ эту минуту въ глазахъ Анны Петровны.

— Прочь, ненавистный человѣкъ!—повторила она и Борисъ Николаевичъ, окончательно сконфуженный и обзлепленный, вышелъ изъ спальни. Затворивъ дверь на ключъ, Анна Петровна истерически разрыдалась. Она чувствовала себя оскорбленной, какъ женщина и человѣкъ, этимъ неожиданнымъ порывомъ.

Прошло нѣсколько дней. На первой репетиціи Граціановъ только смотрѣлъ на нее умоляющими глазами и не сказалъ ей ни слова. На второй онъ спросилъ при всѣхъ позволеніи прорепетировать съ ней дома. Анна Петровна посмотрѣла на измѣнившееся лицо Граціанова и, улынувшись сказала: „пріѣзжайте“.

На другой день она приняла его у себя въ будуарѣ.

— Неужели вы все еще не простили меня? грустно заговорилъ онъ, смотря въ лицо Анны влюбленными глазами. И при взглядѣ этихъ глазъ она почувствовала, что суровость ея начинаетъ исчезать.

— Я васъ простила,—сказала она,—но мнѣ очень было тяжело потерять къ вамъ уваженіе.

— Поймите, что я безумно люблю васъ!

— Тѣхъ, кого любятъ уважаютъ, а вы... Такой любви я не вѣрю!

— Послушайте, клянусь вамъ всѣмъ святымъ, что вы первая женщина, которую я такъ безгранично полюбилъ.

— Не вѣрю.

— Потребуйте доказательствъ. Встрѣтивъ васъ, я понялъ сразу, что у меня нѣтъ своей воли, я рабъ вашъ. Я всюду слѣдомъ пойду за вами. Не гоните меня, позвольте васъ любить, видѣть васъ.

Откинувшись въ кресло, съ бьющимся сердцемъ, слушала Анна признаніе Граціанова. Она позволила ему пріѣхать, зная, что онъ будетъ говорить о своей любви, она не остававликала его, теперь ей нужна была музыка этихъ рѣчей, онъ заставляли биться ея сердце такъ, какъ не билось оно никогда. Въ холодной, спокойной Аннѣ Петровнѣ проснулась жажда счастья, ласки, любви.

— Къ чему это все приведетъ? Не будете же вы вѣчно жить здѣсь?

— Буду. Мнѣ не уйти отъ васъ. Я молю только объ одномъ— не губите вы свой чудный даръ. Уѣзжайте учиться!

— Поздно. При томъ я не свободна. У меня дочь.

— Для нея не меньше вашего нужно ѣхать. Югъ подѣйствуетъ на нее благотворно, и гдѣ же, какъ не въ Италіи, вы найдете учителей для вашей будущей Софьи Менгеръ.

-- Ахъ, все это мечты!

— Нѣтъ, не мечты. Я понимаю, что вы любите вашего мужа, вамъ тяжело разстаться съ нимъ, но вѣдь вы разстанетесь всего на годъ, на два.

При послѣднихъ словахъ какая-то загадочная улыбка скользнула по губамъ Анны.

— Ну, положимъ, я и пріѣхала бы въ Италію, но что же я тамъ найду одна?...

— А я?...

— Будемъ серьезны. Я, конечно, не позволю себѣ придать значеніе словамъ такого увлекающагося человѣка, какъ вы.

— Зачѣмъ же оскорблять, я всюду поѣду за вами.

— Да вы не можете и не имѣете права это сдѣлать. Вы

поете эту зиму въ Одессѣ.

— Т. е. хотѣлъ. А теперь я буду пѣть въ Миланѣ, вотъ и все.

— Да вы съ ума сошли!

— Неужели же вы думали, что я могу разстаться съ вами! Дорогая, счастье мое, не отталкивайте меня, дайте мнѣ возможность доказать, что моя любовь не увлеченіе, а всепоглощающее чувство, которое только разъ въ жизни загорается въ душѣ человѣка.

Анна Петровна сидѣла, полузакрывъ глаза. Сладкая нѣга и истома, которыхъ она не знавала прежде, овладѣли ею. Она не удивлялась, когда ея рука очутилась въ рукѣ Граціанова.

— Я прощень? Меня не гонять?—говорилъ тихій, ласкающій голосъ.

Ей было такъ хорошо, что не хотѣлось говорить, шевелиться....

— Милая, любимая,—слышала она ближе и ближе этотъ голосъ Простила?—Она полуоткрыла глаза и увидала прямо надъ собою склонившееся къ ней лицо Граціанова, и сперва робкій, а потомъ долгій поцѣлуй помѣшалъ ей сказать что-нибудь; она могла отвѣтить только поцѣлуемъ.

Раздавшійся звонокъ заставилъ ее испуганно вздрогнуть. „Кто-то пріѣхалъ,—мелькнуло у ней въ головѣ, она осмотрѣлась. Граціановъ сидѣлъ у стола на другомъ концѣ комнаты и спокойно разсматривалъ альбомъ.

Пріѣхавшій Вельскій, узнавъ, что они не репетировали, предложилъ Граціанову и Аннѣ Петровнѣ ѣхать вмѣстѣ въ театръ и тамъ сдѣлать репетицію.

На репетиціи Граціановъ, оставшись на минуту вдвоемъ съ Анной Петровной, усиѣлъ шепнуть ей: „Радость моя, чѣмъ же вы рѣшили?“

— Скажу послѣ спектакля, не старайтесь эти дни видѣться и говорить со мной.

— Я буду ждать своего приговора,—отвѣчалъ артистъ.

Въ продолженіе цѣлой недѣли Анна Петровна не видалась и не говорила ни слова съ мужемъ. Борисъ Николаевичъ, обозленный

на себя и на жену, по цѣлымъ днямъ не бывалъ дома и въ день представленія даже не поѣхалъ въ театръ.

Второй спектакль сошелъ удачнѣе перваго. Хоры, составленные изъ любителей, пѣли очень удовлетворительно; красивыя молодыя лица, изящные костюмы подкупили публику. Въ первомъ отдѣленіи Анна Петровна пѣла арію изъ „Рогнѣды“: „Застонало сине море“ и вызвала цѣлую бурю рукоплесканій. Правда, мѣстахъ въ двухъ у ней вырвалась высокая непріятная нота, но въ общемъ исполненіе было вполне удовлетворительно. Костюмъ Рогнѣды, какъ нельзя болѣе, шелъ къ Аннѣ Петровнѣ и зрители дѣйствительно видѣли передъ собой гордую и красивую дочь Рогвольда.

„Застонало сине море, расходился грозный валь“, широкой волной полилось по залѣ и N-ская публика, слыхавшая раньше исполненіе этой аріи Анной Петровной, была пріятно удивлена. Именно за эту-то арію и назвалъ мужъ голосъ Анны Петровны „Іерихонской трубой“, а теперь онъ былъ полонъ силы и мелодичности. Ее заставили повторить три раза. Во второмъ отдѣленіи она пѣла дуэтъ съ Граціановымъ и пѣла увѣренно и смѣло. Она видѣла, она чувствовала, что каждая удачно выполненная нота вызываетъ восторгъ на лицѣ Граціанова и пѣла, отдавшись вся наплыву новыхъ ощущеній, такъ недавно проснувшихся въ ея сердцѣ.

Послѣ спектакля всѣ отравились въ клубъ и неожиданно устроился костюмированный балъ. Рѣдко танцевавшая Анна Петровна, какъ молоденькая дѣвочка, кружилась подъ вѣжные звуки вальса съ Граціановымъ.

— Когда же вы мнѣ скажете мой приговоръ?—шепталъ онъ во время танцевъ.

— Сегодня, во время мазурки,—отвѣтила Анна Петровна.

Началась и мазурка. Граціановъ выбралъ укромное мѣстечко, въ которомъ они могли переговорить, не боясь быть услышанными.

— Не мучьте же меня!.. заговорилъ артистъ.

— Вы очень меня любите?—спросила Анна Петровна.

— Больше жизни!

— И сдѣлаете все, что вамъ скажутъ?

— Безусловно.

— Хорошо,—уѣзжайте скорѣе отсюда.

Красивое, дышащее увлеченіемъ лицо артиста поблѣднѣло; отчаяніе, нѣмой укоръ и страданіе прочла Анна въ его большихъ черныхъ глазахъ.

— Такъ вотъ что!—глухо выговорилъ онъ,—хорошо, я уѣду, но знайте....

— Постойте, я не все сказала,—съ ласкающей улыбкой перебила его Анна.—Вы уѣдете, какъ и предполагали, въ Одессу и будете ждать тамъ моего отвѣта.

— Зачѣмъ же еще длить страданія!.. Убиваютъ сразу.

Въ голосѣ, въ выраженіи лица Граціанова было столько горя, что остатки сомнѣнія въ его любви совершенно исчезли въ молодой женщинѣ.

— Не волноваться! Уѣзжайте, ждите и надѣйтесь,—проговорила Анна, горячо пожавъ ему руку.—Даю слово, что черезъ двѣ недѣли вы получите отвѣтъ.

— Но какой, какой? Вѣдь, я съ ума схожу.

— Кого любить, тому вѣрять безусловно. Заѣзжайте завтра проститься и скажите вашъ адресъ въ Одессѣ.

-- Милая, дорогая....

— Тсъ, — безъ глупостей. За нихъ васъ слѣдовало бы наказаты! Исполните же мою волю. Уѣзжайте скорѣе, будьте умникъ и помните мои слова: „ждите и надѣйтесь“.

Мазурка кончилась въ это время и Анна Петровна сейчасъ же уѣхала изъ клуба, сказавъ Граціанову, чтобы онъ не провозжалъ ея.

На другой день, Граціановъ, пріѣхавъ къ Аннѣ Петровнѣ, засталъ у нея Вельскаго и одну барыню.

— Послушайте, спросилъ его режиссеръ,—неужели вы рѣшительно уѣзжаете завтра?

— Къ несчастію, это необходимо—отвѣчалъ артистъ, я заѣхалъ проститься съ Анной Петровной.

— Прощанье—грустное слово,—кокотливо замѣтила Анна, ласково улыбаясь.—Скажите лучше—до свиданья.

— Конечно. Мы беремъ съ васъ обѣщаніе пріѣхать опять весной къ намъ,—говорилъ Вельскій. Безъ этого мы васъ не отпустимъ.

Граціановъ, просидѣвъ съ полчаса, сталъ прощаться.

— До свиданія,—сказала Анна.—Вѣрьте, что васъ не забудутъ.

На другой день, послѣ прощальнаго обѣда, даннаго Граціанову мѣстными меломанами, онъ уѣхалъ. На вокзалѣ его провожало очень много знакомыхъ дамъ, въ числѣ другихъ и Анна Петровна. На прощанье, когда онъ цѣловалъ ея руки, она успѣла ему шепнуть: „ждите“.

Всю дорогу артистъ находился подъ впечатлѣніемъ этого слова и никогда никакая музыка не была такъ мелодична, какъ это: „ждите“. Граціановъ принадлежалъ къ числу тѣхъ натуръ, для которыхъ нѣтъ середины. Онъ сознавалъ, что полюбилъ серьезно, такъ, какъ не любилъ никогда. Избалованный успѣхами у женщинъ онъ легко увлекался и легко отставалъ, но здѣсь было не то. Онъ не лгалъ, говоря Аннѣ, что его любовь переходитъ въ рабство. Для этой женщины онъ не задумался бы ни передъ чѣмъ. Онъ понималъ, что Анна его любитъ, и любить въ первый разъ, что у такихъ холодныхъ, сдержанныхъ натуръ разъ появившееся чувство выростаетъ день отъ дня. Для него былъ вопросъ, чуть не жизни—порветъ-ли она съ мужемъ, уѣдетъ-ли за границу и, пріѣхавъ въ Одессу, сталъ ждать, то мучась отъ сомнѣній, то мечтая о томъ безграничномъ счастьи, котораго онъ ждалъ въ будущемъ.

На другой день послѣ отъѣзда Граціанова Анна пришла въ кабинетъ мужа. Борисъ Николаевичъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на жену; еще никогда не случалось, чтобъ послѣ ссоры она первая заговорила съ нимъ.

— Вы не заняты? спросила она сухимъ и серьезнымъ тономъ, садясь противъ мужа.—Мнѣ нужно переговорить съ вами.

— Къ вашимъ услугамъ,—отвѣчалъ Березинъ.

— Борисъ Николаевичъ, вы не разъ высказывали, что наша семейная жизнь является какой-то каторгой.

— Надѣюсь, не я же виноватъ въ этомъ?

— Я васъ не виню. Но разъ мы пришли къ такому выводу, то нужно же устроиться такъ, чтобъ этого не было.

— Это всегда было моимъ желаніемъ и вполне зависѣло только отъ васъ.

— Прекрасно. Обдумавши серьезно, я рѣшила окончательно, что намъ нужно разстаться.

— Т. е. какъ это разстаться?

— Я уѣду за границу съ Лидой. Вчера я долго говорила съ докторомъ и онъ настоятельно совѣтуетъ увезти дѣвочку на зиму на югъ.

— Я, конечно, ничего не имѣю противъ этого. Вы довели вашимъ нелѣпымъ воспитаніемъ ребенка до того, что ее нужно серьезно лѣчить. Поѣзжайте,—только почему за границу, гораздо лучше ѣхать въ Крымъ.

— Я рѣшила ѣхать въ Италію.

— А, понимаю. Вѣроятно, съ дѣлю усовершенствовать вашъ дивный голосъ?

— Вы не ошиблись—сдержанно и ровно отвѣчала Анна, на вопросъ мужа,—и глубоко раскаиваюсь, что не сдѣлала этого давно.

— Непоправимая ошибка для всего человѣчества!..

— Для меня, по крайней мѣрѣ. Но такъ какъ лучше поздно, чѣмъ никогда, то я и уѣду какъ можно скорѣе.

— Да, да. Надо дорожить каждой минутой.

— Борисъ Николаевичъ, вы только даромъ тратите ваше остроуміе,—съ снисходительной улыбкой замѣтила Анна.—Мы оба нуждаемся въ спокойствіи и я тороплюсь избавить васъ отъ своего присутствія. А потому я попрошу васъ устроить съ паспортомъ и отдѣльнымъ видомъ на жительство. Впрочемъ, если вы не хотите, такъ я сама попрошу губернатора.

— Т. е. что же это? Вы хотите уѣхать совсѣмъ?

— Надѣюсь, это неособенно огорчить васъ?

— А дочь, а Лида?

— Зиму она проведетъ со мной, а весной я привезу ее сюда.

— Я не отдамъ вамъ дѣвочки.

— Борисъ Николаевичъ, сознайтесь, что вы слишкомъ мало любите дочь, чтобъ скучать безъ нея. Наконецъ, подумайте о ея

здоровья. Послушайте, — разстанемтесь безъ ссоръ, безъ всякихъ исторій, какъ расстаются порядочные люди.

— Поѣзжайте съ ней на зиму въ Крымъ.

— Я сказала, что ѣду за границу, Борисъ Николаевичъ, я еще разъ прошу васъ устроить все такъ, чтобъ въ обществѣ не узнали ничего. Не думайте, что я пугаюсь общественнаго мнѣнія; я нѣсколько лѣтъ жертвовала собой, больше я не могу. Не доводите меня до крайности, и сохраните хоть уваженіе въ моихъ глазахъ!

— Хорошо! — послѣ минутнаго размышленія рѣшилъ Березинъ, — уѣзжайте, куда хотите! Но знайте, что я отпускаю Лиду только на зиму. Уродовать дальше вашимъ воспитаніемъ дѣвочку я не дамъ!

— Такъ я васъ попрошу все устроить поскорѣе.

— На-дняхъ я все сдѣлаю.

— Благодарю. Я всегда вѣрила, что вы не принадлежите къ числу тѣхъ мужей, которые способны злоупотреблять своими правами.

— Спасибо хоть за это, — съ горечью замѣтилъ Березинъ. — А относительно вашихъ денегъ какъ прикажете устроить?

— Я возьму тысячи двѣ съ собой, а проценты съ бумагъ банкъ будетъ переводить туда, гдѣ я поселюсь.

— Будетъ исполнено.

— Благодарю! Такъ я начинаю собираться и дѣлать прощальные визиты?

— Какъ вы торопитесь!

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

Въ продолженіе двухъ недѣль всѣ сборы были покончены. Аннѣ Петровнѣ удалось устроить такъ, что въ обществѣ отъѣздъ ея не произвелъ особаго впечатлѣнія. Ей хотѣлось, чтобы ея поѣздку не связали какъ-нибудь съ отъѣздомъ Граціанова и это ей удалось исполнѣ. Она сказала, что заѣдетъ въ Кіевъ и Харьковъ посоветоваться о здоровьи дочери съ профессорами.

— Конечно, лучше ѣхать за границу, вы тамъ можете заняться своимъ голосомъ, — говорили ей.

— Едва-ли удастся. Не знаю — куда пошлуть.

Словомъ, отъѣздъ не удивилъ никого и не вызвалъ никакой сплетни.

Борисъ Николаевичъ сдержалъ слово и приготовилъ всѣ нужныя бумаги. Онъ сознавалъ, что ему ничего другого не остается, какъ исполнить желаніе жены. По правдѣ, онъ и не былъ особенно огорченъ ея отъѣздомъ. Хорошо зная характеръ Анны, онъ понималъ, что всякое сопротивленіе будетъ бесполезно, и что согласится онъ или не согласится, она все таки уѣдетъ. Неудавшаяся попытка къ примиренію оставила на его душѣ какой-то непріятный осадокъ, онъ злился на себя за неожиданный приливъ нѣжности и долго упрекалъ себя за безхарактерность и слабость. Врагъ всякихъ сценъ, апатичный по натурѣ, онъ настолько былъ утомленъ семейными несогласіями, что въ глубинѣ души обрадовался предстоящему спокойствію. Разлука съ дочерью тоже не была тяжелой, онъ не былъ вообще нѣжнымъ отцемъ, да и вѣдая, апатичная дѣвочка была всегда совершенно равнодушна къ нему. Словомъ, въ концѣ концовъ онъ рѣшилъ: „скатертью дорога! пусть ѣдетъ! По крайней мѣрѣ не буду слышать этой „Ерихонской трубы“. И перспектива холостой, одинокой жизни показалась ему даже заманчивой.

— Стѣсняться я не буду,—подумалъ онъ, вспомня послѣднюю сцену съ женой,—и оскорбленное самолюбіе нарисовало передъ нимъ пикантное личико жены одного изъ мелкихъ служащихъ въ банкѣ, являвшейся къ нему очень часто просительницей за мужа, съ которымъ вѣчно случались какія-нибудь исторіи, грозящія ему увольненіемъ со службы. „Будемъ утѣшаться въ разлукѣ!“—сказалъ онъ самому себѣ и, посмотрѣвшись въ зеркало, нашель, что онъ еще очень видный и красивый мужчина.

Поймавши себя на такихъ игривыхъ мысляхъ, Борисъ Николаевичъ вдругъ остановился: „а что если и она вздумаетъ искать утѣшенія тамъ, въ Италіи? Красивые итальянцы... шѣніе... Отпускать-ли?“ И снова въ взглянувъ въ зеркало, онъ увидаль, что его вытянувшаяся фізіономія имѣла теперь какое-то кислое выраженіе.

„Да нѣтъ, вздоръ!“—сейчасъ-же успокоилъ онъ себя,—„у этой женщины не можетъ быть ни страсти, ни чувства!“

Дня за два до отъѣзда Анна Петровна давала прощальный вечеръ и сливки мѣстнаго общества, внимательно наблюдавшіе за супругами, рѣшили, что отношенія ихъ такія же, какъ были и всегда.

Наканунѣ отъѣзда Борисъ Николаевичъ, отдавая бумаги женѣ, сказалъ сухимъ и дѣловымъ тономъ:

— Тутъ-съ заграничный паспортъ, отдѣльный видъ на жительство и деньги: двѣ тысячи вашихъ и тысячу рублей отъ меня для Лиды.

— Это слишкомъ много для ребенка.

— Надѣюсь, что онѣ будутъ не лишни. Затѣмъ не нужно-ли вамъ еще чего-нибудь?

— Рѣшительно ничего. Глубоко вамъ благодарна за хлопоты.

— Не на чѣмъ. Теперь вы совершенно свободны и можете дѣлать и жить гдѣ—и какъ вамъ угодно.

— Я именно этого и желала. Еще разъ очень вамъ благодарна!—и она протянула ему руку.

— О здоровьѣ Лиды попрошу увѣдомлять,—продолжалъ говорить Березинъ, какъ будто не замѣчая протянутой руки.—А затѣмъ мнѣ остается только пожелать развить и усовершенствовать вашу феноменальный талантъ.

— Оставьте въ покоѣ мою „Іерихонскую трубу“—отвѣтила Анна Петровна, выведенная изъ мирнаго настроенія послѣдними словами мужа.—Она уже больше никогда не будетъ терзать ваши музыкальныя уши.

— Если даже и никогда, то мои уши не будутъ претендовать на такую потерю. Я вполне увѣренъ, что когда вы усовершенствуете вашъ голосъ, онъ отлично можетъ быть примѣненъ какъ стѣнбобитное орудіе.

Анна Петровна презрительно улыбнулась и вышла изъ комнаты.

Уѣзжая на другой день, Анна протянула руку Борису Николаевичу и насмѣшливо произнесла: счастливо оставаться, Борисъ Николаевичъ!

— Блестящихъ успѣховъ, Анна Петровна!

Это были послѣднія слова, сказанныя между супругами.

Прошло три мѣсяца. Однажды вечеромъ, въ клубѣ, Березинъ встрѣтился съ одной знакомой барыней, только что вернувшейся изъ Крыма съ морскихъ купаній.

— А я видѣлась съ Анной Петровной въ Одессѣ, въ тотъ день, когда она уѣзжала. Она въ Миланѣ теперь?

— Да, въ Миланѣ,—отвѣчала Березинъ, незадолго до этого получившій коротенькое письмо отъ жены.

— Я очень была рада за Анну Петровну,—продолжала барыня,—что ей пришлось вмѣстѣ ѣхать съ такимъ хорошимъ знакомымъ.

— Съ кѣмъ?—спросилъ Березинъ безсознательно, чувствуя, что ему скажутъ сейчасъ какую-нибудь гадость.

— Съ ней ѣхалъ извѣстный артистъ Граціановъ. Въ Одессѣ чрезвычайно жалѣютъ, что онъ не будетъ тамъ пѣть въ нынѣшній сезонъ.

Не извѣстно, что бы отвѣтилъ Борисъ Николаевичъ, елибъ въ это время къ его собесѣдницѣ не подошла другая дама.

Это извѣстіе было такъ неожиданно для Березина, что онъ пришелъ въ себя, только вернувшись домой. По тону, которымъ ему сообщили, онъ понялъ, что барыня извѣстно больше, чѣмъ она сказала.

— Значить, все было подготовлено заранее! О, проклятая женщина, какъ она одурачила меня!

Злость; бѣшенство овладѣли Березинимъ: онъ вспомнилъ перемѣну, происшедшую съ женой съ пріѣздомъ Граціанова, ихъ ежедневныя встрѣчи,—и ему стало все понятно.

„Нѣтъ, отчего это мужья вѣчно узнаютъ послѣдними о своемъ головномъ уборѣ?“—спрашивалъ онъ себя, бѣгая изъ угла въ уголь по комнатѣ. Результатомъ всѣхъ этихъ размышленій было то, что Березинъ рѣшился ѣхать за границу и взять Лиду отъ матери. Но уѣхать ранѣе мѣсяца не было возможности, составлялся годовой отчетъ и предстояло общее собраніе акціонеровъ банка.

Черезъ два дня онъ получилъ телеграмму: „Лиды опасно больна“. извѣстила Анна Петровна.

„Бѣду“—ѣшилъ онъ и сталъ торопливо собираться, но черезъ

два дня новая денеша принесла печальное извѣстіе, что дѣвочка умерла.

Въ ту же ночь Борисъ Николаевичъ заболѣлъ настолько опасно, что докторъ серьезно боялся за его жизнь. Опасность миновала и онъ, придя въ себя, увидаль, что у его кровати сидитъ Марья Яковлевна.

— Тетушка!—обрадовался онъ, какъ ребенокъ.—Вы знаете все?—спросилъ онъ, вспомя все случившееся.

— Все знаю, не волнуйся и спи.

Дней черезъ пять онъ уже всталъ съ постели и, сидя вечеромъ съ теткой, спросилъ:

— Писемъ оттуда нѣтъ?

Тетка молча ему подала письмо отъ Анны, начинающееся словами:

„Вчера я похоронила Лиду“. Далѣе слѣдовало подробное описаніе болѣзни: „дѣвочка угасла очень быстро, дѣвочки медицинскія знаменитости ничего не могли подѣлать. Такого образа, закончила письмо Анна Петровна,—последняя нить, связывавшая насъ, порвана. Нашъ бракъ былъ одной изъ тѣхъ ошибокъ, за которую женщина платится больше, чѣмъ мужчина. Прощайте, Борисъ Николаевичъ, будьте счастливы и забудьте поскорѣе о той, голосъ которой, такъ остроумно названный вами „Грихонской трубой“, уже никогда не будетъ терзать ваши музыкальныя уши“.

— Тетушка, тетюшка, зачѣмъ я тогда не послушалъ васъ!—вскричалъ Борисъ Николаевичъ, прочитавъ письмо.

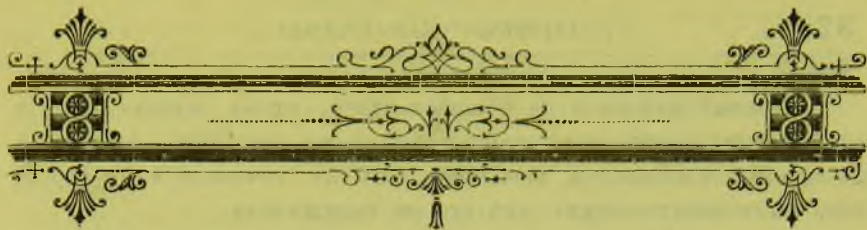
— Говорила я тебѣ,—отвѣтила Марья Яковлевна:—„не ходи замужъ“,—не слушалъ.



ОСЕННИЙ ПУТЬ.

*М*ороситъ. Мы ѣдемъ рощей;
Ѣдемъ двѣ и три версты;
Вкругъ ольхи кустарникъ тощій
Сыплетъ желтые листы.
И летятъ они за нами,
И догнать коней хотятъ,
Но, безсильные, коврами
Устилаютъ землю въ рядъ.
Путь далекъ. Прѣдемъ снова
Мы не двѣ, не три версты,
Зломъ юнимы сурово,
Точно холодомъ листы....
Что насъ ждетъ: тепло-ль участья?
Иль, какъ листьѣя подъ дождемъ,
Не найдемъ себѣ мы счастья
И покоя не найдемъ?

И. Лялечкинъ.



СПОКОЙНАЯ СОВѢСТЬ.

Разсказъ Килянда.

(Съ Норвежскаго).

Перев. Л. А. Мурахина.

Иредь садовою калиткою виллы адвоката Абеля стоялъ маленькій элегантный экипажикъ, запряженный парю великолѣпныхъ лошадокъ.

Сбруя была изъ матовой черной кожи безъ малѣйшаго признакакакого-либо металла. Лакировка экипажа была тоже черная, съ легкимъ зеленоватымъ оттѣнкомъ. Пыльно-сѣрая обивка сидѣнія казалась издали скромной суконной и только вблизи можно было разсмотрѣть, что она изъ дорогой тяжелой шелковой матеріи. Кучерь, въ черномъ, наглухо застегнутомъ рединготѣ, съ небольшимъ стоячимъ воротникомъ и въ бѣломъ туго накрахмаленномъ галстукѣ, выглядѣлъ англиканскимъ пасторомъ.

Госпожа Вардень, одна сидѣвшая въ экипажѣ, перегнулась немного впередъ и нажала ручку слоновой кости, украшавшую дверцу экипажа. Она медленно сошла съ подножки, потянула за собою длинное платье и тщательно затворила дверцу.

Важный кучеръ и не пошевелился, чтобы помочь ей. По его строгому, почтенному лицу видно было, что онъ прекрасно зналъ свои обязанности, исполнялъ ихъ въ точности и не способенъ былъ совѣтаться туда, гдѣ его не спрашивали.

Госпожа Вардень прошла переднюю частью сада и вступила въ гостиную. Въ отворенную дверь она увидала въ слѣдующей комнатѣ хозяйку, стоявшую предъ большимъ столомъ, покрытымъ кусками лѣтнихъ матерій и нѣсколькими нумерами „Базара“.

— А! дорогая Эмилиа, ты являешься кстати!—воскликнула госпожа Абель.—Моя портниха привела меня въ отчаяніе: она не въ состояніи придумать что-нибудь новое, и вотъ я сама должна рваться въ „Базаръ“... Милая, сбрось свою мантилью и помоги, мнѣ. Платье нужно для гулянья, и я не знаю какой-бы лучше избрать фасонъ.

— Ну, разъ дѣло идетъ о нарядахъ, то я въ помощницы тебѣ не гожусь,—замѣтила госпожа Вардень.

Простодушная госпожа Абель, чувствовавшая безмѣрное уваженіе къ своей богатой подругѣ, вытаращила на нее глаза, испуганная торжественностью ея тона.

— Помнишь,—продолжала гостя,—я недавно говорила тебѣ, что мужъ обѣщаль мнѣ... то есть: *просилъ* меня заказать себѣ новое шелковое платъе?

— У мадамъ Лабишъ?—какъ же, помню!—подхватила госпожа Абель.—Ты должно быть, сейчасъ ѣдешь къ ней?... Пожалуйста, возьми меня съ собой! Мнѣ это доставить большое удовольствіе.

— Я не ѣду къ мадамъ Лабишъ!—проговорила госпожа Вардень тѣмъ же торжественнымъ тономъ.

— Но, Богъ мой,—почему же нѣтъ?—спросила миловидная хозяйка, еще болѣе вытаращивъ свои красивыя каріе глаза.

— Да, видишь-ли... Я давно хотѣла сказать тебѣ,—у меня явилось убѣжденіе, что намъ немислимо съ спокойной совѣстью тратить столько денегъ на ненужныя въ сущности наряды и украшенія, когда мы хорошо знаемъ, что въ отдаленныхъ частяхъ города—того самаго города, въ которомъ мы съ тобою живемъ—есть сотни людей, терпящихъ нужду, *страшную, настоящую нужду!*

— Да, это такъ,—соглашалась госпожа Абель, окидывая смущеннымъ взглядомъ куски матерій.—Но, Эмилиа, вѣдь такъ ужъ устроено въ мірѣ; извѣстно, что неравенство состоянія и положенія....

— Мы должны избѣгать всего, что можетъ увеличить это грустное неравенство,—перебила госпожа Вардень, кивнувъ головой на тѣ же матеріи.

— Да это, вѣдь, только альнага,—робко произнесла хозяйка.

— Ахъ, Каролина, неужели ты думаешь, что я хочу упрекнуть тебя! У всякаго человѣка свой взглядъ на эти вещи, свои понятія.. Каждый дѣлаеть такъ, какъ ему нравится и глядя потому, что говорить его совѣсть.

Тутъ госпожа Вардень рассказала, что она намѣрена ѣхать въ одно изъ предмѣстій, пользующихся самою дурною славою, чтобы убѣдиться собственными глазами въ печальномъ положеніи бѣдняковъ, о которомъ она столько слышала и читала. Между прочимъ она прочла годовой отчетъ частнаго благотворительнаго общества, членомъ котораго состоялъ ея мужъ. Въмѣсто того, чтобы прямо пожертвовать въ кассу этого общества извѣстную сумму, она пожелала сама побывать въ жилищахъ бѣдныхъ и лично помочь наиболѣе нуждающимся.

Дамы разстались холоднѣе обыкновеннаго. Обѣ были настроены очень серьезно. Проводивъ подругу, госпожа Абель вернулась къ матеріямъ, но у нея пропала охота выбирать фасонъ.

Прислушиваясь къ глухому шуму колесъ удалявшагося экипажа, она глубоко вздохнула и подумала:

— Какое доброе сердце у Эмилиа!... А какой хорошенькій и изящный ея новый экипажъ!... Да, но она вполне и достойна всего, что имѣеть, разъ она такая сострадательная и... великодушная....

Кучеръ совершенно спокойно выслушалъ приказъ ѣхать въ предмѣстье. Завертывая въ грязныя, кривыя, отвратительныя улицы, онъ правилъ съ такимъ достоинствомъ, точно везъ свою госпожу на придворный балъ.

Наконецъ ему было приказано остановиться, и это какъ разъ во время, потому что экипажъ очутился въ такомъ узкомъ пере-

улыбъ, что если-бы еще немного, невозможно было-бы повернуть его. Даже и въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ остановился, было очень трудно совершить эту операцію, но невозмутимый кучеръ нисколько не растерялся. Какой-то мѣстный острякъ, высунувшійся изъ слухового окошка чердака, крикнулъ ему, чтобы онъ лучше сейчасъ же закололъ „жирненькихъ лошадокъ“, потому что все равно живыми ихъ ни за что не вытащить изъ „этого ущелья“. Величественный возница и не поморщился.

Госпожа Вардень сошла на землю и прошла въ еще болѣе узкій переулокъ; она хотѣла сразу увидать *самое ужасное*.

Увидавъ дѣвушку, стоящую въ дверяхъ полуразрушенной лачуги, она спросила:

— Много бѣдныхъ живетъ въ этомъ домѣ?

Дѣвушка засмѣялась и сказала что-то скверное, чего госпожа Вардень не поняла, и шмыгнула назадъ въ дверь.

Госпожа Вардень тоже вошла въ лачугу.

Ей было извѣстно, что бѣдные люди никогда не вентилируютъ своихъ помѣщеній, но дѣйствительность превзошла всякое ея ожиданіе: охватившая ее атмосфера была до того ужасна, что у элегантной барыни закружилась голова.

Движеніе руки, которымъ обитательница лачуги, пожилая женщина, сбросила съ скамейки разную ветошь, и улыбка, сопровождавшая ея приглашеніе сѣсть, поразили госпожу Вардень. По нимъ было видно, что она видала лучшіе дни и вращалась въ обществѣ, хотя и не въ изысканномъ.

Длинный шлейфъ свѣтлосѣраго визитнаго платья далеко разстился по черному отъ грязи полу, и когда госпожа Вардень нагнулась, чтобы собрать его, ей пришло на умъ выраженіе Гейне: „Она походила на конфетку, лежащую на солнцѣ“.

Начался и продолжался разговоръ, какъ всегда начинаются и продолжаютъ подобнаго рода разговоры. Если-бы каждая изъ этихъ женщинъ осталась при своемъ обычномъ способѣ выраженій, то онѣ не могли-бы понять другъ друга. Но такъ какъ бѣднякъ всегда лучше знаетъ богача, чѣмъ богачъ бѣдняка, то и выходитъ, что послѣдній придумалъ себѣ, на основаніи опыта, особенную фразировку, которая кое-какъ и достигаетъ цѣли, состоя-

щей въ смягченіи сердца богача. Дальше этого у нихъ никогда не можетъ идти сближеніе.

Съ помощью заученныхъ выраженій эта женщнна, къ которой случайно попала госпожа Вардень, нарисовала такую картину бѣдствій, которая должна была тронуть самаго зачерствѣвшаго человѣка. У нея было двое дѣтей—мальчикъ пяти лѣтъ, лежавшій на полу, и дѣвочка, сидѣвшая у нея на рукахъ.

Госпожа Вардень смотрѣла на худенькое, желтое существо, уставившееся на нее безжизненными, тусклыми глазами, и не могла повѣрить, чтобы ему было ужъ полтора года. Ея собственный семилѣтний мальчикъ былъ гораздо больше этой дѣвочки, такой пухлый, румяный, съ такими живыми, блестящими глазками, что любо смотрѣть.

— Вамъ надо давать вашей дѣвочкѣ что-нибудь крѣпительное,—сказала она, думая о молочной мукѣ Нестле и объ апельсинномъ желѣ.

При словѣ „крѣпительное“, изъ соломы, покрывавшей убогую постель, поднялась всклокоченная голова, обвязанная большимъ шерстянымъ платкомъ.

При видѣ этой головы съ страшно изможденнымъ лицомъ, покрытымъ въ надлежащихъ мѣстахъ сѣдою щетиною, молодой, изящной филантронкѣ стало страшно.

— Это вашъ мужъ? спросила она.

— Да, мужъ; онъ сегодня не могъ идти на работу, потому что мучается зубною болью,—отвѣтила женщина.

У госпожи Вардень часто побаливали зубы, и она по опыту знала, какое это мученіе. Она проговорила нѣсколько сочувственныхъ словъ. Мужчина пробормоталъ что-то непонятное и снова опустил голову. Въ это время барыня увидала особу, которую до сихъ поръ не замѣчала.

Это была молодая дѣвушка, сидѣвшая въ углу за печкою. Нѣсколько секундъ она упорно смотрѣла на необычную посетительницу, а затѣмъ спокойно повернулась къ ней спиною.

Госпожа Вардень подумала, что эта дѣвушка занята какой-нибудь работой, которую не желаетъ показать, въ родѣ починки тряпья, и не стала больше обращать на нее вниманія.

— Зачѣмъ это мальчикъ лежитъ на полу?—спросила она.

— Онъ безъ ногъ,—сказала мать, и пустилась въ подробное описаніе болѣзни, послѣдствіемъ которой явился параличъ ногъ.

— Вамъ надо купить ему....

Госпожа Вардень не договорила, что хотѣла сказать, вспомнивъ ходячее мнѣніе, что бѣднымъ не слѣдуетъ давать много денегъ въ руки, и рѣшивши самой купить и прислать кресло на колесикахъ.

Но что-нибудь да надо же было сейчасъ дать, такъ какъ тутъ виднѣлась настоящая, непритворная нужда.

Она сунула руку въ карманъ, чтобы достать портмонэ—его не оказалось. Это было очень досадно. Навѣрное онъ выскочилъ изъ кармана въ экипажъ и лежитъ тамъ. Нарочно идти за нимъ—неудобно.

Она только что хотѣла сказать женщинѣ—въ чемъ дѣло и обѣщать ей прислать сегодня же и денегъ, и разныхъ необходимыхъ предметовъ, какъ въ лачугу вошелъ очень изящнаго вида господинъ, съ полнымъ блѣднымъ лицомъ и пронизательными глазами.

— Вы госпожа Вардень?—сказалъ онъ съ почтительнымъ поклономъ.—Я увидалъ вашъ экипажъ въ сосѣднемъ переулкѣ, и вотъ я, узнавъ, гдѣ вы, несу вамъ портмонэ—вѣроятно, *вашъ*.

Взглянувъ на красивое портмонэ изъ слоновой кости съ черными эмалевыми буквами „Э. В.“ на крышкахъ, госпожа Вардень признала его своимъ.

— Я случайно увидалъ эту вещь въ рукахъ одной изъ самыхъ... дурныхъ дѣвушекъ этого окологка; въ которомъ я состою попечителемъ о бѣдныхъ,—пояснилъ незнакомецъ.

Госпожа Вардень любезно поблагодарила, хотя ей этотъ господинъ внушалъ мало симпатіи.

Обернувшись опять къ обитателямъ лачуги, она испугалась картины, вдругъ представившейся ей глазамъ.

Мужчина приподнялся на постели и съ злымъ выраженіемъ своихъ глубоко ввалившихся глазъ смотрѣлъ на попечителя. Женщина улыбалась отвратительною циничною улыбкою. Мальчикъ, облокотившись на худыя какъ щепки руки, тоже глядѣлъ звѣрскимъ взглядомъ на „толстаго барина“.

На всѣхъ этихъ лицахъ была написана глубокая ненависть и злоба, и госпожа Варденъ почувствовала, что между нею и той женщиной, съ которой она только что говорила такъ довѣрчиво и съ такимъ состраданіемъ, образовалась вдругъ громадная пропасть.

— Какъ ты сегодня опять выглядишь, Мартинъ!—заговорилъ совершенно другимъ тономъ повечитель.—Я такъ и думалъ, что ты ночью былъ при дѣлѣ... Ну, да, конечно!... За это сегодня придуть за тобою и посадятъ на два мѣсяца.

Вдругъ точно прорвало плотину: мужъ и жена засыпали отборными ругательствами и проклятіями; вышедшая изъ-за печки дѣвушка присоединилась къ нимъ; мальчикъ оралъ, точно его рѣзали, перекатывался со стороны на сторону, колотилъ руками въ полъ, скалилъ зубы и плевался. Слово трудно было разобрать, но выраженія лицъ, глазъ и ожесточенная жестикуляція были и сами по себѣ достаточно краснорѣчивы.

Госпожа Варденъ поблѣднѣла и поднялась. Повечитель отворилъ ей дверь, и оба поспѣшили вонъ. За ними раздавался ужасный, грубый и наглый хохотъ женщины, нѣсколько минутъ тому назадъ говорившей съ такой грустью и кротостью о своихъ несчастныхъ дѣтяхъ.

Госпожа Варденъ неохотно слѣдовала за человѣкомъ, такъ беспощадно разрушившимъ ее очарованіе. Идя съ нимъ по переулку, она слушала его съ холоднымъ и гордымъ видомъ.

Однако, понемногу обращеніе ея съ нимъ измѣнилось,—ужъ слишкомъ много правды звучало въ его словахъ!

Онъ говорилъ, какъ ему отрадно видѣть, что такая дама, какъ госпожа Варденъ, близко принимаетъ къ сердцу страданія бѣдняковъ. Хотя очень грустно, что желаніемъ помочь такъ часто злоупотребляютъ, но это не только не умаляетъ высокаго подвига....

— Позвольте,—перебила госпожа Варденъ,—развѣ люди, которыхъ мы сейчасъ оставили, не нуждаются въ дѣйствительности? Очевидно, эта женщина жила когда-то въ совершенно другихъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ. Если поддержать ее во время, она можетъ опять поправиться...

— Къ сожалѣнію, долженъ сказать вамъ, сударыня, что она

была.... официально проституткою самого низшаго разряда,—замѣтилъ мягко и грустно попечитель.

Госпожа Варденъ почувствовала дрожь. Съ такой женщиной она разговаривала *о дѣтяхъ*, даже объ ея собственномъ ребенкѣ, лежавшемъ дома въ своей охраняемой ангелами колыбелькѣ! Какое оскорбленіе святого материнскаго чувства!

— Ну, а эта молодая дѣвушка, которая сначала пряталась отъ насъ?—почти робко спросила она.

— Развѣ вы, сударыня, не замѣтили ея положенія?

— Нѣтъ.... Вы хотите сказать....

Попечитель отвѣтилъ французскою фразою, которая менѣе могла бы шокировать слухъ благовоспитанной барыни.

Она такъ и отскочила отъ него.

— Съ этимъ человѣкомъ, который лежалъ тамъ въ соломѣ?—воскликнула г-жа Варденъ.

— Да, съ нимъ!... Мнѣ очень непріятно дѣлать вамъ такіа разоблаченія, но что же дѣлать: правда прежде всего....

И онъ добавилъ еще что-то, отъ чего у госпожи Варденъ опять закружилась голова, какъ давеча, когда она вошла въ лагуну. Попечитель успѣшилъ предложить ей руку, чтобы скорѣе довести ее до экипажа.

Невозмутимый кучеръ такимъ блестящимъ образомъ рѣшилъ мудреную задачу—вернуть экипажъ, что заслужилъ даже одобреніе остряка.

Просидѣвъ нѣсколько времени неподвижно, подобно безжизненной фигурѣ на козлахъ, онъ заставилъ лошадей отступать шагъ за шагомъ, пока экипажъ не очутился тамъ, гдѣ переулокъ незамѣтно расширился, что и могло быть замѣчено развѣ только острыми глазами господскаго кучера.

Цѣлая толпа полудикихъ, оборванныхъ дѣтей окружила экипажъ, употребляя всѣ старанія испугать лошадей или вывести кучера изъ терѣнія. Но ни того, ни другого имъ не удалось.

Спокойно измѣривъ глазами разстояніе между двумя крыльцами съ обѣихъ сторонъ, онъ тихо и осторожно сталъ иноварачивать лошадей. Казалось, что вотъ-вотъ изыщный экипажъ разлетится вдребезги, задѣвъ обо что-нибудь, или что лошади застри-

нуть, но все обошлось благополучно, къ великому удивленію окружающихъ.

По совершеніи этого фокуса, кучеръ снова точно окаменѣлъ. Все-таки онъ небрежнымъ вскидываніемъ глазъ удостовѣрился, какой номеръ у мѣстнаго городского, чтобы сослаться на его свидѣтельство, въ случаѣ если дома не повѣрятъ разсказу объ его подвигѣ.

Попечитель помогъ госпожѣ Вардень сѣсть въ экипажъ. Она попросила его заѣхать къ ней на другой день, для чего дала ему свой адресъ.

— Къ адвокату! крикнула она кучеру.

Попечитель съ пріятной улыбкой раскланялся, и экипажъ г-жи Вардень покатился.

По мѣрѣ удаленія отъ предмѣстья, этого гнѣздилища бѣдности и порока, движенія экипажа становились все плавнѣе и спокойнѣе.

Попавъ опять на широкую, ровную, усаженную съ обѣихъ сторонъ деревьями дорогу, которая вела къ дачамъ, лошади съ наслаженіемъ потянули въ себя чистый, ароматичный воздухъ. Доволенъ былъ и невозмутимый автомедонъ, что его испытанія кончились, въ знакъ чего онъ троекратно артистически щелкнулъ бичемъ.

Разумѣется, и госпожа Вардень вздохнула съ облегченіемъ, выбравшись изъ тѣхъ труппъ, въ которыхъ она раньше никогда не бывала, почему дурное впечатлѣніе, произведенное ими на нее, должно было быть особенно сильно.

Больше всего ее поразило то, что сообщилъ ей попечитель. Теперь она сама поняла, что между нею и тѣми людьми нѣтъ ничего общаго.

Прежде слова: „много званныхъ, но мало избранныхъ“, казались ей положительно жестокими, но въ эти минуты она поняла, что въ нихъ заключается непреложная истина.

И дѣйствительно, какъ могла грубая, невѣжественная толпа достигнуть той нравственной высоты, которая доступна только очень и очень немногимъ! Какой непропицаемый мракъ долженъ существовать у нихъ въ душѣ! Какъ легко, а чего добраго, да-

же какъ *пріятель* долженъ быть имъ порокомъ! И гдѣ же имъ устоять противъ какого-нибудь искушенія?!

Она прекрасно знала, что такое искушеніе: ей постоянно приходилось бороться съ искушеніемъ и соблазномъ, представляемыми богатствомъ, о которомъ всегда такъ рѣзко выражался Спаситель.

Ужасъ охватилъ ее, когда она подумала, чего бы натворили эти звѣри въ человѣческомъ образѣ—Мартинъ и его сынъ, и эти падшія, наглыя женщины—еслибы имъ попало въ руки богатство!

Да, богатство представляло на каждомъ шагу искушенія, которымъ трудно было противостоять! Не дальше какъ вчера мужъ искушалъ ее, уговаривая взять маленькаго, настоящаго англійскаго грума. Но она устояла и отвѣтила:

— Нѣтъ, дорогой мой, это не хорошо. Я не хочу имѣть грума. Конечно, наши средства позволяютъ намъ держать грума, но это будетъ излишнимъ. Я, слава Богу, могу садиться въ экипажъ и выходить изъ него безъ посторонней помощи, и никогда не заставляю кучера помогать мнѣ.

Припоминая это, госпожа Вардень съ самодовольствомъ смотрѣла на пустое мѣсто на козлахъ, рядомъ съ кучеромъ.

Госпожа Абель, убиравшая со стола матеріи и „базаръ“, была очень удивлена, когда ея подруга заѣхала къ ней на обратномъ пути.

— Вотъ не ожидала, Эмили!—воскликнула она.—Развѣ ты ужъ успѣла сдѣлать все, что хотѣла?... А я только что отослала портниху ни съ чѣмъ. То, что ты давеча говорила мнѣ, совершенно отняло у меня охоту къ новымъ платьямъ. Я могу обойтись и безъ нихъ.

При послѣднихъ словахъ губы госпожи Абель немного дрожали.

— Всякій пусть поступаетъ по своей совѣсти,—тихо сказала госпожа Вардень.—Но я думаю, что легко можно быть и *черезчуръ* щепетильнымъ и требовательнымъ относительно самого себя.

Госпожа Абель опять вытаращила глаза отъ изумленія. Этой фразы она тоже не ожидала услышать отъ Эмили.

— Послушай-ка, что я сейчасъ видѣла и узнала,—продолжала

госпожа Варденъ и, покойно усѣвшись на диванѣ, начала разсказывать.

Когда она сообщила о бывшей пропажѣ ея портмонэ, госпожа Абель замѣтила:

— Да, мужъ утверждаетъ, что эти люди не могутъ не воровать.

— Очевидно, онъ совершенно правъ,—подтвердила гостья.

Затѣмъ она описала появленіе попечителя о бѣдныхъ и то, какимъ оскорбленіямъ онъ подвергался со стороны тѣхъ, которые были ему такъ обязаны за его заботы о нихъ.

Когда же гостья сообщила, что ей было разоблачено попечителемъ о женщинахъ, къ которымъ она отнеслась сначала съ такимъ неподдѣльнымъ участіемъ, то хозяйкѣ сдѣлалось такъ дурно, что она должна была потребовать рюмку портвейна.

Пользуясь удобнымъ случаемъ, госпожа Абель шепнула горничной:

— Скажи портнихѣ, чтобы подождала.

— И можешь-ли представить себѣ,—продолжала госпожа Варденъ,—что.... Ахъ, я даже не знаю, какъ сказать это...

Она нагнулась къ уху подруги и шепнула ей нѣсколько словъ.

— Что ты!... Въ одной постели... всѣ вмѣстѣ!... Но это же возмутительно!—взвизнула хорошенькая адвокатша, всплескивая своими пухлыми ручками.

— Да, часъ тому назадъ и я не считала возможнымъ ничего подобнаго,—отвѣтила гостья,—но теперь я убѣдилась въ этой возможности своими собственными глазами.

— Боже мой! Какъ только могла ты отважиться ѣхать туда, Эмилиа!

— Я очень рада, что рѣшилась на этотъ шагъ, Каролина. Еще болѣе рада тому, что попечитель явился такъ вовремя. На сколько похвально и даже *необходимо* помогать честнымъ, добродѣтельнымъ бѣднякамъ, у которыхъ не хватаетъ собственныхъ силъ для успѣшной борьбы за существованіе, настолько же предосудительно поддерживать порокъ, давать людямъ возможность слѣдовать своимъ отвратительнымъ наклонностямъ.

Госпожа Вардень проговорила всю эту тираду однимъ духомъ, поражая своимъ краснорѣчіемъ не только подругу, но даже самоё себя.

— Да, ты права, Эмилія, — согласилась хозяйка. — Я только не могу понять, какъ это крещенные и подтвержденные люди, живущіе въ христіанскомъ государствѣ, могутъ пасть такъ низко! Вѣдь, они имѣютъ возможность ежедневно... или хоть, по крайней мѣрѣ, по воскресеньямъ, слышать съ церковной кафедры прекрасныя поученія, да и библія, сколько я слышала, стбитъ такъ дешево, что каждый легко можетъ купить ее.

— Да, и если мы къ тому же примемъ во вниманіе, милая Каролина, что даже *язычники*, которые совершенно лишены этихъ благъ, встаютъ противъ этихъ пороковъ, имѣя все-таки совѣсть, то становится еще страшнѣе!

— Разумѣется, милая Эмилія. И тутъ ужъ долженъ быть конецъ всякому милосердію.

— Это несомнѣнно! — подтвердила госпожа Вардень, серьезно глядя передъ собою.

На этотъ разъ подруги горячо обнялись при прощаніи.

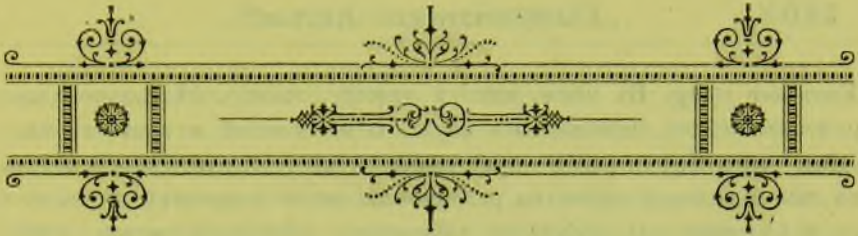
Войдя въ экипажъ, госпожа Вардень опять тихо и осторожно затворила дверцу, совершенно какъ давеча.

— Къ мадамъ Лабишъ! — сказала она кучеру и, обратившись къ вышедшей провожать ее подругѣ, добавила: — теперь я могу съ спокойной совѣстью заказать себѣ шелковое платье, о чемъ такъ просилъ меня мужъ.

— Конечно, смѣло можешь! — съ умиленіемъ отвѣтила госпожа Абель.

Когда экипажъ скрылся изъ вида, она послѣшила къ ожидавшей ее въ людской портнихѣ.





„БѢДНЫЙ БАРИИЪ“.

(Очеркъ).

В. П. Ушакова.

Большое торговое село *Дворянскія Угодья* въ доброе старое время было настоящимъ „дворянскимъ гнѣздомъ“, потому что въ немъ и около него сидѣло болѣе сорока помѣщичьихъ усадебъ. Но со времени паденія крѣпостного права село это опустѣло и долгое время представляло изъ себя очень печальное и безжизненное зрѣлище; только за послѣднія 15—20 лѣтъ оно значительно оживилось и стало представлять изъ себя „уголокъ Москвы“, по выраженію одной мѣстной барыньки, не особенно высокаго происхожденія, но наивно считающей себя чуть не въ родствѣ съ самимъ китайскимъ императоромъ. Теперь *Дворянскія Угодья*— „одно изъ нашихъ лучшихъ селъ въ уѣздѣ“, по выраженію Аполлинарія Шленкина, мѣстнаго корреспондента-обывателя, письмоводителя земскаго начальника, юноши самаго либеральнаго пошиба, пишущаго еженедѣльную хронику въ мѣстной газеткѣ. Оно, какъ и прежде, состоитъ изъ нѣсколькихъ крестьянскихъ обществъ по числу и имени бывшихъ владѣльцевъ-пановъ, съ названіемъ: *Любимово, Дружеслобово, Аютино, Стальтино, Укромово, Дебелово,*

Устиново и пр. Въ немъ, какъ и прежде, живетъ нѣсколько дворянскихъ семей, пробавляясь службою въ земствѣ и хозяйствомъ; здѣсь же обрѣли себѣ пристанище и мѣстожительство нѣсколько семей великороссійскаго разночинца, этого современнаго мытаря и бѣдоносителя, здѣсь же пріютилось нѣсколько весьма ученыхъ и образованныхъ личностей, имѣвшихъ несчастье неосторожно поскользнуться на ученомъ или служебномъ поприщѣ и съ тѣхъ поръ занявшихся очень усердно нѣкоторыми сельско-хозяйственными операціями, впрочемъ, не совсѣмъ выгодно и прибыльно. Въ этомъ же селѣ появился, жилъ и на дняхъ умеръ мой маленькій герой, исторію котораго я намѣренъ рассказать благосклоннымъ читателямъ.

На дняхъ заходитъ ко мнѣ нашъ сельскій докторъ и, не поздоровавшись ни съ кѣмъ, говоритъ:

- Бѣдный баринъ умираетъ.
- Карпычъ?
- Да.
- Что съ нимъ?
- Надо полагать, заразился.

По словамъ доктора, у Карпыча сначала вскочилъ на верхней губѣ подъ самымъ носомъ большой нарывъ, страшно обезобразившій его простую, чисто мужицкую физиогномію, а дня черезъ два у него открылась тифозная горячка, весьма распространенная въ нашемъ округѣ.

Я немедленно собрался и отправился съ докторомъ на квартиру Карпыча. Черезъ нѣсколько минутъ мы подошли къ высокому, узкому крылечку двухъ-этажнаго крестьянскаго домика съ высокой, почти отвѣсной лѣстницей и, поднявшись во второй этажъ, очутились въ крохотной комнаткѣ, загроможденной всякой мелочью и всевозможными инструментами. Вдоль передней стѣны лежали какія-то сброшюрованныя книги, стояла жестянка съ клеємъ и кисточкой, виднѣлись какія-то рамки, рядъ стамесокъ и долотъ, ящикъ съ папиросами и табакомъ, переплетный обрѣзъ, а у самой печки помѣщались верстакъ съ токарнымъ станкомъ. Въ комнаткѣ находилось нѣсколько пожилыхъ женщинъ и мать Карпыча, уже совсѣмъ дряхлая старуха, съ согнутой спиною и

трясущимся подбородкомъ. Я едва разсмотрѣлъ въ углу между печкою и окномъ, подъ самыми полками съ разными игрушками и какими-то замысловатыми коробками, узкую деревянную кровать и на ней вытянувшася съ запрокинутою головою Карпыча. Онъ былъ въ безпамятствѣ и, повидимому, крѣпко спалъ, сопя и похрапывая носомъ. Докторъ наклонился къ больному, приподнял ему голову, засунулъ въ ротъ палець, пощупалъ пульсъ и, обращаясь къ мнѣ, тихо шепнулъ:

— Едва-ли проживеть до утра.

Такъ въ дѣйствительности и случилось.

Когда я на утро зашелъ навѣстить „бѣднаго барина“, онъ уже обмытый, приглаженный и окончательно стотовленный въ путь лежалъ въ переднемъ углу подъ образами и странно выглядывалъ изъ-подъ бѣлаго покрывала своимъ морщинистымъ лбомъ съ нарывомъ на верхней губѣ. Въ комнаткѣ суетились и перешептывались вчерашнія женщины, а на кровати тихо стонала и охала осиротѣлая старуха-мать.

Карпычъ былъ одинъ изъ популярнѣйшихъ людей не только нашего села, но и всего нашего округа. Происходилъ онъ изъ „бѣдныхъ дворянъ“, но ни въ дѣтствѣ, ни послѣ, въ теченіе всей своей жизни, ему такъ и не удалось научиться тому, что потребно было знать и умѣть дворянину и вообще человѣку немужицкой среды. Грамоту онъ, однако, зналъ сносно, писалъ же всю жизнь такъ, какъ самый малограмотный пахарь-мужикъ; считалъ хотя порядочно и даже съ юныхъ лѣтъ былъ великимъ охотникомъ рѣшать разныя замысловатыя задачи изъ ариеметическихъ сборниковъ, но самый счетъ производилъ не научнымъ способомъ, а по-мужицки: въ умѣ, посредствомъ пальцевъ и счетъ. „Благородное званіе“ и мать принудили Карпыча записаться на службу писцемъ въ уѣздный земскій судъ, но служба эта ему не пошла въ прокъ и даже не привила къ нему ни одного качества, свойственнаго всѣмъ „должностнымъ“ людямъ. Ему, молодому, здоровенному парнюгѣ, съ толстыми богатырскими руками, никакъ не давались канцелярскія премудрости, а переписка разныхъ отношеній, рапортовъ и предписаній наводила на него такую тоску, что

онъ зачастую тайно убѣгалъ изъ канцеляріи, какъ изъ чумного, зараженнаго мѣста и съ великою радостію отправлялся на рѣчку ловить рыбу или на луга косить и убирать съ мужиками сѣно. Конечно, при такихъ обстоятельствахъ и наклонностяхъ, Карпычъ недолго служилъ и вскорѣ совсѣмъ освободился отъ своей служебной неволи. Но замѣнь неудачъ по службѣ молодой канцеляристъ „съ малства“ былъ надѣленъ большимъ влеченіемъ и страстію ко всякимъ ремесламъ, машинамъ и изобрѣтеніямъ. Почему мать—отца онъ лишился 12-лѣтнимъ ребенкомъ—не воспользовалась этими способностями сына и не отдала его въ какое-нибудь соотвѣтствующее учебное заведеніе, станетъ понятнымъ всякому, если я скажу, что дѣтство Карпыча совпадаетъ съ послѣдними днями крѣпостного права, когда, разумѣется, и заведеній было мало, тѣ же, которыя были, то во всякомъ случаѣ предназначались не для дворянскаго дитяти. Но, такъ или иначе, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію то, что Карпычъ имѣлъ богатыя способности и великую охоту браться за несвойственныя его сословію работы и занятія. Не стану здѣсь подробно рассказывать о томъ, какъ онъ изобрѣлъ вѣчный календарь-фонарь, машинку для точнаго опредѣленія круговъ луны и солнца, какъ смастерилъ машину-молотилку для мѣстнаго кулака и крупчатника Безстыжева и какъ за все это былъ „пропечатанъ“ г. Шлепкинымъ въ мѣстномъ „Листкѣ“. Можно съ увѣренностью сказать, что не было такой хитрой и мудреной вещи, за которую бы Карпычъ не могъ взяться и такъ или иначе ее смастерить. Онъ переплеталъ книги, столарничалъ, дѣлалъ всевозможныя игрушки, клеилъ коробки, красилъ, точилъ, шилъ и вязалъ, правда не особенно хорошо, но все-таки сносно.

Цѣлыхъ 20 лѣтъ Карпычъ и его мать прожили въ той комнатѣ, гдѣ мы видѣли ихъ въ послѣдній разъ. Мать обучала купеческихъ, мѣщанскихъ и крестьянскихъ дѣтей грамотѣ, сынъ по силѣ возможности помогалъ ей въ этомъ, но главнымъ образомъ занимался „рукотесломъ“ и разными изобрѣтеніями. Но не всегда эти два человѣка жили такъ бѣдно, сѣро и съ такими лишеніями, какъ въ теченіе этихъ 20 лѣтъ. У нихъ рядомъ съ *Дворянскими Угодьями* была своя деревнюшка *Анютино*, имѣлись свои „люди“, свое хозяйство, поля, луга, свой укромный домишко съ

небольшимъ садикомъ изъ яблонь, вишенъ, грушъ, малины, смородины и цѣлой стѣны непроницаемой сирени. Бывало, чудными весенними вечерами въ садикѣ пѣлъ свои пѣсни соловей, а старушка невольно задумывалась подъ эти пѣни и уносилась мыслями далеко, далеко, въ инья времена, когда жилось совсѣмъ по другому....

Былъ у старушки еще сынъ, Лелечка, красавецъ, способный, бойкій и увлекающійся мальчикъ. Мать не могла налюбоваться имъ и употребляла всѣ усилія, чтобы вывести его въ люди. Мальчикъ хорошо учился въ гимназіи, потомъ поступилъ въ университетъ, но со второго курса бросилъ вдругъ ученье и явился въ Анютино, чтобы самому сѣсть на землю и заняться „раціональнымъ“ хозяйствомъ. Мать только руками развела, увидавъ передъ собою сына и услышавъ отъ него бездну словъ и предположеній о призваніи передового сословія служить землѣ и на землѣ, о братскомъ союзѣ съ сѣрымъ собратомъ-мужикомъ. И вотъ съ пріѣздомъ молодого барина въ Анютинѣ пошла новая жизнь. Каждый день съѣзжалось много гостей, велись новые разговоры о мужикѣ, о землѣ, о торговыхъ и промышленныхъ предпріятіяхъ. Старуха-мать и старшій братъ-неудачникъ предоставили полную власть въ хозяйствѣ молодому предпринимателю. Мало-по-малу изъ Лелечки выработался челоуѣкъ самой новѣйшей формаци дѣльцевъ: онъ былъ и сельскимъ хозяиномъ, и купцомъ, и земскимъ дѣятелемъ, и аферистомъ-предпринимателемъ и измыслителемъ всевозможныхъ проектовъ. Для одного весьма замысловатаго предпріятія, основаннаго на томъ, чтобы имѣть свободныя деньги по настоянію предпримчиваго фантазера, Анютино было продано извѣстному на нѣсколько губерній купцу-ростовщику и у него же взято въ аренду на 12 лѣтъ. Вся эта затѣя, разумѣется, кончилась тѣмъ, что молодой арендаторъ раззорился окончательно, сдѣлавъ мать и старшаго брата буквально нищими. Этого мало, — когда нѣкоторые изъ гласныхъ товарищей, помня обѣды и „чисто-россійское хлѣбосоельство“ Лелечки, предложили ему какую-то фиктивную агентуру, съ довольно, впрочемъ, скромнымъ вознагражденіемъ, то онъ не перенесъ такого „униженія“ и застрѣлился. Что оставалось дѣлать Карпичу, имѣвшему къ этому времени три-

дцать съ хвостикомъ и матери, имѣвшей на своихъ плечахъ и всѣ пятьдесятъ лѣтъ.

Они перебрались въ Дворянскія Угодья и сняли у одного мужичка извѣстную уже читателямъ комнатку. Она на старости лѣтъ принялась обучать ребятъ грамотѣ, а онъ сталъ усердно практиковать свое знанье и умѣнье мастерить необходимыя вещи для разнокалиберныхъ обывателей Дворянскихъ Угодій. Въ теченіе 20 лѣтъ эти два человѣка совершенно сжились съ селомъ и стали необходимостью для всѣхъ, начиная съ богатаго землевладѣльца и кончая послѣднимъ бѣднякомъ пахаремъ. Много сельскихъ дѣтишекъ перебивало въ учебѣ „бабушки-барыньки“, много дѣвушекъ переняло у нея разныя рукодѣлія. Немало Карпычъ — иначе его никто не звалъ — передѣлалъ мѣстнымъ землевладѣльцамъ, священникамъ, купцамъ, кабатчикамъ и волостнымъ писарямъ разной вычурной мебели „собственного рисунка“, немало переплелъ разныхъ книгъ для церквей и школъ, немало всякихъ скамеекъ, шкафовъ, столовъ, тѣлѣтъ и даже плуговъ было сдѣлано мускулистыми руками Карпыча и все это за безцѣнокъ, почти даромъ. Обыкновенно Карпычъ всегда безотказно шелъ ко всякому, кто и зачѣмъ бы его не позвалъ, дѣлалъ тоже все, что приказывали или просили дѣлать, бралъ за это столько, сколько давали, а зачастую даже по цѣлымъ днямъ и недѣлямъ работалъ онъ на какого-нибудь мужичка Мокея или крупчатника Бестыжева за рюмку водки и обѣдъ. Не удивительно послѣ этого, что „бѣдные дворяне“ чуть-чуть кормились и порой несли великія лишенія. Рѣдко-рѣдко кто изъ сосѣдей помѣщиковъ и богатыхъ людей заглядывалъ къ нимъ въ ихъ нищенскую квартирку и удѣлялъ имъ что-нибудь изъ своихъ достатковъ. Въ особенности туго имъ приходилось въ минувшую голодовку. Но тутъ спасла стариковъ буквально отъ голодной смерти помощь Краснаго Креста. Да и заслуживалъ же эту помощь Карпычъ. Онъ превратился въ неизмѣннаго раба и земскаго начальника, и отца благочиннаго, и доктора: онъ суетился въ столовой, подавая то одну, то другую вещь обѣдавшимъ; раздавалъ хлѣбъ на домъ и просиживалъ цѣлыя ночи у постелей больныхъ и умиравшихъ. При такомъ образѣ жизни Карпычу не трудно было самому заразиться и слечь.

Вотъ кто былъ „бѣдный баринъ“ Карпычъ.

И вотъ стоило только этому Карпычу умереть, какъ на него посыпались всякія милости народа. Все село поднялось на ноги при извѣстіи о его смерти и народъ валомъ повалилъ въ его квартиру, — съ деньгами, холстомъ, мукою, свѣчами, масломъ, съѣдобными и несъѣдобными припошеніями.

Мой сосѣдъ, мѣстный богачъ и владѣлецъ базарной площади, „базарный маркизь“, по выраженію Шлепкина, едва-ли когда пускалъ Карпыча дальше своей передней, теперь же проникся къ нему необыкновенной симпатіей и любовью: по нѣскольку разъ на день привозить священника служить по усопшемъ панихиду, заказалъ довольно роскошный гробъ, обставляетъ всякими богатыми украшеніями похороны и всячески старается показать всѣмъ, что покойникъ былъ ему свой родной человѣкъ.

Зачѣмъ все это теперь? невольно думается мнѣ: вѣдь, бѣдный Карпычъ уже не нуждается ни въ чемъ земномъ. Слѣдовало бы пожалѣть, пріютить и обезпечить осиротѣлую, безпріютную и бездомную старуху-мать, но объ ней-то, мнѣ вѣжется, и забудуть.

Люди-христіане! Братья-человѣки! Неужели нужно умереть для того, чтобы вызвать съ вашей стороны состраданіе и помощь?



ЭЛЕГИЯ.



Какъ я хранилъ васъ, юныя мечты,
 Какъ васъ берегъ, обманчивыя фрезы...
 Но какъ весной, безвременно цвѣты,
 Сшибли васъ житейскіе морозы...



Какъ безъ цвѣтовъ не радостна весна,
 Безъ пѣнья птицъ не веселъ мѣсь дремучій,
 Такъ жизнь людей безъ счастья не полна,
 Коль въ сердцѣ нѣтъ живительныхъ созвучій.



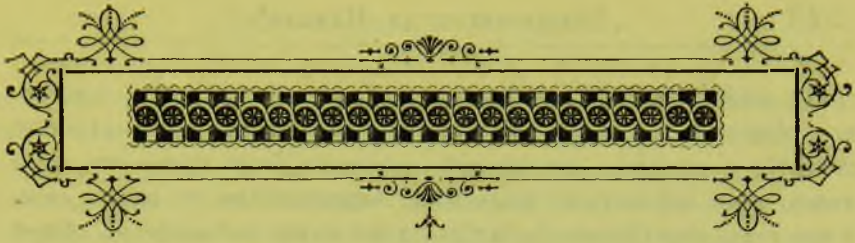
Но фрезы всѣ, душистые цвѣты,
 Съ весной моею пошлѣ безвозвратно,
 И хладный умъ о счастья мечты
 Не радуютъ уже надеждой непонятной.



Отъ жизни бурь моя хладнѣетъ грудь,
 Въ борьбѣ съ судьбой растрочены всѣ силы,—
 И мнѣ теперь одинъ остался путь,
 Тотъ путь ведетъ въ объятія мошлы...

Василій Миляевъ.





СТО ЛѢТЪ НАЗАДЪ.

(По поводу одного журнала).

В. И. Маноцнова.

«Развязыва умъ и руки,
Велитъ любить торги науки,
И счастье дома находить»...
Ода къ Фелиць.

„Любить торги науки“—заповѣдь, оставшаяся намъ въ наслѣдіе еще отъ временъ Екатерины, какъ бы голосъ прошлаго вѣка, будящій насъ, людей fin de siècle, живущихъ на порогѣ XX столѣтія, отъ той умственной спячки, въ которую погружается все глубже и глубже наше изнервничавшееся до истощенія силъ и страдающее собачьей старостью поколѣвіе. Наивный вѣкъ, наивные нравы, позволявшіе, однако, мириться съ существованіемъ крѣпостного права и безправія массъ! Вѣкъ, смѣшавшій въ одну кучу и „золотой вѣкъ“ Руссо, и идеи великой французской революціи съ ея декларацией правъ челоуѣка, и утонченную роскошь повседневной жизни, и культъ разума на фонѣ ни съ чѣмъ несравнимой деморализаціи высшихъ классовъ народа! Удивительно ярокъ, до пестроты ярокъ восемнадцатый вѣкъ и особенно его вторая половина, и странно себя чувствуетъ современный челоуѣкъ

среди всей вычурной обстановки, въ которой протекала тогдашняя общественная жизнь. И тѣмъ не менѣ эпоха восемнадцатаго столѣтія и особенно его второй половины была временемъ, если можно такъ выразиться, цѣльнымъ, окрашеннымъ въ одинъ, свой, и при томъ опредѣленный, цвѣтъ; даже самое смѣшеніе въ общей рѣле-мѣле множества несогласимыхъ между собой вещей было въ извѣстномъ смыслѣ характерно, тишично и цѣльно, какъ бываетъ цѣльной всякая характерная черта, отличающая одно время отъ другого. Объединяющей всю пеструю смѣсь идей и явленій тогдашней жизни было стремленіе массъ къ полному освобожденію человѣческой личности отъ оковъ, налагаемыхъ на нее и политическими условіями тогдашней государственно-народной жизни, и условной моралью, и господствующими ученіями церкви, и другими, связывавшими челоѣка восемнадцатаго вѣка узами; идеалы тогдашняго времени были идеалами чисто индивидуальной свободы, къ которымъ приворавливались какъ общественно философскія теоріи, такъ и самая наука. Ученіе вѣка, провозгласившее абсолютную свободу человѣческой личности въ смыслѣ полного и неограниченнаго ничѣмъ пользованія прирожденными, *естественными* ея правами и вѣра въ „золотой вѣкъ“, или до мелочности доходящее подражаніе суровымъ образцамъ и формамъ жизни республиканскаго Рима и вообще античной древности—привели западно-европейское общество къ скептицизму и отрицанію, ставшими уже лозунгомъ нашего хилаго, разслабленнаго времени... Тяжелый и длинный, и потому еще болѣе мучительный, процессъ переживало челоѣчество въ теченіе всего послѣдующаго времени. По крайней мѣрѣ онъ долженъ былъ быть мучительнымъ, если принять во вниманіе рѣзкій переходъ отъ горячей вѣры къ самому безпощадному скептицизму. Такія метаморфозы совершаются не легко...

Всѣ эти мысли навѣяны были случайно понавшимъ мнѣ въ руки однимъ очень старымъ журналомъ прошлаго вѣка, и даже не *журналомъ*, а „*ежемѣсячнымъ сочиненіемъ*“, какъ старомодно-вычурно называетъ себя этотъ журналъ. Названіе самого журнала не менѣ вычурно, и какъ разъ въ духѣ и стилѣ своего вычурнаго вѣка— „*Иртшишъ, превращающійся въ Ипокрену*“, „*ежемѣсяч-*

ное сочиненіе, издаваемое отъ Тобольскаго главнаго народнаго училища“—таково полное оглавленіе этого курьезнаго памятника глубокой старины,—изданія, помѣченнаго 1789 годомъ и снабженнаго эпитафюмъ, поставленнымъ въ заголовкѣ нашей замѣтки....

Удивительно пестрое и яркое смѣшеніе представляетъ содержаніе этого „ежемѣсячнаго сочиненія“. Уже простой перечень статей въ сентябрьской и ноябрьской книжкахъ журнала поражаетъ разнообразіемъ темъ: тутъ есть все, что угодно—и цѣлый рядъ „сказокъ“, и „эпиграммы“, и о томъ, „какимъ образомъ мы познаемъ разстоянія, величины, виды и положенія предметовъ“ и „разсужденіе о различіи мѣстоисчисленія отъ сотворенія мира до Рождества Христова между восточною и западною церквами и которое изъ нихъ справедливѣе“... и, наконецъ, „стансы“, „рѣчи“, „басни“, и даже „мнѣніе Магометанъ о смерти пророка Моисея, переведенное съ Персидскаго языка на Россійскій“, и „переводъ съ Латинскаго Плиніевыхъ писемъ“, и многое другое... включительно до „загадокъ“!..

Но пестрота содержанія сама по себѣ. Кромѣ этой пестроты чисте вѣшней, поражаетъ еще и пестрота идейная, такъ сказать. Весь лицемѣрно-льстивый и въ то же время наивно-убѣжденный вѣкъ отразился въ содержаніи, какимъ наполнены книжки „ежемѣсячнаго сочиненія“, издававшася гдѣ-то въ далекомъ захолустьѣ огромной Россіи, въ то время еще очень недавно прорубившей окно въ Европу, откуда и хлынули на нее волны европейскаго просвѣщенія и всего того, чѣмъ характеризуется прошлое столѣтіе...

Впрочемъ, прежде чѣмъ остановиться на характеристикѣ идейной стороны тогдашней литературной жизни, я позволю себѣ небольшое, но, мнѣ кажется, очень умѣстное отступленіе для краткой хотя бы характеристики тогдашней общественной и народной жизни въ томъ уголкѣ Сибири, гдѣ издавался „Иртышъ, превращающійся въ Ипокрену“...

Недавно мнѣ пришлось натолкнуться въ одномъ изъ нашихъ журналовъ на очень характерную, хотя и далеко не полную картину сибирской жизни и именно въ концѣ XVIII вѣка, когда въ Тобольскѣ учреждалась не только „главная“ народная школа, но

и издавался довольно солидный по объему и *нисколько не уступающій* по содержанію столичнымъ изданіямъ того времени (и даже болѣе поздняго) журналъ.

Вотъ какъ, между прочимъ, характеризуетъ г. Лѣсковъ это время въ своей очень любопытной статьѣ: „Сибирскія картинки XVIII вѣка“¹⁾, написанной на основаніи самыхъ подлинныхъ документовъ.

„Исканіе лучшихъ людей, болѣе соотвѣтствующихъ исполненію священническихъ должностей, не представляло успѣха. Священники въ Сибири были столь необразованны, что „отъ простаго мужика-поселянина отличались только одною букварною грамотой“. Большою частью они „только умѣли читать церковно-славянскую грамоту, и умѣнѣе писать признавалось высшей степенью образованія. Когда въ концѣ XVIII в. въ г. Красноярскѣ основывалась школа, для которой потребовался законоучитель, то во всемъ составѣ духовенства этого города не оказалось ни одного священника, которой могъ бы учить дѣтей священной исторіи и т. п. Тогда стали искать такого способнаго человѣка въ духовенствѣ „Енисейскаго и другихъ округовъ“, но результатъ былъ тотъ же. Тогда, нужды ради, „съ разрѣшенія духовнаго и свѣтскаго начальства, учителемъ былъ опредѣленъ сосланный на заводы поселенецъ изъ російскихъ діаконѣвъ, вѣкто Полянскій“... Но уже „черезъ годъ онъ оказался совершенно неспособнымъ по неумѣренному винопитію“. И тогда онъ отъ учительства былъ устраненъ, а на его мѣсто опредѣленъ способный человѣкъ, разысканный въ томскомъ заказѣ. Это былъ пономарь Сусловъ, котораго Красноярское духовное правленіе аттестовало такъ: „онъ, Сусловъ, въ чтеніи исправенъ, и письмоумѣющъ, и ариметики первую часть нынѣ доучиваетъ въ твердости—чему и священно-церковно-служительскихъ дѣтей обучать со временемъ можетъ“. ²⁾ Изъ всѣхъ учителей того времени въ Сибири никакой другой не былъ такъ хорошо аттестованъ, какъ этотъ Сусловъ, а объ остальныхъ учителяхъ духовныхъ школъ Тобольская духовная консисторія

¹⁾ В. Е.“ 93 г. № 3.

²⁾ Указъ Тоб. Консист. 15 іюля 1790 г., № 118 и донес. Красноярскаго дух. правл. 14 іюня 1791 г.

сдѣлала общій отзывъ, что „изъ нихъ не всѣ и писать умѣюгъ, или умножать по ариѳметикѣ“...⁸⁾

Приведенная цитата представляетъ только уголокъ, и при томъ небольшой, всей картины умственной и общественной жизни Сибири, но уголокъ, по которому можно судить и о всей картинѣ, такъ какъ и въ малой каплѣ водъ отражается солнце...

На этомъ сѣромъ и, повидимому, безнадежно-мрачномъ фонѣ развивалась и росла своя особая жизнь, питаемая послѣдними словами западно-европейской культуры,—жизнь, совсѣмъ отличная отъ общей, по своему яркая и живая. Хотя возникновение журнала въ Tobольскѣ и представляетъ явленіе случайное и единичное, но отрицать существованіе болѣе высокихъ степеней жизни въ захолустѣ Сибири только на этомъ основаніи едва-ли все-таки возможно. Случайность возникновенія журнала въ Tobольскѣ и при томъ въ 1789 году, т. е. 104 года тому назадъ объясняется пребываніемъ въ Tobольскѣ въ то время Сумарокова, проживавшаго тамъ въ качествѣ ссыльнаго. Безъ сомнѣнія, безъ Сумарокова едва-ли бы возникъ журналъ—однако, въ то же время нельзя отрицать, что въ обществѣ были интеллигентныя силы, которыя нуждались только въ толчкѣ со стороны, чтобы проснуться къ жизни,—иначе существованіе журнала было немислимо. На нашу современную мѣрку, конечно, содержаніе „Иртыша, превращающагося въ Ипокрену“ очень незначительно по смыслу, зачастую наивно по исполненію и т. д., но была-ли содержательнѣе періодическая пресса того времени въ умственныхъ центрахъ? Едва-ли, если судить по тѣмъ образчикамъ журналовъ даже болѣе поздняго времени, спустя цѣлую четверть вѣка, которые имѣются въ настоящую минуту у меня подъ руками. Я говорю о „Вѣстн. Европы“ за 1814 годъ, напр., который только тѣмъ и отличается, въ лучшую сторону, отъ своего Tobольскаго коллеги, что имѣетъ строго разграниченные отдѣлы и слѣдитъ за событіями и вопросами внѣшней политики, тогда какъ „Иртышъ etc.“ носитъ скорѣе характеръ альманаха и совершенно чуждъ какъ внѣшней политики, такъ и вопросовъ мѣстной жизни.

⁸⁾ Ук. Tob. Конс. 5 апрѣля 1791 г.

Во всякомъ случаѣ, Тобольскій журналъ представляетъ явленіе не только курьезное, но и любопытное во всѣхъ смыслахъ.

Сентябрьская книжка журнала начинается „рѣчью, сказанной при открытіи Тобольскаго училища“, а непосредственно за ней слѣдуетъ одинъ изъ тѣхъ маленькихъ „*morceau*“, какіе могли появляться только въ XVIII вѣкѣ, искусившемся въ наукѣ тонкой, почти граціозной лести. *Ив. Бахт.*, написавшій этотъ „*morceau*“, обращается „къ господамъ издателямъ“, отвѣчая, повидимому, на ихъ просьбу написать что-нибудь въ похвалу великой монархинѣ Екатеринѣ, „какъ виновницѣ не изчетныхъ благъ отъ нее истекающихъ“. „Но приступя къ совершенію предиріятія, я почувствовалъ слабость силъ моихъ, пишетъ *Ив. Бахт.* Обширность труда и невозможность достигъ желаемой цѣли меня ужаснули“... „Какъ похвалить, восклицаетъ авторъ, достойно вся хвалы превосходящую?“

И затѣмъ продолжаетъ:

„Мнѣ казалось:

„Дабы достойно пѣть источникъ сей благъ россовъ,

„Напрасно между насъ воскресъ бы Ломоносовъ

„И втунѣ на себя сей трудъ бы принялъ онъ.

„Волтеръ, которому въ стихахъ самъ Аполлонъ

Наставникомъ быть мнился,

„Сей подвигъ совершать равно бы негодился.

„Природа щедрая скупа на чудеса,

„Екатерину намъ послали небеса,

„Сего для смертныхъ ужъ довольно:

„Возможно ли желать, чтобы въ самый тотъ же вѣкъ

„Обрѣлся человѣкъ,

„Кой могъ бы пѣть ЕЯ достойно?“....

„Сіе разсужденіе, заканчиваетъ *Ив. Бахт.*, остановило стремленіе мое. Вообразя Великую ЕКАТЕРИНУ, ЕЯ труды, ЕЯ подвиги, спасительныя ЕЯ законы и щедроты къ роду человѣческому, я пришелъ въ изумленіе и остался безмолвенъ“...

Вотъ что значило „остаться безмолвнымъ“ на вычурномъ языкѣ XVIII столѣтія! Не думаю, чтобы даже въ то время такая

тонкая лесть и въ такой безукоризненной формѣ была обычной, а тѣмъ не менѣе авторъ восхваленія, не будучи въ состояніи хвалить, „остался безмолвнымъ“...

Аллегорическое стихотвореніе „Сонъ“, въ которомъ автору является фигура нѣкоего мужа, имя которому—самолюбіе, мало интересно и все пропитано сухой, чисто головной моралью и сверхъ того еще растянуто, и отъ всего діалога, который ведетъ „легкомысліе“ съ „разумомъ“, такъ и вѣетъ чисто риторической условностью и одуряющей скукой. Неужели нашихъ праѣдушекъ, этихъ зачастую „философовъ“, а чаще блестящихъ, остроумныхъ „петиметровъ“, занимала подобная дребедень, въ довершеніе всего до приторности услащенная „дщерями Хаоса“ и „колесницами Феба“, дѣлающими на современное ухо впечатлѣніе далеко не изъ пріятныхъ!

Рѣзко отличаются рядомъ же помѣщенные „стансы“ опять того же *Ив. Бажт.* Это положительно милая вещица, написанная очень живо и безиретенціозно. Передать содержаніе этой граціозной вещицы—это значитъ обезобразить ее и лишить всей прелести, а потому я цѣликомъ приведу ее, благо она невелика.

„Одинъ въ богатствѣ счастье ставить,
„Другой ево въ чинахъ быть мнить,
„Побѣдами себя тотъ славить,
„И счастье все лишь въ славѣ чтить.

* * *

„Въ наукахъ, въ оны углубяся,
„Найти блаженство мнить иной;
„Иной отъ свѣта удаляся,
„Вмѣняетъ въ счастье покой,

* * *

„Различно всякъ изъ смертныхъ мыслить,
„Сильвандръ, когда напьется пьянъ,
„Тогда себя блаженнымъ числить:
„Верхъ благъ ево стаканъ съ виномъ.

* * *

„Леандръ за счастье почитаетъ,
„Вельможа коль промолвилъ съ нимъ,

„Нарциссъ же быть счастливымъ чаеть,
„Когда любитъся кто имъ.

* * *

„А я все счастье поставляю
„Въ одной красавицѣ моей;
„Ей милымъ только быть желаю,
„И нѣтъ мнѣ счастья безъ ней.

* * *

„Ея внимати разговоры
„Нѣтъ больше въ свѣтѣ мѣхъ утѣхъ,
„И зрѣтъ ея, чтобъ томны взоры
„Сокровищъ мнѣ милѣе всѣхъ.

* * *

„Не променю ея лобзаній
„На царскій Скипетръ и вѣнецъ:
„Она цѣль всѣхъ моихъ желаній,
„Начало мыслей и конецъ.

А внизу стоит такое примѣчаніе: „Восемь лѣтъ тому назадъ, то есть во время сочиненія, авторъ подлинно такъ думалъ, а теперь дивится, какъ не пришло ему въ мысль, что ни одинъ царь несогласится на мѣну“... Невольно, прочитавъ это примѣчаніе, улыбка появляется у васъ на лицѣ и вы уже, подготовленные извѣстнымъ образомъ, читаете помѣщенные затѣмъ „эпиграммы“ все того же неисчерпаемаго *Ив. Бахт.* Не смотря на нѣкоторую элементарность самыхъ мотивовъ эпиграммъ, вы чувствуете, что онѣ злы и попали кому слѣдуетъ не въ бровь, надо полагать. Конечно, я говорю про элементарность съ теперешней точки зрѣнія, когда уже мы не разсуждаемъ о „ябѣдникахъ“, „честныхъ людяхъ“ и т. п., что въ то время, надо думать, живо интересовало умы нашихъ прадѣдушекъ. Образцомъ эпиграммъ *Ив. Бахт.* можетъ служить такая:

„Готовясь, ябѣдникъ, оставить свѣтъ сей,
„Ты плачешь, не хотя растатися съ душой.
„Не плачь... Не трать ты слезъ!... Чево тебѣ бояться?
„Души въ тебѣ и нѣтъ: такъ съ чемъ же раставатися?

Рядъ „басней“ и „сказокъ“ (въ стихахъ), частію принадлежащихъ перу (судя по инициаламъ) Сумарокова, я пройду совсѣмъ молчаніемъ, т. к. оригинальнаго онѣ ничего не представляютъ, будучи весьма слабыми передачами, рубленой прозой скорѣе, а не стихами прескучныхъ матерій, въ родѣ сказки „искусный лѣкаръ“, содержаніе которой... да, впрочемъ, не стоитъ и говорить о немъ: такъ вздоръ какой-то. Оригинально только одно, какъ въ этой, такъ и въ другихъ сказкахъ и басняхъ—между ними рѣшительно нѣтъ никакой разницы: неизвѣстно, строго говоря, гдѣ кончается сказка и начинается Сумароковская „баснь“ съ грошовой моралью и гдѣ кончается самая „баснь“ и начинается „сказка“. Прочитаешь и ту, и другую и станешь въ тупикъ: будто одно и тоже прочелъ...

Но досадливое чувство, возбужденное чтеніемъ нелѣпныхъ „сказокъ“ и „басней“, сразу исчезаетъ, какъ только перевернешь страницу, и уступаетъ мѣсто довольно живому интересу, возбуждаемому вопросами: какъ справлялись сто лѣтъ тому назадъ съ такими темами, какъ трактатъ о „*познаніи разстоянія, величины, вида и положенія предметовъ*“, построеннаго на началахъ „*Нютоновой философіи*“. Я не стану, конечно, повторять разсужденій автора, пользовавшагося „началами Нютоновой философіи“ для своего изслѣдованія, но заключеніе статьи стоитъ того, чтобы привести его цѣликомъ... Авторъ думаетъ, что *если-бъ нѣкоторые философы смотрѣли на природу съ сей стороны* (т. е. со стороны пріобрѣтенія всякихъ знаній при помощи *опыта* и только его одного), *то можетъ быть меньше бы приписывали заблужденій чувствамъ нашимъ, кои суть единые источники вѣсхъ нашихъ понятій*..

Какъ видите, читатели, выводъ не оставляетъ желать ничего лучшаго: и въ настоящее время „нѣкоторымъ философамъ“ можно посоветовать „смотреть на природу съ сей стороны“, а не съ другой. И особенно это драгоценное правило пригодилось бы нашимъ спиритамъ и прочимъ „философамъ“ этого же свойства. „Разсужденіе о различіи лѣтоисчисленія отъ сотворенія міра etc.“ длинное и неуклюжее, какъ и само заглавіе, тинется черезъ двѣ книжки журнала и поражаетъ наивностью, доходящей.... до ис-

численія лѣтъ патріарховъ, на чемъ и создается вся аргументація, имѣющая цѣлю доказать „справедливость“ счисленія восточной церкви. По таблицѣ автора выходитъ, что по счисл. по счисл.
Вост. церк. Запад. пер.

„Адамъ родиль Сифа на отъ рожденія своего.	-	-	230 г.	130.
„Сифъ родиль Еноса на	-	-	205 „	105.
„Енось родиль Каинана на	-	-	190 „	90.
„Каинанъ Малелеила	-	-	170 „	70.
„Малелеиль Гаредя	-	-	165 „	65.
„Гаредъ Еноха	-	-	162 „	162.
„Енохъ Мафусаила	-	-	105 „	65.
„Мафусаиль Ламеха	-	-	187 „	187.
„Ламехъ родиль Ноя	-	-	188 „	182.
„Въ шестисотое лѣто Ноя случился потопъ			600 „	

Слѣд., отъ сотворенія міра по восточному счисленію прошло 2262 года, а по западному только 1656 лѣтъ. Разница произошла отъ того, что „западные согласно съ нами приписывая патріархамъ лѣта цѣлой жизни, различествуютъ въ счисленіи лѣтъ, когда каждый патріархъ родиль сына въ родословіе Моисеемъ впесеннаго, и убавляютъ у всякаго почти патріарха сто лѣтъ“... „Причину же сему придаютъ, якобы несходно было съ естествомъ, чтобы столь поздно патріархи начинали рождать дѣтей“... „Мы же здѣсь всякому на безпристрастное отдаемъ разсужденіе, не согласились ли съ законами естества патріархамъ начинать рождать дѣтей въ тѣ лѣта, въ каковыя семьдесятіи переводъ опредѣляетъ, предположа столь долговременную жизнь ихъ?“...

Очень интересны помѣщенные въ полбръской книжкѣ отрывки изъ писемъ Плинія младшаго къ Тациту, въ которыхъ онъ повѣствуетъ о смерти дяди своего (Плинія старшаго), погибшаго во время изверженія Везувія. Не менѣе интересными являются помѣщенные тамъ же отрывки ихъ діалоговъ Вольтера о челоуѣкѣ, переведенные стихами и очень педурными.

„Гдѣ частія искать? Найти его мнѣ гдѣ?

„Повсюду и всегда, но съ мѣрою вездѣ,

„Вездѣ неполное и всюду скоротечно:

„Оно лишь во Творцѣ своемъ безмѣрно вѣчно“. *)

Кто бы узналъ въ этихъ строкахъ, немного меланхолическихъ и нагминающихъ объ „умѣренности“, скептически-насмѣпливое и остроумное перо Вольтера, того Вольтера, который, во всякомъ случаѣ, ни самъ лично, ни въ своихъ произведеніяхъ никогда не имѣлъ ничего общаго съ „умѣренностью“!... Странныя чувства, цѣлый рой смутныхъ и неясныхъ ощущеній будятъ въ читателѣ эти отрывки изъ произведеній „великаго Вольтера“... Неясными формами, почти неуловимо для сознательнаго опредѣленія вписываются изъ тумана прошлаго фигуры всей великой плеяды, создавшей, если такъ можно выразиться, восемнадцатый вѣкъ. Шагъ за шагомъ расшатываются вѣками установившіяся формы жизни, бывшей сплошнымъ праздникомъ и упражненіемъ въ изящной „causerie“ для однихъ и страшнымъ бременемъ для подавляющаго большинства; порабощенная личность начинаетъ сознавать свои права и—горе всему тому, что стѣсняло свободу ея и мѣшало ей брать отъ жизни то, на что она имѣла полное, неотъемлемое, „естественное“ право! Въ религіи и метафизикѣ освободившаяся индивидуальность создала деизмъ и очистила путь для позитивизма; въ наукѣ она очистила палладіумъ ея отъ загромождавшихъ ее сорныхъ теченій, остатковъ средневѣковой схоластики; въ общественной жизни ниспровергла авторитетъ, какъ, впрочемъ, и въ наукѣ, и въ искусствѣ, и въ литературѣ.

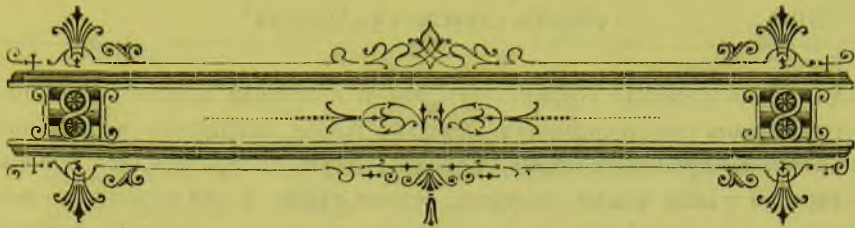
Передавать, хотя бы и *in extenso*, содержаніе другихъ книжекъ журнала, пожалуй, и не нужно, такъ какъ оно въ сущности есть не болѣе, какъ повтореніе того, что было уже мною приведено—тѣ же „притчи“, „сказки“, „рѣчи“, „разсужденія“, „эпиграммы“ и т. д., и т. д.

Сто четыре года прошло съ того времени, когда началъ издаваться въ Tobolskѣ „Иртышъ, превращающійся въ Инокрену“, цѣлое столѣтіе отдѣляетъ современнаго читателя отъ этой славной эпохи, оставившей неизгладимый слѣдъ въ исторіи человѣчества... Измѣнилась до неузнаваемости и европейская жизнь и, особенно, общественная жизнь современной намъ Россіи,—

*) Изъ діалоговъ о „человѣкѣ“. Вольтеръ, кн. VI.

много воды утекло съ того времени, много новаго успѣло вырасти и принести свой плодъ... Однако и теперь, когда уже, кажется, нѣтъ Суловыхъ, „въ твердости доучивающихъ первую часть ариѳметики“, когда вся Россія покрыта десятками тысячъ школъ, въ которыхъ дѣйствуютъ уже не Суловы и „письмоумѣющіе“ Полянскіе, когда, повидимому, не осталось угла на всемъ пространствѣ громаднаго нашего отечества, куда бы не проникъ лучъ знанія—незабвенныя строки, заловѣдующія намъ „любить торги науки“, звучать еще изъ своего вѣкового отдаленія, напоминая, что не все еще сдѣлано въ этомъ направленіи и ждетъ, давно ждетъ, когда, наконецъ, настанетъ время любить не только „торги науки“, но пользоваться уже плодами ея, *равномерно и въ массѣ* распредѣленными. Задача нынѣшняго вѣка состоитъ уже не въ накопленіи знаній, а въ распредѣленіи плодовъ ихъ тамъ, куда до сихъ поръ доходили только кое-какія крохи, падающія съ роскошнаго стола науки... Только тогда будетъ прогрессъ и цивилизація истинными, когда плодами ихъ пользоваться во всемъ объемѣ будетъ народъ, до сихъ поръ бывшій только матеріаломъ, обусловливающимъ поступательный ходъ науки... Такъ должно быть—иначе, кромѣ проклятій задавленныхъ величественной колесницей науки, цивилизація наша ничего не заслуживаетъ... И это время настанетъ, если „культура“, „наука“, „прогрессъ“—не звукъ пустой...





ИЗЪ ГВЕРИЛЬЯССКИХЪ ВОЙНЪ.

Разсказъ Донъ Педро А. Де-Аларконъ.

Переводъ съ испанскаго Е. В.

Когда-нибудь въ другой разъ попытаю съ описать трагическія событія, которыя предшествовали вступленію французовъ въ древне-мавританскій городъ Кадиксъ, и разскажу, какимъ образомъ разъяренные жители убили Франциска Трухильо за то, что онъ не дерзнулъ выйти на встрѣчу наполеоновскому войску съ тремястами крестьянами, находившимися тогда въ его распоряженіи и вооруженными разнокалиберными ружьями, саблями, ножами и даже пращами. Теперь же замѣчу только, что ко времени поразительнаго происшествія, составляющаго предметъ нашего повѣствованія, Гранадою управлялъ графъ Донъ Горазіо Себастіани, губернаторомъ же Кадикскаго округа былъ назначенъ генералъ Годино, замѣнившій собою въ этой должности полковника двадцатаго драгунскаго полка *monsieur* Корвино, на долю котораго, какъ извѣстно, выпала честь занять 16 февраля 1810 года злополучный городъ Кадиксъ.

Съ того ужаснаго дня прошло два мѣсяца. Французы продолжали править въ Кадиксѣ съ такимъ искусствомъ, что эта по ис-

тинѣ классическая страна бунтовъ и возстаній казалась уже погруженною въ полнѣйшую анацію. Казни патріотовъ черезъ повѣшеніе, производившіяся передъ ратушею, повторялись теперь гораздо рѣже; менѣе частыми стали также и таинственные исчезновенія непріятельскихъ солдатъ, которыхъ мѣстные жители безнощадно топили въ глубокихъ колодцахъ, чему, впрочемъ, испанцы подвергали ненавистные имъ гарнизоны повсюду. Просто-народіе начинало болтать по-французски и даже дѣти научились нѣкоторымъ общеупотребительнымъ словамъ, которыя они однако произносили, коверкая ихъ на свой собственный манеръ. Все это, конечно, ясно указывало на быстро подвигавшуюся впередъ ассимиляцію и позволяло въ недалекомъ будущемъ надѣяться на полнѣйшее сліяніе двухъ народностей. Наши бабушки (т. е. бабушки француфиловъ,—о моихъ же здѣсь, слава Богу, рѣчь не идетъ) танцевали уже съ офицерами—побѣдителями подъ Маренго, Аустерлицемъ и Ваграмомъ. Бывали также примѣры, что красавицы, незараженные предрасудками и разодѣтыя по послѣдней модѣ того времени, болѣе чѣмъ благосклонно поглядывали на драгуновъ, гусаровъ и гренадеровъ, пришедшихъ изъ-за Пиринеевъ. Ходатаи по дѣламъ и чиновники строчили различные документы на гербовой бумагѣ, оставшейся еще отъ временъ Фернанда VII, но носившей теперь помѣтку: „Пригодна и въ правленіе короля нашего Сеньёра Дона Хозе Наполеона I“. По воскресеньямъ и другимъ праздникамъ сыны Вольтера и Руссо удостоивали своимъ посѣщеніемъ церковь, хотя генералы и старшіе офицеры, какъ это и подобаетъ настоящимъ атеистамъ, выслушивали обѣдню, развалившись въ креслахъ и покуривая изъ громадныхъ трубокъ (историческій фактъ). Монахи ордена св. Августина, св. Діега, св. Доминика и св. Франциска успѣли уже очистить свои монастыри, которые тотчасъ же были обращены галлами въ казармы. Однимъ словомъ, всюду царствовали официальное довольство и радость подъ страхомъ смертной казни и по строжайшему распоряженію, исходившему нынѣ изъ того самаго дворца, гдѣ нѣкогда милостью Аллаха и его пророка Магомета владычествовали непримиримые враги христіанства.

II.

Къ этому времени въ Кадиксѣ началъ ощущаться сильный недостатокъ въ скотѣ, такъ что пришлось даже закрыть бойни. Не только коровы, быки, бараны, телята, овцы и козы, но и всѣ имѣвшіеся здѣсь въ запасѣ окорока, куры, индѣйки, цыплята, голуби и домашніе кролики были уже пожраны побѣдителями, потреблившими мясо въ неимовѣрномъ количествѣ и къ тому же почти ежечасно.

Мѣстные жители, всегда отличавшіеся, въ силу своего полуафриканскаго происхожденія, крайнею умѣренностью, продолжали питаться главнымъ образомъ одними только плодами и овощами, но завоевателю требовалось мясо, и при томъ мясо свѣжее, и много его, и быстро!

Въ виду такихъ затруднительныхъ обстоятельствъ, генераль Годино вдругъ припомнилъ, что въ составъ Кадикскаго округа входили различныя деревушки и мѣстечки, большинство которыхъ предстояло еще „завоевать“.

„Необходимо“, заявилъ онъ тогда своимъ войскамъ, — „чтобы имперскіе орлы развѣвались не только въ Кадиксѣ, но и повсюду; поэтому вы должны немедленно разсѣяться по всѣмъ городкамъ, деревнямъ и крестьянскимъ дворамъ вѣренной мнѣ области. Объявите жителямъ радостную вѣсть о восшествіи короля нашего Дона Хозѣ на престоль Св. Фернандо; завладѣйте территорією его именемъ, а по возвращеніи пригоните мнѣ весь скотъ, какой только вы найдете гдѣ-либо въ хлѣвахъ и загонахъ. Да здравствуетъ Императоръ!“

Въ силу этого приказа, изъ Кадикса вышло около двѣнадцати отрядовъ, въ сто и двѣсти человекъ каждый, и двинулись по различнымъ направленіямъ, между прочимъ, и къ деревушкамъ, расположеннымъ по склону Сьерры Невады.

Среди мѣстечекъ, еще мало тронутыхъ цивилизацією и мирно прозябающихъ у подножія громаднаго и покрытаго вѣчнымъ снѣгомъ Милгазема, особенною извѣстностью пользуется древній городокъ Ланеза, жители котораго издавна отличались непокорнымъ характеромъ и дикостью нравовъ. Городъ этотъ прославился еще во время борьбы съ маврами, и его полуразрушенный замокъ

и доселѣ еще напоминаетъ о происходившихъ здѣсь нѣкогда отчаянныхъ схваткахъ.

Настало достопамятное 15 апрѣля 1810 года.

Городъ Лапеза представлялъ собою зрѣлище, въ одно и тоже время восхитительное и смѣшное, настолько же грубо-забавное, насколько и зловѣще-угрожающее. Всѣ улицы были перегорожены высокою стѣною, сложенною изъ дубовыхъ бревенъ и стволовъ другихъ громадныхъ деревьевъ, растущихъ по сосѣднимъ горамъ, откуда они и добываются жителями въ несмѣтномъ количествѣ; а такъ какъ большинство обывателей Лапезы занимаются обжиганіемъ угля и рубкою лѣса, то не удивительно, что вышеупомянутое сооруженіе было выполнено съ необычайнымъ проворствомъ и такимъ искусствомъ, которое уже само по себѣ могло внушать серьезное опасеніе.

На сторонѣ, обращенной къ Кадикской дорогѣ, импровизированная крѣпостная стѣна была снабжена родомъ башни; на ней лапезенцы поставили громаднѣйшую пушку собственнаго издѣлія. Дуломъ этого смертоноснаго орудія, память о которомъ навсегда сохранится въ потомствѣ, служилъ дубовый стволъ, выдолбленный съ помощью огня и для крѣпости обмотанный толстыми веревками. Начинена же пушка была почти неизмѣримымъ количествомъ пороха, при чемъ не имѣвшіяся на лицо бомбы изобрѣтательные защитники Лапезы замѣнили пулями, камнями, кусками старого желѣза и тому подобными метательными снарядами. Жители располагали далѣе нѣсколькими десятками ружей разнообразнѣйшихъ и давно уже вышедшихъ изъ употребленія системъ, здоровенными топорами, пращами, для которыхъ тутъ же лежали наготовѣ груды булыжниковъ большого и малаго калибра и наконецъ чуть ли не цѣлымъ лѣсомъ дубинъ и рогатокъ всяческихъ формъ и величины; кромѣ того, на долю каждаго бойца приходилось по кинжалу или ножу.

Что касается состава гарнизона, то онъ, согласно единодушному показанію современниковъ, не превосходилъ двухсотъ человѣкъ—впрочемъ, слово человѣкъ могло быть примѣнимо къ лапезенцамъ лишь по избытку гуманности, такъ какъ они, собственно говоря, напоминали собою гораздо больше обезьянъ, нежели

обыкновенныхъ смертныхъ. Особеннаго вниманія заслуживаетъ здѣсь, безъ сомнѣнiя, одна личность, по которой легко было бы составить себѣ точное представленiе и обо всѣхъ остальныхъ, а именно—главнокомандующiй этого войска, управитель города Лапезы, алькальдъ донъ Мануэль Атиенза,—да будетъ свята память его!

Это былъ субъектъ лѣтъ сорока пяти или пятидесяти, высокiй какъ кипарисъ и вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпкiй и кряжистый, какъ дубъ. Съ теченiемъ времени почтенный алькальдъ, занимавшiйся ремесломъ угольщика, успѣлъ однако до такой степени закоптиться и почернѣть, что, не утрачивая сходства съ роднымъ деревомъ, онъ мало по малу сталъ напоминать собою дубъ въ обугленномъ состоянiи. Ногти донъ Мануэля казались сдѣланными изъ кремня, зубы изъ черного дерева, а руки изъ старой бронзы. Рубашка, растегнутая отъ самаго ворота вплоть до желудка, выставяла на показъ его грудь, какъ бы обтянутую затвердѣлою и покоробившеюся отъ сильнаго жара лошадиною шкурою; впрочемъ, всегда опаленными представлялись не только щетинистые волосы, украшавшiе могучую грудную клѣтку нашего героя, но и его густыя брови и рѣсницы. Разумѣется, все это было простымъ слѣдствiемъ того обстоятельства, что алькальду пришлось, на подобiе несчастныхъ грѣшныхъ душъ, томящихся въ чистилищѣ, провести всю свою жизнь среди пламени и жара.

Относительно глазъ донъ Мануэля никто не рѣшился бы утверждать, что они *глядятъ* на мiръ Божiй, хотя ихъ способность *видѣть* все происходящее вокругъ не подлежала ни малѣйшему сомнѣнiю. Лукавая скрытность, граничившая съ коварствомъ обезьяны, и осмотрительность чловѣка, вошедшаго въ лѣта, не позволяли ему глядѣть открыто въ лицо своему собесѣднику; вѣдь, послѣднiй могъ бы, чего добраго, догадаться, что представитель города Лапезы далеко не такъ глупъ и простоватъ, какимъ онъ во временахъ старался притвориться. Если же Атиензѣ приходилось ненарокомъ измѣнять мудрому правилу осторожности, то онъ умѣлъ придавать своему взгляду такое неопредѣленное, тупое и бессмысленное выраженiе, которое невольно заставляло предполагать, что чловѣкъ этотъ либо ничего не видитъ, либо

же у него спрятана гдѣ-нибудь за ушами вторая пара болѣе зоркихъ глазъ. Лобъ его почти исчезалъ подъ низко выросшими косматыми волосами, лицо лосвилось, словно выдѣланная кордовская кожа, а въ глухомъ голосѣ прорывались иногда неприятно рѣзкія ноты, напоминавшія ударъ топора по дереву.

Костюмъ донъ Мавуэля ничѣмъ не отличался отъ костюма, какой обыкновенно носятъ зажиточные люди этой мѣстности, т. е. состоялъ изъ короткихъ темныхъ панталонъ грубаго сукна, такой же куртки, голубого атласнаго жилета съ желтою отдѣлкою и кожанаго кушака; затѣмъ слѣдовали шерстяные чулки и ботинки особеннаго рода, изготовляемые изъ бычачьей кожи, толстаго холста и веревокъ; на головѣ же у Атіензы красовалась громадная шляпа, широчайшія поля которой были оторочены плюшемъ. Прибавимъ еще, что солидный жезлъ алькальда, достававшій ему до самаго плеча, и двѣ черныя кисти, каждая величиною въ добрый анельсинъ, позволяли на разстояніи ружейнаго выстрѣла распознать въ немъ представителя высшей власти. Таковъ былъ алькальдъ Лапезы, а по его образцу и подобію, и всѣ его подчиненные. Если мое описаніе покажется вамъ преувеличеннымъ, то припомните только, что раса лапезенцевъ не выродилась и не измѣнилась и до сихъ поръ. Отправьтесь туда и, пожалуй, подивитесь тому, что въ срединѣ XIX вѣка въ Испаніи можно еще встрѣтить всѣ чудеса Центральной Африки.

III.

Но вотъ фортификаціонныя работы были наконецъ закончены и оружіе распредѣлено должнымъ образомъ.

Атіенза приказалъ Хазинту сбѣгать за барабаномъ, употребленнымъ при процессіяхъ, при боѣ быковъ и при всякихъ публичныхъ оповѣщеніяхъ.

Хазинто, занимавшій должность полицейскаго служителя, тотчасъ же возвратился назадъ, выбивая на ходу генеральный маршъ.

„Стройся!“ скомандовалъ Синдикю, считавшійся, въ качествѣ бывшаго егеря, главнымъ авторитетомъ въ военныхъ дѣлахъ. Двѣсти лапезенцевъ выстроились въ боевомъ порядкѣ передъ ратушею.

Атіенза схватилъ почернѣвшую отъ времени саблю съ ши-

рочайшимъ лезвеемъ и, торжественно неся въ лѣвой рукѣ свой жезлъ, отправился въ сопровожденіи блестящей свиты, состоявшей изъ полицейскаго служителя, глашатая и общиннаго писца, дѣлать смотръ своему войску.

„Да здравствуетъ сеньеръ алькальдъ!“ закричали и заревѣли будущіе герои, дѣлая ему на-караулъ и подбрасывая вверхъ свои шляпы и шанки.

На что Атіенза отвѣчалъ:

„Какого тамъ чорта алькальдъ! Да здравствуетъ Богъ! да здравствуетъ Лапеза! да здравствуетъ испанская независимость!“

Обмѣнявшись съ толпою этимъ воинственнымъ привѣтствіемъ, донъ Мануэль приказалъ Хазинто снова бить въ барабанъ, затѣмъ, подозвавъ къ себѣ глашатая, обратился къ защитникамъ Лапезы съ слѣдующею рѣчью, которую глашатай долженъ былъ во всеуслышаніе повторить слово за словомъ.

„По свѣдѣнію—дошедшему—до насъ— черезъ — дидюшку Піорно—стало извѣстно—что—врагъ отечества—долженъ явиться сегодня въ Лапезу—дабы покорить насъ—и—завладѣть—нашимъ имуществомъ.—Въ виду чего—испросивъ—предварительно—благословеніе—у нашего духовнаго отца—и—упоая—на защиту—всемогущей покровительницы нашей—пречистой Дѣвы—мы—рѣшили—защищаться—какъ это подобаетъ—добрымъ испанцамъ—и—показать—городу Кадиксу—позорно сдавшемуся французамъ—что—жители Лапезы—сумѣютъ—по примѣру—жителей Мадрида—положить свои головы—за независимость Испаніи—или же—побѣдить врага—какъ его побѣдили—жители Баилена.—По данной—ему—власти—алькальдъ—доводить—до свѣдѣнія—всѣхъ и каждого—что—всякій—неявившійся—въ этотъ день—на защиту—своего домашнего очага—объявляется—недостойнымъ имени испанца—измѣнникомъ отечества—и—какъ таковой—будетъ вздернуть—на первомъ поавшемся дубѣ.—Въ знакъ же того—что все вышесказанное—дѣйствительно—входитъ въ законную силу—алькальдъ—по установленному—издавна—обычаю—поцѣлуетъ крестъ — въ присутствіи—общиннаго писца—и—всѣхъ—собранныхъ здѣсь.— Да здравствуетъ Богъ!— Да здравствуетъ Пречистая Богородица!—

Да здравствуетъ Испанія!—Да погибнуть французы—да погибнетъ Годино—да погибнуть измѣнники!“

Эта смѣсь военной прокламаціи и судебного постановленія вызвала необычайный энтузіазмъ среди лапезенцевъ.

Мануэль Атіенза, сложивъ пальцы крестомъ, приложился къ нимъ, общинный писецъ засвидѣтельствовалъ этотъ торжественный актъ легкимъ наклоненіемъ головы; глашатай поздравилъ алькальда съ удачною рѣчью; затѣмъ снова раздался продолжительный барабанный бой, и патриотическіе гимны, прерываемые восторженными криками, заключили наконецъ комическій прологъ къ истинной трагедіи, которой вскорѣ предстояло разыграться.

„По мѣстамъ!“ вторично скомаандоваль Синдико.

Повинуясь этому приказанію, одни взобрались на стѣну, другіе расположились у пушки, держа наготовѣ громадныя фитили. Пастухи, чрезвычайно ловко владѣвшіе пращами, засѣли въ древнемавританской крѣпости, стрѣлки же отправились на рекогносцировку по Кадикской дорогѣ. Атіенза и его спутникъ Хазинто, который долженъ былъ подать сигналъ къ стрѣльбѣ, избрали себѣ мѣсто, откуда можно было легко обозрѣвать все будущее поле битвы.

Священникъ, между тѣмъ, еще разъ благословилъ свою возлюбленную паству, отпустилъ имъ всѣмъ грѣхи и тотчасъ же вмѣстѣ съ ветеринаромъ, церковнослужителемъ и могильщикомъ занялся приготовленіемъ повязокъ, святаго елея и носилокъ, которыя могли понадобиться для раненыхъ и убитыхъ. Почти всѣ женщины въ этотъ моментъ молились въ церкви. Что же касается дѣтей, то они еще съ самаго утра, по общему соглашенію, были отправлены въ горы, такъ какъ ихъ жизнь не желали подвергать опасности, чтобы и на будущее время было кому отражать непріятельское вторженіе.

IV.

Около трехъ часовъ пополудни на Кадикской дорогѣ показалось облако пыли, извѣщавшее о приближеніи врага. Это подтвердили и нѣкоторые изъ возвратившихся развѣдчиковъ. Лапезенцы чуть не запрыгали отъ радости; въ то же время по распорядженію

алькальда на древнемавританскомъ замкѣ и на фортификаціонной стѣнѣ были выброшены черныя знамена.

Колокола ударили въ набатъ; по воздуху отъ времени до времени проносились уже съ рѣзкимъ свистомъ камни, пущенные нетерпѣливыми пастухами изъ ихъ засады, а съ дороги теперь все чаще и чаще раздавались ружейные выстрѣлы.

Вскорѣ стрѣлки начали отступать къ городу и вотъ на солнцѣ блеснули наконецъ первые штаны, каски и мундиры французскаго отряда.

„Сколько ихъ тамъ?“ спросилъ Атиенза своихъ развѣдчиковъ.

„Двѣсти?“ отвѣтили эти.

„Ну, въ такомъ случаѣ, у насъ силы равныя“, замѣтилъ алькальдъ съ презрительною заносчивостью и не принимая во вниманіе, что его крестьянамъ, не имѣвшимъ понятія о военной дрсировкѣ, предстояло сразиться съ ветеранами, испытанными въ бояхъ и при томъ же прекрасно вооруженными.

„Да, вѣдь, у нихъ, небось, кавалерія!“ попытался возразить одинъ изъ стрѣлковъ.

„Повторяю, что силы у насъ равныя!“ оборвалъ его Атиенза.

„Ну, Хазинто, бей-ка въ барабанъ. Да здравствуетъ Испанія! Да здравствуетъ Пречистая Дѣва!“

Хазинто подалъ сигналъ и на французовъ сразу посыпался цѣлый градъ пуль и камней, которые заставили врага пріостановиться. Черезъ секунду непріятель отвѣтилъ залпомъ, выбившимъ изъ строя пять ланзенцевъ.

„Стой!“ скомандовалъ алькальдъ: „французы еще слишкомъ далеко, а у насъ-то пороху будетъ маловато. Пусть-ка они подойдутъ поближе! Изъ пушки не стрѣлять, пока я не вскину шляпу. Слышали?“

„Да вотъ они опять тронулись!“

„Ничего! смирно стоять!“

„Вотъ они уже прицѣливаются!“

„Всѣ на землю!“

Пули второго залпа засѣли между бревенъ стѣны, не причинивъ осажденнымъ ни малѣйшаго вреда. Французы еще ближе

подвинулись къ укрѣпленію. Пѣхота развернулась по обѣимъ сторонамъ дороги и пропустила впередъ кавалерію.

„Пали!“ громовымъ голосомъ скомандовалъ Атіенза, срывая съ своей головы шляпу и становясь въ самомъ опасномъ мѣстѣ.

Туть-то и произошло нѣчто поистинѣ ужасное, нѣчто поистинѣ неимовѣрное...

Испанцы и французы прицѣлились одновременно и сразу же уцѣлили землю тѣлами раненыхъ и убитыхъ. Кавалерія, воспользовавшаяся удобною минутою, очутилась подлѣ самой стѣны, рассчитывая, вѣроятно, что бѣшенымъ конямъ удастся преодолѣть это препятствіе,—однако, новый градъ камней, полетѣвшій на головы всадниковъ, заставилъ ихъ опять таки остановиться. Солдаты, разъяренное неудавшеюся попыткою, принялись рубить на право и налѣво. И вотъ среди этой общей сумятицы, среди этой отчаянной свалки и рѣзни, грянулъ вдругъ оглушительный пушечный выстрѣлъ, сопровождавшійся ужаснымъ трескомъ и гуломъ и оказавшійся одинаково смертоноснымъ какъ для осаждающихъ, такъ и для осаждаемыхъ.

Дѣло въ томъ, что пушка разорвало въ тотъ самый моментъ, когда изъ нея выпалили, и изъ ствола, раздробленнаго на мелкіе куски, по всѣмъ направленіямъ посыпалась картечь, производя повсюду свое опустошающее дѣйствіе. Громадное количество воспламененнаго пороха разрушило до основанія подставку, на которой покоилась пушка, при чемъ покотившіяся тяжелыя бревна начали раздавливать сражавшихся. Образовался какой то неописуемый хаосъ дыма, пламени, крови, человѣческихъ стоновъ и дикаго конскаго ржанья. Кругомъ валялись обезображенные трупы, оторванные члены которыхъ все еще носились по воздуху или же падали на землю вмѣстѣ съ пулями и обломками дерева; обезумѣвшія лошади, освободившіяся отъ всадниковъ, спасались теперь во весь опоръ. Уцѣлѣвшіе испанцы продолжали съ ожесточеніемъ расточать удары дубинами, не различая болѣе ни друзей, ни недруговъ. Сверху, снизу, со всѣхъ сторонъ сыпались камни, удары кинжалами, пистолетные выстрѣлы, какъ будто бы и взаправду насталъ конецъ свѣта.

Въ самый разгаръ этой бури послышался французскій рожокъ,

подававшій сигналъ къ отступленію, и, какъ бы въ отвѣтъ ему, испанскій барабанъ забилъ генеральное наступленіе. Между тѣмъ непобѣдимый алькальдъ, неустрашимый Агіенза продолжалъ кричать во всю мочь, стараясь своимъ голосомъ заглушить адскій шумъ.

„Бей ихъ, ребята; бей всѣхъ до одинаго! ихъ тамъ ужъ немного осталось! Бей!“

Онъ былъ правъ, но испанцевъ оставалось еще меньше. Самодѣльная пушка перебила больше лапезенцевъ, нежели французъ.

Послѣдніе рѣшили однако спастись, такъ какъ они не имѣли понятія ни о числѣ осажденныхъ, ни о тѣхъ средствахъ, какими могли располагать для своей защиты эти діаволы, очевидно не останавливавшіеся ни передъ чѣмъ.

Началось отступленіе, сильно смахивавшее на бѣгство. Солдаты бросились въ разсыпную, не обращая вниманіе на команду своихъ начальниковъ, и то и дѣло попадая подъ лошадей.

По пятамъ французскаго отряда пустились лапезенскіе пастухи, въ распоряженіи которыхъ находилось несмѣтное количество метательныхъ снарядовъ, пригодныхъ для ихъ пращей и покрывавшихъ дорогу на протяженіи трехъ миль. Къ преслѣдовавшимъ присоединились также и стрѣлки, имѣвшіе еще при себѣ патроны.

Къ восьми часамъ вечера побѣдители Египта, Италіи и Германіи, оставившіе въ Лапезѣ и по дорогѣ около ста человекъ, возвратились въ Кадиксъ, страшно избитые камнями, израненные пулями, зачерненные пороховымъ дымомъ, покрытые потомъ, кровью и пылью и, въ довершеніе всего, побѣжденные въ этотъ день небольшою кучкою пастуховъ и угольщиковъ.

V.

Только что описанная кровавая драма должна была заключиться не менѣе кровавымъ эпилогомъ.

Легко представить себѣ гнѣвъ и удивленіе генерала Годино, узнавшаго о случившемся въ Лапезѣ.

„Да я не оставляю тамъ камня на камень!“ воскликнулъ мстительный галлъ

Четыре дня спустя изъ Кадикса снова вышелъ французскій отрядъ, но на этотъ разъ уже въ двѣ тысячи четыреста человѣкъ, находившихся подъ командою офицера высшаго ранга и снабженныхъ такимъ количествомъ аммуниціи и провіанта, какъ будто бы дѣло шло о взятіи какой-нибудь крѣпости.

Это многочисленное войско подошло къ Лапезѣ въ девять часовъ утра. По дорогѣ ихъ не встрѣтилъ ни единый выстрѣлъ и ни одинъ камень не пролетѣлъ надъ ихъ головами.

Въ городѣ царствовала мертвая тишина. Никто не подумалъ возстановлять разрушенную въ прошлый разъ стѣну, и колокола не били уже въ набатъ при приближеніи непріятеля.

Раздраженные завоеватели вошли въ мѣстечко безъ всякаго препятствія. Здѣсь въ ихъ душахъ, можетъ быть, впервые шевельнулось предчувствіе ужасной развязки, ожидавшей ихъ въ послѣдствіи въ Россіи—Лапеза оказалась, какъ и Москва при приближеніи Наполеона I, совершенно опустѣвшею.

Всего нѣсколько женщинъ, которыя спустились въ этотъ день съ горъ, чтобы провѣдать свои покинутыя жилища и поискать пищи для скрывавшихся, были найдены въ углу церкви, куда онѣ укрылись въ надеждѣ, что тутъ не посмѣютъ до нихъ дотронуться.

Но нѣтъ—непріятелю нужно было выместить на комъ-нибудь свой гнѣвъ; какое ему было дѣло до того, что ироническая судьба посылала ему, вмѣсто равныхъ противниковъ, какихъ-то беззащитныхъ женщинъ, безсильныхъ отстаивать свою жизнь и честь...

Отвернемся отъ этихъ ужасовъ, столько разъ повторенныхъ завоевателями Европы во время ихъ владычества надъ Испаніей. Да падетъ вѣчный позоръ и проклятіе на тѣхъ, кто не гнушался пользоваться побѣдою для совершенія преступленія!

Французы, захватившіе въ одной изъ пастушьихъ избушекъ, въ качествѣ единственныхъ плѣнниковъ, разслабленнаго старика и ухаживавшаго за нимъ юношу, уже возвращались въ Кадиксъ гордые и довольные своимъ успѣхомъ, когда съ горъ начали спускаться разъяренные лапезенцы, которые узнали о только что случившемся отъ какой-то спасшейся бѣглянки.

Завязалась борьба не на жизнь, а на смерть между сотнею предводительствуемых Атіензою испанцевъ и французскимъ отрядомъ, насчитывавшимъ двѣ тысячи четыреста человекъ.

Какъ только былъ брошенъ вызовъ и открыта перестрѣлка, лапезенцы, по обычаю древнихъ мавровъ, тотчасъ же принялись отступать, стараясь завлечь врага въ свои неприступныя горы.

Непріятель, слишкомъ понадѣявшійся на свои силы, пошелъ въ подставленную ему ловушку. Правда, благодаря великолѣпному оружію, ему удалось почти въ конецъ истребить эту небольшую кучку отчаянныхъ храбрецовъ, но за то на каждого павшаго испанца приходилось по десяти убитыхъ французовъ, трупы которыхъ лежали разбросанными по дикимъ скаламъ, зеленѣвшимъ лощинамъ, темнымъ ущеліямъ.

Это былъ одинъ изъ тѣхъ значительныхъ уроновъ, которые наполеоновскія войска такъ часто претерпѣвали въ Испаніи при стычкахъ съ населеніемъ, и хотя подобныя стычки въ большинствѣ случаевъ остались незанесенными ни въ какія лѣтописи, тѣмъ не менѣе число непріятельскихъ солдатъ, погибшихъ такимъ образомъ на Пиринейскомъ полуостровѣ во время войны за испанскую независимость, достигло въ общей сложности до полумилліона....

Но возвратимся къ нашему разсказу.

Дерзновенный Атіенза, давшій въ теченіе четырехъ дней два сраженія отрядамъ Бонапарта, находился теперь на высокомъ утесѣ, куда его загнали враги. Тѣснимый французами, напередъ обреченный на неминуемую гибель, только что раненый въ грудь и покрытый кровью, онъ все еще продолжалъ отстрѣливаться, отъ времени до времени отвѣчая на приказаніе сдаться дикими взрывами хохота, гулко разносившимися по горамъ.

Около него то и дѣло пролетали пули, но онъ увертывался отъ нихъ, отскакивая то въ ту, то въ другую сторону, то присѣдая, то снова выпрямляясь. Проворный, ловкій и эластичный, онъ напоминалъ собою тигра, остающагося одинаково опаснымъ для противника, какъ при нападеніи, такъ и при отраженіи.

Атіенза истратилъ наконецъ свой послѣдній зарядъ. Французы, столпившіеся полукругомъ, направили на него новый залпъ, и

на этотъ разъ одна изъ пуль попала ему прямо въ животъ, причѣмъ у несчастнаго вырвался почти нечеловѣческой крикъ. Ясно сознавая, что минуты его уже сочтены, алькальдъ съ досадою отбросилъ отъ себя бесполезное ружье, по его мнѣнію, все-жъ слишкомъ рано отказавшееся ему служить, затѣмъ онъ быстро выхватилъ изъ-за пояса знакомую намъ громадную палку алькальда, и, обратившись къ полковнику, который настойчиво приказывалъ ему сдаться, гнѣвно прокричалъ:

„Я не сдаюсь—я городъ Ланеза, а Ланеза умираетъ раньше, нежели сдаться!“

Палка алькальда хрустнула въ его могучихъ рукахъ, обломки ея полетѣли прямо въ лицо полковнику, и въ ту же секунду, откинувшись назадъ, Атіенза бросился внизъ головою въ находившееся позади него глубокое ущеліе, гдѣ кости его съ трескомъ начали разбиваться объ острия скалы.

Непріятелю такъ и не достался даже и трупъ Мануэля Атіензы, за голову котораго была назначена высокая награда...

VI.

Ланеза находилась во власти французовъ.

„Сколько у васъ плѣнныхъ?“ спросилъ генераль Гоудино у начальника отряда, торжественно доложившаго ему о взятіи Ланезы: „намъ придется повѣсить ихъ въ примѣръ назиданія остальному населенію“.

„Намъ удалось захватить лишь двоихъ, старика да мальчика; во всемъ городѣ никого больше не оставалось!“ отвѣтилъ начальникъ отряда, потупивъ глаза.

Генераль Гоудино, узнавшій всѣ подробности, невольно долженъ былъ подивиться этимъ горцамъ, выказавшимъ поистинѣ классическую храбрость древнихъ спартанцевъ, но онъ тѣмъ не менѣе приказалъ казнить несчастныхъ плѣнниковъ.

Не будемъ долго останавливаться на отдѣльныхъ сценахъ лютой расправы, хотя отцы наши когда-то часто пересказывали ихъ намъ.

Юношѣ набросили петлю на шею и потащили его къ столбу передъ ратушею. Веревка, однако, оказавшаяся старою, не выдержала тяжести его тѣла, и мальчикъ упалъ на мостовую. Принесли другую

веревку, но и она оборвалась при повтореніи возмутительной процедуры. Бѣдняга все еще не умиралъ, но онъ уже не могъ двигаться ни однимъ членомъ. Какой-то драгунскій офицеръ, стоявшій по близости, выхватилъ наконецъ пистолеть и прострѣлилъ голову несчастному мученику, котораго готовились было повѣсить въ третій разъ.

Послѣ этого побѣдители рѣшили помиловать больного старика, все время находившагося при казни и молча ожидавшагося своей очереди, прикурнувъ у подножья одной изъ колоннъ ратуши.

Его отпустили на всѣ четыре стороны. Пошатываясь и спотыкаясь на каждомъ шагу, старикъ бросился бѣжать по дорогѣ, ведшей въ его родной городокъ, гдѣ онъ и скончался въ ту же ночь.

Мальчикъ, убитый въ Кадиксѣ, былъ его сынъ...



NOCTURNO.

(Посвящается Л. Э. Ф.).

*Ярко звѣзды горятъ
Въ голубой вышинѣ;
Точно матери взгляды,
Кротко блещутъ они
И манятъ далеко за собою.*

* * *

*Мѣсяцъ выплылъ изъ тучъ,
Бѣлый снѣгъ серебрить,*

Кротокъ, тихъ его лучъ
И привѣтно блеститъ
Надъ уснувшюю трѣшиной землею.

* * *

Все затихло кругомъ,
Все такъ мирно ужъ спитъ;
И, объятая сномъ,
Вся природа молчитъ.
Ни движенья кругомъ, и ни звука...

* * *

Средь всего, что живетъ
И объято, что сномъ,
Лишь одно не заснетъ,
Какъ ни тихо кругомъ—
То—души изстрадавшейся мука.

* * *

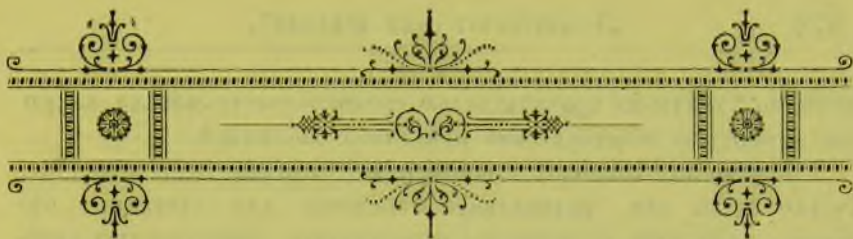
Какъ ни ярко горитъ
Въ небосклонъ звѣзда,
Если-жъ сердце болитъ,
И изныла душа—
Не найти и средь ночи покоя....

* * *

И ночью порой
Не одинъ горькій взоръ,
Омоченный слезой,
Въ зимней ночи просторъ,
Смотритъ съ мукой, съ тоской неземною.

Ветеемзи.





ВЪРОЧКА РЫНДИНА.

Разсказъ

Н. М. Соколова.

Върочка Рындина была очень серьезная барышня. Изъ кабалеровъ она отдавала рѣшительное предпочтеніе ученымъ. Уже одно это чего-нибудь да стоило. Впрочемъ, это вполнѣ понятно и нисколько не удивить человѣка, близко знакомаго съ Върочкою Рындиною.

Дѣло въ томъ, что въ квартирѣ Рындиныхъ кабинетъ Семена Петровича, отца Върочки, заботливо сохранялся въ томъ самомъ видѣ, въ которомъ оставилъ его покойный профессоръ передъ своимъ отшествіемъ въ „лучшіе міры“. У второго изъ двухъ оконъ кабинета стоялъ массивный письменный столъ. Тяжелыя гардины скупо пропускали тусклый петербургскій свѣтъ въ этотъ уголокъ. Высокіе шкафы чинно и угрюмо стояли по стѣнамъ, будто мрачныя альгвазилы, поставленные сюда для защиты темной комнаты отъ свѣта и шума чужой, далекой жизни. Старинныя гравюры въ черныхъ тяжелыхъ рамахъ строго и внушительно смотрѣли на дерзкихъ любопытныхъ. Только-бы подвѣсить къ потолку летучую мышъ или укрѣпить надъ столомъ нахохленную сову,—эту геральдическую птицу ученыхъ,—и мы получили-бы въ

миниатюрѣ такую-же мрачную келью средневѣкового монаха, какую показываютъ въ петербургской публичной библиотекѣ.

Можно-бы, конечно, и пентограмму изобразить на порогѣ... Только здѣсь это радикальное средство для отогнанія бѣсовской силы едва-ли могло бы представлять существенную необходимость. И въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ-бы нечистой силѣ тревожить мирный трудъ доктора монгольской и китайской словесности? Какой Мефистофель сохранилъ-бы свое достоинство и свои соблазны передъ пучиною адской мудрости замсловатой грамматики?

Не совсѣмъ неправдоподобно предположить, что, можетъ быть, и это соображеніе было причиною отсутствія пентограммы въ кабинетѣ Семена Петровича. Но если пентограммы и не было, то мыши въ немъ все-же были. О, это было большое мѣсто осиротѣвшей семьи! По крайней мѣрѣ, Вѣрочка не могла о нихъ равнодушно думать. Она дала себѣ ганнибаловскую клятву бороться съ ними до полнаго изнеможенія.

А Вѣрочка любила посидѣть въ этой комнатѣ и помечтать на старинномъ рабочемъ креслѣ отца. Тогда надъ ней наклонялись темные угрюмые призраки и обвѣвали холодомъ и тѣнью ея румяное личико. Этого кабинета—святая святыхъ; здѣсь хранились самыя драгоценныя семейныя реликвіи и поэтому задумчивая грусть здѣсь особенно гибко обвивала молодую голову.

Въ особенности здѣсь хороши были сумерки. Темная комната дѣлалась еще темнѣе. Угрюмыя тѣни ниже наклонялись надъ старымъ кресломъ и вдругъ гдѣ-нибудь въ углу раздается подозрительный шорохъ... Это было ужасно, но въ этомъ-то и заключалась особенная прелесть. Вѣрочка ни за что въ жизни не встала-бы въ эти минуты съ кресла, чтобы найти и наказать виновныхъ. Она только глубже пряталась въ кресло, силилась рассмотреть съ мѣста потемнѣвшіе углы комнаты и чутко прислушивалась къ тишинѣ. Кто бывалъ въ такомъ-же положеніи, тотъ знаетъ, какъ быстро и высоко поднимаются волны страха въ эти минуты. Во всякомъ случаѣ Вѣрочка убѣгала изъ кабинета только тогда, когда страхъ нересиливалъ всякое мужество. И она съ раскраснѣвшимся личикомъ, разгорѣвшимися глазами и сильно

бьющимся сердечкомъ бѣжала въ комнату мамы, гдѣ мебель была такъ мягка и уютна, гдѣ матовый свѣтъ такъ успокоительно дѣйствовалъ на нервы и гдѣ на диванѣ рядомъ съ мамой не было мѣста страху.

Вѣрочка была хранительницей семейныхъ традицій. Ея ученый папа не оставилъ наслѣдника своего имени. Вѣрочка была его единственною дочкою и по самому положенію вещей въ ея руки переходилъ тотъ свѣточъ мысли и знанія, который такъ горѣлъ въ рукахъ Семена Петровича. И кто-бы рѣшился сказать, что она когда-нибудь уставала нести поднятое ею знамя?

Нужно-ли говорить, что Вѣрочка кончила гимназію съ золотою медалью?

Во время нашего разказа Вѣрочка находилась въ переходномъ періодѣ. Курсы, конечно, необходимы. Но куда-же собственно идти? Все, что преподается тамъ, не настоящая наука.

Вотъ если-бы изученіе клиническаго письма и древне-ассирійскихъ надписей!... Но гдѣ, на какихъ курсахъ, у какихъ профессоровъ могла бы слушать такой предметъ ученая барышня? Приходилось отказаться отъ любимой мечты и искать чего-нибудь другого. Единственно, на чемъ еще, скрѣпя сердце, могла остановиться Вѣрочка—это философія Правда, это не философія Будды не откровенія Ведъ, а только философія Греціи или даже новая философія,—но что-же дѣлать?... Приходится мириться съ тѣмъ, что возможно, что есть...

Но Вѣрочка почему-то медлила съ своимъ рѣшеніемъ, медлила долго, пока, наконецъ, не сдѣлалась невѣстою Евгенія Львовича Полигнотова. Это былъ прежде всего ученый юноша. Правда, другія барышни находили, что у молодого филолога интересно блѣдное задумчивое лицо, мягки и пушисты каштановые вьющіеся волосы, ласковы и глубоки каріе добродушные глаза. Правда, практичныя маменьки говорили, что Евгеній Львовичъ—не дурная партія, что онъ стоитъ на хорошей дорогѣ. Но Вѣрочка прямо говорила, что это вздоръ. Она всеѣмъ и каждому повторяла, что у ея жениха некрасивое, но умное и интеллигентное лицо. И каждый, разумѣется, понималъ самоотверженіе умной и серьезной барышни.

Самое интересное во всемъ этомъ, по нашему мнѣнію, это—отказъ Вѣрочки отъ самостоятельной научной дѣятельности и ея рѣшеніе свой научный пылъ скрыть подъ плащомъ классической учености своего жениха. Ближайшія подруги Вѣрочки Варя Гипократова и Сося Педагогова обвиняли ее въ измѣнѣ и отступничествѣ. Онѣ находили постыднымъ отречься отъ великаго призванія женщины къ борьбѣ съ тираніей и деспотизмомъ мужчинъ ради мѣщанскаго счастья семейной жизни. Но, при всемъ нашемъ уваженіи къ ученымъ барышнямъ, мы не рѣшаемся согласиться съ ихъ мнѣніемъ. Вѣрочка имѣла свои резоны и,—что, конечно, во всемъ этомъ дѣлѣ имѣетъ рѣшающее значеніе,—дѣйствовала по принципу. Путемъ долгихъ и серьезныхъ размышленій она пришла къ тому выводу, что при современномъ положеніи женщины, она не можетъ добиться блестящихъ результатовъ на поприщѣ научной и общественной жизни. Что же остается въ такомъ случаѣ дѣлать той дѣвушкѣ, главное призваніе которой—собственно не женскій вопросъ, а интересы науки? Вотъ гдѣ вся трудность! И Вѣрочка блестяще разрѣшила трагическое недоумѣніе. Надо выйти замужъ за ученаго человѣка и употребить съ своей стороны всѣ усилія (понимаете,—*всѣ*), чтобы мужъ безпрепятственно и бодро шелъ впередъ подъ знаменемъ науки, пока не сдѣлается фениксомъ учености.

Опредѣливъ для себя этотъ принципъ, Вѣрочка самымъ добросовѣстнымъ и разумнымъ образомъ отнеслась къ своей задачѣ. Ея усилія увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Выборъ Полигнотова—это триумфъ изобрѣтательности и находчивости Вѣрочки. Во первыхъ, молодой филологъ уже три года пишетъ диссертацию на степень магистра греческой словесности на тему—„Сослагательное наклоненіе у Аристофана“, во-вторыхъ, онъ человѣкъ, несомнѣнно, талантливый. О, Вѣрочка собрала много доказательствъ послѣдняго пункта. И только щекотливость вопроса заставляла ее быть сдержанной и даже скрытной въ этомъ отношеніи.

Свою миссію ученая барышня блистательно начала еще до свадьбы.

Съ позволенія шапап, которая никогда не имѣла силы въ чемъ-либо отказать своей единственной дочкѣ, женихъ засиживалъ

ся въ квартирѣ Рындиныхъ до поздней ночи. Повидимому, въ эти вечера онъ и не хотѣлъ, и не могъ много говорить съ своею невѣстою о сослагательномъ наклоненіи. Конечно, не могъ не потому, чтобы его рвеніе къ изучаемому вопросу ослабѣло или измѣнило ему обычное краснорѣчіе, онъ не могъ просто потому, что хотѣлъ слушать свою невѣсту. Да это и понятно. Самъ Аполлонъ не могъ-бы говорить краснорѣчивѣе о великой миссіи ученаго, объ ученой славѣ, о безсмертіи созданій науки.

— Я отниму отъ тебя всѣ заботы, всѣ житейскія дразги, дорогой мой мальчикъ, чтобы ты могъ весь отдаться своему труду: во мнѣ ты найдешь самое полное, самое глубокое сочувствіе всѣмъ твоимъ планамъ и мы съ тобой дружно и бодро пойдемъ на встрѣчу славѣ, на встрѣчу безсмертью... Я первая принесу тебѣ лавровый вѣнокъ, чтобы обвить имъ твое чело, когда твой трудъ будетъ оконченъ. Но, дорогой мой, этотъ путь суровъ; это путь самоотреченія и подвига: убѣжать отъ развлеченій и шума жизни, крѣпко занереть предъ ними свою дверь и каждый мигъ, каждое мгновеніе отдавать работѣ. *Ars longa, vita brevis est*, мой маленькій мальчикъ.

Полигнотовъ всегда и безусловно соглашался съ своею невѣстою. Да и можно-ли было не соглашаться, видя предъ собою милое, оживленное личико, съ горячими свѣтлыми глазами, съ двумя рядами жемчужныхъ зубовъ, краснорѣчиво блестящихъ подъ краснорѣчивыми губками?

Вѣрочка не могла не замѣчать, что ея пылкая, вдохновенная рѣчь производитъ полное впечатлѣніе, она понимала, что ея сѣмена падаютъ не на каменистую почву... Она имѣла всѣ данныя вѣрить въ своего жениха и надѣяться увидѣть его такимъ, какимъ онъ рисовался въ ея воображеніи.

Вотъ почему такъ спокойно и смѣло она сказала „да“, когда священникъ во время вѣнчанія спросилъ ее, хочетъ-ли она имѣть раба Божія Евгенія своимъ мужемъ.

II.

По нашему мнѣнію, Вѣрочка родилась въ сорочкѣ. Ей все удавалось, и вопросы практической жизни она разрѣшала такъ-же легко и умѣло, какъ проблемы отвлеченной мысли и соціальныя

недоразумѣнія. Свою небольшую квартирку она убрала какъ гвѣздышко. Само собою разумѣется, что цѣлю всѣхъ хозяйственныхъ заботъ и соображеній былъ комфортъ Евгенія Львовича. Но это, если возможно такъ выразиться, былъ по преимуществу ученый комфортъ. Письменный столъ былъ алтаремъ и жертвенникомъ всей квартиры. Зеленое сукно было идеально чисто; письменныя принадлежности находились въ безукоризненномъ порядкѣ; надъ увѣсистыми изданіями классиковъ и толстыми словарями тяжело лежитъ греко-римскій словарь Гейденрейха, въ фигуральномъ смыслѣ замѣнявшій собою античнаго Цербера въ предверіи Тартара. Нужно было быть Геркулесомъ, чтобы рискнуть на борьбу съ такимъ чудовищемъ. Словомъ, письменный столъ представлялъ изъ себя цѣлое учрежденіе или, по крайней мѣрѣ, одну изъ комнатъ инквизиціи.

Съ другой стороны, какъ намъ это ни не пріятно, мы должны сравнить этотъ столъ съ пятномъ. Свѣтъ и солнце такъ и рвались въ большія окна маленькой квартиры. Свѣтлые лучи положительно шалили, встрѣчая мѣдныя ручки дверей, паркетъ нола и пеструю ткань мягкой мебели. Все было чисто, уютно и весело. И только столъ немного нарушалъ общее впечатлѣніе. Онъ не хотѣлъ шутить и смѣяться заодно съ остальною мебелью. Онъ смотрѣлъ недовольно и хмуро, какъ ученый фарисей случайно попавшій въ шумное общество веселыхъ гречанокъ.

Убирая письменный столъ, Вѣрочка создавала чужое святилище, святилище своего мужа. По ея соображеніямъ, оно и должно было быть такимъ торжественнымъ и скучнымъ. Но во всемъ остальномъ она руководилась своимъ непосредственнымъ вкусомъ. Впрочемъ, не предполагаемые, но дѣйствительные вкусы Евгенія Львовича, въ области гастрономіи встрѣчали полное вниманіе со стороны молодой хозяйки. За обѣдомъ она давала мужу (скрѣпя сердце) и пирогъ, и щи, и говядину кускомъ. Правда, все это не было совсѣмъ по вкусу Вѣрочки, но что-же дѣлать? Она, выходя замужъ, дала обѣтъ самоотреченія.

Прошелъ и медовый мѣсяцъ. Свадебные визиты были отлажены. Изъ шкафа былъ вынутъ форменный виць-мундиръ Евгенія

Львовича; началась служба; жизнь болѣе или менѣе стала входить въ нормальную колею.

Весело шель со службы домой молодой ученый; съ удовольствіемъ слушалъ онъ серьезные хозяйственные соображенія своей молодой жены, и во мгновеніе ока улеталъ куда-то далеко, далеко остатокъ дня. Бойкіе глазки Вѣрочки, ея длинныя мягкіе волосы, ея немного приподнятая и немного капризная верхняя губка—все это требовало усиленнаго, напряженнаго вниманія и отнимало все свободное время. Рѣшительная склонность мужа къ созерданію, строго говоря, не огорчала Вѣрочку. Отчасти она была этимъ даже довольна. И несомнѣнно, она была-бы вполне и безусловно довольна такимъ положеніемъ дѣлъ, если-бы не ея мечты о научной славѣ. Мужъ *не долженъ* забывать своего ученаго будущаго; она *не имѣетъ права* отнимать для своего удовольствія тѣ часы, которые должны быть отданы наукѣ.

— Глупый мальчикъ, ты совсѣмъ забылъ свою диссертацию. Я ни за что, ни за что не буду цѣловать тебя, если ты сейчас-же не сядешь за работу. Ты долженъ быть умнымъ, ужасно умнымъ и я не хочу, чтобы ты лѣнился. Если ты не хочешь, чтобы твоя маленькая женка плакала, сейчас-же садись къ письменному столу...

Напрасно Евгений Львовичъ такъ много надѣялся на то, что его Вѣрочка шутить. И еще хуже то, что онъ вздумалъ отшучиваться. Вѣрочка дѣйствительно заплакала. Чтобы успокоить ее, Евгений Львовичъ сѣлъ къ письменному столу, раскрылъ первую попавшуюся книгу и сталъ смотрѣть въ нее закрытыми глазами. По его душѣ чуть-чуть скользила улыбка надъ капризомъ Вѣрочки. Боясь огорчить Вѣрочку, онъ не позволялъ этой улыбкѣ появиться на губахъ и дѣлалъ всѣ усилія, чтобы не смѣяться въ слухъ. Онъ слышалъ, что Вѣрочка успокоилась. Прошелъ часъ. Полигнотову становилось скучно. За спиной послышались осторожные шаги. На цыпочкахъ, чтобы не развлекать мужа, Вѣрочка пришла въ кабинетъ и хотѣла тихонько сѣсть въ кресло и помечтать, вдохновляясь видомъ мужа. Это ей не удалось. Однимъ ловкимъ движеніемъ мужъ схватилъ ее за талию и притянулъ къ себѣ.

— Ну что, Вѣрочка? Можно встать?

— Не смѣй, не смѣй, глупый, лѣнливый мальчишка! Сиди и работай. Чтобы тебѣ было веселѣе, и я буду сидѣть съ тобой...

— Я, Вѣрочка, и то много сдѣлалъ, читалъ, читалъ просто до невозможности. Сразу ученѣе сдѣлался. На сегодня довольно. Правда, Вѣрочка?

— Посиди еще. Я сяду сзади съ часами. Черезъ полчаса я скажу тебѣ „довольно“, и тогда—ты вставай.

Боясь новыхъ слезъ, Евгеній Львовичъ просидѣлъ и эти полчаса надъ письменнымъ столомъ.

Такъ Вѣрочка начала свою миссію. Было-бы ошибочно предполагать, что эти ученые эксперименты доставляли ей прямое наслажденіе. Ей было жаль своего Женю. Ей самой не хотѣлось разставаться съ мужемъ на долгій вечеръ. Но что-же дѣлать? Путь къ славѣ и истинѣ—суровъ. Наука требуетъ своихъ жертвъ, и на алтарь этой науки Вѣрочка благоговѣйно и безропотно приносила свое удовольствіе.

III.

Вѣрочка всегда думала,—и развѣ она не имѣла права это думать?—что у нея зоркій глазъ. Сколько разъ она замѣчала то, чего не видѣли другіе? Въ оцѣнкѣ людей и событій развѣ приходилось ей ошибаться? Нѣтъ и нѣтъ; одна клевета могла-бы лишать ее этого достоинства.

И Вѣрочка была весела и спокойна. Въ ихъ хозяйствѣ, въ ихъ маленькой квартирѣ, въ ихъ семейной жизни все шло хорошо. Правда, мужъ иногда протестуетъ противъ строгихъ предписаній жены—сидѣть надъ работою. Вотъ глупый! Пока онъ не успѣлъ еще понять, что все это дѣлается для его-же пользы.

Но онъ хорошій! Онъ весь день проводитъ съ своею Вѣрочкою. Онъ сидитъ дома и еще ни разу не оставлялъ ее дома одну. Повторяемъ, Вѣрочка была весела и спокойна.

Но однажды... О, это былъ ужасный день!

Съ утра Вѣрочка была слегка разстроена. Ея горничная давно манкировала своимъ дѣломъ. Она очень часто убѣгала изъ дому и Вѣрочка самымъ неожиданнымъ образомъ убѣдилась, что виною всему было увлеченіе Насти, увлеченіе—швей.

царомъ. Конечно, Настя была не молода и не красива. (Вѣрочка не находила удобнымъ держать красивую горничную). Но развѣ эти условія совершенно устраняютъ возможность увлеченія?

Необходимо было принять мѣры. Вѣрочка позвала къ себѣ Настю и долго, и краснорѣчиво говорила съ нею на тему преступности незаконной любви. Ученая хозяйка говорила увлекательно, но лицо виновной оставалось равнодушнымъ и спокойнымъ. Такая нераскайность, конечно, взорвала-бы кого-угодно. Вздволнованная Вѣрочка категорически заявила, что она не потерпитъ такого порока въ своей прислугѣ, что она запрещаетъ ей свиданія съ Григорьемъ и что отнышѣ будетъ внимательно слѣдить за ея нравственностью...

Но—подумайте только! на Настю вся эта рѣчь не произвела никакого впечатлѣнія, напротивъ. Она позволила себѣ возражать Вѣрочкѣ. Она осмѣлилась возвысить голосъ и разсердиться. Но самое ужасное во всемъ—это доводы несчастной. Настя начала съ того, что въ горничныя она поступила случайно. Что подъ рядъ десять лѣтъ она жила въ кормилицахъ и въ хорошихъ домахъ жила; что она вовсе не намѣрена отказываться отъ своей старой профессіи, болѣе пріятной и выгодной для нея, чѣмъ служба въ горничныхъ...

— Такъ что вы, барыня,—закончила свою отвѣдь дерзкая Настя,—не извольте беспокоиться. Мы себя понимаемъ въ лучшемъ видѣ. Намъ своего заработка терять не желательно. Поэтому вы уже,—ахъ, оставьте...

Какими словами можно изобразить удивленіе и гнѣвъ Вѣрочки? Инцидентъ прежде всего поражалъ своею неожиданностью. И Вѣрочка заплакала. Да, она заплакала и мы не думаемъ, что-бы гдѣ-нибудь могла найтись хозяйка, которая не заплакала-бы въ такомъ положеніи...

Но и въ этомъ случаѣ Вѣрочка сдѣлала все, чего требуетъ благоразуміе. Она послала за мамой, приглашая ее на совѣщаніе. Было рѣшено обцѣмъ мнѣніемъ вечеромъ, когда Женя сядетъ за работу, выработать окончательное рѣшеніе, допросивъ виновную Настю.

Вѣрочка нѣсколько разъ поцѣловала своего мужа въ лобъ,

оставляя его въ кабинетѣ за диссертацию. Она обѣщала, покончивъ съ хозяйственными дѣлами, притти къ нему въ кабинетъ какъ можно скорѣе, чтобы ему не было скучно работать.—И была права. Допросъ не привелъ ни къ чему. Упорство Насти было поразительно. Становилось несомнѣннымъ, что въ трудныхъ обстоятельствахъ наиболѣе цѣлесообразны энергичныя мѣры. Рѣшено было разсчитать Настю. Мама брала на себя пріискать новую горничную. Выходъ былъ найденъ.

Правда, Вѣрочка имѣла прежде по этому вопросу свое мнѣніе. Какъ женщина интеллигентная, она разсчитывала на возможность нравственнаго вліянія на окружающую среду. Она собиралась вносить свѣтъ науки и знанія въ невѣжественную массу народа. Но что-же подѣлаешь съ Настей? Ея порочность имѣла за собою десятилѣтнюю давность и пріятныя воспоминанія; она успѣла выработать себѣ логику порока и отъ нея, какъ отъ стѣны горохъ, далеко отскакивали просвѣтительныя идеи.

Вѣрочка чувствовала, что она не развязала, а разрубила Гордіевъ узелъ. Но это былъ единственный выходъ.

На прощанье она горячо цѣловала свою маму, благодаря ее за содѣйствіе. Чтобы успокоить нервы, Вѣрочка пошла въ кабинетъ мужа, гдѣ вся обстановка дышала отдыхомъ и примиреніемъ. Тамъ успокоится ея взволнованное сердечко. Тихо она растворила дверь и въ ужасѣ остановилась на порогѣ.

Кабинетъ былъ пустъ!

Куда дѣвался Евгений Львовичъ?

На вѣшалкѣ не было его шубы; на столикѣ въ прихожей не было его шапки. Сомнѣваться было невозможно,—онъ ушелъ, тайкомъ, потихоньку отъ жены.

О, Марій, суровый римлянинъ, что происходило въ твоей душѣ, когда ты угрюмо бродилъ по развалинамъ Кароагена? Если бы я зналъ твои чувства и мысли, я могъ-бы передать душу Вѣрочки. Одна мысль обидно-ясная, оскорбительно-несомнѣнная въ ея головкѣ властно поднималась надъ общимъ волненіемъ и прибоемъ слезъ и образовъ. Женья не выдержалъ давленія высокой температуры научности, которую такъ заботливо, съ такимъ самоотреченіемъ создавала ему его ученая Вѣрочка, и постыдно бѣ-

жалъ. Развѣ эти мужчины могутъ быть убѣжденными жрецами идеи? Презрѣнные люди! Эгоизмъ и эпикурейство—вотъ сущность ихъ души. И они еще претендуютъ на первенство и главенство въ человѣческой семьѣ! Позоръ! Вѣрочкѣ стыдно стало за нихъ. Привычныя думы быстро и взволнованно мелькали въ головкѣ Вѣрочки, когда она, сидя предъ письменнымъ столомъ мужа, на его рабочемъ креслѣ старалась разобраться въ неожиданномъ событіи. Но въ сердцѣ, гдѣ-то глубоко, чуть слышно начиналась другая тревога; она поднималась все выше и выше, ея волны были все горячѣе и настойчивѣе и предъ ними блѣднѣли мало по малу развѣнчаные призраки научныхъ идеаловъ.

Куда онъ могъ уйти? Къ холостымъ товарищамъ? Можетъ быть, тамъ попойка? Какъ это гадко! А если тамъ... женщины?..

Крупныя, какъ первыя капли лѣтняго дождя, прозрачныя и блестящія слезы засеребрились на ея длинныхъ рѣсницахъ и медленно падали на поблѣднѣвшія щеки. Зачѣмъ онъ ушелъ, не сказавшись ей? О, она позволила-бы ему бросить диссертацию, если ему такъ надобно сидѣть надъ нею... Глухой, глухой Женя! Зачѣмъ онъ не знаетъ, какъ много и какъ горячо его любитъ маленькая женка? Пусть только скорѣе онъ вернется! Вѣрочка чуть-чуть надеретъ ему уши и они примирятся...

Но часы шли медленно... Часовая стрѣлка миновала уже и 10, и 11, и 12, а бѣглеца все еще не было. Было уже около часу ночи, когда въ передвей робко прозвенѣлъ звонокъ. Вѣрочка сама отперла дверь.

— Ты еще не спишь, мой другъ,—виноватымъ и смущеннымъ голосомъ говорилъ Евгеній Львовичъ.

Вѣрочка не отвѣчала. Крупныя слезы стояли въ ея глазахъ, когда она помогала мужу раздѣваться. Евгеній Львовичъ поцѣловалъ Вѣрочку и она съ ужасомъ замѣтила, что отъ него слегка пахнетъ виномъ.

— А я усталъ заниматься... захотѣлъ пройтись... Зашелъ къ Петрову; у него компанія, раньше уйти было неловко... вотъ и засидѣлись...

Вѣрочка молчала, Евгеній Львовичъ старался на нее не глядѣть и не замѣчать тѣхъ слезъ, которыя стояли въ ея глазахъ.

Вдругъ двѣ маленькія ручки упали на его плечи, обвили его шею и нагнули его голову.

— Глухой, глухой мальчикъ,—сквозь слезы шептала Вѣрочка, цѣлуя мужа.

Въ эту ночь она долго не могла заснуть; въ эту ночь сильно билось сердце Вѣрочки: она хоронила свою молодую, свою слишкомъ нарядную и наивную мечту.



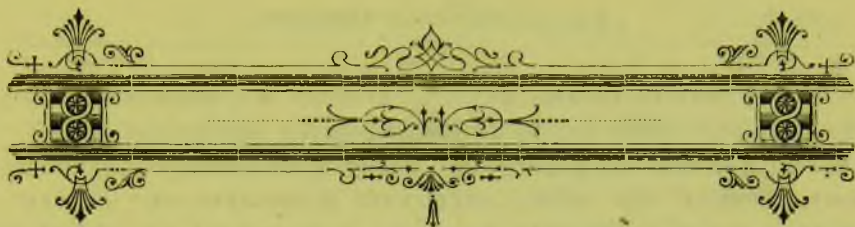
Листки изъ дневника.

I.

*Легче чайки надъ зыбью морей
Мысль несется далеко, далеко,—
Вереницей неожиданныхъ огней
Даль зажглась, озарилась широко...
Залорайтесь послѣднимъ огнемъ,
Догорайте, послѣднія силы!..
Тѣ они, можетъ быть, мы зажжемъ
На краю недалекой мошлы...*

Ник. Соколовъ.





Золото въ древности.

Э. Альберта.

Много прошло до того времени, когда, вслѣдствіе возрастающей культуры и установившихся международных сношеній, явилась потребность въ извѣстныхъ мѣрилахъ для опредѣленія цѣнности всѣхъ необходимыхъ для человѣка предметовъ—золото же въ соединеніи съ разноцвѣтными драгоцѣнными камнями служило уже не только какъ украшеніе человѣческаго тѣла, но и какъ матеріалъ для разнаго рода сосудовъ и домашней утвари. Скоро люди убѣдились въ прекрасныхъ качествахъ этого металла, удивлялись прелести и прочности его блеска, непомрачаемаго ржавчиной, удивлялись его мягкости и гибкости, качествамъ, дающимъ ему преимущество передъ другими металлами для выдѣлки разныхъ предметовъ роскоши и домашняго употребленія.

Какъ извѣстно, азіатскіе народы предавались, подъ вліяніемъ богатой природы и обезсиляющаго тѣло климата, самой безумной роскоши. Вавилоняне и финикіяне поддерживали эту страсть: они привозили азіатамъ не только произведенія своего искусства и своей промышленности, стоявшихъ на высокой ступени развитія, но и предметы роскоши изъ самыхъ отдаленныхъ странъ. Золото и золотой песокъ вавилоняне привозили изъ Индіи -- Эльдорадо древняго міра. Съ этимъ изобиліемъ золота въ Индіи тѣсно связаны разные чудесные рассказы о добывающихъ, на примѣръ, золото муравьяхъ. Золото находили въ пустынѣ Гоби. По близости,

въ горахъ Малаго Тибета, жили, по словамъ Геродота, сѣверные индусы, привозившіе золото въ Бактру, откуда вавилоняне отправляли его къ себѣ на родину. Это племя принадлежало къ самымъ воинственнымъ изъ всѣхъ индусскихъ и отваживалось поэтому отбивать золото у большихъ муравьевъ, добывавшихъ его, по мнѣнію древнихъ, изъ земли. Вотъ что говоритъ Геродотъ объ этомъ преданіи. „Въ пустынѣ, на границахъ которой живутъ сѣверные индусы, находятся муравьи, видомъ похожіе на нашихъ, живутъ они также въ муравейникахъ; но ростомъ они больше подходятъ къ лисицамъ и отличаются необыкновенной ловкостью и быстротой. Они отыскиваютъ скрытое въ пескѣ золото, которое сѣверные индусы похищаютъ у нихъ. При этомъ употребляется слѣдующая хитрость. Связываютъ трехъ верблюдовъ, изъ которыхъ средній самка. Дѣтенышъ этой самки оставляется дома. До полудня, когда муравьи еще отдыхаютъ въ глубинѣ земли, чтобы укрыться отъ невыносимаго зноя, индусы бросаются на муравейники, похищаютъ золото и, сѣвъ на своихъ верблюдовъ, обращаются въ бѣгство, потому что муравьи и въ глубинѣ земли чувтъ похитителей. Вслѣдствіе этого послѣдніе стараются уйти какъ можно дальше, пока еще не всѣ муравьи собрались. Особенно полезна при такомъ бѣгствѣ самка, которая, желая какъ можно скорѣе вернуться къ своему дѣтенышу, мчится съ необыкновенной быстротой, увлекая за собою и остальныхъ двухъ верблюдовъ“. Такъ рассказываютъ объ этомъ персы, прибавляетъ Геродотъ и тутъ же сообщаетъ, что такое ужасное насѣкомое находилось въ звѣринцѣ персидскаго царя.

Многіе ученые вѣрили въ существованіе такихъ добывающихъ золото муравьевъ, но аргументы, приводимые ими въ пользу справедливости этого преданія, весьма шатки. Объясненіе барона Вельтгейма, по всей вѣроятности, ближе къ истинѣ, чѣмъ всѣ остальные. Онъ говоритъ, что индусы распространяли разные чудовищные рассказы объ огромныхъ, очень опасныхъ муравьяхъ, желая напугать промышленниковъ и разбойниковъ, которые, безъ всякаго сомнѣнія, устремились бы въ пустыню Гоби для добыванія золота.

Поведѣ къ рассказамъ о такихъ животныхъ дали, вѣроятно,

туземныя лисицы, шкуры которыхъ употреблялись для собиранія золотого песку. Съ этою цѣлью индусы ловили и содержали этихъ животныхъ въ большомъ количествѣ. Муравейники же, разбросанные по пустынѣ, были ничто иное, какъ кучки очищеннаго отъ золота песку.

Древніе индусы, какъ мужчины, такъ и женщины, очень любили золото, изъ котораго они умѣли дѣлать разные предметы. Ноги и руки они украшали золотыми обручами, не рѣдко покрытыми драгоценными каменьями и колокольчиками. Перстни, кажется, — изобрѣтеніе индусовъ; въ первое время, однако, они, должно быть, были средствомъ для сохраненія нѣжныхъ, стройныхъ пальцевъ. До сихъ поръ еще считаютъ индусы маленькую стройную руку первымъ условіемъ красоты. Шею они украшали золотыми цѣпочками и золотыми змѣйками. Къ поясу они часто прикрѣпляли золотые бубенчики, которые звенѣли при малѣйшемъ движеніи.

Преимущественно вавилоняне поддерживали въ персахъ страсть къ роскоши, которую они впоследствии такъ славились. Нужно удивляться развращающему нраву изобилію припасовъ и драгоценныхъ произведеній изъ всѣхъ частей государства, имѣвшихся при персидскомъ дворѣ, множеству золота и серебра въ кускахъ, которые брали по мѣрѣ надобности. По словамъ Геродота въ царскую сокровищницу, назначенную для личныхъ расходовъ царя, поступало ежегодно золота и серебра на 14,500 талантовъ, или 20 милліоновъ рублей на наши деньги. Подарки, раздаваемые царемъ своимъ любимцамъ, состояли не въ чеканномъ золотѣ, а въ кускахъ золота, золотыхъ сосудахъ или драгоценныхъ почетныхъ платьяхъ, въ которыя были вплетены золотыя нити. Особенно роскошью отличался дворъ царя Дарія Кодомана. Каждый воинъ десяти тысячнаго отряда, называвшагося „безсмертнымъ“, носилъ ожерелье изъ чистаго золота и богатѣйшую одежду, на рукавахъ блестѣли драгоценныя каменья. Карета, въ которой Дарій ѣздилъ, поддерживалась двумя истуканами изъ чистаго золота; на серединѣ усыпаннаго драгоценными каменьями дышла находились двѣ золотыя статуи, изображавшія войну и миръ, и надъ ними простиралъ свои крылья сдѣланный изъ того же металла орелъ.

Золота и серебра, доставшагося Александру Македонскому

во дворцѣ Даріи, было приблизительно на 120,000 талантовъ или 130 милліоновъ рублей за наши деньги. Понадобилось 3.000 верблюдовъ и множество муловъ, чтобы увезти ихъ.

Безумная роскошь царствовала и при Лидійскомъ дворѣ, въ особенности при послѣднемъ царѣ Крезѣ, извѣстномъ своею безсѣдою съ греческимъ мудрецомъ Солономъ.

Вслѣдствіе изобилія золота въ Лидіи, ея жители достигли большого совершенства въ его обработкѣ. Это доказываютъ цѣнные подарки, которые Крезъ заказалъ для дельфійскаго оракула. Эти подарки показывались въ Дельфахъ еще во время Геродота и отличались, по его словамъ, замѣчательнымъ изяществомъ работы. Они состояли изъ 117 тяжелыхъ золотыхъ плитокъ, золотого льва, имѣвшаго около 560 фун. вѣсу, двухъ большихъ чарокъ, четырехъ серебряныхъ большихъ сосудовъ въ видѣ бочекъ, двухъ большихъ леекъ, одной изъ золота, другой изъ серебра, золотой статуи въ три аршина вышиною и множества другихъ драгоценныхъ предметовъ. По словамъ Геродота, въ Лидіи впервые употреблялись золотыя и серебряныя монеты при сношеніяхъ съ другими народами, на основаніи чего можно заключить о ихъ обширной торговлѣ.

Трудолюбивые мореплаватели—финикіяне также, какъ и вавилоняне, доставляли всѣмъ народамъ золото и предметы роскоши, сдѣланные изъ него. Особенно много вывозили они его въ Палестину, и такимъ образомъ увеличивали роскошь у евреевъ и не мало способствовали развращенію ихъ нравовъ. Не даромъ упрекали пророки финикіянь въ томъ, что, благодаря имъ, золото сильно упало въ цѣнѣ.

Всѣмъ извѣстно, какимъ великолѣпіемъ отличался іерусалимскій храмъ, построенный финикійскими зодчими.

Финикіяне мастерски изготовляли одежду съ сотканными изъ золотыхъ нитей фигурами. Роскошное облаченіе первосвященника было произведеніе финикійскаго мастера. Но такія роскошныя одѣянія назначались не только для священниковъ, но и для богатыхъ частныхъ лицъ. Богатыя женщины Іерусалима носили ихъ по преимуществу; платье опоясывалось обыкновенно блестящимъ поясомъ изъ золотой ткани. Другія украшенія, какъ-то: золотые

кольца, перстни, ожерелья, и т. п. употреблялись и еврейками. Но всё сокровища, вся роскошь, царствовавшая въ домахъ изнѣженныхъ богатыхъ евреевъ, всё драгоцѣнности, находившіяся въ храмѣ и сокровищницѣ царей, исчезли при политическомъ упадкѣ государства. Чужеземные завоеватели овладѣли сокровищами, также какъ отняли у народа и его свободу, и его самостоятельность.

Уже въ глубокой древности финикіяне снабжали грековъ издѣліями изъ золота. Азіатская роскошь скоро привилась въ Греціи; въ особенности старались гречанки возвысить свою природную красоту, подобно восточнымъ женщинамъ, разными блестящими золотыми украшеніями. Божественная Юнона является къ Зевсу въ богатыхъ украшеніяхъ, чтобы лучше плѣнить его и обмануть; она укрѣпляетъ платье на груди золотыми застежками и надѣваетъ блестящее ожерелье.

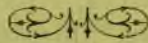
Съ возрастаніемъ культуры, страсть къ богатству и роскоши увеличивалась между греками. Прирожденное грекамъ пониманіе прекраснаго, ихъ способности ко всемъ родамъ искусствъ, скоро сдѣлали ихъ независимыми отъ чужеземцевъ; ихъ успѣхи въ самостоятельной обработкѣ благородныхъ металловъ были такъ велики, что ихъ золотые и серебряные предметы роскоши сдѣлались въ послѣдствіи образцами для римскихъ художниковъ.

У грековъ вошли въ употребленіе золотыя монеты. Ихъ чеканили изъ лучшаго золота. Количество золота относилось къ серебру въ этихъ монетахъ какъ 10 : 1, при Платонѣ какъ 12 : 1. Получавшіяся при посредствѣ малоазіатскихъ грековъ дорогія восточныя платья были въ большомъ употребленіи въ Греціи. Не только богатые и знатные люди облачались въ нихъ, но и актеры на сценѣ, и нерѣдко служили онитакже украшеніемъ для статуй боговъ и богинь.

Этотъ обычай перешелъ и къ римлянамъ, подражателямъ греческаго искусства.

Наибольшая роскошь царствовала въ Римѣ при императорахъ. Одѣяніе римлянокъ того времени блистало золотомъ. Массивныя золотыя серьги сверкали въ ушахъ, такіе же браслеты и застежки украшали руки и ноги, пальцы были покрыты дорогими кольцами и золотой поясъ придерживалъ роскошное, прозрачное платье. Въ

первыя времена республики, когда римскіе нравы еще отличались простотой, золотомъ мало дорожили и мало знали его, такъ что съ трудомъ собрали 1000 фунтовъ контрибуціи, наложенной галлами, угрожавшими самостоятельности Рима. Золотыя монеты были тоже еще неизвѣстны, онѣ появились только во время второй пунической войны. Но съ распространеніемъ римскаго могущества въ Азіи и послѣ знакомства съ греками, цѣна на золото возвысилась. Золото сдѣлалось цѣлью, къ которой все стремились и вмѣстѣ того, чтобы быть источникомъ добродѣтели и счастья, оно стало источникомъ самыхъ возмутительныхъ преступленій и пороковъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что нигдѣ могущество и вліяніе золота не имѣло болѣе роковыхъ послѣдствій, нежели въ Римѣ. Оно послужило въ немъ къ развитію чувственности и мотовства и имѣло самыя ужасныя, пагубныя послѣдствія.

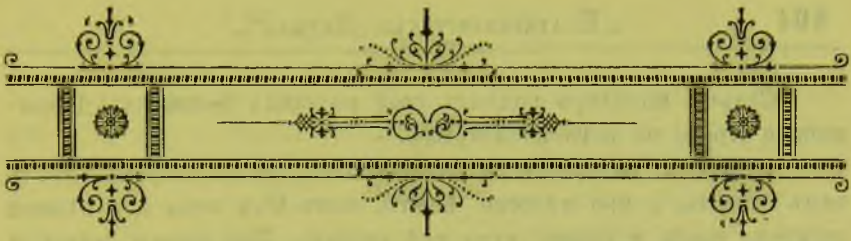


СИЛУЭТЪ.

*Онъ зналъ, что жизнь не велика,
 Что жить немного ужъ осталось.
 Дрожала сжатая рука,
 Изъ хилой груди сердце рвалось.
 Онъ зналъ, что жизнь не въ этой мль,
 Онъ полонъ былъ однихъ страданій,
 Горя на медленномъ огнѣ
 Своихъ порывовъ и желаній.
 Но шелъ избитымъ онъ путемъ,
 Моля о благахъ лучшей доли.
 Сознанье дома жило въ немъ,
 Борясь со слабостію воли.
 Онъ зналъ, что ужъ спасенья нѣтъ,
 Что не исторнетъ звука лира.
 И онъ покончилъ, какъ Гамлетъ,
 Герой великаго Шекспира.*

Ф. Ф—въ.





НЕЖДАННЫЙ ИЗБАВИТЕЛЬ.

(Святочный рассказ).

П. Б.

— **А** что, Егоръ Васильевичъ, много было съ вами приключеній въ тайгѣ,—вѣдь, вы давно въ ней живете? спросили мы нашего „таежнаго дѣда“, штейгера Егора Васильевича Баулина.

— Всего бывало, отвѣчалъ, вздохнувъ, старый штейгеръ, исколесившій на своемъ вѣку всю олекминскую тайгу вдоль и поперекъ.

— Ну, расскажите же,—вѣдь, навѣрное случилось съ вами что нибудь и особенное?

— Эхъ, господа, господа, рассказалъ бы я вамъ одинъ случай, да боюсь, просмѣете вы меня, старика,—скажете, что вру.

— Полноте, Егоръ Васильевичъ, что вы! Мы васъ хорошо знаемъ за человѣка, не любящаго пустяки говорить,—и не подумаемъ, что вы намъ сказки рассказывать станете.

— Сказки, не сказки, а на правду мало похоже,—вотъ вы что подумаете,—а только я вамъ впередъ говорю, что случай былъ доподлинно диковинный и нашему разуму непонятный.

— Что же вы про чертей что-ли хотите намъ рассказать? перебилъ „дѣда“ мой товарищъ, молодой инженеръ Добрынинъ, —такъ вы лучше и не говорите, потому что, хотя васъ я и уважаю, но повѣрить,—извините, не повѣрю.

Старый штейгеръ поднялъ свои косматыя брови на Добрынина и строго на него посмотрѣлъ.

— Нѣтъ, Валеріанъ Петровичъ, нѣтъ, не про чертей хотѣлъ вамъ сказать, а про милость Божию, какъ Онъ меня отъ вѣрной гибели спасъ и какое чудо мнѣ оказалъ. Про чертей теперь и говорить-то грѣшно,—вы только вспомните, какой теперь день, —вѣдь, сегодня, Валеріанъ Петровичъ, канунъ Рождества. Да-съ.

Старикъ сильно разсердился, замолчалъ, и, плотно сжавъ губы, метнулъ на Добрынина грозный взглядъ. Добрынинъ смутился и чтобы скрыть свое смущеніе, сталъ зажигать папироску.

— Вотъ что-съ, вдругъ громко произнесъ Баулинъ вставъ съ койки, на которой сидѣлъ и подходя къ Добрынину,—вотъ что-съ я вамъ доложу,—второй десятокъ ужъ идетъ, какъ этотъ случай со мной содѣялся, а я до сихъ поръ не только его позабыть не могу-съ, но даже постоянно, изъ году въ годъ, въ этотъ день въ церковь хожу и Господу Богу мои грѣшныя молитвы возсылаю,—служу, значить, молебень и панихиду.

— Да не сердитесь, Егоръ Васильевичъ, закричали мы Баулину.—не томите насъ, а садитесь да рассказывайте скорѣе,—а ты, обратились мы къ Добрынину,—не перебивай, а слушай,—не хочешь,—такъ ложись и спи.

— Не сердитесь на меня, Егоръ Васильевичъ,—вѣдь, я шутя вамъ сказалъ, оправдывался Добрынинъ, протягивая Баулину руку,—не правда-ли, не сердитесь?

— Не сержусь я, Валерьянъ Петровичъ, а только дивлюсь на васъ, что вы въ такіе дни про этихъ проклятыхъ вспомнили,—началъ было снова ворчать дѣдъ, но мы не дали разворчатъ-ся старику, а общими силами усадили его на койку, набили его трубку и тѣмъ окончательно умилостивили.

— Слушайте-же, да не прерывайте, а то спутаюсь, до конца не дотяну: вѣдь, я рассказывать-то не мастеръ...

— Да рассказывайте же скорѣе, снова закричали мы на Баулина.

— Ну, такъ вотъ про какой случай я вамъ расскажу. Иду я разъ съ приисковъ домой,—это было, какъ уже сказалъ вамъ, лѣтъ двадцать тому назадъ,—и тогда сѣвѣмъ еще крѣпкій человѣкъ

былъ, все пѣшкомъ ходилъ, никогда на лошадахъ не ѣздилъ,—ну, иду я по тайгѣ одинъ, безъ товарищей,—не люблю я въ двоємъ ходить,—одному много сподручнѣе; ружьишко со мной, топоръ за поясомъ,—кого бояться. Иду я весело, по сторонамъ посматриваю, да пѣсни во все горло пою,—собака Волчокъ со мной,—здоровый такой песъ былъ,—словомъ, отлично все,—на душѣ радостно,—потому дома скоро буду, своихъ увижу, отдохну, да и гостинцами всѣхъ порадую. Шель ужъ я дня три и, пожалуй, что уставать началъ,—ноги что-то пухнуть стали. Отдохнуть, вижу, нужно, дневку сдѣлать,—только бы до Крестовскаго зимовья добрести. Дошелъ, наконецъ, и до него,—обрадовался, просто бѣгу, куда и усталось дѣлать, такъ ужъ мнѣ отдохнуть захотѣлось, переобуться, выкуваться, да подъ крышей поспать, безъ комаря поганого. Пришелъ я къ зимовью; зимовщикъ старый, что у насъ на прискѣ сторожемъ былъ, узналъ меня, обрадовался, самоваръ даже господскій вытащилъ и меня чаемъ угостилъ. Напившись чайку, помолился я Богу, да пошелъ спать, въ горницу, въ которой всегда служащiе останавливаются. Легъ я и свѣчку задулъ,—думаю, засну теперь крѣпко. Такъ, вѣдь, не могу уснуть,—ворочаюсь съ боку на бокъ, не могу спать да и только. Ахъ, ты, Господи, думаю, что же это такое со мной,—притомился сильно, а спать не могу. Вотъ Волчекъ, такъ тотъ какъ свернулся, такъ и глазъ не открываетъ, все спитъ, да во снѣ потягивается. Лежалъ я такъ, должно быть, часъ или два и уже сонъ началъ проявляться, какъ другъ въ это время стукъ такой начался въ горницѣ, словно маленькая козочка по полу ходить, да копытцами постукиваетъ. Чиркнулъ я спичку, свѣчку зажегъ, осмотрѣлся,—никого. Что, думаю, за притча,—должно, мнѣ померещилося; потушилъ свѣчку и слушаю. Спустя малое время, снова копытца застучали. Меня, знаете, даже страхъ, оторопь взяла,—рукъ поднять не могу, точно меня кто связалъ.

— Кто-жь стучалъ то, спросилъ вдругъ Добрынинъ,—крысы, вѣрно?

Но мы всѣ замахали руками на Добрынина и шепотомъ сказали: „молчи, не мѣшай“.

— Нѣтъ-съ, не крысы стучали, а другое. Вы только не пе-

ребивайте, а уж спорить потомъ станете, когда я вамъ все расскажу, проговорилъ Баулинъ, снова набивая трубку.

— Не слушайте вы его, Егоръ Васильевичъ, закричали мы, заинтересованные рассказомъ, сулившимъ, по началу, быть интереснымъ,—вы только рассказывайте.

— Расскажу все,—не торопите лишь, а то, говорю вамъ, что спугаюсь,—да вотъ и теперь,—на чемъ я остановился-то?

— Стукъ вы услышали, подсказали мы.

— Да, стукъ. Ну, хорошо, лежу я недвижимо, словно статуя, а у самого мурашки по тѣлу бѣгаютъ. Вдругъ Волчокъ какъ вскочить, да ко мнѣ на кровать, да ну ко мнѣ жаться, да прятаться,—а самъ все на дверь смотреть. Я тоже вскочилъ и руку къ ружью протянулъ,—оно возлѣ кровати моей стояло,—хочу поднять-то его, а руки не слушаются. Въ это время, дверь въ горницу отворилась, и съ зажженной свѣчей въ рукахъ вошелъ однодеревенецъ мой Степанъ Долгій,—безъ шапки, въ бѣлой рубахѣ и въ лаптяхъ.

— „Что ты, Егоръ Васильевичъ, такъ испужался,—вдругъ онъ говоритъ мнѣ, я, вѣдь, не со зломъ къ тебѣ пришелъ, а съ добромъ“.

А я все опомниться не могу,—руки, ноги дрожать, а самъ я точно помираю,—въ глазахъ даже темно сдѣлалось.

— „Егоръ Васильичъ! Одѣвайся, другъ, скорѣе, одѣвайся, не мѣшай и пойдемъ, я тебя провожу“, проговорилъ Степанъ, подойдя совсемъ близко ко мнѣ.

Тутъ я частью пришелъ въ себя, опомнился, значить, и на Степана посмотрѣлъ. Вижу онъ такой худой сталъ, да блѣдный,—словно мѣломъ вымазанъ, али мукой.

— Постой, Степанъ Петровичъ, сказалъ я, откуда ты ночью взялся, почему ты узналъ, что я здѣсь, да и зачѣмъ мнѣ уходить? Что ты, Богъ съ тобой,—прямо такъ смаху и говоришь: одѣвайся, да иди. Ни здравствуй не сказалъ, ни прощай,—а такъ вотъ, одѣвайся,—зачѣмъ мнѣ итти, куда итти, растолкуй ты, Христомъ Богомъ молю тебя“.

— „Потомъ все скажу. Теперь одѣвайся и иди“.

И такъ на меня Степанъ посмотрѣлъ, что я не помню, какъ и одѣлся, какъ котомку взялъ и какъ изъ зимовья вышелъ. Ночь на

дворѣ темная,—ничего не видно. Чувствую, что Степанъ меня за руку взялъ и повелъ. И вотъ вѣрьте, аль не вѣрьте, а только шель я не по своей волѣ,—сами ноги несли меня, куда хотѣли, а я точно въ угарѣ какомъ находился. Шли мы, должно быть, не мало времени,—потому ужъ и свѣтать стало, и какъ только звѣзды гаснуть зачали, такъ Степанъ и говорить,—вотъ какъ теперь помню: „прощай, покуда, я еще приду, а ты тутъ ложись и отдыхай и викауда не уходи“. Сказалъ и изъ глазъ пропалъ, словно въ воду нырнулъ.

Остался я одинъ,—совсѣмъ свѣтло стало,—вижу, что стою на горкѣ,—кругомъ такая поросль, что страсть,—лѣсъ, словно стѣна, стоитъ. Оглянулся кругомъ и сердце у меня унало,—не знаю, что со мной, гдѣ я и зачѣмъ я тутъ очутился. Какъ я сквозь такую чашу прошелъ? Куда Степанъ дѣлся? Куда Волчекъ забѣжалъ? До того мнѣ страшно стало, что, вѣрьте слову, заревѣлъ я, какъ дитя малое. Сѣлъ на пенекъ, да и плачу—„Господи, думаю, куда я пойду,—компаса со мной нѣтъ, провіанта мало, ружье въ зимовкѣ оставилъ, топора тоже нѣтъ,—ни какой обороны ни противъ звѣря, ни противъ человѣка. Ну, Егоръ Васильичъ, конецъ тебѣ пришелъ,—будеть, погулялъ по бѣлу свѣту,—до смерти догулялся“. Сидѣлъ я, сидѣлъ на пенекѣ и про всю свою жизнь вспомнилъ, во всѣхъ грѣхахъ покаялся. Все-таки, думаю, нужно на Бога уповать,—Его власть надо мною грѣшнымъ. Онъ спасетъ меня. И сталъ я молиться, да такъ, какъ никогда не маливался,—со слезами горячими и съ сердцемъ чистымъ, съ открытой душой. Помолился и успокоился, такъ что даже прилегъ на землю, да и заснулъ.

Проснулся я отъ того, что кто-то меня за плечо трясеть;—вскочилъ я и вижу опять передо мной Степанъ Петровичъ стоитъ и точно зажженный фонарь въ рукахъ держитъ,—а на дворѣ ужъ ночь,—я весь денекъ, значить, проспалъ,—темно совсѣмъ стало. Степанъ Петровичъ опять и говорить: „ну пойдемъ,—я проводить тебя пришелъ“. И снова я воли надъ собой лишился, опять ноги понесли меня невѣдомо куда и я шель, ничего не вида, точно летѣлъ на крыльяхъ—земли подъ ногами не чувствовалъ.

— „Вотъ и зимовье, сказалъ Степанъ, погляди-ка, что отъ него осталось?!“.

Вижу—зимовье сгорѣло и только головешки курятся да огонь по нимъ неребѣгаетъ.

— „А вотъ и зимовщикъ Матвѣй,—погляди, Егоръ Васильичъ,“—говорить мнѣ Степанъ, самъ взявъ головню въ руки, раздувъ огонь и освѣтилъ мѣсто.

Я подошелъ и увидалъ, что старикъ Матвѣй съ разрубленной головой лежитъ, а мой песъ Волчокъ у ногъ его застрѣленный валяется.

— „И ты бы, Егоръ Васильичъ, не уцѣлѣлъ, но тебя Богъ спасъ,—сказалъ мнѣ Степанъ Петровичъ.— За тѣмъ я и увелъ тебя“.

Я стою, какъ истуканъ, и вымолвить ничего не могу,—похолодѣлъ даже весь.

— „Ну, теперь ступай съ Богомъ домой,—теперь я тебѣ больше не нуженъ, говоритъ Степанъ Петровичъ,—теперь ты дойдешь благополучно, а какъ дойдешь, то меня помани. Прощай же, Егоръ Васильичъ!..“ Тутъ только я опомнился, да и хотѣлъ побратски поблагодарить Степана Петровича,—а его ужъ нѣтъ.

Сильное раздумье меня тогда же взяло,—что бы такое все это значило, и откуда Степанъ Петровичъ появился и какъ я въ тайгу имъ былъ заведенъ и какъ онъ меня спасъ? Думалъ я, думалъ, ни до чего додуматься не могъ,—кромѣ того, что Господь моимъ грѣшнымъ молитвамъ внялъ и спасъ меня отъ лютой смерти. Съ такими думами дошелъ я и до дому. Понятно, всѣ обрадовались, и старый, и малый,—обступили со всѣхъ сторонъ, раздѣвуютъ, разспрашиваютъ,—угомониться не могутъ. А я съ дороги-то присталъ, да и случай-то меня разстроилъ, не шибко на ласки-то отвѣчаю.

— „Что ты такой хмурый, али тебѣ не дужится, спрашиваетъ меня сестра моя, хромая Акулина,—старушка уже теперь тоже,—али съ дороги притомился,—ты бы лечь, да уснуть передъ бивней-то“.

— „Что же, пожалуй,—отдохнуть не мѣшаетъ“—и только хотѣлъ на полати залѣзть, какъ сосѣди всѣ въ гости пожаловали.

Дѣлать нечего, дорогихъ гостей нужно встрѣчать ласково,—сколько лѣтъ не видались.

Пошли у насъ разговоры о томъ, о семь, —меня больше все спрашиваютъ,—ну, я всёмъ и отвѣчаю, по силѣ возможности. Только одинъ изъ гостей и говоритъ: „что же Егоръ, Васильичъ, благополучно вы дорогу прошли, али какія встрѣчи бывали?“

Не хотѣлось мнѣ рассказывать про случай то мой, да какъ-то забылся, да и сказалъ, что меня бы и въ живыхъ-то не было, если бы Степанъ Долгій не спасъ.

— „Степанъ Петровичъ?!“ — всё на меня закричали въ одинъ голосъ.

— „Ну да, Степанъ Петровичъ, что же тутъ удивительнаго?“

— „А то и удивительное, говоритъ мнѣ староста деревенскій Трифонъ Савельичъ,—что тебѣ съ дороги проспаться не мѣшаетъ, да околесину не городить“.

Я уставился на нихъ, да и не понимаю, чему это они удивляются.

— „Чего уставился, чего зенки выпучилъ? закричали мои гости,—не гоже такія шутки говорить,—вотъ что! Мы къ тебѣ всей душой, а ты надъ нами шутки шутишь. Лучше мы въ другорядъ зайдемъ, когда опамятуешься, да вратъ перестанешь“.

— „Вотъ чудеса! Вы растолкуйте мнѣ, что я вамъ навралъ“, говорю я гостямъ. Куда тебѣ! они и слышать ничего не хотятъ, руками замахали, взяли шапки, да изъ избы вонъ, а на прощанье все говорятъ: „стыдно вратъ,—хоть бы сестры постиглись“.

Плюнулъ я съ сердцовъ, и, признаться сказать, даже заочно ругнулъ ихъ,—думаю, что они надо мной просто издѣваются.

А сестра Акулина, подковыляла ко мнѣ, да и ну усовѣщивать меня: „побойся, говорить, Бога, что ты имъ про Степана-то Петровича наплелъ, что и видѣлъ ты его, и говорилъ съ нимъ, и что онъ спасъ тебя“...

— „Ну да, спасъ“...

— „Ахъ ты брехунъ, брехунъ,—такъ, вѣдь, Степанъ-то Петровичъ два года тому назадъ померъ,—какъ же ты его видѣть-то могъ?!“

Я такъ и сѣлъ, такъ въ безчувствіе и впалъ,—ничего не пойму—ни гдѣ я, ни что со мной!

Ужъ я не могу вамъ и сказать, что со мной случилось послѣ словъ Акулины,—и дрожу-то весь, и плачу, и точно чему-то радуюсь,—такъ смѣшеніе чувствъ нашло. Но только понялъ я, что Господь Богъ руку злодѣевъ отъ меня отвелъ и въ образѣ Степана мнѣ своего Ангела послалъ.

На утро пошелъ я къ священнику, отцу Паисію, которому все подробно и рассказалъ. Онъ выслушалъ и велѣлъ мнѣ панихиду по Степанѣ ежегодно служить и благодарственной Господу Богу молебень. Отецъ Паисій еще мнѣ тогда сказалъ, что на свѣтѣ такіа чудеса бывають, что не людскому разуму объяснить ихъ,—а уповать лишь нужно. „Уповай, говоритъ, на Бога и ни гдѣ не погибнешь“. Это правду, онъ сказалъ, и вотъ доживаю теперь седьмой десятокъ,—а всегда уповаю на Бога и онъ хранитъ меня грѣшнаго. Хвала Создателю отъ нынѣ и до вѣка,—аминь.

Баулинъ широко перекрестился, потомъ всталъ съ койки и подошелъ къ Добрынину.

— Ну, вотъ, сударь, и весь мой немудрацій рассказъ,—вѣрьте ему или не вѣрьте, а только я говорилъ вамъ сущую правду,—да и зачѣмъ лгать мнѣ, когда не сегодня, завтра я лягу въ могилу?

Добрынинъ молчалъ и кусалъ себѣ отъ волненія губы,—потомъ вдругъ бросился на шею къ старику и зарыдалъ, какъ ребенокъ. Насилу мы успокоили нервнаго Добрынина и уложили его спать. Улеглись и все мы. Ночью же, Добрынинъ бредилъ: „мама, елку пора зажигать“, а Баулинъ вставалъ и крестилъ его своей старческой рукой, приговаривая: „ну спи, Божій младенецъ, спи, голубчикъ“.

А на дворѣ былъ морозъ, трещали деревья и звѣзды трещали въ темной синевѣ сѣвернаго неба.



10242
У-141

